

ЛЕВ РАЗГОН

Непридуманное

ЛЕВ РАЗГОН

Непридуманное

ПОВЕСТЬ В РАССКАЗАХ

Издание дополненное

EX LIBRIS

ИЗДАНИЯ
КНИЖНОЙ РЕДАКЦИИ
СОВЕТСКО-БРИТАНСКОГО
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СЛОВО / SLOVO

Москва, 1991

• ББК 84Р7
Р17

БИБЛИОТЕКА "АПРЕЛЯ"



Художник
Тимур Самигулин

Р 4702010201-04 Без объявл.
М 128 (03) -90

© Лев Разгон, 1990.
© Оформление Т. Самигулин, 1990.

ПЕРЕЖИТОЕ И ПОНЯТОЕ

Вместо предисловия

Эта книга достойна удивления. Как и судьба ее автора.

Сначала о судьбе...

Ему было еще тридцать, когда в 1938 году с ним случилось то, что по тем временам в жизни происходило гораздо чаще, чем на страницах романов: в проклятое одночасье он был осужден на долгие годы глухих лагерей и ссылок. Молодой, он принял мученичество ни за что. И казалось — навсегда.

Ему стало уже восемьдесят, когда в 1988 году с ним приключилось то, что во все времена гораздо реже происходило в жизни, чем на страницах романов: в прекрасное одночасье его на долгие годы позвала под свое крыло заслуженная литературная слава. Старый, он был вознагражден за верность жизни, несмотря ни на что. И на сей раз — в самом деле, навсегда.

Вот теперь о книге...

В ней-то все дело. Даже первая скромная публикация — в марте 1988-го — короткого рассказа из этой книги действительно в одночасье сделала имя Льва Разгона широко известным далеко за пределами нашей детской литературы, на попроще которой он с успехом работал до своего ареста и после реабилитации.

Легко понять, почему на всех произвел сильнейшее впечатление тот рассказ — "Жена президента". В нем с непререкаемой достоверностью открылась едва ли не самая неправдоподобная черта в чудовищной картине сталинского произвола. Многими почитавшееся плодами "непроверенных слухов" или "ненужных преувеличений" теперь проступило как вопиющая реальность: тюремно-лагерный удел ни в чем не повинных жен или других близких родственников руководителей партии и страны — Молотова, Кагановича, Ворошилова, Шверника... — преданнейших сподвижников Сталина. "Этот список можно продолжить... — прочитали мы в рассказе. — И ничего не было удивительного в том, что арестовали жену и у Калинина". Она оказалась в том же лагере, что и Лев Разгон. И потому не с чужих слов и отнюдь не по слухам поведал он о каторжной участи супруги нашего "Всесоюзного старосты", каковой бессилён был выручить ее из беды!

Поразительно присловье автора: "И ничего не было удивительного в том, что..." Каково, а? Сколько тут горчайшей иронии! И вдруг пронзает ясное понимание происходившего: да ведь Сталин, в постоянном страхе за свою несправедливую диктаторскую власть, просто превращал в заложников собственных соратников — других "вождей народа"!

...Этот рассказ — как бы модель всей книги. Вот поэтому, а не только потому, что он явился первой мемуарной публикацией Льва Разгона, стоило вникнуть в его значение. А еще в книге 14 вещей, разных по объему, но равных по безукоризненной правдивости. И — если позволено так выразиться — равных по своей историко-психологической существенности. Это — главное. Книга обогащает наши представления о советском обществе эпохи сталинского всевластия.

Все, что в ней написано, — без малейшего исключения! — идет в копилку исторической памяти народа. О немногих книгах можно, не обичуясь, высказать такое суждение. Оно, это похвальное суждение, тем более справедливо, что книга по праву носит название "Непридуманное": в ней доподлинны все имена, все даты, вся топонимика и, разумеется, все события.

Но читая разгоновское "Непридуманное" страницу за страницей, начинаешь ощущать еще и второй смысл названия книги: то, что нам в ней поведано, придумать было нельзя. Попросту говоря — нельзя!.. Так же, как строго документальна история Екатерины Ивановны Калининой, так протокольно точна история ее солагерника — незадачливого афганского принца, самоотреченно и губительно для себя любившего русскую женщину. Так же, как в Бутырской тюрьме 38-го года перед молодым историком Львом Разгоном въявь и на равных предстает историческая личность — друг последнего царя адмирал Михаил Рощаковский, так на лагпункте 41-го, тоже въявь и тоже на равных, предстает перед ним другая историческая личность — заместитель начальника нашего Генштаба комкор Николай Лисовский... Нет-нет, эдакие скрещения судеб могут быть только непридуманными, как и само житье-бытье "политических заключенных".

"Повесть в рассказах" — начертано на титуле книги. Не совсем обычно, но очень точно. Нелепо было бы эти рассказы взять да и перенумеровать, как главы в традиционном повествовании. Они не связаны общим сюжетом, и герои не переходят из рассказа в рассказ. И время действия меняется от рассказа к рассказу вполне произвольно, и место действия — география — тоже. Но один герой присутствует на каждой странице книги — это автор. И у временного разнобразия есть все же четкие рамки — это 17 лет лагерей и ссылок, пережитых автором (1938—1955). И у географии есть своя принудительная особенность — это архипелаг Гулаг. Посему независимые рассказы все-таки выстраиваются в единую повесть — цельную, печальную и замечательно жизнелюбивую.

Лев Разгон двадцать лет писал свою книгу, не зная, что он пишет книгу. Переходил от темы к теме, от сюжета к сюжету, от героя к герою непреднамеренно. И не вмешивались в его тихую работу суетные литературно-политические соображения или редакционно-издательские повеления.

Давно было сказано: "Пепел Клааса стучит в мое сердце". Только этот трагический голос пережитого время от времени настоятельно звал его к письменному столу. И не ставил никаких сроков, и ни к чему не обязывал, кроме как к беспощадной честности в осмыслении былого. Но именно поэтому, постепенно накапливая со второй половины 60-х годов свою мемуарную книгу, Лев Разгон

до середины 80-х никогда не помышлял об ее издании: она была бы не ко двору в эпоху всеобщего хвастовства нашей мнимой "зрелостью социализма".

Иногда он читал свои рассказы близким друзьям. И должен был довольствоваться вниманием узкого круга современников, благодарных ему за обнажение исторической правды, чья терпкая горечь живительней для души, чем сладость утешающей неправды.

...Однажды друг Булгакова Сергей Ермолинский вспоминал, как говаривал Михаил Афанасьевич о книгах, написанных "в стол":

– Мы живем в стране чудес! И верьте – придет день, когда вам позвонят из редакции и скажут, что они прослышали, будто у вас есть "опасная рукопись", так нельзя ли с ней познакомиться на предмет скорейшего опубликования?..

Лев Разгон дождался такого звонка. И вот его книга, написанная "в стол", лежит на твоём столе, читатель!

Апрель 1988 г.

Даниил Данин

РИКЕ БЕРГ,
МОЕЙ ЖЕНЕ И СПУТНИЦЕ
ПО НЕПРИДУМАННЫМ СКИТАНИЯМ

Иван Михайлович Москвин

Нет, не о знаменитом артисте я собираюсь рассказывать. Не о том Москвине, о котором написаны книги, созданы фильмы, чье mopсообразное лицо размножено бесчисленными картинками, фотографиями, карикатурами, статуэтками... Этого Москвина я тоже хорошо знал, и он войдет в мой рассказ хотя бы потому, что он дружил с тем, с другим Москвиным. И тоже Иваном Михайловичем. Москвиным — оставшимся в людской и исторической памяти совершенно неизвестным. Упоминание о нем можно встретить лишь в редких словарях и книгах, где приводятся полные списки "руководящих органов". Без знаменитого сокращения: "и др."

А ведь странно, что Иван Михайлович Москвин вот так — на-чисто — канул в безвестность. Он принадлежал к верхушке партийно-государственной элиты: много лет был членом ЦК партии, членом Оргбюро и Секретариата ЦК, заведующим Орграспредом ЦК. И в истории партии Иван Михайлович занимал немалое место: был одним из руководителей петроградской организации перед первой мировой войной, участвовал в знаменитом совещании на Болотной 16 октября 1917 года, когда решался вопрос о вооруженном восстании. И никогда не был ни в каких оппозициях... А вот — как в воду канул! Люди калибром поменьше его и в энциклопедиях заняли скромное, но достойное место, и в какие-то юбилейные даты отмечались в "Правде" почтительно-хвалебными статьями, с концовкой: "Скончался в 1937. Память о преданном сыне никогда не исчезнет".

А об Иване Михайловиче — исчезла. Может быть, это случилось потому, что после него не осталось никаких родных. Его единственная сестра — партийный работник среднего масштаба — умерла еще молодой в Петрограде, кажется, в 1923 году, и в память о ней одна из ленинградских улиц до сих пор называется улицей Москвиной. Как правило, не ИМЭЛ, а только оставшиеся в живых родные хлопотали о том, чтобы и статьи были, и справка в энциклопедии, и даже воспоминания в каком-либо журнале. А падчерица Ивана Михайловича, Елена Бокий, вернувшись из лагеря, успела лишь получить в Военной прокуратуре справку о реабилитации Ивана Михайловича Москвина. Вместе со справками о реабилитации своего отца, своей матери, своей сестры — всех "невернувшихся". Больше она ничего сделать не успела или не захотела — умерла. И, говоря по совести, напомнить о Москвине должен был я. Потому что больше не осталось людей, знавших Ивана Михайловича. А я — я несколько лет был членом его семьи и обязан ему многими знаниями. Теми самыми, в которых "многие печали...". Но я не мог себя заставить пойти в "высокие инстанции",

чтобы хлопотать о памяти человека перед теми, которые вычеркнули из своей памяти не только Ивана Михайловича (они о нем ничегошеньки не знали), но и все его время. А сейчас, когда я пишу (неизвестно для кого) эти воспоминания, я хочу обязательно вспомнить Ивана Михайловича. Чтобы о нем узнал хотя бы вот этот — неизвестный.

Даже фотографии его ни одной не сохранилось. У него было совершенно обычное и не очень характерное лицо, на котором выделялись только глубоко сидящие глаза и маленькая щеточка усов. Да еще был у него совершенно бритый череп. Своей "незаметностью" Иван Михайлович гордился и даже этим объяснял то, что с 1911 года, когда он вступил в партию, и до 1917 года он — несмотря на большую партийную работу — никогда не был арестован. И говорил: "Революционеру не следует хвастаться тем, что он много и долго сидел в тюрьме. Это — нехитрое дело. И — пропащие годы для партии". В конце 1936 года пришли фотографировать Ивана Михайловича для очередного тома МСЭ, где о нем была статья. Нас — домашних — очень веселила перспектива увидеть "незаметное" лицо на страницах энциклопедии. Да вот — не увидели.

Никогда не расспрашивал Ивана Михайловича о том, откуда он, где учился, что делал. Так, из случайных разговоров, узнал, что окончил он тверскую гимназию. Учился ли он дальше — не знаю. Вероятно, был он человеком способным. Иначе нельзя объяснить, что он превосходно знал латынь. Не только любил читать любимые им латинские стихи, но и свободно разговаривал по-латыни. На заседаниях Совнаркома, когда он встречался с Винтером — таким же страстным латинистом, как он, — они разговаривали на латинском, к немалому смущению и некоторой растерянности окружающих. И математику хорошо знал, и любил в свободное время решать сложные математические головоломки.

Иван Михайлович был по профессии партийным функционером. Этим он занимался всю жизнь после окончания тверской гимназии. В Петербурге он начал работать в районной партийной организации, перед началом первой мировой войны включен в Русское бюро ЦК, а после 1917 года занимал в петроградской организации партии посты первой величины. Когда было создано Севзапбюро ЦК, он стал секретарем этого бюро — то есть в ленинградской партийной иерархии занимал второе место после Зиновьева.

Зиновьева он очень не любил. Даже не то что просто не любил, а презирал. Говорил, что он был труслив и жесток. Когда в 1919 году Юденич уже стоял под самым городом и питерская партийная организация готовилась к переходу в подполье, Зиновьев впал в состояние истерического страха и требовал, чтобы его немедленно первым вывезли из Петрограда. Впрочем, ему было чего бояться: перед этим он и приехавший в Петроград Сталин приказали расстрелять всех офицеров, зарегистрировавшихся согласно приказу... А также много сотен бывших политических деятелей, адвокатов и капиталистов, не успевших спрятаться.

А Иван Михайлович организовывал подпольные типографии. Некоторые были столь тщательно замаскированы, что их не нашли после того, как Юденич, да и вся гражданская война стали лишь

предметом истории. А одна из таких типографий была пущена в ход Москвиным в период, который стал для него (как и для многих) переломным.

Когда возникла "ленинградская", или "новая", оппозиция, Москвин был одним из тех трех крупных ленинградских партработников, которые не присоединились к Зиновьеву и его сторонникам. Но если Лобов и Кодацкий просто "не присоединились", то Москвин, пожалуй, был самым активным в противодействии зиновьевцам.

А это оказалось вовсе не таким уж и простым делом. Только рассказ Ивана Михайловича дал мне представление о таком характере внутрипартийной борьбы, какую теперь и представить себе невозможно. И о том, какую роль в этом играло ГПУ. Резолюции XIV съезда, где зиновьевцы потерпели поражение, были запрещены в Ленинграде... Газеты с ними не продавались в киосках, задерживались на почте. Ленинградское ГПУ, которое было покорным орудием в руках Зиновьева, хватало людей, которые распространяли материалы партийного съезда... Вот тогда-то Москвин пустил в ход все свои связи, оставшиеся чуть ли не с дооктябрьского подполья. В законспирированной типографии, оставшейся так и нераскрытой с 1919 года, печатались материалы съезда. Их переправляли на созданные конспиративные квартиры, по ночам разносили на заводы и раскладывали в инструментальные ящики... Только после того, как было сменено все руководство ленинградского ГПУ, оказалось возможным организовать знаменитый "десант" в Ленинград Калинина, Ворошилова, Чаплина и других партийных руководителей. После чего и начался процесс "очищения" организации и перевода ее в русло политики, которую еще тогда никто не называл сталинской, но которая, конечно, и была такой.

Не думаю, чтобы в этой истории Иван Михайлович руководствовался какими-либо карьерными соображениями. Но после нее он взлетел на самый верх партийной карьеры. Из "второго эшелона" партийной олигархии он поднялся на вершину ее. На Пленуме ЦК его выбирают членом Оргбюро, кандидатом в члены Секретариата ЦК. Москвин переезжает в Москву, он становится заведующим Орграспредом ЦК. Тем "могущественнейшим Орграспредом", о котором писал оды Безыменский. Действительно, Орграспред ЦК был самым могущественным в могущественном ЦК. Тогда же не было — как теперь — отраслевых отделов ЦК. Орграспред ведал всеми кадрами: партийными, советскими, научными... В этом "могущественном" Орграспреде его заведующий стал могущественнейшим человеком в партии.

Таким его сделала любовь к нему Сталина. Если можно, говоря о Сталине, употреблять слово "любовь". Людей, как известно, он оценивал только степенью личной преданности. И вероятно, ему казалось, что поведение Москвина в мятежном Ленинграде было проявлением такой преданности. Во всяком случае, Сталин делал все, чтобы Москвина "приблизить". Звал на охоту, приглашал на свои грузинские пиры, приятельски приезжал к нему во время отдыха на юге. Но трудно было найти более неподходящего партнера для этих игр, нежели Москвин. Он был ригористом и не покладистым человеком. Иван Михайлович в своей жизни не выпил ни одной рюмки вина или даже

пива. Не выкурил ни одной папиросы. Не любил "соленых" анекдотов, грубоватых словечек. Не ценил вкусной еды, был равнодушен к зрелищам. И не желал менять своих привычек. Поэтому он отказывался от августейших приглашений на застолья, от участия в автомобильных налетах на курортные города, от ночных бдений за столом Сталина. Нет, он был совершенно неподходящим "соратником", и падение его было неизбежным. Оно наметилось, когда произошло событие, казалось бы, весьма камерное, носившее характер чисто семейной трагедии. Однако любые трагедии, к которым имел отношение Сталин, имели тенденцию превращаться в трагедии намного большего размаха.

Таким событием было самоубийство жены Сталина — Надежды Сергеевны Аллилуевой. Судя по всему, это была скромная, добрая и глубоко несчастная женщина. Несколько раз, когда я приходил в Кремль к Свердловым, я заставал у Клавдии Тимофеевны заплаканную Аллилуеву. И после ее ухода сдержанная Клавдия Тимофеевна хваталась за голову и говорила: "Бедная, ох, бедная женщина!" Я не расспрашивал о причинах слез жены Сталина, но об этом, в общем, знало все население того маленького провинциального городка, каким был Кремль до 1936 года. Как в любом маленьком городке, его жители живо обсуждали все личные дела друг друга: и о любовнице Демьяна Бедного, и о женитьбе Сергея — сына Владимирского, и о веселых ночах, проводимых Авелем Енукидзе... И, конечно, о бедной Надежде Сергеевне, вынужденной выносить характер своего страшноватенького мужа. И про то, как он бьет детей — Свету и Васю, — и про то, как он хамски обращается со своей тихой женой. И про то, что в последнее время Коба стал принимать участие в забавах Авеля...

Существуют несколько версий о причинах самоубийства Аллилуевой. Среди них и та, что она не выдержала преследования Сталиным старых партийцев, в том числе и ее друзей. Думаю, что это было не так и желаемое выдавалось за действительное. В кругах, близких к партийному олимпу, о причинах самоубийства жены Сталина были более точные сведения. Это было время, когда Сталин объявил, что "жить стало веселее". Очевидно, он полагал, что веселее должны жить не только его подданные, но и он сам. И начал участвовать в той свободной и веселой жизни, которую вел его самый близкий, еще с юности, человек — АVELЬ Енукидзе. И тогда пошли слухи о том, что железный Коба размягчился...

Содержание письма, оставленного Аллилуевой, было известно там, "наверху", и живо обсуждалось в семейных кругах. Надежда Сергеевна писала, что она не может видеть, как вождь партии катится по наклонной плоскости и порочит свой авторитет, который является достоянием не только его, но и всей партии. Она решила на крайний шаг, потому что не видит другого способа остановить вождя партии от морального падения.

Широкое хождение получила легенда, что Аллилуеву застрелил сам Сталин. Это — совершенный апокриф; Сталин сам никогда никого не убил и, вероятно, был просто неспособен это сделать. А то, что такая легенда может возникнуть, — он понимал. Когда Сталина и Авеля вызвали из гульбища, где они предавались изнеженности нравов,

Енукидзе предложил составить акт о скоропостижной смерти из-за сердечного припадка. На что мудрый Сталин ответил: "Нет, будут говорить, что я ее убил. Вызвать судебно-медицинских экспертов и составить акт о том, что есть на самом деле, — о самоубийстве".

"Общественное мнение" тех, которые составляли основной слой "старейших", ригористствующих функционеров, — было смущено и даже возмущено всей этой историей. Бедный Сталин должен был еще считаться с этой толпой старых, ничего не понимающих в нем людей. Надо было им что-то кинуть... И он бросил на пики своего ближайшего друга. На последовавшем вскоре Пленуме ЦК Енукидзе был обвинен в моральном разложении. Его исключают из состава ЦК, снимают с поста секретаря ЦИК и выгоняют из Москвы — отправляют руководить минераловодскими курортами. А сам Сталин посылал главу пеплом и изображал глубочайшее раскаяние. Скульптор воздвиг на могиле Аллилуевой прекрасный памятник из белого мрамора, напротив бюста покойной была устроена мраморная скамейка, на которую приезжал тосковать безутешный супруг. Специальный прожектор освещал милое лицо Аллилуевой, за ближайшими надгробьями пряталась охрана. Все Новодевичье кладбище было предварительно прочесано и оцеплено, никто не мог помешать Сталину предаваться скорби. А также размышлениям о тех, кто посмел "возмутиться". Думаю, что тогда в его великолепной памяти начали откладываться списки обреченных. Но все это было потом. А пока смерть и похороны жены стали для Сталина некоей меркой отношения к нему. Он требовал сочувствия и проявления любви. Естественно, что не к Аллилуевой, а к себе. Тело покойной лежало в Хозяйственном управлении ЦИК, которое занимало теперешний ГУМ, мимо гроба проходил поток людей, в почетном карауле стояли все верные соратники, в газетах печатались выражения беспредельного сочувствия Сталину.

А сам Сталин все время сидел у гроба и зоркими, все видящими, желтыми своими глазами всматривался: кто пришел, кто как себя ведет, какое у кого выражение лица... Это было свойство его характера. И, ничего не зная о похоронах Аллилуевой, точно об этом написал Борис Слуцкий в своем стихотворении: "Когда меня он плакать заставлял, ему казалось — я притворно плачу..."

Иван Михайлович Москвин плохо умел притворяться. Думаю, что по этой причине он не поехал в ГУМ, не становился в почетный караул, не подходил со скорбным лицом к убитому горем супругу покойной. Он сидел дома. А Сталин быстро обнаружил, что человека, которого он возвел, приблизил, на кого рассчитывал, — этого человека нет среди той толпы "тонкошеих вождей", которые его окружали.

Куйбышев, который был в дружеских отношениях с Москвиным, позвонил ему из ГУМа:

— Иван! Он спрашивает, где ты, был ли ты?

— Нет, не был. И не буду. Спросит — скажи, что, вероятно, нездоров.

— Иван! Не глупи! Приезжай сейчас. Процессия движется.

Москвин не поехал. А Куйбышев и вправду, очевидно, был верным другом. Он позвонил с дороги:

– Иван! Он уже два раза спрашивал про тебя. Не совершай глупости, которую нельзя будет поправить. Бери машину и поезжай на кладбище.

Софья Александровна, которая понимала Сталина лучше, нежели ее муж, и которая потом мне об этом подробно рассказывала, рыдая, вцепилась в Москвина, требуя, чтобы он пожалел ее, Оксану, чтобы он сейчас же ехал. Софье Александровне Москвин никогда не возражал – так было на моей памяти. Он поехал на кладбище.

У открытой могилы Сталин стоял, опустив голову или же закрывая лицо руками. Но так, чтобы видеть: все ли тут? Не поворачивая головы, он спросил:

– А Москвин здесь?

Ивана Михайловича, стоявшего позади толпы вождей; Куйбышев вытолкнул вперед. Сталин с протянутой рукой пошел навстречу Москвину.

– Иван! Какое горе!..

Иван Михайлович выполнил церемониал соболезнования. Но Сталин – как писал по другому поводу Зощенко – “затаил в душе хамство”. На конечную судьбу Москвина, я думаю, этот эпизод влияния не имел. Потому что конец Ивана Михайловича был точно такой, как и конец тех “соратников”, которые рыдали у гроба и всем своим существом выражали беспредельную любовь и преданность. Но на карьере Москвина это сказалось. Через какое-то время его из ЦК перевели в Наркомтяжпром начальником управления кадров тяжелой промышленности. Пост был весьма ответственный, Москвин был заместителем Орджоникидзе и занимался не только всеми руководящими кадрами промышленности, но и подготовкой их – Наркомтяжпрому принадлежали тогда все технические вузы страны. Но это уже было не то... На XVII съезде Ивана Михайловича сделали членом бюро Комиссии советского контроля – контролировать тяжелую промышленность. А это уже было и вовсе “не то”. Наверху фамилия Москвина мелькнула еще один раз, когда на последнем Конгрессе Коминтерна членом Президиума Исполкома Коминтерна был избран Москвин – без указания инициалов... Но это был не Иван Михайлович, а зампред ОГПУ Трилиссер, которого перевели в Коминтерн и недели популярной в партийных кругах фамилией Москвина.

Но Иван Михайлович формально все еще продолжал оставаться в самой высокой номенклатуре. “Вертушка” в квартире, фельдъегери, привозящие секретные материалы... Только вот уменьшилось количество товарищей, навещавших Москвина, когда он болел, или же просто приезжавших “на огонек”. По-прежнему часто бывал у него Орджоникидзе. Зато совершенно исчез человек, который раньше бывал очень часто, ибо именно Москвиным был извлечен из небытия.

Да, Иван Михайлович был тем самым человеком, который нашел, достал, вырастил и выпестовал Николая Ивановича Ежова. Чем-то ему понравился тихий, скромный и исполнительный секретарь отдаленного окружкома. Он вызвал Ежова в Москву, сделал его инструктором в своем отделе – Орграспреде. Потом перевел в свои помощники, затем в свои заместители. В этот период мне два раза

приходилось сидеть за столом и пить водку с будущим "железным наркомом", именем которого вскоре стали пугать детей и взрослых. Ежов совсем не был похож на вурдалака. Он был маленьким, худеньким человеком, всегда одетым в мятый дешевый костюм и синюю сатиновую косоворотку. Сидел за столом тихий, немногословный, слегка застенчивый, мало пил, не влезал в разговор, а только вслушивался, слегка наклонив голову. Я теперь понимаю, что такой — тихий, молчаливый и с застенчивой улыбкой — он должен был понравиться Москвину. Был Ежов когда-то туберкулезником, и Софью Александровну очень беспокоило его здоровье. Она его опекала, хлопотала вокруг него, приговаривая:

— Воробушек, ешьте вот это. Вам надо больше есть, воробушек. Воробушкой она называла этого упыря!

Что привлекло Москвина в этом "воробушке"? Когда Ежов стал любимцем, когда он в течение всего нескольких лет сделал невероятную карьеру, став секретарем ЦК, Председателем ЦКК и Генеральным комиссаром государственной безопасности, я спросил у Ивана Михайловича: "Что такое Ежов?" Иван Михайлович слегка задумался, а потом сказал:

— Я не знаю более идеального работника, чем Ежов. Вернее, не работника, а исполнителя. Поручив ему что-нибудь, можно не проверять и быть уверенным — он все сделает. У Ежова есть только один, правда существенный, недостаток: он не умеет останавливаться. Иногда существуют такие ситуации, когда невозможно что-то сделать, надо остановиться. Ежов — не останавливается. И иногда приходится следить за ним, чтобы вовремя остановить...

Ежов перестал появляться на Спиридоновке, когда Иван Михайлович ушел из ЦК, а он занял его место. Но своего бывшего начальника Ежов все же немного опасался. И несколько натянутым отношением, сложившимся между Москвиным и его выкормившем, я обязан тем, что был на всех заседаниях XVII съезда партии.

Я спросил Ивана Михайловича, сложно ли достать гостевой билет на съезд? Он сказал, что билет мне будет. Через некоторое время фельдъегерь из ЦК привез пакет, в котором был набор ежедневных гостевых билетов на мое имя. Почему-то Москвин взбесился, очевидно, он просил о гостевом билете более высокого ранга. Он при мне позвонил Маленкову, который был заместителем Ежова в Орграспреде, и начал качать права... Маленков ему, очевидно, ответил, что Ежов прислал простые ежедневные билеты вместо одного постоянного, потому что он не знает, кто такой Разгон. Иван Михайлович кричал в трубку:

— Я посылаю билеты назад, брось их ему на стол! Ему, видите ли, недостаточно моей рекомендации о члене партии, которого я не только знаю, но который мне близок! Что же будет дальше?!

Не знаю, что Маленков сказал Ежову, но через несколько часов фельдъегерь привез на мое имя такой гостевой билет, который давался суперответственным работникам, не удостоившимся чести быть делегатами. Этот билет давал право сидеть не наверху, где были гости, а внизу, вместе с делегатами съезда.

И вот почти неделю я просидел в этом, столь теперь знакомом зале. А тогда я вошел в него впервые. Потому что того старого Кремлевского дворца, в котором я бывал на экскурсиях, просто "по благу", на Всесоюзной пионерской конференции в 1929 году, — его уже не было. К этому времени Сталин навел некоторый порядок в Кремле. Снесли Чудов монастырь, Вознесенский монастырь и Чудов дворец, в котором когда-то, осенью 1826 года, Николай принимал Пушкина, доставленного ему из Михайловского. На месте этих зданий, о которых сейчас в справочниках коротко сообщается: "не сохранилось", построили большую и безобразную казарму для школы ВЦИК. Теперь в нем размещается Президиум Верховного Совета.

И перестроили Большой Кремлевский дворец. "Реконструировали". Вместо Андреевского и Александровского залов с их витыми колоннами, невероятной бурей резьбы, золочеными деталями, драгоценным паркетом, вместо всего этого устроили длинный и очень вместительный зал с бельэтажем для гостей, с раздельными фойе, с обширной пристройкой для прогулок, отдыха и кормления президиума. Для размещения этой пристройки снесли самый старый храм в Кремле и Москве — храм Спаса на Бору. В энциклопедиях сказано, что он "не сохранился". Просто удивительно, каким чудом сохранились в Кремле соборы. Великие советские архитекторы снесли бы их, не моргнув глазом. Я думаю, что просто-напросто пока не понадобилась территория для новых построек.

И вот я ходил в этот строгий, холодный и неуютный зал и слушал все, что там говорилось. И доклад Сталина, и речи вождей, и примирительно-покаянные речи бывших лидеров разных оппозиций. Я был молод, зелен и очень хотел верить, что все бури внутрипартийных боев прошли, что наступила пора единения и партийного братства... И только какие-то мелочи нарушали эту гармонию. Однажды я запоздал, зал был уже заполнен, и, стоя у двери, я высматривал свободное местечко. И увидел: в каком-то ряду не занятое никем кресло. Я протиснулся, сел, оглянулся и увидел, что справа от меня сидит Зиновьев, а слева Радек. Не сразу я догадался, что свободное место образовалось оттого, что они не хотят или же боятся сидеть рядом.

И в перерывах Алексей Иванович Рыков, увидев меня, обрадовался и стал со мной вышагивать по периметру огромного Георгиевского зала. Я с почтением и великой симпатией относился к Алексею Ивановичу, мне было приятно и интересно расхаживать с ним, и мне не пришлось в голову, почему политическому деятелю его калибра захотелось разгуливать не с кем-нибудь, а с приятелем его дочери.

И только последнее заседание смутило мою еще почти девственную душу. На этом заседании оглашались результаты выборов в ЦК. Список оглашался не по алфавиту — как он печатался в газетах, — а по количеству поданных голосов. И вот мы услышали: первым был не Сталин... Он не был ни вторым, ни третьим, ни четвертым... Мы слышали фамилии Калинина, Кирова, Ворошилова, еще кого-то, и не было Сталина, не было Сталина! Кажется, он шел не то девятым, не то десятым. Список читался без пауз, скорее нервно. Но не только мне, но и — как мне казалось — всем присутствующим казалось страшно долгим то время, которое отделяло начало чтения списка членов ЦК до той минуты, когда наконец была произнесена фамилия

Сталина. Про то ощущение, которое мы испытали, беллетристы прошлого писали, что это было "дуновением смерти". Оно таким и было, но сколько же человек в зале это почувствовали? Абсолютному большинству людей, сидевших не только внизу, но и наверху, осталось до гибели три-четыре года. Понимал ли это кто-нибудь из них? Кроме, конечно, Сталина. Не знаю. И никогда не узнаю.

Москвин был безусловно верным "соратником", всегда шел за Сталиным. Но полагаю, что не испытывал к нему не то что любви, а нормальной человеческой симпатии. Вероятно, как и все. Включая даже самых близких. Однажды я спросил Ивана Михайловича, почему XII съезд партии решил не выполнять рекомендации Ленина о замещении поста Генсека другим человеком? Москвин мне ответил, что утверждение Сталина лидером партии стоило ей таких невосполнимых потерь, что не может быть и речи о том, чтобы снова повторять этакое. "Мы тогда потеряли почти треть самых талантливых и опытных партийных кадров, если начинать выполнять сейчас совет Ленина, то потеряем еще одну треть..." Как показало близкое будущее, математические способности Ивана Михайловича его подвели. Подсчет и расчет были неправильными.

По моему рассказу Москвина легко себе представить леденяще-скучным человеком, малоспособным к веселому общению с людьми. Но это было не так. Да, сам Иван Михайлович не пил, не курил, но тем не менее любил многочисленное и веселое общество, шумное семейное застолье, озорные розыгрыши. Не знаю, был ли он таким по своей натуре или же таким его сделала жена — Софья Александровна Бокий. Личность не только интересная, но и в некотором роде замечательная.

Необычна ее биография. Отец Софьи Александровны — француз Доллер, родившийся в России, квалифицированный рабочий на одном из виленских заводов. Француз повел себя совсем как русский. Стал не то землевольцем, не то народовольцем; арестованный, отсидел свое в тюрьме и на каторге, вышел в Якутии на поселение и там встретился с народоволькой Шехтер. Я читал о них у Короленко, Феликса Кона и других вспоминателей прошлого. Были Доллер и Шехтер совершенно разными людьми. Доллер — веселый, шумный, беззаботный, как и положено быть французу. Шехтер — железная фанатичка, которая сидела больше и тяжелее других, ибо она не признавала власти царского правительства, не присягала новому царю, отказывалась признавать де-юре любое приказание начальства. Тем не менее в ссылке эти непохожие друг на друга люди поженились, и Софья Александровна была их единственным ребенком. Вскоре после рождения дочери Доллер утонул, купаясь в опасной сибирской реке, а молодая ссыльная народоволка осталась с маленьким ребенком, который сопровождал ее во всех последующих тюрьмах и ссылках.

Во время одной из таких ссылок уже достаточно выросшая Софья Доллер — успешная и в Европейской России побывать, и даже учившаяся на каких-то женских курсах — познакомилась со ссыльным большевиком Глебом Ивановичем Бокием. И они поженились. Людьми они были почти столь же разными, как и родители Софьи Александровны. Об этом я уже мог судить сам, ибо был к ним близок несколько важных для меня лет.

В мое время Софья Александровна была полной, небольшого

роста дамой, очень подвижной, веселой, необычайно энергичной. Вот она была единоличной хозяйкой дома, который вела — несмотря на свое каторжно-ссылное происхождение — с размахом и вкусом интеллигентной светской дамы начала столетия. Кроме кухарки и домработницы, в квартире всегда обитали какие-то дальние родственницы или "компаньонки" — словом, много людей, которые обслуживали шумный дом.

С Глебом Ивановичем Софья Александровна разошлась, очевидно, в начале 20-х годов. Наверное, человеку, который стал после убийства Урицкого председателем Петроградского ЧК, а затем членом Коллегии ВЧК и ОГПУ, было не просто с такой тещей, как Шехтер, и такой женой, как Софья Александровна. Как и все прочие народо-вольцы, Шехтер стала эсеркой, и я думаю, что она была если и не очень активной, то уж во всяком случае абсолютно непреклонной. А Софья Александровна, очевидно, тоже в молодости была эсеркой. В большевистскую партию она вступила весной 1917 года, но и такому неопытному человеку, как я, было заметно, что "большевистским духом" от нее не пахло. Даже на процессе правых эсеров 1922 года Шехтер и Софья Александровна упоминались как люди, от которых эсеры-боевики-де стремились получить какие-то сведения... Правда, довольно комичные: об адресе Глеба Бокия...

Однажды в белоэмигрантском парижском журнале "Иллюстрированная Россия" я наткнулся на рассказ жены одного из великих князей о том, как она спасла своего мужа от расстрела во время красного террора осенью 1918 года. Мужа ее вместе с другими великими князьями держали в тюрьме, и участь его была predetermined: царская семья и другие члены императорского дома были уже расстреляны. Кто-то сказал великокняжеской жене, что у Бокия жена, кажется, добрый человек. И она разыскала квартиру, где жил грозный председатель ЧК, пришла туда и, когда ей открыла дверь молодая и привлекательная женщина, стала рыдать и звать... Софья Александровна сказала, что воздействовать на мужа она не может, всякие ее просьбы могут лишь ускорить роковой конец. Но есть человек, которому Бокий обязан жизнью, — доктор Манухин. О личности этого человека я потом довольно много читал, это был человек замечательный, но сейчас речь не о нем.

Княгиня просила об одном: перевести ее мужа, как больного, из тюрьмы в больницу. (Единственно из которой и можно было организовать его побег.) Софья Александровна рассказала своей посетительнице, что Глеб Иванович попал в тюрьму, тяжело болея туберкулезом. В тюрьме болезнь разыгралась, и Бокий был почти обречен. Но Софья Александровна обратилась к Манухину, и тот, имевший какие-то чрезвычайно сильные связи, добился перевода арестанта в свою больницу. И вылечил его — навсегда! — от чохотки. Поэтому единственный — считала Софья Александровна, — кто может воздействовать на Бокия, — Манухин. Дальше все произошло, как в банальном святочном рассказе. Манухин потребовал, чтобы председатель ЧК перевел его пациента из тюрьмы в больницу. "Для меня все пациенты — равны. Я лечил вас — большевика, я буду лечить другого пациента — великого князя. И если вы порядочный человек — обязаны перевести князя в мою больницу" — так

сказал Манухин Бокию. И Глеб Иванович перевел великого князя в больницу, и там ему быстро организовали бегство за границу.

Вся эта история была рассказана со всей обстоятельностью, и я с интересом принес этот журнал на Спиридоновку Софье Александровне. Кажется, описание ее добрых деяний не обрадовало Софью Александровну. Но в общем характеристика "обаятельного и доброго человека", которую ей дал автор рассказа в эмигрантском журнале, была правильной. Софья Александровна была человеком не только добрым и широким, но и обаятельным. И именно благодаря этим ее качествам квартира Москвина была всегда переполнена гостями и большим шумством. Ибо друзьями дома были не сотоварищи Москвина по партийной работе, не их скучные семьи, а довольно богемная, по преимуществу артистическая публика. Я не могу припомнить, когда и каким образом познакомились и подружились такие несхожие люди, как Москвин и другой Москвин — артист, почему так дружил с Москвиным и Софьей Александровной знаменитый певец — Николай Николаевич Озеров. Но из многих людей, постоянно бывавших на Спиридоновке, я больше остальных запомнил именно их.

Семья Москвина-артиста была, пожалуй, самой близкой. Сам Иван Михайлович очень часто приезжал на Спиридоновку из театра после спектакля. Он вкусно ел и пил, азартно играл в кункен, принимал активное участие во всех играх молодежи, был режиссером и главным участником театрализованных шарад, рассказывал анекдоты и чувствовал себя совершенно свободно. Его жена Любовь Васильевна бывала чаще всего днем и уединялась с Софьей Александровной, чтобы, очевидно, выплакать ей свои семейные горести. А мы — молодежь — очень дружили с их сыном Володей. Это был угрюмоватый, весьма сильно пьющий молодой человек, талантливый актер в Театре Вахтангова, мрачно относившийся к конформизму своего знаменитого отца. Брат его Федя был незаметным в этой артистической семье. Мы частенько бывали и в квартире Москвиных в Брюсовском переулке. Квартира была завешана картинами Репина, Левитана, Коровина, Сомова... Еще больше картин было в квартире сестры Любви Васильевны в этом же доме, на верхнем этаже. Сестра эта — Екатерина Васильевна Гельцер — жила одна в огромной, завешанной картинами квартире. Меня в ней поражал репетиционный зал с балетным станком и постоянное наличие молодого аккомпаниатора. Знаменитая балерина была несколько надменна и, когда приезжала в гости на Спиридоновку или же на дачу в Вольнское, всегда почему-то одевалась в черное газовое платье, к которому обязательно прицепляла орден Ленина, — очень было странное сочетание.

А когда к себе приглашал Озеров, мы часто заставали у него А.В. Нежданову и дирижера Н.С. Голованова. Голованов, несмотря на свою репутацию черносотенца и преследователя, оказался веселым дядькой, любителем домашнего пения и недомашних анекдотов. Поэтому, очевидно, к столу редко допускался младший сын Озерова — аккуратненький, худощавый и воспитанный мальчик, полный тезка отца. Когда я сейчас так часто вижу на экране телевизора расплывшуюся фигуру и обрюзгшее лицо этого бывшего мальчика,

становится несколько жутковато от сознания, что такие изменения претерпела и моя собственная внешность.

Какие они были веселые, эти вечера на Спиридоновке! Два Ивана Михайловича приезжали поздно: один из театра, другой из своего правительственного офиса. К этому времени те, кто были помоложе и посвободнее, уже входили в зенит веселья. Оба Москвина немедленно включались в шумные разговоры. И допоздна, до двух-трех часов, пел народные песни Озеров, Москвин-артист организовывал хор, который пел старые солдатские песни, и рассказывал малопрстойные смешные истории, уверяя, что это он читает рассказы Горбунова и даже Чехова. И только в два-три часа ночи Иван Михайлович вызывал машину, чтобы развести гостей по домам.

Но, кроме артистов, в доме Москвина очень частой была совершенно другая группа гостей — врачи. Не лечащие, — те, конечно, также бывали в достаточном количестве, — а другие, приходившие на Спиридоновку как друзья и единомышленники. Это были руководители только недавно возникшего и бурно вверх вознесшегося ВИЭМа — Всесоюзного института экспериментальной медицины. Странное это было учреждение, о котором в энциклопедиях, медико-исторических работах говорится темно и туманно.

Насколько сейчас помню, было в идее этого института нечто лысенкоподобное. Его создатели и руководители полагали, что им очень скоро удастся найти в человеческом организме "что-то такое", на что можно воздействовать и таким образом быстро побороть болезни, и среди них самую вредную — старость. Кроме того, что такая цель была крайне соблазнительна, она еще и была совершенно в духе времени: мало было "покорить пространство и время", надо было покорить и подчинить себе все еще неизвестное и неуправляемое. Это совершенно совпадало с желанием Сталина, который не мог примириться с тем, что существует что-то, над чем он не властен. Именно этим, а не только спекулятивным стремлением скорее облагодетельствовать человечество следует объяснить пышный расцвет Лысенко, Лепешинской, Бошняна и других юродивых и жуликов поменьше.

Организаторы ВИЭМа, конечно, не были жуликами. Но их научные идеи настолько соответствовали стремлениям и желаниям начальников, что могучая подъемная сила несла их стремительно вверх. Их теории пленили Горького, а затем и самого Сталина. Чуть ли не каждую неделю визмовцы собирались в особняке Горького и там перед Сталиным, Горьким и другими немногими, допущенными в эту кампанию, развивали свои мысли о необыкновенных перспективах управления человеческим организмом. А после этих посиделок они шли на Спиридоновку к Москвину, где эти беседы продолжались, но уже в более живой, непосредственной и не стесненной августейшими особами обстановке.

Почему к Ивану Михайловичу Москвину? Ну, во-первых, потому, что самому Ивану Михайловичу не была чужда вера в бесконечные возможности науки. А кроме того, он еще с Петрограда был близок и всячески покровительствовал организатору и директору ВИЭМа — Льву Николаевичу Федорову. Несомненно, это был очень интересный человек. Со студенческой скамьи ушел на гражданскую

войну, вернулся коммунистом и явился к самому Ивану Петровичу Павлову с просьбой взять его в свою знаменитую лабораторию. Очевидно, было в Федорове, кроме нахальства, еще и что-то привлекательное, ибо Павлов его к себе взял, и стал вскорости Федоров фактическим начальником всей павловской лаборатории. Не могу судить о Федорове как ученом, — вероятно, был ученым незначительным, но организатор был превосходный. Расцвет павловской лаборатории и усиление монополии павловских идей в физиологии происходили, как я помню, скорее под руководством Федорова, а не Павлова.

Идея создания ВИЭМа также принадлежала Льву Николаевичу. Ему, может быть не без участия Москвина, удалось зацепить внимание Горького и вызвать жгучий интерес у Сталина. В катастрофически скорое время возник огромный институт с многочисленнейшим штатом, неслыханными привилегиями... Строился на окраине Москвы городок институтских корпусов, уже кинулась пропагандировать наступающий небывалый расцвет советской медицины целая армия лекторов, журналистов и писателей.

Я плохо помню Гращенкова и других визмовских деятелей, не оставил у меня сколько-нибудь ярких воспоминаний и сам Лев Николаевич Федоров. Но зато я оказался в плену обаяния и личности самого блестящего и интересного человека во всей этой визмовской компании — Алексея Дмитриевича Сперанского. Когда я вспоминаю годы на Спиридоновке, я понимаю, что никто из встреченных там людей (их было много, и все почти они были значительными) не пленял меня в такой степени, как Сперанский.

Он был почти академиком, и о нем уже писали как о полубоге в науке. Но не было в Алексее Дмитриевиче ничего того, что зовется академическим. Подчеркнуто простонародный, быстрый в движениях, с грубоватой, часто малоцензурной, речью, любовью к бутылке... Но это в нем соединялось с глубоким пониманием и знанием музыки. Он был превосходный виолончелист и рассказывал, что в голодные годы прирабатывал тем, что играл в киношках. Но больше всего меня в нем поражало его знание поэзии. Он знал на память чуть ли не всю поэзию нашего века и после бутылки коньяка мог часами читать стихи. И не какие-то из хрестоматии, а Кузьмина, Анненского, Соловьева, Блока, Гумилева... Очень любил Маяковского и превосходно его читал.

Но, конечно, не только этим привлекал Алексей Дмитриевич. Было в нем ощущение независимости. Независимости от начальства, от господствующих мнений в науке и политике. Он вел себя в обществе мало сказать независимо — грубо. Ему ничего не стоило оборвать речь какого-нибудь значительного собеседника и сказать ему, что он порет чушь; он мог сказать хозяйке дома, вставившей слово в спор о науке: "А ты, дура, куда лезешь? Что ты понимаешь в этом!"; на одной из посиделок у Горького он сказал Молотову, что тот еще не научился государством управлять, а уже рассуждает о человеческом организме... В том всеобщем конформизме, который уже пропитал всех и вся, эти качества притягивали к нему, как магнитом. И Сперанский это понимал, больше того, из всего многочисленного спиридоновского общества он выделял меня — молодого, нечиновного. И не просто выделял, а установил со мной полудружеские отношения,

в которых всячески подчеркивал равенство сторон. Алексей Дмитриевич мне казался идеалом ученого, человека, чьи независимость и дружба не меняются ни от каких преходящих обстоятельств.

И меня сильно раздражало и просто злило, когда мой новый приятель — и тоже врач, только настоящий, а не визмовский, — Шура Вишневецкий мне говорил:

— Ни фига ты в людях не смыслишь. Я Алексея Дмитриевича знаю с детства, он ближайший друг нашей семьи. Так вот: при любом испытании он сдрейфит больше любого. И тебя продаст со всеми потрохами. Удивительно, как вы все клюете на его театральные штучки-дрючки...

Происходил этот разговор в самом начале 37-го года, и никому из нас не приходило в голову, как скоро будут проверяться такие качества, как человеческое достоинство, независимость, мужество...

Меньше полугодом прошло, и остались мы на Спиридоновке в двух оставленных нам комнатах; с опечатанной дверью, ведущей в большую часть квартиры; с одним городским телефоном из всех находившихся прежде. И этот телефон — молчал. Каждый, кто пережил это время, оставшись в полузапечатанной квартире, знает, что из многих наступивших душевных потрясений одним из самых главных был замолкнувший телефон. То есть он был вполне годен, отлично работал, по нему можно было звонить, но сам он почти никогда не звонил... Перестали звонить многочисленные друзья Москвиных, почти замолкли мои собственные закадычные друзья, и бывали дни, когда ни разу не раздавался серебряный звон нового чешского, недавно установленного аппарата.

В этом отвратительном трусливом молчании для меня особенно горьким было молчание Алексея Дмитриевича Сперанского. Ведь только что, какую-нибудь неделю-две назад он говорил мне, что считает меня другом, а Оксану вроде дочери... Чего он боится, он, такой смелый, такой независимый? Многих людей в эти дни и месяцы я вычеркивал из своих близких, друзей, просто знакомых. Но труднее всего мне было это сделать с Алексеем Дмитриевичем. Но — вычеркнул. И больше всего боялся, что придется с ним встретиться. Не за себя боялся, а за него — каково будет ему глянуть мне в глаза. А ведь — глянул.

Нас уже выгнали из правительственного дома на Спиридоновке, мы жили неподалеку, в двух комнатах огромной коммунальной квартиры в трехэтажном доме в Гранатном переулке. Уже прошла страшная осень 37-го года и не менее страшная зима, и уже шла весна 38-го. За это время меня успели выгнать из Детиздата, я ходил в безработных. Потом устроился в таком экзотическом учреждении, как Общество друзей зеленых насаждений, потом — хотя и с понижением — был возвращен в Детиздат как "жертва перегиба"; в феврале 38-го Сталин устроил очередное свое театральное действо: поставил на Пленуме ЦК вопрос о "некоторых перегибах"... Я снова окунулся в издательскую жизнь, а потом наступил день, который никогда не забывается. Последний день на воле.

Это было 18 апреля 1938 года. Он был для меня очень хлопотливым. Приехал в Москву Маршак, жил он в санатории "Узкое", и я с утра поехал к нему обсуждать план издания научно-популярных

книг для детей. Самуил Яковлевич был человеком обстоятельным и неторопящимся. Свои размышления о темах познавательных книг он перебивал воспоминаниями о Горьком, читал стихи Пушкина и свои собственные, кормил меня обедом, и кончилось это тем, что ему надо было уезжать в город, а обсуждение плана мы так и не закончили.

— Едемте со мной, — решительно сказал Маршак. — Дома у меня еще немного посидим и закончим.

Уже в городе я хотел спросить Самуила Яковлевича, в какой гостинице он остановился, но увидел, что машина подъезжает к хорошо мне знакомому дому на Новинском. И тогда я догадался, где остановился Маршак. Ведь его сын женился на дочери Сперанского, и мы сейчас будем в хорошо знакомой мне квартире Алексея Дмитриевича.

В квартире было тихо, не было слышно громкого хозяйского голоса, и я понял, что мне повезло: Сперанского нет дома.

В его кабинете расположился Маршак, он сразу же начал извлекать из своего огромного портфеля книги, рукописи, листки бумаги, исписанные его замечательно разборчивым почерком. И мы уже почти заканчивали наши дела, когда открылась дверь и вошел Алексей Дмитриевич.

— А, Лева, здравствуй, — приветствовал он меня так, как будто мы вчера с ним виделись. Потом он поострил насчет "Узкого", спросил меня, видел ли я только вышедшую книгу Блока, и ушел. И в глаза мне посмотрел, и, как всегда, похохатывал, и острил, и не было на его некрасивом и выразительном лице ни тени смущения.

И я подумал, что я скажу Шуру Вишневному, когда он — как почти ежедневно — вечером придет на Гранатный. Но Шура в этот вечер не пришел, а других вечеров для разговора с ним — не оказалось.

И тут мне, очевидно, надо рассказать о Вишневром. Об этом человеке уже созданы устные и письменные рассказы, написано множество воспоминаний и вышла даже целая одоподобная книга Наталии Петровны Кончаловской. Но в период моей короткой, но жаркой дружбы с ним он не был ни академиком, ни генерал-полковником, ни депутатом, и не красовалось на нем еще ни одного ордена, и не было еще создано о нем ни одной легенды. Даже чаще его звали Шурой, нежели Александром Александровичем. Хотя уже тогда он был доктором наук и тем, кем, собственно, и остался: учеником своего отца и хорошим хирургом.

Познакомились мы с ним благодаря Сперанскому. Сильно, почти смертельно заболела Оксана. И, со всегдашней своей решительностью, Сперанский повыгонял всех знаменитых кремлевских врачей и привел в дом Александра Васильевича Вишневрого. Было что-то надежное и успокаивающее в этом грузном, немногословном докторе — так он был похож на старого, дореволюционного, провинциального, настоящего, универсального врача. Он начал лечить Оксану, через несколько дней привел для продолжения лечения своего сына-врача и после того, как Оксана быстро выздоровела, — исчез. А Шура Вишневрокий — остался. И остался уже не в качестве врача, а становившегося все ближе и ближе — друга.

Ничем — ни внешне, ни внутренне — не был похож молодой Вишневский на своего отца. Маленький, тщедушный, похожий на цыпленка, он очень страдал от того, что никто в нем не признает никакой значительности. Без всякого юмора, а почти горестно он рассказывал, что когда приходит в научное общество делать доклад, то швейцар ему строго указывает на раздевалку для студентов... Действительно, в нем не было никаких примет сколько-нибудь профессорской солидности. Помню, мы обедали в Волынском, когда в панике позвонила Алла Константиновна Тарасова, что очень плохо Москвину, который к тому времени успел уйти к ней от старой жены. Софья Александровна сказала, что тут сидит профессор Вишневский, которого я немедленно привезу к ней.

С изрядно подвыпившим Вишневским мы поднялись по лестнице к квартире Тарасовой, которая тогда жила на Страстной площади, и позвонили. Дверь открыла сама Алла Константиновна в довольно затрапезном виде, в переднике. Маленький Шура поднялся на цыпочки, потрепал высокую Тарасову по щечке и важно спросил: "А где, голубушка, хозяин?" Алла Константиновна схватила меня и оттащила в сторону: "Боже мой! Где же профессор Вишневский?.."

Но при всем этом Шура Вишневский был по-настоящему большим хирургом, свою медицину любившим больше всего. Он был одним из первых, кто начал удачно оперировать рак пищевода. Носился с этим, только об этом мог рассказывать часами. Однажды уговорил меня поехать на операцию, которая меня потрясла ужасом распрошеного человеческого тела и тем, что Вишневский во время операции разговаривал с больным, у которого он только что взрезал спину и вырезал два ребра, — все свои операции Вишневский проводил — как верный сын своего отца — под местной анестезией. Кроме того, он лечил самых экзотических больных "блокадой по Вишневскому", жил в лепрозории, где лечил прокаженных. Рассказчик он был превосходный, и я удивляюсь тому, что его воспоминания о полевой хирургии написаны без присущего ему литературного блеска. Вероятно, потому, что к этому времени он уже ходил в генеральских чинах и записи эти ему писал какой-нибудь помогайло.

Но больше всего меня в Шуре привлекало его презрение к званиям, чинам, орденам... Он высмеивал их тогда, когда мы встречались в элитном, высокочинном доме Москвина. И уже совершенно не сдерживался, когда мы из этого дома переехали в коммуналку на Гранатном.

Шура Вишневский оказался чуть ли не единственным моим другом, которого не испугала обрушившаяся на нас беда. Больше того: почти все свои свободные вечера он стал проводить у нас. Ко мне и Оксане присоединилась приехавшая из Парижа (где она служила в посольстве) Елена, и мы проводили все вечера вместе. И проводили отнюдь не в рыданиях, а скорее в веселье, которое, как я сейчас понимаю, носило эйфорический характер. Впрочем, такие взрывы веселья, "пиры во время чумы", очевидно, правомерны. Взрывы веселья и неудержимого хохота охватывали население 29-й камеры Бутырской тюрьмы; и, когда впоследствии перечитывал "Боги жаждут", я удивлялся тому, откуда мог Франс так точно узнать, как истерически весело вели себя узники тюрьмы Консьер-

жери, которых почти неизбежно ожидала Гревская площадь.

Да, мы шутили, играли в карты и всякие занимательные игры, гадали на всем, на чем только можно было гадать, и распивали вино, припасенное мной или принесенное Шурой. А когда нам не хватало, то Вишневецкий писал рецепт на спирт, ставил свою печать, я бежал в аптеку у Никитских ворот и там получал (бесплатно!) этот необходимый для наших вечеров материал.

Вот на этих, почти ежедневных, встречах на Гранатном Шура Вишневецкий уже давал полную волю своим чувствам по отношению к начальникам всех мастей и рангов, не исключая самого наивысшего. И он поливал всех тех знаменитых врачей, которые гнались за званиями, орденами и прочими цацками. И издевался над моей партийностью. Я думаю, что тогда он говорил искренне.

Ни во время моего короткого "окошка" между двумя сидениями, ни тогда, когда в 55-м году я окончательно вернулся в Москву, у меня не возникло желания увидеться со старым моим другом. К этому времени он уже вознесся на вершину социальной лестницы. И имел все, что так прежде презирал: большой генеральский чин, уйму орденов, множество всяких званий, директорство в огромном институте и невероятно большое "паблисити" в печати. И он, шпынявший меня моей партийностью, был делегатом партийных больших и малых съездов, членом Московского комитета и пр. и пр. И я понимал, что у него обязательно возникнет ощущение какой-то неловкости передо мною, и не хотел этого. Тем более что он же знал, что я в Москве. У нас были общие знакомые, он оперировал, а затем и дружил с Шурой Кроном и знал от него о том, что я живу в одном с ним городе. Так ведь не разыскивал...

И все же я к нему первый пришел. Не от хорошей жизни. Это было уже в 68-м году. У моей дочери Наташи появилось что-то насмерть перепугавшее, и жена меня погнала в институт Вишневецкого, от нашего дома в нескольких минутах ходьбы. Я позвонил предварительно его жене, и Шура был предупрежден о моем приходе. Он встретил меня точно так, как когда-то меня встретил Сперанский, — будто только вчера мы расстались... Конечно, он погоревал о гибели Оксаны, расспрашивал о Елене. Но все это — быстро, деловито, перемежая генеральскими, почти матерными окриками на подчиненных медиков, являвшихся к нему в кабинет, увешанный клетками со всякими птицами. Мне он предпочитал больше рассказывать об этих птицах, нежели расспрашивать про то, что происходило и происходит со мной. С Наташей он был мил, сам ее смотрел, сам делал небольшую операцию, отпустил, передавал привет...

И все. Нет, мы еще иногда встречались. Случайно, в Союзе писателей, где он любил иногда выступать. Он быстро и неловко целовался и, неизвестно кем возмущаясь, говорил: "Почему мы не видимся? Надо встретиться и поговорить!"

Однако ничего сам для этого не делал, ну а мне это делать было неуместно. Да и о чем мы могли с ним теперь "поговорить"? У каждого из нас была своя и непохожая, несомвместимая жизнь. Шура получал очередные звания, ордена, давал интервью, писал статьи и книги; ездил на конгрессы, принимал знатных иностранцев, ходил на правительственные и дипломатические приемы, на все премьеры

и вернисажи, на все сверхэлитные банкеты, играл в теннис, разводился, женился и мгновенно умер, как бы споткнувшись в этом непрестанном, неудержимом беге.

Когда я вспоминаю его, испытываю к нему никогда не проходящее чувство благодарности за десять месяцев нашей дружбы и какую-то жалость к нему за его непохожесть на отца, за неестественную суетность жизни.

В рассказе об артистах и врачах я отвлекся от человека, который бывал на Спиридоновке столь часто и естественно, что его невозможно причислить к "гостям".

Почти каждую неделю приезжал один или с женой Глеб Иванович. Вот это был человек совершенно другого сорта, нежели Иван Михайлович.

Глеб Иванович не принимал участия в застольном шумстве, но с удовольствием прислушивался к нему и никого не стеснял. Сидел, пил вино или что-либо покрепче и курил одну за другой сигареты, которые он тут же скручивал из какого-то ароматного табака и желтой турецкой бумаги. Глеб Иванович был человеком совершенно непохожим на других "старболов". В отличие от Ивана Михайловича, никогда не вел аскетической жизни. Но зато имел свои "странности". Никогда никому не пожимал руки, отказывался от всех привилегий своего положения, дачи, курортов и пр. Вместе с группой своих сотрудников арендовал дачу под Москвой, в Кучине, и на лето снимал у какого-то турка деревенский дом в Махинджаури, под Батумом. Жил с женой и старшей дочерью в крошечной трехкомнатной квартире, родные и знакомые даже не могли подумать о том, чтобы воспользоваться для своих надобностей его казенной машиной. Зимой и летом ходил в плаще и мятой фуражке, и даже в дождь и снег на его открытом "паккарде" никогда не натягивался верх.

Его суждения о людях были категоричны и основывались на каких-то деталях, для него решающих.

— Литвинов, — говорил он, — Литвинов — человек, с которым нельзя иметь дело и которому нельзя верить. Представьте, в двадцать втором году я ему сказал, что у него плохо охраняется комната, где находится сейф с секретными документами, и что кончится тем, что их у него свистнут... Литвинов расхохотался, и тогда я предложил ему пари на бутылку французского коньяка, что я у него документы из сейфа выкраду. Ударили по рукам. После этого он делает то, что уже было непорядочным: поставил у дверей комнаты, которая раньше не охранялась, часового. Ну, все равно, конечно: мои люди залезли в комнату, вскрыли сейф и забрали документы. Я посылаю эти документы Литвинову и пишу ему, чтобы прислал проигранный коньяк. И представьте себе: на другой день мне звонит Ленин и говорит, что к нему поступила жалоба Литвинова, что я взломал его сейф и выкрал секретные материалы. ...Можно ли после этого верить подобному человеку?..

Но при всех некоторых странностях Глеба Ивановича было в нем какое-то обаяние. Больше всего это ощущали, конечно, женщины. Даже такие железные женщины, как Елена Дмитриевна Стасова и Екатерина Ивановна Калинина, говорили мне, что не встречали мужчин более обаятельных, нежели Глеб Иванович. Впрочем, Бокий умел

обаять не только женщин, но и мужчин. Смешно, что одним из таких был не кто иной, как Федор Иванович Шаляпин.

Мы знали, что Глеб Иванович был не только знаком, но и дружен с Шаляпиным. Дома у него были все без исключения пластинки, напетые Шаляпиным, и ему привозили из-за границы каждый новый диск великого певца. Но мне в 36-м году попалась книга воспоминаний Шаляпина "Маска и душа". У нас публикуется первая ее часть, излагающая артистическое кредо Шаляпина. Вторая же часть никогда не издается, она содержит воспоминания артиста о своей жизни при Советской власти, и там он честит эту власть, а также всех большевистских сановников всеми словами, какие только возможны в печати. Занятно было, что в этой книге он пишет о Москвине и Бокии. Москвина, которого он называет "Петроградский губернатор Москвин", он обзывает самыми ругательными словами за то, что тот запретил вывешивать какую-то афишу о его концерте. А вот о чекисте Бокии Шаляпин пишет много и так, что можно только диву даваться, как мог такое Шаляпин написать!

Шаляпин пишет, что однажды после концерта ему передали вместе с букетом цветов огромную корзину коллекционных драгоценных вин. А вслед за этим за кулисы пришел человек, сделавший такой удивительный подарок, — скромный, тихий и обаятельный, он вел за руку маленькую девочку... Это был председатель Петроградской ЧК Глеб Иванович Бокий. И хотя, — продолжал вспоминать Шаляпин, — о нем ходили и ходят легенды как о кровавом садисте, я утверждаю, что это — ложь, что Глеб Бокий один из самых милых и обаятельных людей, которых я встречал... И, — продолжал Шаляпин, — я дружил с ним и рад, что у меня в жизни была такая дружба...

Я тогда имел возможность сверить мемуары с действительностью. Я спросил, насколько этот рассказ соответствует истине? Глеб Иванович усмехнулся и ответил:

— Ну, было не совсем так. По Питеру шаталась группка матросов в поисках чего бы выпить... Ну, кому-то из них пришла в голову трезвая мысль, что у Шаляпина обязательно должна быть выпивка. Адрес Шаляпина был известен, они завалились на квартиру Шаляпина, заявили, что они агенты ЧК и ищут оружие, обшарили квартиру, нашли, конечно, немалое количество нужных им бутылочек, забрали и с торжеством ушли. Шаляпин поднял по этому поводу страшный крик. И я, для успокоения Федора Ивановича, приказал собрать для него корзину вина из дворцовых запасов и отослать ему за кулисы. И для проверки этого зашел к нему. Ну и познакомиться захотелось — очень я любил этого артиста. А потом действительно подружились...

Вопреки тому, что озлобленный Шаляпин писал в своих воспоминаниях, он вовсе не чурался общения с советскими вождями, дружил не только с Бокием, но и с Демьяном Бедным, да и, выехав за границу, не только вел себя лояльно по отношению к Советской власти, но и гордился тем, что у него не какой-то бесправный эмигрантский "нансеновский" паспорт, а самый настоящий. В маленьком правительственном санатории "Архангельское", приехав навестить жившую там Оксану, я познакомился с отдохавшим там нашим полпредом во Франции Раковским.

Красивый он был, вальяжный, очень привлекательный и общи-

тельный. С ним было легко и приятно знакомиться, разговаривать и расспрашивать об этой совершенно неведомой мне загранице. Зашел разговор и о Шаляпине. И он рассказал, как ему пришлось объявлять Шаляпину о лишении его советского подданства.

По словам Христиана Георгиевича, Шаляпин не давал никаких поводов для репрессий. Не принимал участия в эмигрантских акциях, радостно принимал приглашения на приемы в посольство, пел на вечерах и приемах, которые посольство устраивало по торжественным поводам. Никаких денег он эмигрантам не давал. Во-первых, потому, что совсем не любил давать кому бы то ни было свои деньги, и, во-вторых, потому, что вел себя по отношению к активной части белоэмигрантов очень осторожно. Но любил бывать в русской церкви, находившейся неподалеку от посольства, и иногда петь на клиросе вместе со знаменитым церковным хором Афонского. С этим хором, кстати, Шаляпин записал на диски и несколько дивных церковных концертов.

Церковь устроила для своих бедных прихожан, то есть, конечно, эмигрантов, платный концерт хора Афонского. И пригласила участвовать своего прихожанина Шаляпина. И тот, естественно, не отказался. Сам посол не придавал этому никакого значения, но в посольстве было достаточное количество осведомителей разного ранга. И они — доложили... Очевидно, в Москве указание о лишении Шаляпина советского паспорта было дано тем, чьи приказы не оспаривались. Христиан Георгиевич вызвал в посольство Шаляпина.

Я представляю, что Раковский объявлял Шаляпину этот жестокий и несправедливый приказ со всей мягкостью и тактичностью, на которую был способен. И тем не менее, рассказывал он, Шаляпин разрыдался. Его с трудом удалось успокоить, он вышел из посольства заплаканный и озлобленный, чтобы больше никогда не возвращаться ни в посольство, ни на Родину. Рассказывая об этом эпизоде, Раковский, понятное дело, не выражал никакого осуждения приказу из Москвы, но даже его ортодоксальным слушателям была очевидна дикая несправедливость по отношению к артисту и к русскому искусству. Впрочем, свое отношение к художественным ценностям Сталин доказал достаточно ясно, взрывая кремлевские храмы, разрушая художественные сокровища России, продавая американским миллионерам полотна Тициана и Рембрандта из государственных музеев. Но удивительно, что сейчас, когда Шаляпин канонизирован, когда его прах вернули на Родину, когда устраивают музей Шаляпина, везде обходится вот эта история: как отлучили его от родины, как сделали его эмигрантом. Удивительно, но рабский страх перед Сталиным живет в костях и жилах людей, которые не знали его, которым этот страх передан почти генетически! Поразительное подтверждение лысенковской теории о передаче по наследству благоприобретенных свойств...

А уже приближались сроки. 1937 год я с Оксаной встречал в Кремле у Осинских. Не помню, чтобы какая-нибудь встреча Нового года была такой веселой. Молодой, раскованный и свободный Андроников представлял нам весь олимп писателей и артистов; Николай

Макарович Олейников читал свои необыкновенные стихи и пел ораторию, текст которой состоял из одного слова — "Гвоздь"... И под управлением Валериана Валериановича Осинского мы пели все старые любимые наши песни, которые мы всегда пели во время вечеринок: "Колодников", "Славное море — священный Байкал", "По пыльной дороге телега несется...". Все эти тюремные песни из далекого и наивного прошлого. Которое не может повториться. Оно и не повторилось. Ибо то — будущее — было совсем другим.

Из большой и веселой компании, встречавшей тогда 1937 год, в живых осталось четыре человека: дочь Осинского — Света, которая была тогда еще маленькой девочкой; приятель Димы Осинского и мой — Петя Карлик, отбухавший свои десять лет в Норильске, тяжело больной Ираклий Андроников да я...

И прошел январь, и наступил февраль, которые я плохо помню, потому что очень болела, почти погибала Оксана. А когда все с ней успокоилось и я очнулся — началось... Арест, суд, расстрел всех наших богов-военачальников... Арест Рудзутака, и еще, и еще... Не помню: происходили ли тогда у нас какие-то разговоры об этом с Иваном Михайловичем. Кажется — не было. Жизнь проходила по-старому, Оксана выздоровела, и мы как-то лихорадочно наверстывали пропущенное: гости, застолье, хмельное шумство за столом.

7 июня Глеба Ивановича вызвал к себе новый нарком внутренних дел и Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов. Из кабинета Ежова Глеб Иванович не вернулся. Иван Михайлович приезжал с работы поздно, заставлял почти всегда гостей, садился за стол, как всегда, непроницаемо оживленный. Почти никогда я в эту последнюю неделю не оставался с ним наедине, чтобы спросить. Что спросить? Хотел, чтобы он ответил мне на страшные возникающие вопросы. Да не успел.

14 июня в Театре Вахтангова была премьера. Главную роль играл наш приятель Володя Москвин. Премьера прошла с успехом, мы дождались, когда он разгримировался, и — как мы договорились — пошли все вместе на Спиридоновку. Была дивная ночь лета, мы шли домой, смеясь и дурачась, — прятались за этим весельем от ужаса, уже прочно поселившегося в нас.

Поднялись на площадку и позвонили. Дверь открыла не наша Клава, а незнакомый военный в энкавэдэвской фуражке. Фельдгегерь, подумал я, удивляясь любезности, с которой он нас пропускает вперед. Но почему-то в прихожей оказалось много фельдгегерей... В дверях столовой показалось белое, застывшее лицо Софьи Александровны, и я сразу же понял, что происходит...

Любезные "фельдгегери" пропустили нас в столовую и сказали, чтобы мы вели себя тихо... За столом сидели окаменевший Николай Николаевич Озеров и наши старые добрые друзья — Вознесенские. Хозяин — Иван Михайлович — еще не вернулся с работы. Голубые фуражки уже копошились внутри кабинета, другие фуражки дежурили у дверей, у телефона, наблюдали за присутствующими. Володя Москвин сел за стол, взял в руки бутылку коньяка и повернулся к командовавшему этой операцией чину:

— Вы! Пить можно?

— Если только не хулиганить...

Володя усмехнулся и налил себе и мне. Остальные гости не проронили ни слова и не притрагивались к напиткам и закускам. Мы с Володей успели выпить всего несколько рюмок, как послышался звонок в двери — приехал Иван Михайлович. Голубые фуражки встретили его в передней и с эскортом проводили в кабинет. Бледный и спокойный Москвин на ходу здоровался с гостями. Через некоторое время вызвали Софью Александровну, а еще минут через десять Иван Михайлович вышел из кабинета, за ним экавэдэшник нес узелок с тем маленьким набором вещей, которые можно взять при аресте. Он попрощался с каждым из нас с какой-то виноватой улыбкой, как бы извиняясь за неприятность, которую нам доставил. Машина зарычала под окном. Гостям предложили уйти, и через строй оперативников (их почему-то прибавилось) они, съжившись, пошли к двери. Володя допил бутылку коньяка и в дверях обернулся ко мне:

— Где мы встретимся? Может, там?

Я пожал плечами. Потом Софье Александровне очень вежливо предложили проехать в Волынское для обыска. Когда она хотела взять не плащ, а летнее пальто, начальник удивленно сказал:

— Зачем? Сейчас тепло, самое позднее через час мы вернемся обратно.

В кабинете, чужом и недоступном, шел обыск. Оксана была около ребенка, я один сидел за столом, хмель меня не разбирал. Через час вернулся командующий "операцией". На вопрос, где же Софья Александровна, он удивленно поднял брови:

— То есть как где? Она арестована.

Это был мой первый опыт столкновения с жестокостью, причины которой я не мог понять. Почему надо было немолодую и нездоровую женщину забирать в тюрьму даже без маленького узелка с бельем и туалетными принадлежностями, которые всегда, со времен фараонов, разрешалось брать с собой? И последующих передач не было. И писем не было. Ничего не было. Софья Александровна умерла через год или полтора в Потьме, в лагере для чесеиров — членов семей изменников родины, так и не узнав ничего о судьбе мужа, дочери, внучки, всех близких и далеких, от которых ее оторвали.

Каждый из нас многожды старался себе представить, как вели себя близкие нам люди прежде, чем их палачи вытащили на смерть. Я никогда не узнаю о том, как проходили допросы Ивана Михайловича, но почти уверен, что его мучили, сильно пытали — в нем было то упрямство, которое палаческих дел мастеров крайне раздражает.

Через почти десять лет, когда один мой срок кончился, а второй еще не наступил, я, презрев все законоположения, на которые я, как опытный арестант, плевать хотел, приехал в Москву. И побывал у Любови Васильевны Москвиной. Она жила одна в большой, все еще ушеданной картинами квартире. Иван Михайлович ушел от нее к еще молодой и красивой Тарасовой. Федя погиб на войне, Володя продолжал тяжко пить.

Любовь Васильевна поплакала над сыновьями, Софьей Александровной, Оксаной, над собой. Потом, когда выплакалась, сказала:

— Какая странная судьба у двух Москвиных, у двух Иванов Ми-

хайловичей. Ваш Иван Михайлович жил как аскет и всю жизнь много и тяжело работал. Не знаю и не понимаю, для чего. А мой Иван любил только себя, свое искусство, при всех правительствах он сладко пил и ел, любил женщин, плевал на любую политику... И вот он народный, богатый, депутат вашего Верховного Совета, наверное, за руку здороваётся со Сталиным. А ваш... Вспомнят ли его когда-нибудь?

Нет, не вспомнили и, наверное, не вспомнят. И мы никогда не получим ни от Ивана Михайловича, ни от Глеба Ивановича, ни от всего их поколения ответа на вопрос: когда, в какой момент их жизни — на воле, в тюрьме, на выводе — поняли они, какую смерть они уготовили себе и какую жизнь тем, кто остался жив?

Не следует рассматривать эти воспоминания как биографию И.М. Москвина. В них нет элемента исследования, а только личные впечатления. И писались они в период, когда о Москвине ничего не было известно. Это в последние четыре-пять лет появились статьи о нем, из которых я узнал многие подробности его жизни, увидел его фотографию.

Но автор считал, что ему не следует ничего менять в воспоминаниях, написанных почти два десятка лет назад. Ибо в них запечатлелся не только уровень его тогдашних знаний, но и душевное состояние в момент сочинения этих рассказов, его оценка людей и событий. Не внес автор изменений и в другие рассказы и поэтому просит простить ему и отдельные неточности, и то, что он пишет как о живых — о людях, давно ушедших из жизни. Ибо жанр этого сочинения — рассказы. Автобиографические, но — рассказы.

Что я пишу? Показания? Так именно я думал, когда начинал это сочинение. Но быстро понял, что это не так. Показания должны быть ответами на ясные вопросы. А я перескакиваю с одного на другое, не стесняюсь своих симпатий и антипатий, не только излагаю факты, но и пытаюсь их комментировать. Значит, воспоминания? Но то, о чем я собираюсь сейчас писать, не совсем — как пишут литературоведы — "отвечает требованиям жанра". Скорее, это продолжение размышлений на тему: "Что это было? Как это случилось?" Этими размышлениями я занимался постоянно, как только оставался наедине с собой: и в долгой подконвойной дороге на лесосеку; и в одиночке ставропольской внутренней тюрьмы; и в многочасовых хождениях бесконвойного заключенного по безмолвному, безжизненному северному лесу. Эта лента воспоминаний и размышлений прокручивается и сейчас, во время моих постинфарктных прогулок по пресненскому скверу.

Было бы неискренне пытаться выдать то, что я сейчас пишу, за простую запись моих размышлений в 1939, 1950 и 1956 годы... За эти годы я многое узнал, на многое изменил точку зрения. Мудрее не стал, но, безусловно, стал опытнее. Вероятно, и сейчас я не имею права сказать — даже самому себе — что знаю ответы на вопросы: "Что это было? Как это случилось?" Я не настолько самоуверен. Но, как всякий очевидец и участник, я имею возможность и обязанность рассказать еще об одной части драмы, случившейся со мной и моим поколением.

Я имею в виду не то, что нас убивали, сажали, ссылали, — это дело обыкновенное, так бывало и до того, как нас посадили, и после того, как нас освободили. Говоря о драме своего поколения, я думаю о том, что в беллетристике прошлого пышно называлось "крушением идеалов"... На наших глазах гибли боги, которых мы — как это и положено по нашему материалистическому мировоззрению — сами создали. Под "богами" я разумею не идеи и не застывшие великие личности прошлого, а наших современников, живых, совершенно реальных людей.

Для моего поколения (я, конечно, говорю о том слое, представителем которого я был) такими живыми "богами" были политики, поднявшиеся на иерархическую ступеньку "вождей" и "соратников", и те, кто именовались героями гражданской войны. Удивительно, что, несмотря на наш искренний демократизм, мы никогда не подзревали в героизме рядовых участников гражданской войны. Нет, в героях у нас ходили только военачальники! Конечно, наше восхи-

щение вызывал любой человек, у которого на гимнастерке, френче, толстовке, пиджаке был приколот орден Красного Знамени — очень редкая тогда награда. Но, вспоминая сейчас прошлое, я отчетливо понимаю, что в разряд героев у нас входили люди только от комбрига и выше. Признание нами их божественной сущности было искренним. С политиками дело обстояло несколько сложнее. Уж очень быстро мы начинали понимать, что политики — боги еще более приземленные, чем мы, простые и грешные люди. Книги — от Светония до Покровского — убеждали меня, что они мелко плутуют; отказываются от своих слов и обещаний; занимаются интригами и подсиживанием; что они обладают необыкновенным умением сочетать стремление к личной власти с борьбой за очень высокие и очень благородные идеи. Я знал близко многих крупных деятелей партии. Среди них были образованные и умные люди, которых украшали такие превосходные человеческие качества, как бескорыстие, скромность, простота. Но все они были политиками — то есть слово их не стоило ломаного гроша. Они безропотно подчинялись чему-то, сила их была только кажущейся, за ней ничего не стояло. Чувство их зависимости бросалось в глаза с очевидностью, ясной даже для такого молодого и увлеченного политикой человека, каким был тогда я. Не имело значения, что за ними ходили охранники, а при выступлениях им устраивали овации. На наших глазах множество "богов" неохотно, но быстро слезало с божественной горы и отправлялось в низину. Парторгами заводов, управляющими курортами, директорами музеев.

С военными этого не случалось. Даже уходя в отставку, они продолжали оставаться нашими героями. Да что говорить. Ими любовались люди поумнее нас, позорче, чем мы.

Ах, как нравился Тимошенко Бабелю! С каким наслаждением он рисовал "красоту гигантского его тела... пурпур рейтуз, малиновую шапочку, сбитую набок, ордена, вколоченные в грудь". "Облитый духами и похожий на Петра Великого", прославленный начдив шесть диктовал приказы: "...какое уничтожение возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронте не первый месяц, не можете сомневаться..."

Мне не пришлось лично знать угрюмого, туповатого и неудачливого маршала Тимошенко, который с беспомощным отчаянием смотрел, как крошечные отряды финских егерей громят наши большие соединения; как немецкие танковые дивизии отрезают, уничтожают и берут в плен целые армии фронта, которым он командовал. Из наркомов, из главнокомандующих, из маршалов он ушел в ничто, в неизвестность, на страницы скучных, никем не читаемых монографий и диссертаций. И остался навсегда в русской литературе живым, веселым и пленительным Савицким, изображенным Бабелем не только с живым интересом, но и с нескрываемой любовью. Я не знал ни начдива шесть, ни народного комиссара обороны и не могу поверять героя моей любимой книги реальным человеком.

А вот "прославленного и пленительного Книгу" я знал. И довольно хорошо. В годы моей жизни в Ставрополе бывший адъютант командира ставропольских партизан, а ныне начальник управления Крайпищепрома Иван Иванович Иванько решил написать книгу о

гражданской войне и нанял меня в "литературные негры". Для этого он меня познакомил с генерал-майором в отставке Василием Ивановичем Книгой. И я много дней провел в особнячке бывшего командира ставропольских партизан, а затем прославленного Бабелем начдива.

Василий Иванович был суетливый человек невысокого роста, даже дома ходивший хоть в подштанниках, но с генеральскими погонами. У него была молодайка жена, огромный сад, необхватный огород, коровы, гуси, куры, свинки и подсвинки. Кроме того, раз в месяц он садился в свою личную машину, и личный шофер возил его по тем ставропольским колхозам, которые носили его имя. Оттуда, вслед за его трофейным "хорхом", шел колхозный грузовичок, полный подарков — щедрот обильной ставропольской земли.

В пренебрежительном забвении, в котором он пребывал, ему льстил интерес к нему человека, которого Иван Иванович ему представил как "московского писателя". Отдав хозяйственные распоряжения, он меня усаживал за стол, наливал в чашку саксонского фарфора водку, настоянную на чесноке, ошарашивал ее и, поглаживая потрясающей красоты усы, начинал рассказывать. О гражданской войне, да и вообще о всякой другой войне, он рассказывать не то что не любил, а не умел. "Тут мы как врезали им!.. А потом мы их порубали!.. Ну, мы от них драпали, пока кони не пристали. Тут пришлось драться..." Интереснее всего были его рассказы о том, как он был гостем у царя. Василий Иванович Книга стал первым полным георгиевским кавалером на Юго-Западном фронте, а знаменитый Козьма Крючков на Западном. Обоих привезли на целую неделю к царю.

— Ну, и как вы гостили у него?

— Хорошо гостили! Каждое утро нас банили, брили, глаженую одежду давали, генералы нас крутили, ниточки, какие болтались, снимали... А потом в залу. Мы сидим как статуи какой, фуражка на левой руке... А потом раскрываются обе двери, входит государь, ну тут мы, конечно, вскакиваем, здоровкаемся как положено... А царь так поклонится нам, сядет в креслице, тут ему лакей серебряный поднос, на ем серебряная фляжка и серебряная рюмка. Государь так тронет ус, выпьет рюмку и скажет: "Ну, казачки, рассказывайте"... Я-то не мастак был говорить, зато Козьма — тот, эх, был говорун! Заведет — заслушаешься. И как он немцев и шашкой, и пикой, и сапогом по морде... А царь так гладит усы и рюмочку за рюмочкой... А через полчаса сделает так ручкой, и нам, значит, подносят на серебряном подносе по цельному стакану — тож из чистого серебра. Мы жахнем — а тут надобно было, чтобы опрокинуть разом, секунд в секунд, — потом: "Покорно благодарим, ваше императорское величество!" И государь уходит.

— А назавтра?

— А назавтра так же само. И так — цельную неделю. А потом царь с нами по ручке попрощался. И мы на фронт. Ну, там я цельный месяц пил с офицерами да генералами. Как же — царский гость!

Гражданская война не оставила у Василия Ивановича таких ярких воспоминаний. А о Великой Отечественной он вспоминать и вовсе не любил... Да и то сказать... Во время знаменито-несчастной

операции на Крымском полуострове Книге поручили командовать конницей, которую зачем-то согнали туда видимо-невидимо. Обработанные немцы двинули на наши конные дивизии танки. Василий Иванович — как это он делал раньше — построил свою дивизию в ранжир, выехал вперед, скомандовал: "Шашки вон!" — и кинулся на танки... Его — легко раненного — удалось вывезти на кукурузнике. А конница вся полегла под гусеницами немецких танков. После этого было приказано самим Верховным — Книгу близко к фронту не подпускать. И до конца войны остался он только генерал-майором и матерно крыл своих более удачливых товарищей. А Верховный Книгу не расстрелял, не разжаловал, я этому уже тогда не удивлялся, знал по рассказам моих товарищей по Первому лагпункту о том, что служба в Первой Конной давала особые преимущества.

Но сколько я ни всматривался в своего занятого, суетного собеседника, я в нем не мог опознать и тени того, что делало его живой легендой в глазах Бабеля, в наших глазах, даже в глазах тех, кому он был знаком главным образом своими поборами. Ну, был не очень умный, глубоко невежественный, но лично храбрый человек, который в глазах Верховного обладал главным достоинством — он мог ему доверять. Такой — приказ выполнит, хотя бы это был приказ зарезать мать родную.

Я понимаю, что мифотворчество было одним из самых важных факторов, формирующих наше мировоззрение, вкусы, симпатии. Сейчас это мифотворчество не столь эффективно, хотя и использует невероятную по могуществу современную технику "запудривания мозгов". Но именно в 20-е годы, когда не было радио и телевидения, многомиллионных тиражей газет и журналов, когда не воздвигали бюсты живым людям, не издавались скороспелые книги о великих и величайших современниках, именно тогда и были созданы мифы о "легендарных полководцах".

Иногда в основе таких мифов вообще ничего не было. Наиболее характерным примером, конечно, является "первый красный офицер" — Ворошилов. Как бы тщательно мы ни изучали его биографию, в ней невозможно обнаружить и признака полководческих качеств. Рабочий, небольшой партийный функционер, он во время гражданской войны — наравне со многими десятками и сотнями партийных работников — был послан на политическую работу в армию. И достался-то ему не фронт, не армия и не дивизия даже, а небольшое полупартизанское соединение, которым командовал бывший драгунский вахмистр — Буденный. И началась его "легендарная" биография с боев на самой периферии войны — у волжского города Царицына, боев, которые не могли оказать никакого влияния на исход грандиозного сражения между красными и белыми. Но там его увидел Сталин, который в нем оценил главное, что он в людях искал: Ворошилову можно было доверять.

Поэтому, когда Сталину понадобилось заменить в Московском гарнизоне троцкиста Муралова своим надежным человеком, Ворошилов стал командующим столичным военным округом — должность очень важная во всех эпохах, во всех государствах, при всех царях. Затем, после загадочной или же незагадочной смерти Фрунзе, Ворошилов становится наркомом по военным и морским делам,

Председателем Реввоенсовета. Дальнейшая деятельность Ворошилова протекла на виду у всех и не давала никакого материала для продолжения легенды. Он на дивном вороном коне принимал парады на Красной площади; позировал Бродскому, Яр-Кравченко, Герасимову; почему-то считался знатоком искусства и покровительствовал художникам и актерам; подписывался под программными документами о преподавании истории; менял армейскую форму на флотскую во время маневров; и всюду и везде, на всех фотографиях появлялся рядом с человеком в длинной солдатской шинели, прячущим в знаменитые усы подобие Джокондовой улыбки.

Когда Ворошилов лишился почти всех талантливых полководцев, созидателей и руководителей армии, он мгновенно оказался слабым, растерянным, ничего не соображающим человеком. Воевать он просто-напросто не умел. В любом месте, куда его посылал Сталин, он проигрывал сражения, губил войска, боялся принять на себя ответственность за сколько-нибудь решительное действие. При жизни Сталина его берегло презрительное доверие вождя, а после смерти августейшего покровителя — знаменитая, передаваемая от поколения к поколению легенда о "первом красном офицере". Эта легенда выдержала даже тот единственный случай, когда он попробовал политиканствовать, был бесцеремонно выгнан Хрущевым, отсиживался (и отсиделся!) в ожидании лучших времен. Эти лучшие для него времена настали, они продолжались и после его смерти. Легенды лучше всего служат, когда исчезает сам объект легенды.

Мне пришлось познакомиться с Ворошиловым и иметь с ним длинный разговор по неприятному для него поводу. Кроме того, разговаривал о нем со многими людьми, хорошо его знавшими. Ворошилов был коварный и недобрый человек. Если не считать Молотова, никто из окружения Сталина с таким энтузиазмом не глумился над своими вчерашними друзьями, товарищами, помощниками, как Ворошилов. Он не только спокойно относился к уничтожению командования Красной Армии, но и принимал в этом восторженное, по своему усердию, участие. Он не только никогда ни за кого не заступился, но мелко услуживал даже оперодчикам.

Борис Дьяков во времена "реабилитанса" замахнулся было написать повествование о Блюхере и усердно собирал для этой книги материал. Значительно позже, когда он утратил всякую надежду на то, что такую книгу стоит писать, он по-соседски (мы тогда жили в одном доме) делился со мною кой-какими пикантными эпизодами из этих материалов. Я навсегда запомнил его рассказ об аресте Блюхера. Дьяков записал этот рассказ со слов вдовы Блюхера, с которой он познакомился на правах биографа посмертно реабилитированного маршала.

Блюхер был другом Ворошилова. Они были близки семьями, вместе старались проводить отдых, вместе охотились, пили. Командующий Особой Дальневосточной армией был встревожен телеграммой наркома о том, чтобы он выехал в Москву. И жену прихватил — дружески предложил Клим.

Блюхер с женой приехал в Москву в своем вагоне. Ворошилов

предложил Блюхеру с женой поехать отдохнуть на его дачу в Сочи. Там Блюхера и арестовали.

Я хочу понять, каким образом не только создалась легенда о Ворошилове, почему она существует, живет, развивается, обрастает книгами, альбомами, памятниками, стихами, поэмами — черт еще знает чем!

Значит, все эти наши тогдашние боги были — как и Ворошилов — самой обыкновенной липой, этакой дешевенькой легендой, которая, однажды возникнув, начинала жить самостоятельной жизнью? Нет, все же — нет! Все же военные были людьми, у которых сильно ощущалось чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в своем деле, накрепко усвоенная привычка не только командовать людьми, но и отвечать за них. И — постоянная готовность к неизвестному, тревожному будущему. Случилось так, что я многих военачальников знал довольно близко. Я имел эту возможность благодаря тому, что я родственно и душевно был связан с профессиональным военным — человеком крайне интересным и типичным для своего круга.

Мой двоюродный брат, Израиль Борисович Разгон, был самым знаменитым в нашем семейном клане. Сын мелкого музыканта, игравшего на еврейских свадьбах, он каким-то образом окончил коммерческое училище и даже стал студентом. Был он намного старше меня — в партию вступил в год моего рождения, в 1908 году. Молодость его была малозначительной, довольно типичной для его поколения. Участие в студенческих беспорядках, исключение, журналистская работа в легальной партийной и полупартийной прессе, попытка убедить Толстого примкнуть к революции (даже в Ясную Поляну к нему ходил), тюрьма, весьма либеральная ссылка на европейский Север — словом, все это было обычно.

Необычное началось во время первой мировой войны. Израиль добровольно уходит в армию, через год он уже имел полный "бант" — георгиевские солдатские кресты всех четырех степеней. Попал в плен под Перемышлем, бежал, произведен в прапорщики... Это была карьера, не совсем типичная для интеллигентного еврея из Бобруйска. Когда я с ним, уже став взрослым, близко сошелся, часто встречался, я понял, что он был военным человеком по призванию. Мир четких границ, дисциплины, быстрых решений, необходимость принимать на себя за них ответственность были наиболее для него близким и понятным миром.

Военная карьера Израиля была столь же бурной и беспокойной, как и все послереволюционные годы. Он комиссарил на Западном фронте, после войны окончил Академию РККА, был оставлен в ней комиссаром. Затем уехал в Бухарскую Народную Советскую Республику "назиром по военным делам" и главнокомандующим Бухарской народной армией. Потом отправился военным советником в Китай. Генерал Ольгин — как он там звался — достиг больших степеней... (Он руководил Военной академией на острове Вампу. Чжу-Дэ, Хо-Лун и прочие знаменитые китайские красные генералы были его учениками.) Вершиной его китайской карьеры была должность начальника политического управления Китайской народной армии. Я иногда рылся в груде фотографий, валявшихся у него в ящике

стола, и с понятным интересом разглядывал множество фотографий, где мой кузен был снят с Чан Кайши рядом, в обнимку, за столом с яствами, в походе... Объятия Чан Кайши не были прочными. Израиль, вместе с другими советскими советниками, после чанкайшистского переворота драпал от своего бывшего друга через Гоби... Я не могу вспомнить всех перипетий дальнейшей карьеры Израйля. Помню только, что когда я очнулся от всех переживаний юности, он оказался в морской форме... Был начальником Гидрографического управления, затем много лет заместителем командующего Черноморским флотом, заместителем командующего Балтийским флотом. В конце 1936 года был образован Народный комиссариат Военно-Морского Флота; Израиль был назначен членом коллегии и начальником Управления вооружения. Расстреляли его не позже конца 1937 года, через месяц-два после ареста.

Такова анкета моего двоюродного брата. Заанкетная часть его биографии и личности намного интереснее. Израиль был обаятельным человеком. Не только для меня, плененного его партийным стажем, бурной биографией, воинскими званиями, но и для всех, его знавших. И в том числе, а может быть в особенности, для женщин. Это было удивительным, потому что Израиль был похож не на какого-нибудь Печорина, а скорее на мелкого еврейского коммивояжера. Небольшого роста, плотный, на плечах без шеи сидит совершенно круглая, блестящая, без всяких признаков волос, голова. Крутой семитский нос, черные блестящие глаза, подбородок с родовой ямочкой... Был интеллигентен, любил стихи, много читал. При не самых крупных чинах и званиях, был близок со многими интереснейшими людьми своего времени. Политически? Не уверен. В 1923 году, когда Израиль комиссарил в Академии, я зашел к нему домой в Левшинский переулок. Израйля дома не было, в наиболее парадной из его двух комнат сидел на стуле обезьяноподобный человек, хорошо мне знакомый по фотографиям, и качал на коленях трехлетнюю дочку Израйля Галю. Гость расспрашивал девочку, кого и что она знает.

— А Сталина знаешь? — вдруг спросил он Галю.

Галя подумала, подумала и ответила:

— Нет.

— Ну, и дай тебе бог никогда его не знать, — серьезно сказал Радек.

Бог не оказался достаточно внимательным к Гале. Но связи Израйля, очевидно, не носили политического характера. Израиль в оппозициях не участвовал, к Троцкому был равнодушен, круг его друзей и знакомых все больше становился профессиональным.

Я думаю, что в Израйле наиболее ярко выраженной и привлекательной чертой было чувство собственного достоинства, отсутствие в нем и тени холуйства. Приезжая из Севастополя по делам, он иногда звонил и просил маму приготовить "настоящий еврейский обед". Мама была мастерица еврейской кухни: жирной, пряной, с обилием чеснока. Израиль с наслаждением обедался, даже когда ему предстояло ехать на доклад к Ворошилову, питавшему идиосинкразию к чесночному запаху. Когда однажды он спросил Израйля, не наедается ли тот нарочно чеснока, зная, что нарком не переносит его запаха, заместитель командующего флотом ответил, что у своей тетки

он обедает значительно реже, чем докладывает наркому, поэтому выбор его естествен.

На флоте его любили. За простоту и прямоту, за отсутствие флотского пижонства, за презрение к болтовне, жонглированию пустыми словами. В Севастополе мне командиры с восторгом рассказывали о "седьмом условии товарища Сталина" — термине, получившем широкое распространение на Черноморском флоте. А дело было так: приехал Израиль на строительство крупной береговой батареи, на собрании строителей начальник строительства докладывал о выполнении плана, который, очевидно, горел. Только недавно Сталин выступил с речью, где перечислил шесть условий, выполнение которых обеспечивало успешное завершение всякого и любого плана. Поэтому доклад начальника строительства был пересыпан словами: "на основе шести условий товарища Сталина", "руководствуясь шестью условиями товарища Сталина" и прочими многочисленными вариациями этого заклинания. Заместитель комфлота слушал доклад, наливаясь яростью. И вдруг не выдержал и крикнул докладчику: "А седьмое условие товарища Сталина вы знаете?" Начальник оторопело спросил: "Какое?" — "...голландским не надо быть!" — бешено закричал Израиль...

Почему-то Израиль ко мне питал симпатию. Поэтому я у него часто бывал дома, когда он жил в Москве, ездил к нему в Севастополь и Ленинград, да и сам он бывал у нас дома, а потом — когда я женился — у меня дома. Иногда приходил с друзьями. Мне были не только интересны, но и привлекательны эти люди. Такие, как Иван Кузьмич Кожанов. Для меня он был не столько командующим флотом, сколько тем командиром Каспийско-волжской флотилии, о котором я читал у Ларисы Рейснер, во многих воспоминаниях о гражданской войне. Был Кожанов спокоен, уверен, ироничен. Таким же был и другой друг Израиля — Николай Николаевич Петин, начальник инженеров РККА. И Кожанов, и Петин вышли из старого офицерского сословия, на них лежал отпечаток интеллигентности, полученной в семье, в привилегированных военно-учебных заведениях. Но я встречался у Израиля и с выходцами из низов, завоевавшими свое положение в армии незаурядным талантом, железной волей, умом.

Почему они дали себя убить, не делая никакой попытки сопротивляться, просто бежать, элементарно спасти свою жизнь? Неужели они не понимали, что их ждет? Конечно, известно, что существует обесиливающая атмосфера массового террора. В Варфоломеевскую ночь придворные шаркуны, пускавшие в ход шпагу лишь на парадных дуэлях, резали, как овец, закаленных в сражениях суровых гугенотов, составлявших лучшую часть французской армии. Из всех легендарных героев, которых арестовывали молодчики, всегда имевшие дело с безоружными, охваченными отчаянием людьми, только у Гая взбрыкнул его армянский темперамент. Когда его, арестованного, везли в обычном поезде, он малость придушил одного конвойного и выпрыгнул из поезда. Конечно, его нашли со сломанной ногой и после быстрых традиционных процедур застрелили. Но все же — он погиб не как овца, а как солдат.

На Втором лагпункте Устьвымлага пожилой доходяга рассказывал мне, как при нем арестовывали Кутякова. В 37-м Кутяков коман-

довал Приволжским округом, а доходяга был военным комендантом на маленькой станции, где и поезда-то останавливались лишь на две-три минуты. Получив телеграмму о том, что с таким-то поездом едет в Москву командующий округом, комендант посмотрел расписание и увидел, что поезд приходит в час ночи и стоит три минуты. Но мало ли что! Вдруг командующий посмотрит в окно, выйдет на платформу?.. Старый служака вздохнул и решил остаться на ночь в своей конторке, окна которой выходили на перрон.

В поздний ночной час подошел поезд, комендант с удовольствием удостоверился, что в последнем вагоне поезда — полубронированном вагоне командующего — темно, все спят и можно спокойно возвращаться. И в это время увидел, как к вагону подошла группа людей и сцепщик стал отцеплять последний вагон.

— Что, командующий здесь остается? — оторопело спросил комендант, подойдя к этим людям.

— А ну, пошел ты отсюда туда и туда, — вразумительно ответили ему.

И комендант сразу же понял, что происходит, ибо это было лето 37-го года и первичные основы грамотности уже спускались ниже наркомов, членов ЦК, командармов и комжоров. Военный комендант убежал в свою пристанционную комнатку и стал из окна смотреть на дальнейшее.

Вагон отцепили, поезд тихонько свистнул и ушел. Группа людей, обвитых портупьями, обвешанных кобурами, поднялась по вагонной лесенке и начала стучаться. В вагоне зажегся свет, дверь открылась и они зашли. Через некоторое время из вагона раздались общеупотребляемые крики гнева и возмущения, затем дверь открылась и ночные гости стали один за другим выпадать из вагона, подгоняемые пинками босой ноги. После того как мордой о перрон шлепнулся последний энкавэдэшник, в освещенном проеме показался командующий округом в подштанниках, с шашкой в руке. Потом дверь вагона захлопнулась...

“Проводившие операцию” отряхнулись и побежали на вокзал. Освещенный вагон стоял на главном пути, загораживая движение. Через какое-то время маневровый паровозик стал подходить к вагону, явно для того, чтобы увезти его на дальние пристанционные пути. Но не успел он приблизиться к преступному вагону, как по нему раздалась пулеметная очередь. Вагон командующего был изготовлен для поездок на фронт, он был полубронирован, его площадки были полностью бронированы и имели пулеметы с боевым запасом... Не удалась попытка приблизиться к отстреливаемому вагону и с другой стороны. Уже шел второй час неудачной “операции”, движение по важной железнодорожной магистрали было приостановлено.

Комендант увидел новую попытку. Теперь к вагону шел только один человек. На нем отсутствовали кобура и ремни, в поднятой руке он нес белый платок — не было сомнений, что это парламентар. В вагон он был пущен. Через десять минут он вышел из вагона и почти бегом пошел к своим товарищам, ожидавшим его у входа в вокзал. Дальше случилось нечто совершенно неожиданное для военного коменданта: “они” все бросились в его конторку.

— Давай, иди к командующему!

— Да я, да разве он меня...

— Давай, тебе говорят! Он тебя требует. Иди как положено!

Спорить не приходилось. Оцепеневший от страха комендант поправил гимнастерку и фуражку, принял уставно-молодцеватый вид и направился к вагону. Дверь в нем открылась, и он увидел Кутякова. Уже одетого, с прицепленной шашкой, с маузером в руке.

— Товарищ комкор, военный комендант станции по вашему приказанию прибыл. Докладываю...

— Ладно, ладно, давай без этих. Ты военный или же из этих б...?

— Я с восемнадцатого года, товарищ комкор...

— Где служил? В каких частях? В каких сражениях участвовал? Кто был командиром вашей армии и дивизии?

После того как Кутяков уверился, что комендант не "из этих", он ему сказал, чтобы он пошел на телеграф и по прямому проводу вызвал к аппарату Ворошилова... И чтобы задал ему сначала три вопроса. А затем доложил ситуацию и просил дальнейших указаний. Не дав ему задать вопрос, Кутяков устало сказал:

— Иди, иди — это они все сделают, вызовут... Твое дело задать вопросы и получить ответ. Ленту принесешь сюда.

В три или четыре часа ночи к аппарату подошел народный комиссар и маршал. Не помню все три вопроса, которые мне пересказал бывший комендант. Помню только один: "Кто жена тетки?" Очевидно, Кутяков был лично дружен с Ворошиловым, у них были общие друзья, со своими домашними кличками, и на вопросы Кутякова мог ответить только сам Ворошилов. Друг Кутякова ответил на все три вопроса и дальше передал: "Приказываю сдаваться и ехать в Москву, где я во всем сам разберусь и с ним поговорю".

— Пришел в вагон, отдал ему ленту, он одним духом ее прочитал и аж глаза закрыл... Тут я повернулся и убежал, даже не смог уйти, как положено по уставу... — закончил свой рассказ бывший комендант: немолодой, с дистрофически пухлым лицом, заросшим грязной, седой шерстью. Смерть уже витала над ним, и я ничем не мог помочь этому бедному человеку, как он сам ничем не мог помочь своему командующему, помощнику Чапаева, легендарному Кутякову...

Но неужели Кутяков верил своему другу Ворошилову, верил, что он "разберется", что все прояснится? Неужели умный, много видевший человек мог на что-то надеяться, когда позади уже были безвестные могилы первых маршалов и командармов, когда языки пожара убийств облизывали всю армию? Я думаю, они не то что верили в хороший исход, они действительно считали, что сумеют высказать, спросить, понять... Кутякова я не знал, но не мог сомневаться в уме, честности и бесстрашии Израила. Последние месяцы он провел в Москве, в зените своей военной карьеры, в огромной и пустой казенной квартире на Покровском бульваре. Никогда я прежде не видел его таким: мрачным, почерневшим от внутренних дум, от понимания того, что его может ждать. Но в одном он не сомневался. Последний раз я его видел за две-три недели до ареста. Я пришел к нему в кабинет, где он сидел за пустым письменным столом, и начал рассказывать о какой-то очередной страшной новости. Он устало махнул

рукой, давая мне знать, что новость эта ему уже известна. Долго молчал. Потом поднял голову и вдруг сказал:

— Но я им все, все скажу!..

Ну да — он считал, что когда вот это, ожидаемое, страшное, произойдет, то с ним будет разговаривать если не Ворошилов, то кто-то, во всяком случае, равный ему. По месту в партии, армии, возрасту, наконец... Они все себе представляли дело именно так.

У нас в бутырской камере был Осколков. Очень крупный, очень известный инженер, строитель Брянского, ныне Киевского, вокзала, нового Бородинского моста. Кажется, теперь на мосту даже есть бронзовая доска с его именем как строителя. Арестовали его, когда он был главным строителем ЦАГИ. Гроза 30-го года как-то не задела Осколкова. Но столько знакомых и друзей было у него среди "вредителей", "рамзинцев" и пр., что, когда его взяли и везли на Лубянку, он совершенно точно представлял себе, что его ждет: любезность, сменяемая скрытой угрозой; неторопливые и с обеих сторон уклончивые разговоры; хорошие папиросы, крепкий и свежий чай... Так именно происходило со всеми сидевшими друзьями, так стандартно начиналось у всех у них следствие.

Но когда в лифте на него надели наручники, Осколков вдруг понял, что происходит что-то не предусмотренное сценарием, который он так хорошо себе представлял. А дальше его привели в комнату, полную хохочущих молодых, здоровых ребят. Один из них обернулся к вошедшим и спросил, кого они привели. Даже не дождавшись, когда назовут фамилию Осколкова, он ловким и привычным ударом разбил Осколкову лицо, выбил передние зубы... И Осколков, с трудом поднимаясь с пола, накрепко понял, что старым схемам здесь не место...

Нет, не страстные споры, не попытки понять и убедить "тех" ждали Кутякова, Кожанова, Петина, Израиля и многих, многих других. Их ждали вот эти, здоровые молодые убийцы, их ждало выбивание из них пытками, физическим и моральным истязанием всего человеческого, их ждала пятиминутная издевательская процедура "трибунала", их ждала пьяная команда расстреливателей, которая в ту же ночь вытаскивала их из смертной камеры на неизвестную смерть.

На что они могли надеяться? На логику? На элементарную самоохранную логику, свойственную даже последнему бандиту, успешно живущему с помощью лишь первой сигнальной системы? Конечно, они все на это надеялись.

В сладкое время моего вожатского прошлого в нашем инструктивном лагере вожатых Замоскворецкого района военруком был командир со смешной фамилией Пострижигач. Наверное, эту фамилию я запомнил по одной из нескончаемых частушек, которые мы слагали:

Жили в лагере мы мило,
Очень весело нам было.
Но пришел Пострижигач
И начал нас он строго жать.

Наш военрук действительно был строг и драил нас изо всех сил. Я уже и думать о нем забыл, когда осенью 38-го года вдруг опознал Пострижигача в стриженном и худом малом в драповой командирской шинели с повязкой на рукаве. На рукаве было написано: "дежурный", что в Котласской центральной пересылке Ухт-печорских лагерей означало немалый чин. И Пострижигач узнал меня, что было совсем удивительно.

Он быстро и привычно расспросил меня: откуда, срок, статья, каким этапом пришел, знаешь ли, куда гонят? — затем приказал ждать и минут через двадцать принес мне полный котелок почти настоящего горохового супа. Пока я с помощью пострижигачевской же ложки уничтожал пахучее сладостное варево, Пострижигач мне быстро поведал свою биографию. Окончил Академию имени Фрунзе, получил назначение на Дальний Восток, был начальником штаба полка, потом стал командиром полка, затем был арестован.

— Как все другие. Понимаешь, ни одного командира полка в ОКДВА не осталось. Ни одного командира полка, ни одного комдива, о более старших уже не говорю. Нас столыпинскими таскали через добрый десяток пересылок, так что все разузнал — ни одного из наших не оставили! Начальников штабов полка и тех взяли. Ну ничего, жить можно везде. Видишь, и тут не пропал, дежурю по зоне, навожу порядок, сам сыт, других кормлю. Надо ждать. Ты ведь, Разгон, был головастый парень, политический парень! Ты смотри на меня и учись!

— А на что ты надеешься?

— Ох, вижу — впал в упадничество! Слушай, война неизбежна! Это я тебе говорю точно, и если ты сам меречаешь в политике, то должен это понимать. Война неизбежна, а без нас воевать нельзя!

— Уж так и нельзя?

— Ты в этом ничего не понимаешь! Помощника бухгалтера можно назначить бухгалтером, заместителя заведующего отделом — заведующим. А командира роты назначить командиром полка нельзя! Понимаешь, нельзя! Это я тебе говорю профессионально. Даже в гражданскую это было трудно, а теперь совершенно невозможно! Без нас, без командиров полков, без начальников штабов полков, нельзя воевать. Поэтому нас и не трогают!

— Так ведь тронули.

— Ну, с переляку. Может, наверху и было какое-то шевеление да задумки. Вот и размахнулись... Но есть такая штука — логика. От этой логики никуда никто не денется...

Кажется, она была последним прибежищем — эта проклятая логика, в которую верили истово, как верующий в Господа бога. И если не верили, то уж во всяком случае искали ее со страстью, потому что если эту логику не найти, то что же тогда оставалось?

В нашей 29-й камере Бутырок хватало интересных арестантов. Но один из них вызывал у меня особый интерес. Во-первых, своей биографией. Густав Дейч был сыном известного деятеля Второго Ин-

тернационала, лидера левых австрийских социал-демократов Юлиуса Дейча. Юлиус Дейч был одним из руководителей знаменитого восстания австрийских штурмовцев в Вене. И Густав — вместе со своим отцом — дрался в рабочих кварталах, вместе с уцелевшими штурмовцами бежал в Чехословакию, оттуда с отцом приехал в Советский Союз. Отец приехал на время — для свидания со Сталиным и другими лидерами партии, — сын приехал навсегда. Во всяком случае до тех пор, пока на его родине у власти не станут пролетарии. Густав, который по профессии был инженером-паровозником, категорически не желал работать на капиталистов. Он не был коммунистом, но с уважением относился к первому рабочему государству и предпочитал работать на рабочий класс. Его послали в Воронеж, где он жил со своей семьей и работал в железнодорожном депо.

Густав уже совершенно прилично говорил по-русски, он в камере переходил от одного компетентного собеседника к другому в неистовых поисках логики. Почему его арестовали? Его не подозревали ни в связях с прежними товарищами по Второму Интернационалу, ни в чем-либо другом, политическом. Просто обвинили в том, что запросто сыпал песок в буксы отремонтированных паровозов, дабы эти паровозы выходили из строя. Ну почему ему, отвечающему за ремонт и надежность паровозов, после ремонта сыпать песок в буксы? Где здесь элементарная логика? В Воронеже ему на следствии выбили все зубы. Потом привезли в Москву и в тюремной больнице сделали великолепные, не хуже, чем это могли сделать в Вене, вставные челюсти. Очень дорогие. Он в этом разбирается. Сделали такие зубы и на первом же допросе в Москве разбили их начисто. Где же здесь самая простая логика? Он сидит в тюрьме, и ему выбивают зубы, а его отец в это самое время является генералом республиканской армии в Испании, командует там всей береговой артиллерией. Юлиус Дейч стоит на самом левом фланге мировой социал-демократии, из всех социал-демократов — он наиболее горячий сторонник Советского Союза. Какая же логика в том, чтобы сына такого человека держать в тюрьме и выбивать у него зубы? Значит, все же произошла где-то ошибка, произошел сбой, и на волю он выйдет — иначе не может быть по самой логике вещей.

Густав остался в 29-й, когда меня перебросили в Бутырскую пересылку. Только два с лишним десятка лет спустя узнал, что Густав Дейч так и не успел найти искомую им логику. Его расстреляли. Не знаю я и судьбы другого искателя логики — полковника Пострижигача. Знаю только, что сам я перестал искать логику в происходящем — только потому и остался жив. А следовательно, сумел переступить через ступень этих поисков, которыми занимались все: одни больше, другие меньше. Логика действий надо было искать не у них, только у себя и только для себя.

Дочь Валериана Валериановича Осинского — Светлана — рассказала мне, что в эпоху реабилитации она разыскала одного человека, который сидел с ее отцом уже после того, как Валериан Валерианович выступал в качестве "свидетеля" на процессе, после того, как его — уже по окончании процесса — измолотили на допросах молодые убийцы, после того, как ему переломали ребра, отбили внутренности... Когда его — умнейшего и образованнейшего человека своего вре-

мени — сокамерники спросили, какую же логику поведения следует выбрать, он ответил: достойно ждать смерти... Сформулированный в "Архипелаге Гулаг" тезис: "Не проси и не надейся" — не придуман его автором, он выработался у каждого, кто с открытыми глазами пытался понять свое будущее.

В своих воспоминаниях генерал Горбатов высокомерно и безнравственно возлагал вину за лживые признания на тех, кто "признавался". Мне кажется, нельзя винить в этом не палачей, а жертвы. Горбатову просто повезло: у него был ленивый следователь или же такой, который не получил категорическое указание "дожать" подследственного. Вопрос о том, можно ли пыткой вынудить подписать на себя живое показание, достаточно сейчас исследован врачами, психологами и психиатрами. В нашем веке материала для подобных исследований было намного больше, чем в средние века. Можно вынудить! Поэтому я откидываю вопрос о том, "признавались" или не "признавались" на следствии самые мужественные люди, профессиональные солдаты, полководцы гражданской войны. Гораздо значительнее и интереснее было их поведение в тюрьме и лагере.

Я еще расскажу о своем первом тюремном старосте — комдиве И.А. Онуфриеве. Его мужественном спокойствии, юморе, доброте к сокамерникам. В Устьвымлаге мне пришлось близко соприкоснуться с несколькими крупными военачальниками, они давали достаточно материала для размышлений о том, могут ли люди такого сорта выдержать испытание тюрьмой и лагерем.

Из них остался сейчас в живых лишь один человек, и я не хочу называть его фамилию. Хотя в поведении его не было ничего позорящего. Просто, наблюдая его поведение в лагере, я не мог себя заставить поверить, что такие люди, как он, способны командовать воинскими соединениями, распоряжаться на поле боя, брать на себя ответственность за судьбы людей и сражений. В доарестантском прошлом он был командиром дивизии и пришел этапом на наш лагпункт тогда, когда уже не бытовики, а мы заправляли внутренней жизнью лагеря. Поэтому почти ни одного дня ему не пришлось побыть на общих работах. Но удивительное дело: он нигде и ни с чем не справлялся! Когда его назначили бригадиром, его не слушались даже самые последние лагерные шакалы; в десятниках его "брал за горло" любой зек; принимая лес на склады, он пропустил при сдаче несколько сот кубометров... Он с отчаянием говорил, что на воле он хорошо командовал дивизией, был уверен, что справится с корпусом, а здесь в лагере не в состоянии справиться с вшивой бригадой... Под конец его назначили на самую "блатную" работу — заведующим баней. При первой же очередной ревизии у него оказалась недостача в 22 пары белья. Надо было видеть то "белье", чтобы понять отсутствие проблем в подобной недостаче. Оторванная штанина кальсона и ворот рубашки при ревизии или инвентаризации вещдвовольствия вполне сходили за пару белья. А у него — недостача! Как и в любом другом советском предприятии, в лагере можно было загнать и пропить локомотив, вагон леса, инструмент. Загоняли и пропивали. Но недостача есть не-

достава. Моего комдива судили и приплюсовали к его десятилетнему сроку еще пять лет.

Трудно себе представить все отчаяние этого человека. Он не желал слушать никаких слов утешения, пять лет дополнительного срока ему представлялись концом всех надежд, концом всей жизни. И вот его освободили! Освободили, когда освобождали какую-то небольшую группу военных, когда освободили Рокоссовского. Это произошло почти в самом начале войны, и мы грустно пожимали плечами, представляя себе, как может чем-то командовать этот человек, которого мы считали окончательно сломленным, ни на что не способным. Из нескольких писем, которые он все же прислал в лагерь, мы узнали, что ему дали звание полковника и полк. Писать он перестал, но спустя какое-то время мы о нем узнавали из приказов Верховного Главнокомандующего, публикуемых в газетах. Словом — он кончил войну генерал-лейтенантом и Героем Советского Союза. И ни у меня, ни у моих товарищей, его знавших, нет никакого сомнения в том, что свои награды и звания он заслужил.

На Втором лагункте я познакомился с учетчиком конпарка Яковом Захаровичем Покусом. Расконвоированный маленький, сухонький старичок с папкой под мышкой, молчаливый, вздрагивающий не только от крепкого начальственного урагана, но и от вежня любого вертухаевского ветерка. Старичок был приятен своей тихостью, безответностью, глубоко спрятанной арестантской тоской. По сравнению с другими он был в привилегированных условиях, не голодал, потому что на конпарке можно было вволю есть овсяный кисель и жареную печенку от павших лошадей.

Но Покус таял на наших глазах, он умирал тихо и безропотно — как жил. Он умер, и мы его жалели искренне, как можно жалеть о смерти хорошего, никогда ничем не обидевшего человека. Начальником лагункта был Епаничников, и он — против правил — позволил несколько "придуркам" проводить Покуса на арестантское кладбище. В столярке сделали ему настоящий гроб, одели на покойника хранившиеся в его вещах диагональные брюки и гимнастерку с дырочками от орденов и свезли на кладбище. Похоронили среди уже сгладившихся, сровнявшихся с землей бывших могильных холмиков, обложили его могилу дерном и поставили в головах обтесанный кол. Конечно, не с фамилией, а с тем номером, который был написан на бирке, привязанной к ноге покойника.

Я сейчас часто встречаю фамилию моего покойного соллагерника в книгах, статьях, воспоминаниях, даже в каких-то сценариях и прочих высокохудожественных штуках. Яков Захарович Покус был героем "удалых ночей Спасска, Волочаевских дней", он командовал той партизанской дивизией, которая в знаменитых и страшных по своему упорству боях брала штурмом Волочаевск. Без всякого удивления я читаю об отваге, хладнокровии и мужестве учетчика конпарка на Втором лагункте. Я знаю, что эти качества могут проявиться именно в обстоятельствах боя и исчезнуть или притушиться в других обстоятельствах. В конце концов, грозный генерал или сановник, впадающие в неистовый страх перед своей вздорной и глупой женой, всегда были старым и скучным сюжетом в третьеразрядной беллетристике.

Но все-таки, но все-таки среди военных были люди, чьи личности оставались значительными и интересными даже в унижительно нивелирующих условиях лагеря. На Первом лагпункте Устьвымлага было двое таких, мне все кажется, что такими были бы в лагере и мой Израиль, и Кожанов, и Петин, да и многие другие деятели Красной Армии, если бы их не убили, а только запрятали в глухие таежные лагеря.

Первым из них был Степан Николаевич Богомягков — бывший начальник штаба Особой Дальневосточной армии. Как и мой двоюродный брат, Степан Николаевич стал военным внезапно, в испытаниях войны. До первой мировой войны он окончил учительский институт, стал учителем гимназии, преподавал зоологию и ботанику — науки, к которым он сохранил любовь и пристрастие и в своей дальнейшей, неучительской жизни. В 1914 году пошел на войну, окончил скороспелые воинские курсы, стал офицером, офицером талантливым и удачливым. К 17-му году он уже был подполковником и командовал полком. При мобилизации советским командованием бывших офицеров не уклонился от призыва, воевал так же удачно, как и при царе, закончил гражданскую начдивом, коммунистом, с двумя орденами Красного Знамени. Учился в Академии, стал штабным работником, дошел до второго по значению поста в командовании Дальневосточной армии — одного из самых крупных и важных военных округов страны. Богомягков был интеллигентом: знал языки, любил поэзию, музыку, мог часами увлеченно спорить о месте Тютчева в русской поэзии или точности научных прогнозов в естественных науках. Его легко было представить в прежнем звании, на прежнем посту. И в лагере он всегда оставался самим собой; полным достоинства, ироничным, воспитанным. Он внушал почтение к себе даже со стороны тупой вохры, всевозможных начальников, отпетой уголовной шобы. Точил ли он пилы и топоры, был ли экономистом в плановой части — всюду он работал легко, без усердия, но и без лени. Правдами и неправдами доставал газеты, чтобы вместе со своим военным коллегой Николаем Васильевичем Лисовским узнавать о военных действиях в Европе и по карте, вырезанной из газеты, гадать о том, как они будут развиваться дальше.

Николая Васильевича Лисовского я знал близко, много лет. Он был нормировщиком, моим помощником на Первом лагпункте. Я проводил с ним долгие часы в конторке, где работали, и в бараке, где вместе жили. Николай Васильевич был человеком из другого теста, нежели Богомягков. Подозреваю, что Лисовский в глубине души считал Богомягкова в военном деле дилетантом и любителем. Ибо сам он ни о чем, кроме как о военном деле и войне, не мог думать и даже разговаривать. Был самым старым среди нас, мне он казался просто стариком. Наверное, он и был им. И то сказать: Николай Васильевич Лисовский задолго до войны 1914 года окончил кадетский корпус, юнкерское училище, стал офицером, закончил Академию генерального штаба имени Николая I, был начальником штаба полка и командиром полка. С первых дней примкнул к революции... В Красной Армии с начала ее организации. Вступил в 1930 году в партию. После гражданской войны почти все годы пробыл на штабной работе. Очень долго работал в штабе РККА начальником оперативного

отдела, а потом заместителем начальника Генштаба. В 37-м его назначили командующим Среднеазиатским округом и через два месяца арестовали.

Почему его не расстреляли — непонятно. Может быть, потому, что военная профессиональная узорь в нем была выражена необычайно сильно. Высокий, гвардейского роста, костлявый, подтянутый, с желчным и недобрым лицом, он оживлялся только в разговорах с Богомягковым. В лучшее время дня, после обеда, когда бригады уже пришли с работы, а рабочих сведений еще нет и все ждут вечерней поверки, они раскладывали на столе маленькие карты Балканского полуострова и начинали обсуждать перспективы развития итало-греческой войны и военных действий в Западной Европе. Война шла быстро, проверить военные способности двух комкоров было нетрудно.

Богомягков был дальневосточником, но Лисовский почти всю жизнь занимался нашей западной границей и возможным противником на Западе. Все, что происходило в 39-м и после, он воспринимал как нечто личное, происходящее с ним самим. Был непоколебимо уверен в неизбежности войны с Германией, считал наши территориальные приобретения 39-го года несчастьем с военной точки зрения. Он долго и обстоятельно объяснял Богомягкову, что на бывших польских землях хорошо продолжать бой, но очень трудно принимать его... О теории "малой кровью, на чужой земле" он отзывался изысканным матом старого гвардейца.

22 июня 1941 года он встретил на нашем лагункте в одиночестве — Богомягкова к этому времени перевели на другой лагункт. Лисовский за какие-то считанные дни почернел. Я стал его почти единственным собеседником. Несмотря на всю свою сдержанность и выдержку, он предсказывал колоссальные военные неудачи нашей армии! Когда, через месяц полной изоляции, у нас снова появились радио и газеты, мы могли судить, что все предсказания Лисовского оправдывались со страшной последовательностью. Он довольно точно предсказал направление главных немецких ударов. Весной 1942 года, с почти абсолютной точностью, начертил мне направление будущего удара немецких армий на юг и юго-восток... Было что-то чудовищное в том, что высокопрофессиональный работник, всю жизнь готовившийся к этой войне, сидит на зачуханном лагункте и нормирует туфту в нарядах. А ведь в Генштабе сидел его бывший ученик и подчиненный Василевский! И Лисовский, кроме своих многочисленных заявлений с просьбой о посылке на фронт в любом качестве, писал одно за другим письма Василевскому и Шапошникову, перепуливал их мимо цензуры, через вольняшек... Не может быть, чтобы ни одно из его писем не дошло до адресата! Но Лисовский продолжал отбывать свой срок. Он его отбыл полностью, от звонка до звонка.

Конечно, для течения войны не имело значения, сидел ли Лисовский в лагере или в Генштабе. Как мы теперь знаем, происходившее во время первых двух лет войны не мог предотвратить никакой самый что ни на есть военный гений. (Разве только если бы он смог пристрелить Сталина и занять его место.)

В конечном итоге войны Лисовский не сомневался. Даже тогда, когда немцы были под Москвой, когда они хозяйничали на Кавказе,

вышли к Волге. Когда я его — в который уж раз! — спрашивал о будущем, он мне сердито отвечал:

— Да не могут немцы победить, не могут! По арифметике не могут!

— Почему?

— Потому что они не могут победить в мировой войне! В затяжной войне. Вы же учились на историческом и даже первой мировой занимались! Как же вы не видите, что первую мировую немцы проиграли в первый год войны. Когда ошиблись в подсчете сил и не поняли, что война станет мировой. И сейчас они проиграли войну в первый же год, не поняв, что им придется иметь дело с материальными и военными ресурсами всего мира. Могут ли они дойти до Урала? Могут. Но это ничего не изменит. У них же не будет времени на то, чтобы на Урале создать промышленные центры с высокой технологией и переплюнуть американцев. И людей у них не хватит. Нет, с этим ясно. Неясно совсем другое.

— Что неясно, Николай Васильевич?

— Что после войны будет со всеми нами? И с каждым из нас? Если, конечно, мы доживем до ее конца. Вы это узнаете, надеюсь. А мне уж не узнать. А хотелось...

Он все же узнал.

Это было в конце веселого и счастливого лета, полного надежд. Позади была весна XX съезда, а о том, что через полтора месяца начнется венгерское восстание, еще никто не подозревал. Мне передали, что меня разыскивает проживающий в Центральной гостинице Советской Армии Николай Васильевич Лисовский. Я сейчас же поехал туда. В гостинице администратор с погонами старшего лейтенанта сказал, что комкор Лисовский проживает с женой в люксе на четвертом этаже. Он подчеркнул архаичное, несуществующее звание комкора и категорию номера, дабы я понял, что да — хотя он старший лейтенант, но понимает и сочувствует...

Из огромного саркофагоподобного кресла с трудом поднялся совершенно высохший человек, который показался мне вполтину меньше ростом, чем тот, которым отличался Лисовский. На новом генеральском кителе были неумело нашиты знаки комкоровского звания. Этот мешковатый китель, эти роскошные диагональные вислые галифе, спускающиеся к новеньким сапогам на худеньких ногах... Маленькая и такая же худенькая старушка помогла мне успокоить плачущего старика, в котором ничего уже не оставалось ни от заместителя начальника Генштаба, ни от нормировщика Первого лагпункта.

Жена Лисовского мне быстро рассказала стандартное окончание биографии комкора. После отбытия срока — переезд в маленький казахстанский город, где жила отбывшая свой срок его жена — че-сеирка. Не успел осмотреться на новом месте — арест по новой, многомесячное пребывание в отвратительной областной тюрьме, затем ссылка "навечно" в отдаленный кусок необъятного Красноярского края. Туда же приехала жена, снова стали обживать и этот угол, через несколько лет — 53-й, с его радостями, надеждами, ожиданием...

— Ах, как верил, как ждал Николай Васильевич!.. Как часто вспоминал вас, надеялся на встречу, пять дней назад, когда приехали в Москву, сразу же сказал мне, чтобы разыскала вас, что если вы живы, то должны быть в Москве... И вот встретились вы с ним. Завтра должны нас увезти в санаторий, там отдыхать, ждать присвоения нового, теперешнего генеральского звания... Может быть, там придет в себя, может быть, тогда встретитесь по-другому, по-лучшему...

Больше мы с ним не встретились.

Жена президента

Субботний летний вечер уже давно начался, и мне бы следовало быть в пути. На свой короткой "уикэнд" я обычно уходил в Вожаель. И уже привык к тридцатикилометровой пешей прогулке от Первого лагпункта до Комендантского. А через сутки — к такой же прогулке назад. Зимой я это расстояние проходил быстро. Зимняя накатанная дорога была тверда, как асфальт, воздух "бодрил", и я преодолевал почти марафонское расстояние быстро и даже без особой усталости. Летом было намного труднее шагать по мелкому зыбучему песку, размолотому колесами грузовиков. И я пользовался любой возможностью найти какую-нибудь попутную машину.

Такая машина стояла перед вахтой и для путешественника выглядела очень соблазнительно. Это был легковой вездеходик — "козлик", сделанный по образцу американского "джипа". На этой игрушке можно до Вожаеля пролететь за час-полтора. На вездеходе несколько часов назад приехало высокое медицинское начальство: начальник нашего санотдела привез полковника — заместителя начальника санотдела Гулага. Почему бы не попробовать поехать с ними? Все же я вроде бы и вольный, а следовательно — и ихний товарищ!..

Начальство вышло из вахты и направилось к своему экипажу. Я подошел к начальнику санотдела лагеря:

— Товарищ майор! Если у вас в машине есть место, пожалуйста, подвезите меня в Вожаель.

Санотдельский майор был в общем-то вполне сносным и даже свойским медицинским администратором. Я на это рассчитывал и не ошибся. Высокий полковник с зелеными петличками и медицинской змейкой был со мной изысканно вежлив. Я уселся позади, рядом с ним, и наш "козлик" попер по песчаным буграм. Майор и полковник продолжали беседу, начатую, очевидно, еще в зоне. В отличие от нашего майора, всю свою послеинститутскую жизнь прошедшего в лагерях, полковник в нашем ведомстве был новичком. Он окончил Военно-медицинскую академию, все время служил в армии, но я, конечно, не мог уяснить из разговора двух старших офицеров, почему полковник очутился в Гулаге.

Говорил больше полковник. Он рассказывал о своей фронтовой работе, об интересных встречах. Особо ему посчастливилось на одного подчиненного: он был главным хирургом той армии, где полковник состоял начальником медслужбы. Хирург был зятем Калинина. Это не только давало какие-то заметные преимущества медслужбе армии, но и дало возможность моему соседу по автомобилю познакомиться с самим Михаилом Ивановичем. С калининским зя-

тем он поехал в командировку в Москву и там был приглашен на дачу, где запросто обедал и беседовал с знаменитым главой нашего государства.

У полковника от волнения дрожал голос, когда он рассказывал об обаянии Калинина, о его скромности, принципиальности, о великом уважении, с которым к нему относились в стране. Потом он перешел к похвалам его зятю, высказал сожаление о том, что жизнь их сейчас разделила, рассказал майору, что его бывший подчиненный сейчас является армейским хирургом в таком-то месте.

...И тут меня дернул черт!.. Я сказал полковнику, что зять Калинина сейчас является главным хирургом такого-то фронта и находится совсем в другом городе... Полковник некоторое время молчал, потом повернулся ко мне и с убийственной вежливостью спросил:

— Извините, но ОТКУДА ВЫ ЭТО ЗНАЕТЕ?

Это было сказано так, что моя честь не могла такое стерпеть. И я совершенно спокойно ему ответил:

— Мне это говорила его жена, Лидия Михайловна.

Полковник довольно долго молчал, переваривая столь неожиданную информацию, полученную от человека, чье прошлое не оставляло никаких сомнений. Потом он не выдержал:

— Вы меня еще раз извините... Но когда вам это говорила Лидия Михайловна?

...Отступать мне уже было почти некуда.

— Недели две назад...

На этот раз полковник молчал еще дольше. На лице его отражалась почти непосильная для него умственная работа. Очевидно, она ни к чему не привела, потому что, съедаемый вопросами, на которые не мог найти логического ответа, он снова обратился ко мне.

— Ради бога, извините мою назойливость... Но где вам об этом говорила Лидия Михайловна?

...Господи! Ну зачем я ввязался в эту историю?! И тут еще наш майор! И черт его знает, что еще из-за этого дурацкого разговора произойдет?! Но что я могу теперь делать?..

— Она мне об этом говорила в Вожаеле.

На этот раз реакция полковника была мгновенной:

— Нет, я ничего совершенно не понимаю! Что могла Лидия Михайловна делать здесь в Вожаеле? Чего ради Лидия Михайловна могла приехать в Вожаель?!

...Я молчал как убитый. Чего я буду отвечать? Может, этому полковнику и не положено знать, что знают здесь все?..

— Майор! Вы не можете мне ответить на этот вопрос? Что могла делать в Вожаеле Лидия Михайловна Калинина?

Майор совершенно спокойно сказал:

— А на свиданку она приезжала.

— То есть как это — на свиданку?! К кому она могла приезжать на свиданку, как вы говорите?..

— Да к матери своей. Она заключенная у нас тут на Комендантском.

При всем своем довольно богатом жизненном опыте я редко наблюдал такую шоковую реакцию, как у этого полковника. Он схватился руками за голову и с каким-то мычанием уткнул голову

в колени. Как припадочный, он раскачивался из стороны в сторону, бессвязный, истерический поток слов из него вытекал бурной, ничем не сдерживаемой рекой...

— Боже мой! Боже мой!.. Нет, нет, это нельзя понять! Это не в состоянии вместиться в сознание! Жена Калинина! Жена нашего президента! Да что бы она ни совершила, какое бы преступление ни сделала, но держать жену Калинина в тюрьме, в общей тюрьме, общем лагере!!! Господи! Позор какой, несчастье какое!! Когда это? Как это? Может ли это быть?! А как же Михаил Иванович?! Нет, не могу поверить! Этого не может быть!..

Полковник вытянулся, почти привстал в машине.

— Майор! Я желаю ей представиться! Вы меня должны представить ей...

Я был сердит на себя, что влез в этот разговор. Ни повод к полковничьей истерике, ни сама истерика не вызывали у меня особенного веселья. Но идиотские слова заместителя начальника санотдела Гулага чуть меня не рассмешили. Я себе моментально представил, как сидит Екатерина Ивановна в своей каморке, в бане на Комендантском, и со свойственной ей скрупулезностью стеклышком счищает гнид с серых, только что выстиранных арестантских кальсон, а в это время ей приходит почтительно "представиться" этот фраерский полковник...

* * *

В оправдание полковника следует сказать, что его бурная реакция была в общем-то совершенно естественной и человеческой. Даже ко всему привычное сознание с трудом примирялось, что жена главы государства, знаменитого, наиважнейшего деятеля партии, ведет жизнь обыкновенной арестантки в самом обыкновенном лагере... Шок от такого известия испытывали люди и более грамотные, нежели военный врач, недавно начавший работать в лагерях.

Нечто подобное случилось даже с Рикой. Именно от нее я и узнал, что Екатерина Ивановна находится в нашем лагере.

Однажды, когда она гостила у меня на Первом, она рассказала, что очень подружилась с одной старушкой-арестанткой. Старуха прибыла из другого лагеря, в формуляре у нее сказано, что использовать ее можно только на общих подконвойных работах, но врачи на Комендантском дали ей слабую категорию, ее удалось устроить работать в бане: счищать гнид с белья и выдавать это белье моющимся. Екатерина Ивановна живет в бельевой, она, наконец-то, отдыхает от многих лет, проведенных на общих тяжелых работах, и Рика после работы в конторе ежедневно к ней заходит: занести что-нибудь из "вольной" еды, посидеть, поговорить с умной и славной старухой. Она нерусская, какая-то прибалтийка, но давно обрусела и мало похожа на работницу, хотя и сказала как-то, что когда-то давно-давно работала на заводе... Да и фамилия у нее вполне русская...

— А какая?

— Калинина.

— Это жена Михаила Ивановича Калинина.

...Рика не впала в истерию, подобно полковнику, но категори-

чески отказывалась признавать за правду мои слова... Во-первых — не может быть!.. А затем — при ее отношениях с ней она не могла бы утаить это от нее. Да и об этом не могли бы не знать!..

Но я-то был почти уверен в том, что это так. Я не был знаком с Екатериной Ивановной. Но она была в дружеских отношениях с родителями моей жены, и когда летом 37-го года вокруг нас образовалась пустота, когда исчезли все многочисленные друзья и знакомые, перестал звонить телефон, Екатерина Ивановна была одной из немногих, кто продолжал справляться о здоровье Оксаны — моей жены и доставала ей из кремлевской аптеки недоступные простым смертным лекарства. В конце 37-го года этот источник помощи иссяк: мы узнали, что Екатерина Ивановна арестована.

Собственно говоря, ни медицинскому полковнику, ни Рике, ни кому бы то ни было не следовало приходиться в дикое недоумение от того, что в тюрьме сидит жена члена Политбюро. В конце концов, если запросто арестовывают и расстреливают самих членов Политбюро, то почему же каким-то иммунитетом должны пользоваться их жены?..

А мы уже знали, что Сталин, при всем своем увлечении передовой техникой, не расстается со старыми восточными привычками: у каждого из его соратников обязательно должны быть арестованы близкие. Кажется, среди ближайшего окружения Сталина не было ни одного человека, у которого не арестовывали более или менее близких родственников. У Кагановича одного брата расстреляли, другой предпочел застрелиться сам; у Шверника арестовали и расстреляли жившего с ним мужа его единственной дочери — Стаха Ганецкого; у Ворошилова арестовали родителей жены его сына и пытались арестовать жену Ворошилова — Екатерину Давыдовну; у Молотова, как известно, арестовали его жену, которая сама была каким-то наркомом... Этот список можно продолжить... И ничего не было удивительного в том, что арестовали жену и у Калинина.

Тем более что — как мне кажется — у Сталина могли быть с Калининным какие-то особые старые счеты. Все же старик был немного идеалистом.

Ну а считаться с Калининным перестали уже давно. Я был на воле, когда арестовали самого старого и близкого друга Калинина, его товарища еще по работе на Путиловском — Александра Васильевича Шотмана. Семья Шотмана была мне близка, я дружил с его сыном и от него узнал некоторые подробности, весьма, правда, обычные для своего времени. Шотман был не только другом Калинина, старейшим большевиком, руководителем знаменитой "Обуховской обороны", человеком, близким к Ленину... Он был еще и членом Президиума ЦИК, а следовательно, формально личностью "неприкосновенной" и уж, во всяком случае, человеком, чей арест должен был быть формально согласован с Председателем ЦИК...

Ну так вот: пришли ночью к Шотману, спросили первое, что спрашивали у старых большевиков: "Оружие и ленинские документы есть?" — и забрали старика. Жена Шотмана, еле дождавшись утра,

позвонила Калинину. Михаил Иванович обрадовался старой своей приятельнице и запел в телефон:

— Ну, наконец-то хоть ты позвонила. Уже почти неделю ни ты, ни Шуручка не звонили, это свинство оставлять меня одного сейчас, ну как Шуручкин радикулит, как дети...

Жена Шотмана прервала радостно-спокойные слова старого друга:

— Миша! Ты что, сошел с ума или притворяешься: неужели тебе не известно, что сегодня ночью взяли Шуру?..

...Долгое-долгое молчание в телефонной трубке, и затем отчаянный крик бедного президента страны:

— Я ничего не знаю!.. Клянусь, я ничего не знаю!!!...

Вечером того же дня жена Шотмана также была арестована. Сколько таких звонков пришлось услышать Калинину?

Рика не хотела слушать никаких моих доводов. И я тогда предложил ей при первой же встрече с Екатериной Ивановной передать ей привет от меня и спросить ее от моего имени: знает ли что-либо о Шотмане и его жене... На другой день мне позвонили с Комендантского, и я услышал охрипший от волнения голос Рики:

— Ты был прав! Все так, как ты говорил!..

Потом Рика мне рассказывала об этой драматической сцене... Она пришла в баню к Екатерине Ивановне и, запинаясь, сказала то, что я ее просил сказать... Екатерина Ивановна, при всей своей эстонской выдержке, побелела... Тогда зарывдавшая Рика спросила ее:

— Неужели это правда? Неужели вы?..

...И Екатерина Ивановна бросилась на шею Рике, и обе стали плакать так, как это положено всем женщинам на свете. Даже если они обладают выдержкой и опытом, какие были у жены нашего президента.

Екатерину Ивановну "взяли" довольно банально, без особого художественного спектакля. Просто ей позвонили в Кремль из ателье, где шилось ее платье, и попросили приехать на примерку. В ателье ее уже ждали...

Екатерина Ивановна, как я уже говорил, обладала эстонской неразговорчивостью, конспиративным опытом старой революционерки и жены профессионального революционера. Она не любила рассказывать о всем том, что происходило после звонка в ателье. Но мы знали, что сидела она тяжело. У нее в формуляре была чуть ли не половина Уголовного кодекса, включая и самое страшное: 58-8 — террор. Формуляр ее был переименован, что означало — она никогда не может быть расконвоирована и должна использоваться только на общих тяжелых подконвойных работах. Из тех десяти лет, к каким она была осуждена, Екатерина Ивановна большую часть отбыла на самых тяжелых работах, на каких только использовались в лагере женщины. Но она была здоровой, с детства привыкшей к труду женщиной и все это перенесла. Только тогда, когда из другого, расформированного во время войны лагеря она попала к нам, удалось ее пристроить на "блатную" работу.

Во время последнего года войны в жизни Екатерины Ивановны

стали происходить благодатные изменения. Вероятно, Калинин не переставал просить за жену. Что тоже отличало его от других "ближайших соратников". Молотов никогда не заикался о своей жене, а его дочь, вступая в партию, на вопрос о родителях ответила, что отец у нее — Молотов, а матери нет... Словом, в последний год войны к Екатерине Ивановне стали регулярно приезжать ее дочери — Юлия и Лидия. На время приезда в поселке выделяли комнату, обставляли ее шикарнейшей мебелью и даже коврами — все же дочь Калинина! — и заключенной жене президента разрешали три дня жить без конвоя в комнате у своей дочери...

Когда в первый раз приехала Лида, Екатерина Ивановна передала мне через Рику приглашение "в гости". Я тогда познакомился с ней. Сидел, пил привезенное из Москвы превосходное вино, вкус которого я давно забыл, ел невозможные и невероятные вкусности, включая традиционно-обязательную для номенклатуры икру... И слушал рассказы человека, только что приехавшего из Москвы.

Страшновато — даже для меня — было слушать о том, как много и часто Калинин униженно, обливаясь слезами, просил Сталина пощадить его подругу жизни, освободить ее, дать ему возможность хоть перед смертью побыть с ней... Однажды, уже в победные времена, разнежившийся Сталин, которому надоели слезы старика, сказал, что ладно — черт с ним! — освободит он старуху, как только кончится война!.. И теперь Калинин и его семья ждали конца войны с еще большим трепетным нетерпением. Вот тогда-то, во время одного из таких свиданий, я услышал, где находится зять Калинина, чем и вызвал психический кризис у заместителя начальника санотдела Гулага.

После трех дней свидания заключенную Калинину опять переводили на лагпункт, и она снова бралась за свое орудие производства: стеклышко для чистки гнид.

Когда будущий романист, воспеваящий великую личность генерального убийцы, будет описывать чувства, охватившие Сталина, когда война была завершена, пусть он не забудет написать, что он — в своей благостыне — не забыл и о такой мелочи, как обещание, данное Михаилу Ивановичу Калинину. Почти ровно через месяц после окончания войны пришла телеграмма об освобождении Екатерины Ивановны. Правда, в телеграмме не было указано, на основании чего она освобождается, и администрация лагеря могла выдать ей обычный для освобождающихся собачий паспорт, лишивший ее права приехать не только в Москву, но и еще в двести семьдесят городов... Спешно снова запросили Москву, расплывшийся от улыбок и любезностей начальник лагеря предложил Екатерине Ивановне пожить пока у него... Но Екатерина Ивановна предпочла эти дни пожить у Рики. Через несколько дней машина с начальством подкатила к бедной хижине, где обитала Рика, начальники потащили чемоданы своей бывшей подопечной, и Екатерина Ивановна, провожаемая Рикой, отбыла на станцию железной дороги.

Осенью сорок пятого года, приехав в отпуск в Москву, я бывал у Екатерины Ивановны. Мне это было трудно по многим причинам. В том числе и потому, что Екатерина Ивановна жила у своей дочери в том самом доме, в котором провела большую часть своей короткой жизни Оксана, — доме, в котором прежде жил и я... Лидия Ка-

линина жила как раз под нашей бывшей квартирой, и проходить по этому двору, по старой, воскресшей привычке подымать глаза к окнам нашей комнаты — было тяжело.

Екатерина Ивановна бывала рада моим приходам. Ехать к мужу в Кремль она не захотела, и Михаил Иванович понимал, что это ей не нужно. Очевидно, что сам он был к этому времени избавлен от каких-либо иллюзий. Когда в отпуск в Москву приехала Рика, она много общалась с Екатериной Ивановной, ходила с ней в театры, а после отъезда в Вожаель получала от нее милые письма.

Легко понять, почему Екатерине Ивановне не захотелось жить в Кремле. Это был страх когда-нибудь случайно (хоть это было очень маловероятно) встретиться со Сталиным. И все же ей этого не удалось избежать.

Когда Калинин дали возможность увидеть свою жену, он уже был смертельно болен. Через год, летом 46-го, он умер. Мы были тогда еще в Устьвымлаге. Со странным чувством мы слушали по радио и читали в газетах весь полный набор слов о том, как партия, народ и лично товарищ Сталин любили покойного. Еще более странно было читать в газетах телеграмму английской королевы с выражением соболезнования человеку, год назад чистившему гнид в лагере... И уж совсем было страшно увидеть в газетах и журналах фотографии похорон Калинина. За гробом покойного шла Екатерина Ивановна, а рядом с нею шел Сталин со всей своей компанией...

...Значит, все-таки произошла эта встреча, произошел этот невероятный кромешный маскарад, до которого не додумался и Шекспир в своих хрониках... Как ни бесчеловечно было бы задать Екатерине Ивановне вопрос о ее чувствах при этой встрече, но я бы это сделал, доведись мне ее снова увидеть. Но наше с Рикой пребывание на воле было коротким, а когда в 50-х годах мы вернулись в Москву, Екатерины Ивановны не было в городе. После самоубийства сына она безвыездно жила на даче, и мы не делали попыток с нею встретиться.

Однажды в исторической редакции Детгиза я застал Юлию Михайловну Калининну, только что выпустившую для детей книгу о своем отце. Меня с ней познакомили. Я сказал:

— Мы с вами знакомы, Юлия Михайловна.

Юлия Михайловна внимательно в меня всмотрелась:

— Да, да, конечно, мы с вами встречались. Наверняка в каком-то санатории. В Барвихе или Соснах, да?

— Нет, это был не совсем санаторий. Это место называлось Вожаель...

И в глазах дочери моей солагерницы я увидел возникшее чувство ужаса и жалости — то самое, какое я видел много лет назад при первом нашем знакомстве.

Спектакль со счастливым концом

Я никогда не видел на сцене великую актрису Екатерину Павловну Корчагину-Александровскую. Москвичу, приехавшему на несколько дней в Ленинград, нелегко достать билет на спектакль с ее участием. Но я прочел о ней много воспоминаний, читал о потрясении, которое она вызывала своей игрой, об импровизированных спектаклях, которые она любила устраивать не на подмостках прославленного театра, а в самой обыденной жизни. В двух таких мне пришлось участвовать: в одном, пустяковом и смешном, — в качестве одного из действующих лиц; в другом, драматическом и серьезном, — как бы постановщиком... Чтобы о нем рассказать, мне придется вспомнить эпизод, когда я в первый и последний раз в жизни увидел и познакомился с Корчагиной-Александровской.

Было это в очень давнее и прекрасное время. Я был очень молод, пребывал в студентах, обладал достаточным легкомыслием, чтобы наслаждаться молодостью и удачливостью, не утруждая себя стремлением, как Радищев, "оглядеться окрест себя". И по одному из молодо-удачливых поводов возникло у меня столь сейчас одиозное стремление выпить рюмку чего-нибудь такого горячительного... И для этого проще всего было забежать в знакомый и очень хлебо-сольный дом и там осуществить это слегка порочное, но немудреное мероприятие.

Дом этот был квартирой Демьяна Бедного. К хозяину я бы никогда не попробовал сунуться с таким пустяковым делом, но этим огромным домом управляла "Демьяниха" — жена Демьяна, Вера Руфовна. Это была женщина поразительной энергии, доброты и таланта руководителя. Она успешно справлялась со своим непростым супругом, двумя почти взрослыми дочерьми и двумя малолетними сыновьями — отчаянными головорезами и башибузуками, с огромным хозяйством, множеством друзей и знакомых, которых она угощала с хлебо сольством дореволюционного калибра.

...Значит, я забежал в эту квартиру. В огромной столовой возле мастодонтовского буфета копошилась одна из многочисленных старушек, которых в большом количестве привечала у себя хозяйка. Старушка вытирала посуду и, очевидно, состояла в разряде обслуживающих.

— Бабушка! А Вера Руфовна дома?
— Уехала, голубчик. К вечеру, чай, и вернется...
— Бабушка! Вот в правой стороне этого шкафа стоит недопитая бутылка коньяка (понятно, что я хорошо разобрался в географии буфета: не допил эту бутылку я), пожалуйста, достаньте ее и рюмочку какую-нибудь.

Старушка открыла буфет, достала бутылку, постелила на край огромного стола салфетку, поставила бутылку, рюмку, нарезала на блюдечко сыра и отошла в сторону, наблюдая за мной с удивлением и радостью перед наглостью молодости. Она мне была невероятно симпатична!

— Бабушка! Может быть, выпьете рюмочку со мной?

— И что, внучек! Может, и выпью за такую компанию...

Она достала еще одну рюмку, села около меня. Коньяк она пила маленькими глотками, жмурясь каждый раз от непривычного напитка. И, сделав глоток, аккуратно вытирала рот уголком головного платочка. Бабушка была явно деревенская, и сидела она по-деревенски, и у меня была великолепная возможность пообщаться с представительницей неизвестной мне деревенской жизни.

Но из этого благородного замысла ничего не вышло. В столовую неожиданно вошла хозяйка. Мне было очень неудобно, что она застала свою старушку распивающей хозяйский коньяк с молодым человеком. Но вместо негодования или возмущения Вера Руфовна почтительно обратилась к моей собутыльнице:

— Я вижу, Екатерина Павловна, что вы уже познакомились слевой. Он... — и тут она в лестных выражениях представила меня. Я, конечно, вскочил со стула, разом поняв, что старушка учинила со мной спектакль, в котором я был не только статистом, но и порядочным дурнем...

Корчагина-Александровская уезжала вечером, она со мной была любезна и весела, делала вид, что не замечает моего смущения, дала свой ленинградский телефон и пригласила на любой спектакль в Александринке. Но в Александринке мне так и не пришлось побывать. Я катастрофически быстро вырос, обзавелся семьей, писал и редактировал. Екатерина Павловна осталась лишь в юношеских воспоминаниях, и вспомнил я ее в обстоятельствах, очень далеких от смешного знакомства со знаменитой артисткой.

1-й лагерный пункт Устьвымлага. Весна 1939 года. Уже прошла первая и самая страшная зима, уже поумирало большинство из нашего этапа, уже побыл я два месяца на полуштрафной командировке, чуть не умер от цинги, отлежался на головном в стационаре, начал получать письма и сам писать на волю. И даже не всегда пользовался для переписки лагерной почтой с ее цензурой, волокитой и невозможностью расспросить о друзьях и знакомых без страха за них. Каждый день на базу около железнодорожной станции Весляна ездили бесконвойные шофера, и с ними можно было перепуливать на волю неподцензурные письма. Шофера были разные, большей частью "бытовики", и не всякому хотелось брать такие поручения от незнакомого "контрика". Но среди них один сам был "контриком". Павел (я позабыл его фамилию) был ленинградцем, классным шофером, получившим по суду пятерку по такой безобидной статье, как 58-10 — агитация. Поэтому его расконвоировали и поручили возить самые ответственные грузы: сахар, консервы и жиры.

А я был на легкой сравнительно работе — заготовке веточного корма. Со своим напарником мы быстро сваливали с десятков берез

покудрявистей, наламывали ветки, укладывали их попышней в штабель и, выполнив норму, спокойно дожидались съема с работы. В зону приходили незамученными, наступали уже белые ночи, и несколько часов перед отбоем можно было проводить в неторопливых беседах. Одним из собеседников был Павел. Очевидно, что его не тянуло к своим товарищам — шоферам, с их разговорами о водке и бабах, с их небезобидными прожектами, возникающими у людей, имеющих дело с ценностями. У Павла в Ленинграде осталась жена, по которой он тосковал, осталось двое маленьких детей, писать он не любил — жаловался на заскорузлые руки, и, бывало, я писал ему письма под его диктовку, и письма эти нравились и ему и его жене, которая как раз писать любила. Подробности ленинградской жизни, о которых она писала откровенно — ибо эти письма приходили на адрес одного вольняшки с базы, — были обстоятельны и интересны не только Павлу, но и мне.

Однажды я ему задал вопрос, который в лагере не принято задавать:

— Павел! А за что тебе сунули пятак? Да еще по суду?

— За дело сунули. Не то что тебе и вашему брату. За мою собственную глупость. Было это в конце тридцать седьмого, перед самыми выборами. В нашем районе выбиралась в Верховный Совет одна старушка актриса. Старенькая такая, фото ее висели под стеклом в рамках, говорили, что хорошо играет. Не знаю, в театры не ходил, супротив нее ничего не имел, может, действительно хорошо играла. Но ведь впервые в Верховный Совет выбираем, чего нам выбирать актрисульку, да еще такую, что еле душа в теле... Вот мы однажды в пивной сидели в хорошей компании, и я так и сказал: неужто трудно найти посерьезней да поздоровей... Тут наш один, видно, не поленился. Через три дня взяли. Ну что мне отпираться, когда все слышали — агитировал супротив кандидата блока коммунистов и беспартийных. Через месяц меня на суд. Свидетели, то-се, да и не отпирался — виноват же! Ну и сунули мне пятак. И смотри, как снисходительно: без поражения в правах. Понимаешь, без всякого поражения! И мне старший нарядчик объяснил, что без поражения могут после звонка и назад в Питер пустить.

— А как была фамилия актрисы, помнишь?

— Ну еще бы, как забыть. До конца жизни помнить буду. Двойная у нее фамилия — Корчагина-Александровская.

И я мгновенно вспомнил столовую квартиры Демьяна Бедного и деревенскую старуху, которую я великодушно угощал чужим коньяком. И план у меня возник мгновенно:

— Паша! Эта старуха тебе поможет. Ее зовут Екатерина Павловна, и она очень хороший человек. Пусть твоя жена пойдет в Александринский театр, узнает домашний адрес Корчагиной-Александровской, пойдет к ней домой и расскажет твою историю и про то, как ей без тебя с двумя ребятами...

Так началась эта не театральная история, этот необыкновенный спектакль с участием одной лишь актрисы. Но какой! Письма жене Павла от его имени писал я, они были очень подробными, почти режиссерскими, в них намечались ремарки и мизансцены. Жена Павла отвечала не менее подробно, и по ним я совершенно отчетливо пред-

ставлял себе весь этот необыкновенный спектакль. Конечно, письма эти Паша сразу же — на всякий случай — уничтожал, но я хорошо помню их содержание.

В первом же письме жена Паши подробно написала, как она узнала адрес Екатерины Павловны, пришла к ней, рассказала про свою беду и про то, что муж у нее тихий, безответный, всегда на все согласный и против власти ни-ни, и если и сболтнул что, так по глупости, да еще выпил чуток. А Екатерина Павловна слушала, всплескивала руками, плакала вместе с ней, сказала, что жива не будет, а освободит Павла, и денег дала, чтобы ребят угостить, и наказала прийти к ней через несколько дней.

В следующем письме жена Павла подробно передавала рассказ Екатерины Павловны. Явилась к наибольшему в Смольный, протянула ему депутатский мандат и сказала: бог с ним, с этим мандатом, да я уж не сплю сколько ночей, да чтобы из-за меня человек пропал, да не один, а семьей, да и прав был, наверное, голубчик, — ну куда мне, старухе, да в правительство лезть, да если его не освободите, то не надо мне никакого депутатского мандата, все равно помру, совесть не даст жить, и многое такое сказала... А там очень хорошо ее выслушали, водой отпаивали, сказали, что из уважения к ней освободят они Павла и вернется он домой к своей семье, и нужно только время, чтобы все оформить. И Екатерина Павловна опять дала денег и сказала, чтобы звонить ей каждый день.

Жена антисоветского агитатора звонила Екатерине Павловне, и та сообщала сводку с театра почти военных действий. Дело затребовали, еще нужно недельки две, чтобы окончательно разобраться, а потом они ее пригласят и все будет в порядке...

Павел находился в состоянии эйфории, ни о чем больше не мог думать и говорить, да и я был почти в такой же радостной лихорадке. И вот Павел приехал с базы совершенно подавленный, не переодеваясь пришел в зону, разыскал меня и протянул очередное письмо от жены. Жена была в отчаянии. Все рухнуло. Корчагина-Александровская сама телеграммой вызвала ее к себе и почти плача рассказывала:

— Пригласили меня, а там сидит прокурор или кто там у них, и на столе пять толстых папок, и на каждой написано: "Совершенно секретно" и фамилия вашего мужа. И объясняют мне, что он против меня в пивной говорил пустяки и не тронули бы его, а осудили его потому, что он — шпион, не то английский, не то японский, и лежат тут вот эти толстые дела, в которых все его преступления записаны. А раз шпион — тут я, голубушка, ничего не могу сделать, заплакала я от жалости к тебе да бедным детям; как же он, твой урод, не только родину — семью свою не пожалел!

Дала Екатерина Павловна денегат опять да посоветовала написать мужу: пусть во всем покается, попросит у Советской власти прощения за свое окаянство, они все же добрые — эти люди, к каким она ходила, может, пожалеют глупого, пожалеют неповинных детей его...

Ах падлы! Как же они разыграли такую великую актрису, как они обвели вокруг пальца депутата Верховного Совета СССР, да еще какого! Но нет, спектакль не кончился!

— Павел! Поскольку тебя судил суд, у тебя на руках должно

быть обвинительное заключение и приговор суда. Ты, идиот, их не скурил?

— Да что ты! У меня они.

— Ну принеси. Сейчас будем снова писать.

Да, обвинительное заключение и приговор спецколлегии Ленинградского городского суда не оставляли никаких сомнений в характере преступления, содеянного Пашей. И на следствии и на суде он был полностью уличен, сознался в своем преступлении и за "антисоветскую клевету и агитацию против кандидата блока коммунистов и беспартийных" приговорен к необыкновенно мягкому наказанию.

В сочиненном мною письме Паши к жене ей советовалось пойти к Екатерине Павловне, объяснить ей, что ее нагло обманули, что все эти толстые папки с фамилией мужа — бутафория, часто применяемая на следствии. Депутату Верховного Совета надлежало объяснить, что дела о шпионаже рассматриваются не городским судом, а Военной коллегией и что Пашу судили именно за его неосторожные слова, что и подтверждают прилагаемые документы — обвинительное заключение и приговор.

Письмо было отослано, и мы нетерпеливо ждали ответа. Он пришел необыкновенно быстро. Шоферская жена со свойственной ей словоохотливостью описала, как позвонила она Екатерине Павловне, пришла к ней и, ничего не говоря, протянула ей письмо мужа и присланные документы. Екатерина Павловна внимательно прочитала, "аж темная лицом стала, посуровела страшно и приказала звонить ей каждый день".

Ах, не увидел я и уже никогда не узнаю, как проходил следующий акт этого спектакля! Могу только представить, как она разговаривала с этими "добрыми людьми", ее слова, ее тон, ее лицо... И ответа от жены Паша не получил. Через три недели вызвали его на освобождение, и из пересылки получил я от него записку, что "освобожден вчистую" и едет в Ленинград.

И больше ничего я не узнал о ленинградском шофере Павле. И не увидел больше Корчагину-Александровскую и не узнал от нее про тот спектакль, который ей пришлось разыграть не на сцене, а в жизни. Спектакль был драмой. Но со счастливым концом!

Это происходит так: в неподобающее время, когда до ужина еще часа полтора, а до вызовов на допрос и того более, в коридоре кто-то берется за запор окошка в двери камеры. В камере, несмотря на соблюдаемый запрет разговаривать хотя бы вполголоса, почти постоянно стоит непрерывный слитный шум. Его составляют шепотные разговоры, движения, перекладывание вещей — вообще проявление какой ни на есть, а жизни семидесяти человек, набитых в камеру, рассчитанную только на двадцать. Удивительно, что, как бы тихо ни подходили надзиратели к двери, как бы осторожно они ни брались за скобу окошка, этот осторожный шорох за дверью каким-то чудом перекрывает весь шум камеры. И мгновенно в ней воцаряется пронзительная, тревожная тишина.

Окошко, которое у нас называется кормушкой, открывается, и в нем незнакомое лицо. Это не наш коридорный "попка" — их мы уже всех знаем. Незнакомый вертухай обводит глазами десятки обращенных к нему людей.

— Кто тут на эр?

Я только что отошел от параша и стоял у самой двери. Еще никто из тех, чья фамилия начиналась на ту же букву, что и моя, не успел себя назвать, как я неуверенно произнес мою фамилию.

— Инициалы полностью?

Я, совершенно уверенный, что все это ко мне не имеет никакого отношения, называю свое имя, отчество. Надзиратель заглядывает в бумажку, которую он держит в руке:

— Соберитесь с вещами!

И кормушка захлопывается. Я стою как бы оглушенный, еще не осознающий, что вот оно: началось то неизвестное, которого я ждал, боялся, жаждал, жаждал изо всех сил, всеми помыслами. И вдруг я начинаю понимать, что меня снова уводят из почти семьи, от людей, ставших мне близкими, от тех, кто про меня знает, меня поддерживает, с кем мне почти ничего и не страшно, потому что мы все — вместе. Я сидел в тюрьме — сравнительно со многими — еще очень недолго, но уже испытал это неизъяснимое, ничем не могущее быть разрушенным чувство камеры.

После первого месяца тюрьмы я попал в карцер. Собственно говоря, во всем был виноват один из заместителей наркома лесной и бумажной промышленности. В камере он был одним из заместителей старосты и работал почти по специальности. Каждое утро перед оправкой надзиратель вручал ему аккуратно нарезанные небольшие четырехугольники серой бумаги — строго по числу арестантов в ка-

мере. Замнаркома раздавал их. После оправки те несчастливцы, у которых кишечник не сработал, возвращали ему неиспользованные бумажки, а он их отдавал надзирателю. Очевидно, заместитель старосты посчитал меня старым и знающим арестантом и не предупредил, что подтирочная бумага является бумагой строгой отчетности. И я оставил себе этот небольшой кусок серой бумаги. А вечером вдруг была внеочередная, совершенно неожиданная "сухая баня". Или "шмон". Словом — обыск камеры. И у меня нашли кусок клозетной бумаги. Вертухаи отнеслись к этому событию серьезно и обрадованно. Они составили акт о том, что у арестанта были найдены "письменные принадлежности". Я еще не успел забыть чувство от самого первого обыска, когда мне приказали нагнуться и раздвинуть задний проход. И что-то сказал остроумное — как я полагал — о чрезвычайном их интересе к тому месту, которое Пушкин называл "грешной дырой".

Но надзиратели не оценили ни моего остроумия, ни литературной оснащенности. Вечером меня забрали в карцер. Карцеры в Бутырках были разные, и мы были наслышаны и о сырых каменных мешках, и о подвалах, где крошечная тьма и бегают крысы... Я попал в "светлый" карцер. Это довольно противная штука. Такой небольшой шкаф-комната. Два шага в длину, полтора в ширину. Окна нет. К стене поднята железная рама с несколькими железными перекладинами. Это кровать. Она весь день поднята и опускается какой-то штукой извне раз в сутки на четыре часа. И раз в сутки дают пайку хлеба в четыреста граммов и кружку кипятка. Шкаф этот, пол, стены, потолок, железная штука, называемая кроватью, металлическая огромная, непопорожняющаяся параша с крышкой — все выкрашено ослепительно белой эмалевой краской. А в потолок ввинчена лампа свечей на пятьсот. И она горит, сволочь, днем и ночью... И через час от этого начинаешь сходить с ума. Большую часть времени я стоял в углу, плотно закрыв глаза и прижав к ним руки в белой же натальной рубашке. Потому что перед вводом в карцер тебя оставляют в одном белье. Но ничего не помогало, свет проникал в мозг, во внутренности, от него никуда невозможно было деться.

Мне было объявлено, что я наказан пятью сутками карцера "обычного режима", что мне не положено стучать, разговаривать, садиться или ложиться на пол и что-то еще делать. А за нарушение любого из этих запретов карцер мне автоматически продлевается еще на пять суток. Через несколько суток я потерял счет времени. И это было самое страшное. Я вообразил, что я что-то сделал, нарушил, что уже прошло пять суток и мне предстоит еще столько же... И мысль об этом была страшной. Я совершенно был уверен, что не выдержу, не выйду из этого светлого ада, а если выйду, то слепым или получеловеком. И я вспоминал полусвет, дружескую тесноту двадцать девятой камеры, возможность лечь на нары, укрыться с головой, спрятаться от глазка в двери за сочувствием, помощью и пониманием твоих товарищей, твоих сокамерников.

И вдруг открылась не кормушка, а дверь. Открылась дверь в полную, в совершенную темноту. Я даже людей в этой черноте не увидел. Меня взяли за локоть, вывели из карцера, я как-то оделся, взял завязанные в рубашу вещи и пошел по темным, совершенно неосвещенным коридорам тюрьмы. Я не узнал свой коридор, не

видел номера камеры, перед которой мы остановились. Дверь открылась, меня толкнули в спину, и я вошел в теплую сырость, в спертый воздух камеры. И меня схватили за руки, повели куда-то, я слышал знакомые голоса, мне совали в руки что-то съестное, и кто-то кричал: "Да дайте ему сначала покурить!.." Но я никого не видел, слезы вдруг хлынули у меня из глаз, я сидел залитый слезами и затягивался папиросой, которую мне вкладывали в рот.

— Из "светлого" карцера! — сказал кто-то опытный. — Он ничего не видит еще. Сейчас у него отойдут слезы, и он начнет видеть...

Может быть, действительно таков физиологический эффект после пяти суток изнурительного света. Но, наверное, я просто плакал от жалости к себе и счастья, что я снова попал домой, что я снова со своими, что мы вместе, а когда вместе, то все совсем не так уж и страшно...

...И вот теперь я снова уходил от своих сокамерников. И на этот раз — навсегда. Мне помогали собирать вещи и со всех сторон убежденно и страстно шептали: на волю! Идешь на волю! Это точно, я тебе говорю — идешь на волю! Запомни адрес, найди, скажи жене, не забудь!.. И я — веря и не веря — твердил про себя адреса, жал руки и целовался, и я не знаю, сколько же это все длилось, пока мы не услышали за дверью лязг ключей, скрип запоров, шорох открываемой двери. И меня руки моих товарищей почти выталкивают в коридор. В светлый и чистый коридор. Толстые веревочные широкие циновки выстилают кафельный пол. Широкие и высокие окна без всяких намордников забраны толстым матовым, армированным проволокой стеклом. А верхние стекла — самые нормальные, не тюремные, человечьи, и к ним прислонены зеленые верхушки тополей.

Меня ведут в самый конец коридора, заводят в какую-то камеру. Это и не камера, а вроде комнаты. По стенам — лавки, а в углу самый обыкновенный стол, а за ним стул. В комнате человек пять. Все они растеряны, тяжело дышат, в руках у них нелепые арестантские узлы из наволочек, рубашек, кальсон, набитых всяким тряпьем. И я понимаю, что выгляжу таким же растерянным и непонимающим. Сажусь на лавку и осматриваюсь. Двое — пожилые, с лицами усталыми, глазами, полными тревожной надежды. Они не сводят глаз с дверей. По комнате из угла в угол расхаживает — как тигр в клетке — красивый молодой человек в роскошном твидовом костюме, на элегантность которого не подействовала тюремная баня, шмоны. Это был Гриша Филипповский, художник, мой будущий товарищ по этапу и лагерю.

Постепенно комната наполняется людьми. Каждый раз, когда гремит замок, все с надеждой обращается к двери. Но в проеме ее показывается, придерживая на животе узел с барахлом, новый арестант. Наконец дверь распахивается по-особому, широко, и в комнату по-хозяйски входит молодой лейтенант. Два надзирателя становятся у двери. Лейтенант наглажен, набрит, пряжки пояса и португея блестят, складочки на гимнастерке все запланированные и аккуратные, от него пахнет одеколоном, хорошим табаком, домом, удачей, здоровьем, молодостью — всем, что ты когда-то считал естественным,

нормально-человеческим. Он такой же, каким я был и по инерции продолжаю себя считать и дальше.

Нет, неправда, он не такой, как я, как другие. Это только первые недели я продолжал считать надзирателей, следователей такими же людьми, как я, — ну, ошибающимися или же негодьями, но все же людьми. Потом у меня это прошло. Сразу. Мгновенно. Однажды в нашу двадцать девятую надзиратели принесли человека с допроса. Это был старый человек, который нас поразил тем, что сидел в этой самой двадцать девятой в 1911 году... Он был слаб, болен, и били его, очевидно, больше других. Потому что два надзирателя его внесли, и он как мешок упал на пол у двери и лежал неподвижно. Мы не могли к нему сразу же броситься, потому что один надзиратель остался с ним в камере у приоткрытой двери, а другой вышел и через две минуты вернулся, пропустив вперед женщину в белом халате.

Признаюсь, что мы даже на какие-то мгновения забыли о нашем избитом товарище. Это была красивая, очень красивая молодая женщина. Мы не видели женщин много месяцев, это был представитель "того", утерянного мира. Мы не могли отвести от нее глаз. Не наклоняясь, красивая женщина в белом халате носком маленькой элегантной туфли поворачивала голову лежащего человека, его руки, крестом раскинутые на асфальтовом полу камеры, его ноги... Потом она повернулась к надзирателям и сказала: "Перелома нет, одни ушибы..."

Повернулась и, не глядя на нас, вернее, глядя на нас, но не видя нас, — вышла из камеры. За ней вышли надзиратели. Вот тогда я понял сразу и навсегда, что они не такие, как мы. Не такие, какими мы были, и уж вовсе не такие, какие мы сейчас и какими мы будем. С этими нельзя вступать в человеческие отношения, нельзя к ним относиться как к людям, они людьми только притворяются, и к ним нужно тоже относиться, притворяясь, что считаешь их за людей. Но будучи в полной и непоколебимой уверенности, что людьми они только притворяются. Одни лучше, другие хуже.

Но вернемся к лейтенанту. Он по-хозяйски твердо и уверенно сел за стол, раскрыл красивую кожаную папку и вынул оттуда бумаги большие, бумаги маленькие. Он начал вызывать по фамилиям; спрашивая имя, отчество, год рождения. Затем каждому протягивал небольшой клочок бумаги и говорил:

— Распишитесь здесь. И поставьте число.

Меня он вызвал третьим или четвертым. Не глядя на меня, он протянул мне небольшой четырехугольник белой бумаги. Это был типографски напечатанный бланк с грифом "Совершенно секретно". Напечатано было: "Постановление Особого совещания при НКВД от..." "От" — было 21 июня 1938 года. Как в протоколе, бланк был разделен на две половины вертикальной чертой, на левой было напечатано: "Фамилия, имя, отчество, состав преступления". На правой: "Постановление". Внизу надлежало расписаться секретарю Особого совещания. В моем бланке в левой части было указано: "Разгон Лев Эммануилович, член ВКП(б)". В правой: "За контрреволюционную агитацию (КРА) приговорить к пяти годам исправительно-трудовых лагерей".

Я даже не прочитал, а моментально глазом охватил содержание

листка, подписался, вспомнил, какое сегодня число, написал, вернул листок лейтенанту и отошел в сторону. Все остальные тоже проделывали это в полном молчании. Только один немолодой арестант не сразу отдал постановление, а, держа его в руках, спросил лейтенанта:

— А жаловаться я имею право?

— Имеете, безусловно, имеете, — предупредительно-вежливо ответил лейтенант.

— А куда?

— А куда хотите. Можете в Мосгико при МОСО, — столь же спокойно-вежливо сказал лейтенант.

Это была, очевидно, острота, произносимая не в первый раз, — предложение жаловаться в Московскую артель инвалидов при Московском отделе социального обеспечения. Острота не была принята, на нее не последовало ответа, и процедура объявления приговоров закончилась быстро, казенно и малоинтересно. Лейтенант сложил свои бумажки в папку, встал и вышел из камеры. Мы остались одни и начали расспрашивать друг друга о сроках и буквах приговоров.

Может быть, оттого, что драматический, постановочный обряд объявления приговора тут был заменен быстрой и скучной канцелярщиной, никто из нас как-то серьезно не отнесся ни к срокам, ни к тем буквам, которые заменяли статьи Уголовного кодекса и обозначали состав содеянного преступления. Все мы чрезвычайно наивно считали сроки заключения совершенно условными, нереальными. Мы полагали, что не имеет никакого значения, пять, восемь или десять лет определено нам сидеть в лагере (почему-то в постановлениях Особого совещания были только эти градации: пять, восемь, десять). Все равно через какое-то, и, безусловно, короткое, время все выяснится, ну, просто что-то произойдет, и мы вернемся на волю, потому что то неестественное и страшное, что происходит, не может длиться больше месяца, месяцев, ну года!..

Должны были пройти годы, чтобы уцелевшие поняли, что все совершенно серьезно и всамделишно. А могли не освободить и не освобождали ("до особого распоряжения") и после окончания срока. Но никого не выпустили ни на один день раньше.

И буквы статьи оказались более серьезными, нежели мы могли предполагать. Среди многих чудес того, что именовалось нашей юстицией, изобретение этих букв носило почти гениальный характер. Оно исключало всякую практическую возможность воздействовать на твою судьбу. Лейтенант был совершенно прав, советуя жаловаться в артель инвалидов. Это имело такое же значение, как жалоба в прокуратуру, наркому, в Президиум ЦИК, ЦК и любые другие учреждения. Они не имели к этому прямого отношения. Все решал тот самый сержант, лейтенант или другой чин государственной безопасности, который "вел дело" и заранее знал, что нужно с тобой сделать. В довольно широких пределах. Он и избирал буквенный шифр, определяющий, собственно, всю дальнейшую жизнь человека.

А незначительные изменения в этом шифре имели огромное значение. "СВЭ" (социально вредный элемент) была статьей "бытовой", она давалась бывшим уголовникам, простым нарушителям паспортного режима, проституткам, мелким вора, насильникам. Это были — по официальной терминологии — "социально близкие

люди". По лагерным инструкциям только из них и полагалось начать лагерную администрацию, службу, конторских служащих и специалистов. Конечно, это не соблюдалось, ибо необходимых лагерю врачей, экономистов, инженеров оказывалось до смешного мало среди воров и насильников. Даже поварами и каптерами их трудно было назначать в силу их специфического отношения к казенной собственности. Зато кадры комендантов, нарядчиков, работников УРЧ (учетно-распределительной части) и КВЧ (культурно-воспитательной части) состояли только исключительно из уголовных.

Понятия "вредный" и "опасный" кажутся синонимами. А вот "СОЭ" (социально опасный элемент) была уже статьей политической. Правда, в длинной серии шифров заключенных 58-й статьи "СОЭ" был самым безобидным. Он давал право на скорейшее расконвоирование и вообще на ряд льгот. Следующими по тяжести были шифры "КРА" и "АСА" — контрреволюционная агитация и антисоветская агитация. Логической разницы здесь не было, но какая-то директивная была и в чем-то сказывалась. Дальше шла серия "КРД" — контрреволюционная деятельность. Это была статья широко распространенная, включающая самые различные и непохожие друг на друга обвинения. В этот шифр иногда вклинивалась страшная буква "Т". "КРТД" означал террористическую деятельность. Людей с этим шифром, как правило, держали только на общих подконвойных работах, их никогда не назначали ни в службу, ни в контору. Иногда следователь с фантазией вставлял в этот шифр еще одно "Т" — не просто террористическая, а троцкистско-террористическая деятельность. Этих людей держали на штрафных лагпунктах, под особым контролем, в некоторых лагерях их попросту расстреливали по указаниям из Москвы об уничтожении троцкистов. Удивительно, но среди людей с этими буквами я никогда не встречал ни одного бывшего члена партии, хоть сколько-нибудь и когда-нибудь имевшего отношение к троцкизму. Я знал случаи, когда дополнительное "Т" появлялось в формуляре во время очередной генповерки, в результате ссоры с нарядчиком или начальником УРЧ из блатных. Знал я одного кузнеца, человека необыкновенного таланта, который мог починить самую сложную машину, выковать самую сложную деталь. Его — не зря на статью — держали в кузнице, не жалея специального конвоира. Серегин был крестьянином, никакого отношения к политике не имел. Второго декабря 1934 года он сидел в кузнице в далекой тамбовской деревне и объяснял своим односельчанам, какой следовало бы делать жнейку. Зашедший в кузницу человек сказал: "Слышь, Серегин, Кирова убили..."

— Ну и фиг с ним, — ответил Серегин, никогда в жизни не слышавший эту фамилию и уверенный, что речь идет о драке в соседней деревне во время престольного праздника... От какого-то присутствовавшего доброхота слова эти стали известны в райотделе НКВД и легли в досье, заведенное на кузнеца. Через три года Серегин постановлением местной тройки и получил десять лет с шифром, содержащим две страшные буквы "Т".

"Нехорошей" статьей считалась также одна из самых распространенных — "ПШ" (подозрение в шпионаже). Впрочем, людей с этой статьей было столько, что она стала почти бытовой, тем более

что множество специалистов носили это клеймо. "ПШ" имели все, когда-либо жившие за границей, или имевшие родственников за границей, или знакомые с людьми, жившими за границей... Вообще, поскольку само понятие "подозрение" исключало какую бы то ни было необходимость что-либо доказывать, подозреваемыми в шпионаже оказывались часто люди, никакого отношения к загранице не имевшие: ремесленники в маленьких городах, учителя иностранных языков, дворники, не угодившие чем-либо своим тайным шефам...

Более определенной и ясной была "женская" статья: "ЧСИР" — член семьи изменника родины. В отличие от всех других статей, она официально узаконивала возможность ареста и осуждения на заключение людей, неповинных даже согласно нашей юстиции. Закон исходил из того, что в нашей стране существует институт заложников. Каждый должен был знать, что, оставаясь за границей или вообще будучи обвинен в том совершенно неопределенном и недоказуемом, что именовалось "изменой родине", — он предает на "поток и разграбление" своих самых близких родных: жену, мать, отца, детей. Все они могли быть осуждены как ЧСИР. Это в том случае, если их не могли обвинить, что они не донесли на своего мужа, отца... — такое каралось по статье 58-12. Сначала все чесеиры были сосредоточены в огромном Темниковском лагере — без права переписки, без права работы по специальности. Они жили в полном неведении о судьбе мужей, родителей, детей. Счастливы были те, кого арестовывали беременными или брали с грудными детьми. Те имели счастье держать ребенка около себя, остальные умирали от полного неведения и ужаса за своих маленьких детей. Только через два-три года чесеиры стали рассылать по общим лагерям, где они получили возможность переписки.

Не следует думать, что Особое совещание и спецтройки действительно совещались, обсуждали или даже просто читали то, что они подписывали. Летом 1937 года, когда вокруг меня уже было вырублено множество близких мне людей, а сам я выгнан с работы, я зашел в Московский уголовный розыск к моему двоюродному брату — заместителю начальника МУРа. Мерик Горохов был прелестным и добрым человеком. Много лет он работал в пограничной охране, затем оказался заместителем знаменитого Вуля — начальника МУРа, грозы московских бандитов — и был расстрелян вместе с ним. Мерик был тихий еврей с русыми волосами и нестеровскими синими глазами. Я сидел у него в кабинете, когда вошел его секретарь, держа в руках огромную — в несколько сотен листов — кипу документов. Не прерывая разговора со мной, Мерик синим карандашом подписывал внизу каждый лист, рядом с другой какой-то подписью. Он не заглядывал в эти листы, а привывая, не глядя, подмахивал. Изредка он прерывался, чтобы потрясти уставшей рукой.

— Что это такое ты подписывал? — заинтересованно спросил я.

— А я понимаешь, член, член тройки. А это постановления об изоляции уголовных, социально вредных элементов, — ответил мне Мерик... Я потом их видел — этих эсэистов. Добрую половину из них составляли люди, которые никаких преступлений не совершали давным-давно. Когда-то они были осуждены, отбыли заключение, потом, что называется, завязали, стали примерными обывателями, жени-

лись или вышли замуж, обзавелись детьми, стали рабочими или служащими. Среди них были "перекованные" с Беломорканала и Дмитлага, освобожденные досрочно за ударный труд, награжденные почетными знаками и даже орденами. Все это не имело никакого значения, все они были "изолированы", как деликатно называлось осуждение на заключение в лагерях.

Вот так же, как подписывал постановления мой кузен, подписывали постановления Особого совещания и всяческих троек другие деятели. На всех этих бумагах были всякие подписи и грифы: "Согласовано", "Утверждаю" и пр. Но почти все они подписывались таким же образом, и единственный, кто реально решал участь этих людей, был тот сержант, лейтенант или капитан, кто составлял бумагу, под которой подписывались остальные.

Я немного отвлекся от своего рассказа. Мы — осужденные — уже почти перезнакомились и долго ждали, что же с нами станут делать дальше. А дальше — нас всех вывели, предварительно обыскав, и построив по два, повели по бесконечным коридорам. Перед нами открывались и закрывались тюремные двери, потом мы перешагнули еще через один порог и очутились в почти забытом царстве зелени. То был огромный двор, заросший травой необыкновенной и пронзительной зелени. В траве желтели одуванчики и лютики, росли тополя... Мы не видели травы с тех пор, как попали в тюрьму. Дворики, куда нас водили на пятнадцатиминутную прогулку, были залиты асфальтом, ни одна травинка не пробивалась там. А здесь, здесь было — как нам казалось — буйство зелени! В глубине двора стояло мрачное, нелепое, округлой формы кирпичное здание. Это была бывшая тюремная церковь, превращенная в этапную тюрьму. Нас завели внутрь, мы зашагали по широкой лестнице на второй этаж. Вертухай открыли камеру, и нас — человек восемь — толкнули в раскрывшуюся дверь, за которой был слышен несдерживаемый поток голосов.

Оглушенный, я стоял у двери, около огромных металлических параш. После нашей камеры эта казалась залом. Это была огромная светлая камера. Хотя большие церковные окна и были забраны намордниками, но даже они не могли помешать литься потокам света. Вдоль стен шли двухэтажные нары, заполненные людьми, тесно прижатыми друг к другу. Было заполнено и пространство под нарами, на полу — "под юрцами". Некоторые устроились просто в середине камеры, и через них привычно перешагивали люди. В отличие от следственной тюрьмы, здесь никто не говорил шепотом. Все говорили громко, да иначе и нельзя было — никто ничего бы не расслышал. В камере было несколько сот человек, и все они вели себя совершенно свободно: кто спал, кто делал зарядку, кто гулял по камере, спокойно перешагивая через лежащих на полу, кто разговаривал, а кто даже и пел...

Никаких мест для нас не было в этой камере, нас никто не встречал, не принимал, не было в этапной камере и следа железного порядка и самоорганизации нашей двадцать девятой камеры!.. Я медленно обводил глазами нары, надеясь увидеть знакомое лицо. Не было ни одного. Нет, одно лицо безумно знакомое, привычное,

многожды виденное на фотографиях, не похожее ни на одно из сотен других. На нижних нарах сидел, поджав ноги по-турецки, человек, необыкновенно похожий на знаменитые портреты и фотографии Анатоля Франса. Аккуратная белая, слегка раздвоенная, борода, длинный, лукаво изогнутый нос, кремовая шелковая пижама и черная академическая ермолка на ослепительно седой голове. Он читал книгу, перелистывая ее грациозным и широким жестом. Может быть почувствовав мой пристальный взгляд, он оторвался от книги, поднял голову и внимательно посмотрел на меня. Потом он наклонил приветственно голову и столь же изысканным жестом позвал меня. Я подошел.

— Молодой человек! Здесь имеется подобие места, и, если вы не возражаете против общества скучного старика, пожалуйста, устривайтесь!

Столь же округлыми движениями он принял от меня мои вещи, подвинулся, уступая мне место около себя, и, когда я уселся, сказал:

— Ну что ж — будем знакомиться. Михаил Сергеевич Рошаковский. С кем имею честь?

...Вот так я целый месяц провел рядом с одним из самых оригинальных и интересных людей из многих, узанных мною за тюремные и лагерные годы.

Недаром фамилия его мне показалась несколько знакомой. Потом я понял, что встречал ее в романе Новикова-Прибоя, в толстых иллюстрированных томах истории японо-русской войны, еще где-нибудь, в тех бесчисленных книгах, которые я в молодости читал без всякого разбора, руководствуясь исступленным и неуправляемым любопытством. Биография Рошаковского была необыкновенной даже в наше время, когда необыкновенных биографий не занимать...

Начинал Рошаковский весьма обычно для представителя старинной дворянской семьи, в которой несколько поколений были моряками. Окончил Морской корпус. Окончил блестяще. Из других ему подобных выделился лишь тем, что учился на одном курсе с некоторыми великими князьями, в частности с теми Владимировичами, которые получили затем немалую известность. Дружил с ними, что, очевидно, сыграло потом некоторую роль в его дальнейшей жизни. В отличие от тех, кто выбирал службу в Кронштадте, поближе ко двору, попросил послать его на Дальний Восток, в Тихоокеанскую эскадру. Уехал в Порт-Артур и, благодаря своим немалым способностям, делал быструю карьеру. К началу русско-японской войны Рошаковский командовал миноносцем "Решительный". Миноносец вошел в историю войны как весьма редкий пример военной удачи. Когда русская эскадра делала попытку прорваться из блокированного японцами Порт-Артура, "Решительный" оказался единственным кораблем эскадры, которому удалось вырваться из кольца японских судов. За миноносцем погналась почти вся японская эскадра. Более быстроходные японские миноносцы уже настигали "Решительный", и Рошаковскому ничего не оставалось делать, как заскочить в лежащий на пути китайский порт Чифу. Китай держал нейтралитет в войне, и корабль

должен был быть интернирован китайцами. Но японцы уже и тогда плевать хотели на китайский нейтралитет.

Когда еле переводивший дух русский миноносец бросил якорь в Чифу, на горизонте показалась японская эскадра, плотным кольцом оцепившая русский корабль. К "Решительному" подплыл японский катер, японский офицер поднялся на борт русского корабля и в самой оскорбительной форме предложил Рошаковскому немедленно сдаться в плен — кораблю и всему экипажу. Когда Рошаковский ответил японцу (разговор шел по-английски) на самом изысканном языке посетителя портовых ночных кабаков, что предложение это для русских неприемлемо, японец внезапно бросился на капитана "Решительного" и вцепился кривыми, но крепкими зубами в его руку...

— Видите, голубчик, — Рошаковский протянул мне изуродованный палец, — из-за этой скотины я отказывался танцевать на балах, не протыгивать же дамам такую клешню!

По приказу капитана матросы "Решительного" с толком и не без удовольствия отлупили японца и бросили его в катер. Японский офицер поплыл к своим, обещая русским, что через полчаса все они будут кормить рыб на морском дне. Не приходилось сомневаться в реальности этой угрозы. И за эти полчаса Рошаковский высадил всю команду на берег и, последним оставшись на борту, самолично открыл кингстоны. На глазах у японского флота "Решительный" с неспущенным андреевским флагом ушел на дно. Рошаковский на лодке добрался до берега, куда японцы не посмели все же сунуться. Матросы были интернированы, а сам Рошаковский — не без соизволения китайских властей — бежал в Америку...

Из Соединенных Штатов он приехал в Петербург. На мрачном фоне поражений и неудач подвиг капитана "Решительного" был особенно впечатляющ. Рошаковского осыпали орденами и всякими милостями. Вот тогда-то, может быть и не без помощи своих великокняжеских сокурсников, он познакомился и подружился с царем. Да, подружился, насколько это только было возможно при безвольном, коварно-изменчивом характере Николая II. Но Рошаковский не использовал возможность сделать мгновенную придворную карьеру. Да и вообще — это странным мне казалось! — он совершенно не был карьеристом. Готовилась к отплытию эскадра адмирала Рождественского, и Рошаковский добился назначения в эскадру. Он пережил печально-знаменитое плавание от Петербурга до Цусимского пролива, был участником Цусимского боя, подобран японцами из воды с другими русскими моряками, оставшимися в живых, до конца войны прожил в японском плену.

В плену Рошаковский работал над подробнейшей запиской о причинах поражения русского флота и о необходимости коренной его реорганизации. Но когда после конца войны и возвращения в Россию он эту записку пустил по инстанциям, ему не помогла и дружба с царем. Записка застряла в канцеляриях Морского министерства, царский дядя — генерал-адмирал — был вне себя от ярости, и морская карьера Рошаковского быстро сломалась. Тогда он сделал решительный шаг и подал в отставку. По просьбе царя он стал дипломатом. Но не простым, а чисто династическим. Рошаковский представлял не столько Россию, сколько своего державного приятеля, и только

в тех государствах, где государи были родственниками русского царя: в Дании, в Греции, в герцогстве Дармштадтском... Каждое лето Рошаковский проводил в Ливадии, в гостях у Николая.

Я верю словам Рошаковского, что он никогда не был придворным поддипалой и не использовал свои отношения с самодержцем ради карьеры и обогащения. Свою связь с царем он использовал только тогда, когда началась первая мировая война. В своей погибшей в канцеляриях записке Рошаковский писал, что самым главным флотом в России должен стать совершенно новый флот — северный. Что необходимо использовать незамерзающие полярные порты для снабжения России, необходимо проложить железную дорогу между Мурманском и Петербургом... В 1914 году Рошаковский бросает дипломатическое ведомство и возвращается на военную службу. В нарушении всех правил чиновничества он получает звание контр-адмирала и назначение генерал-губернатором Кольского полуострова с почти неограниченными полномочиями.

Он был способным колониальным администратором — Рошаковский. Совсем таким, как почитаемые им коллеги из английских и нидерландских колоний. Мурманскую дорогу строили военнопленные, тысячи китайцев, привезенных из-за тридцати земель. Рошаковский не жалел ни людей, ни денег. А пока дорога строилась, он организовал перевозку снарядов из Англии в новый порт Романов, откуда они перевозились до ближайшей станции на оленях... Рошаковский до того был занят своим новым делом, что почти и не виделся со своим державным дружкой. Пока его обухом по голове не стукнули революция и отречение царя от престола. Рошаковский знал, что Михаил, которому царь передал спутавшиеся бразды, имеет способности к царствованию еще более скромные, чем Николай...

— Покойный наш государь был человеком превосходного воспитания, очень деликатный, хорошо знавший свое — царское — ремесло... Он знал, как и с кем разговаривать, да, да — превосходно это умел! Памяти был необыкновенной и понимания особенностей и деликатности разговора... С гусаром разговаривал иначе, чем с преображенцем... Мог говорить с любым профессором, и с мужиком умел запросто разговаривать! А что еще требуется, в конце концов, от царя? Ну, от русского царя еще, конечно, требуется способность управлять державой. И государь мог бы это делать, если бы не его проклятая деликатность, неуверенный характер да эта огромная, ну огромнейшая же орава бездельников царской фамилии! Мало им всего, что имели, каждый еще лез в советники, руководители, в управляющие... А государь не имел сил и характера своего отца. И еще — семья, такое тяжкое горе в семье!..

— Это вы про царицу?

— Ну, сударь мой, что же вы вслед за этими, за репортеришками, будете гадости про нее говорить? Что она с Распутиным, что ли, спала? Государыня была глубоко несчастной женщиной... Понимаете, рождаются одни девочки, одни девочки... Престол русский уходит из семьи, впервые прерывается прямое престолонаследие, считает себя в этом виноватой... И истеричка при этом — бегаёт по монастырям, бьет поклоны, выпрашивает у бога наследника... А когда рождается наследник, выясняется, что он вроде и не жилец! Она не только Рас-

путину — черту с рогами могла душу заложить, чтобы спасти сына! Вот так, батенька. А Михаил Александрович был милейший человек, но только в полку. И даже не в гвардейском, а только в армейском полку, где-нибудь в Калуге. И не выше подполковника. Для командования полком не годился — был застенчив, жалостлив, терпеть не мог придворных церемоний, адвокатишку какого-нибудь паршивого стеснялся, как барышня провинциальная кавалера... А ведь учили на царя! Учили без всякой такой пользы — бесполезное, батенька, было дело!

Рошаковский примчался в Петроград на другой же день после того, как Михаил — вслед за братом — отрекся от престола. И больше уже никаких иллюзий не строил.

— Развалилась империя. Да-с. Ну, эти субчики — министры, начальники департаментов, сенаторы — все они гроша ломаного не стоили. Без роду без племени, живут от казны, ни достоинства, ни чести — зависят только от службы, от карьеры. И ради нее — на все готовы. Говорят и делают только то, что может понравиться государю, государыне, великим князьям. Да что там — государевой фамилии! Всякой сволочи хотят нравиться, если только это может помочь им удержаться. Распутину — Распутину! Иллиодору — Иллиодору! Иоанну Кронштадтскому — и ему!.. О России — никто не думал! Ну а коренные русаки, настоящая русская-то аристократия, они плевать хотели! Служить им — без надобностей, денег не нужно, да еще и унижаться не привыкли. И выродились, конечно, многие. А эти, из купцов, так и вовсе ничегошеньки не поняли. Думали, что можно годами играть в парламент. Научился, болван, сухой херес пить за обедом и думает, что уже спикером стать может!

— Да вы — марксист настоящий!

— Монархист я, батенька, а не марксист! Вашего этого Маркса и не читывал никогда, и читать не буду. Все ждут умных советов от евреев! Каждый губернатор держал около себя умного еврея, советовался с ним, себе не верил, других русских считал глупее... Конечно, евреи — народ умный, огонь и воду прошел, так ведь если считать, что ум от страданий, то русские не глупее должны быть! А ваш Маркс — он у вас как умный еврей при губернаторе... Да-с. Разваливается Россия. И каждый от нее урвать хочет, хоть чем-нибудь поживиться. Бардак я застал в Петрограде поистине вавилонский. Служить некому, да и незачем...

И Рошаковский немедля уехал из России. Он прибыл в Стокгольм почти одновременно с приездом в этот город маленькой группы политических эмигрантов, ехавших в Россию из Швейцарии, через воюющую Германию, в "пломбированном вагоне"... Рошаковский — с его знаниями, энергией и репутацией — довольно быстро нашел себе высокооплачиваемую работу в судостроительной фирме, казалось, что он навсегда отошел от какой бы то ни было политической деятельности.

Пока не началась гражданская война. Здесь он занял позицию настолько странную для человека его убеждений, что к нему приезжали удостовериться делегаты от Колчака, от Деникина. Технический директор судостроительной фирмы начал выступать в печати, на собраниях, писать брошюры и страстные статьи, обращаться к русским

офицерам в белых армиях... Рошаковский всех их убеждал, что победа "Белого дела" означает полное крушение России как суверенного и великого государства. Победа белогвардейцев означает, что Россия станет на десятки, если не сотни лет фактической колонией иностранцев. Что за победу в гражданской войне бывшие правящие классы заплатят страшной ценой расчленения империи и полной потери независимости. И что в России есть лишь одна сила, способная сохранить единую и неделимую Россию, — большевики. Только победа большевиков может сохранить Российской империю и воссоздать, да и расширить ее могущество.

Фирма уволила своего директора, вставшего в большевизм, имя его было проклято как имя изменника, в него стреляли белогвардейцы, а Рошаковский упрямо отбивался от всех нападков и заключал пари с теми представителями шведской аристократии, которым было смешно и весело продолжать дружить с этим взбесившимся русским.

В начале 30-х годов овдовевший Рошаковский, совершенно одинокий, не имевший детей, дико страдавший от ностальгии, попросился на родину. В Москве его приняли с редким почтением. Он был назначен главным консультантом по военному судостроению, ему дали почти все, что могли дать: высокое жалованье, квартиру, пайки, машину... С ним беседовал Сталин, он бывал часто у Ворошилова. В 1937 году его, натурально, посадили и после того, как долго держали в тюрьме без допросов, постановлением Особого совещания дали пять лет как СОЭ — социально опасному элементу. В этом качестве я его и застал в этапной камере Бутырской тюрьмы.

Рошаковский был мне бесконечно интересен. Настолько, что почти все время я проводил в разговорах с ним. Он был для меня настоящим открытием. Начать с того, что впервые я понял, что значит быть "воспитанным человеком". И не в том дело, что все, что этот старик делал, было изящно, красиво, элегантно. Он ел деревянной ложкой тюремную баланду так красиво, что невозможно было отвести глаз... В дикой и омерзительной жизни огромной камеры, набитой людьми, которые тут же, при всех, едят невкусную пищу, отрывая, мучаются распирающими их газами, пользуются вонючей парашей, отравляют воздух зловонием немывтых, потных тел, — в этой обстановке Рошаковский вел себя так, что ничто в нем не раздражало окружающих. Не оскорбляло слуха, зрения — ничего! Он был прост, совершенно естествен в обращении с любым человеком, в нем не было ни тени фамильярности, высокомерия, желания подладиться под собеседника или же чем-то его унижить, загнать в угол эрудицией, опытом...

Это было просто удивительно! Он был убежденный монархист, националист и антисемит. Я же был коммунистом, интернационалистом и евреем. Мы спорили почти все время. И выяснилось, что можно спорить с полностью инаковерующим не раздражаясь, не впадая в ожесточение, с уважением друг к другу... Для меня это было подлинным открытием...

Но не воспитанность была главным, что отличало его от всех людей, с которыми я встречался в тюрьме. Он был единственным,

кто был счастлив. Да, да — он был совершенно счастлив и этого не скрывал. Я знал людей, которые внешне тоже выражали свое удовольствие. Но это не было никаким счастьем, это было самое обыкновенное злорадство.

Таким, например, был Цедербаум — брат Мартова. Это был высокий, неумный и недобрый человек. Он множество лет провел в ссылке и был весьма развращен бездеятельной и привилегированной жизнью знатного ссыльного в относительно либеральные времена. Цедербаум с удовольствием вспоминал, как он жил ссыльным в каком-то областном или окружном городе — не помню, в каком. До революции он имел отношение к аппарату Второго Интернационала, его знали — вероятно, больше как брата Мартова — все деятели Второго Интернационала, которым повезло больше, нежели их русским коллегам. В день его рождения к особняку, где жил ссыльный, подкатывали одна за другой машины с начальниками местного ГПУ. Каждый привозил огромный торт, поздравлял своего подопечного и вручал телеграмму от одного из премьер-министров "дружественных" стран. Тогда почти все европейские премьер-министры — во Франции, Бельгии, Швеции, Норвегии, еще где-то — были социалистами... Пышными и многозначительными словами они поздравляли своего друга, и тень их правительственного величия падала на Цедербаума, который начинал себя чувствовать почти премьером...

Конечно, все это идиотское благополучие в 1937 году лопнуло. Цедербаума арестовали и привезли в Москву. Но он так ничего и не понял и был убежден, что и дальше он будет жить в привилегированной ссылке и ждать лучших дней. Он не подозревал, что его ждет каторжный труд в лагере или голод тюремной камеры, а под конец — пуля в затылок при очередной "ликвидации" по присланным из Москвы спискам. Пока что он упивался радостным чувством мести, злорадства. Демонстрируя, что его — старого тюремного сидельца — ничто не смущает, он непрерывно ходил по камере, перешагивая через лежащих на полу людей, и мурлыкал под нос какие-то французские песенки. Иногда он останавливался перед каким-нибудь совершенно убитым и раздавленным человеком, внимательно в него всматривался и сочувственно спрашивал:

— Что с вами, коллега? Что случилось? На вас смотреть просто страшно! Что произошло?.. А-а-а! Не понял сразу. Вас посадили в тюрьму! Вот что, оказывается, вас огорчает, поражает, удивляет, убивает! А когда это вы делали с другими, то вас это не огорчало, не поражало, не удивляло, не убивало... Других, значит, можно, даже нужно! А вот вас, оказывается, нельзя! Ох-хо-хо!.. Нет, голубчик, про все это уже давным-давно было написано: и в Библии, и в элементарном учебнике истории... Просто вы никогда ничему не учились. Ну, поучитесь, коллега, — может, и поумнеете...

Рошачковский совершенно не злорадствовал, ему не было прище чувство мести, он был счастлив тем, что он — по его убеждению — наконец-то дождался того, во что он страстно верил.

— Да, вы молоды, вам этого не понять: пройти через такие муки разгрома всего дорогого, главного в жизни, жить в страданиях, веря

в воскрешение этого дорогого, — и дожидаться наконец! Бог надо мною смилоствовался, дал мне к концу моей жизни увидеть это счастье!

— Какое же?

— А хотя бы вот эту тюрьму. Я дожил до того, что увидел, наконец, тюрьмы, набитые коммунистами, этими, как их — коминтерновцами, евреями, всеми политиками, которые так ничего совершенно не понимают, что же с ними происходит. Вот поглядите на них, милейший Лев Эммануилович, — крупные посты занимали в государстве. По-нашему, по-старому — директора департаментов, товарищи министров, члены Государственного совета... Ну, при нас такие хоть политикой не занимались, а ведь эти всю жизнь только политикой и занимались... И все равно — ничегошеньки не понимают! Ни того, что с Россией происходит, ни того, что с ними происходит. Всё думают, дурни, что ошибка какая-то случилась! А я — не политик, а просто думающий русский человек — все время ждал этого и надеялся на него, на великого человека, наконец-то ниспосланного нашей многострадальной родине...

— Ну, объясните мне — одному из дураков — что же происходит?

— А происходит, батенька, сызнова — как когда-то после смутного времени — становление великого русского национального государства с его великими национальными задачами.

— Это какими же?

— А это — превращение России в самое могучее, диктующее другим народам свою волю государство! Это воссоединение России в ее старых границах, это присоединение Галиции, это захват Балкан, это решение вопроса о Дарданеллах и выход России в Средиземное море, это укрепление России на Ближнем Востоке, это наше проникновение в сердце Европы — в Богемию и Моравию, в Чехию и Словакию, наш выход на Венгерскую равнину... Объединить, железом и кровью объединить всех славян в сверхмогучее государство — вот исконная и великая задача, которую не сумели выполнить Романовы и что суждено сделать другим, более великим людям...

— Ну вот — уже и мадьяр включили в славянское государство! А они славян терпеть не могут... А у румын, кроме православия, что общего со славянами? А народы Средней Азии — они что, тоже входят в славянский союз?

— Ну, батенька, сартам там, киргизам, башкирам — всем им суждено быть нашей колонией всегда и до конца веков! Да и вообще государство — это не благотворительное заведение! Вам, евреям, уже давно забывшим о собственном государстве, этого не понять! Вы заняты вещами благородными и красивыми: философией, искусством, социальными там теориями... А государство — оно может быть только национальным, и делается такое государство не поэтами и музыкантами, а холодными, железными людьми... Ах, как я был бы счастлив: дожить бы, когда этот великий, нет — величайший! — человек поймет полностью свою задачу, станет основателем новой русской династии — Иосифом Первым!..

— Так он же не русский. И никакой не славянин...

— Ну и что? Во всех государствах основателями новых и прочных династий были чужаки. В Англии — Ганноверы, в Швеции — Бернадоты, в России — Гольштейн-Готторпы... Это не имеет ника-

кого значения! Слушайте, а дети у него есть? Сыновья?

...Я вспомнил Яшу Джугашвили, его фанатическую скромность, одержимую честность и рыцарственность, его нелюбовь к отцу, отцовскому коварству...

— Я хорошо знаю человека, которого вы прочтете в цесаревичи. Нет, из него царя не сделать!..

— Ну и что! Убьет его. Как это сделал Иван, как сделал Петр. А младшего сына воспитает, чтобы был царем! А нет младшего — родит, возьмет на воспитание — нет, человек, который основывает династию, уж всегда подготовит себе преемников!

— В одном своем фельетоне Михаил Кольцов писал про что-то, что это так же невозможно, как невозможно себе представить Сталина во фраке или мундире с генеральскими погонами...

— Дурак ваш этот фельетонщик! Кольцов — еврей, наверное, и не понимает государственного таланта. А Сталин — он еще будет ходить в эполетах фельдмаршальских, и вокруг него свита будет в генеральских погонах, и трястись перед ним будут так, как перед Петром не тряслись, и Николай Павлович будет по сравнению с ним либералишкой жалким...

— Ну и что ж: значит, будут у нас и звания — там тайный советник, действительный статский, и мундиры с шитьем?..

— Обязательно будут. И звания — ну, может, как-нибудь иначе зваться станут, — и будут мундиры с шитьем, и всякие другие штуки и побрякушки, без чего никогда не обходятся в настоящем государстве.

— И классы?

— Это какие классы? Ах, сословия! Ну конечно будут. Будет сословие государственных чиновников, сословие ученых, и рабочие будут, и крестьяне... Будет и аристократия своя, из которой станут выходить те, кто будет управлять государством, поставлять высших чиновников, дипломатов...

— Наследственная аристократия?

— Ну, голубчик, перестаньте притворяться дурачком и задавать мне глупейшие вопросы! Конечно, как и положено быть, элита будет производить элиту, чиновники — чиновников, инженеры — инженеров, рабочие — рабочих, крестьяне — крестьян... Дети министров рабочими не пойдут, да и профессорские дочери не станут выходить замуж за ваших колхозников... И перегородки сословные в России новой будут выше и крепче, чем в старой. Потому что покончат, батенька, с этой свободой плевать государству в лицо, с этой расхлыстанностью интеллигентской, со всем этим наследием некрасовским. "Вьдь на Волгу!.." Подумаешь! Этого некрасовского мужика скрутят в бараний рог, он и пикнуть не посмеет, к земле будет прикреплен и работать станет не за совесть, а за страх! И рабочий будет работать так же. Пока не поймет, что на нем верхом выехали, — так за совесть, а когда поймет — так за страх... Страху на Руси хватит — это я вам точно скажу!.. Ишь, Николай кровавый!.. Это же сказать такое про покойного государя — человека тихого, деликатного, из которого настоящего самодержца не могло никогда быть! Вот новый наш государь — этот покажет всем, какой должна быть власть в государстве! Конечно, на первых порах — пережмет, да-да, пережмет... Потому

что, — Рощаковский нагнулся к моему уху, — всех своих друзей бывших, всех своих товарищей, всех перебить должен!.. А это — это как лавина: убивать будут кого надобно и кого не надобно, в России всегда есть кого убивать. И есть кому убивать.

Очень мне было интересно в России. Интересно, странно сначала. Отвык, знаете, от России, от русского духа. А приехал, осмотрелся и увидел, что духа этого много. По-моему, больше, чем надо. Там, в Скандинавии, мне казалось, что со старым — и хорошим, и плохим — в России ну если не покончено, так все же почти покончено. Я там читал книги про большевиков, много читал, писателей ваших читал — Пильняка, Гладкова, еще каких-то... Мне даже казалось, что новый русский человек чем-то с западным человеком схож становится. Деловой, расчетливый, все взвешивающий, все умеющий... Оказывается, ничего подобного! Правда, встречал я и таких: любой крупный хозяин возьмет в управляющие и большие деньги станет ему платить. Но на проверку — или еврей, или же старый эмигрант, служил у Круппа, у Эриксона... А русские — они, пожалуй, остались такие же, и еще много пройдет времени и много крови будет пролито, пока новый Петр из них выбьет старомосковскую дурь, лень, мягкотелость...

...Военные, генералы ваши — они талантливы! Это да! Не меньше, чем наполеоновские маршалы. Встречался я с Тухачевским, с Муклевичем — умные были, очень способные люди. Жаль, жаль, что их постреляли. Чтобы новых вырастить, всегда нужна новая и большая война. А война — она ведь не только героев родит, но и дерьма всякого достаточно. Жалко мне, что пока не увидел я в новых русских одного важного качества — чувства достоинства, что ли. В старой России оно было. И было что давать этому чувству. Во-первых — дворянство. Пусть ты самый задрипанный и бедный дворянин. Но — дворянин! Твое достоинство охраняют законы, царские указы. Тебя никто не может тыкать, никто тебя не смеет материть, никто тебя пороть не может, пока ты не лишен дворянства по суду. Старший офицер никогда не может оскорбить младшего — на дуэль вызовет! В армии, а особенно в гвардии, есть чувство корпоративности, все следят, чтобы никто не посмел нарушить права дворянина. Знаете эту историю с государем Александром Третьим, когда он еще наследником был? Под горячую руку на параде, где он командовал, выматерил одного поручика. Тот ему письмо: дескать, так как я наследника престола на дуэль вызвать не могу, то требую, чтобы вы письменно извинились передо мною. Если к такому часу не получу извинения — покончу самоубийством. Ну, как знаете, Александр был царь умный и толковый, но грубоватый человек. Не извинился. И офицер этот, конечно, застрелился. Так Александр Николаевич заставил сына идти за гробом этого офицера, которого хоронила вся гвардия, пешком, через весь Петербург! А ваша партия, в ней этого корпоративного духа нет и не может быть, она управляется сверху, и правильно, для того она и существует.

А у не дворян — власть и сила денег. Если у тебя голова варит, если ты богат — тебя никто оскорбить не посмеет! А потом в России, как и во всем мире, государственная служба давала великие преимущества. Какой-нибудь сын дьячка, что выучился на доктора, обнаружил способность хорошо людям резать — он через двадцать пять

лет становился профессором, получал полный пенсiон действительного статского или тайного, а то и действительного тайного. Он, этот дьячков сын, уже и высокопревосходительство, у него уже и ленты, и звезды орденские, и никто у него их отнять не может, и получил он их не выслуживаясь, а служа... Вот так-то. А у вас, батенька, я почувял наверху такое холуйство, какое у нас было только в уездной полиции. И то: у человека ни звания, ни денег, сегодня ты министр, а завтра тебя выгонят, кем станешь? Пыжятся, а понимают свою полную зависимость от вышестоящего. Это правильно, пока ломаешь старое, пока кончаешь со всеми привычками, выработанными, когда все были партийными товарищами, а потом надобно или дворянство восстанавливать, или же как на Западе, где человеку достоинство дает свобода выражения своей личности. Но для нас, русских, это, пожалуй, не подходит. Россия — страна, где должна быть настоящая монархия, не английская, не шведская, а русская, самодержавная. Да, да, батенька, не смотрите на меня как на ископаемое! Это когда-нибудь, через сто — двести лет, мы сможем позволить себе роскошь завести свободное государство. А теперь — теперь только самодержавие! У вас срок небольшой, вы человек еще молодой, вы увидите такое самодержавие, какого на Руси не было со времен Петра! Да что там Петра! При Петре не было поездов, самолетов, телефона, телеграфа. Там самодержавие умерялось пространствами, патриархальностью. А вот теперешнее самодержавие будет таким, какого в истории никогда не было! И даст это прибыль нашему государству необыкновенную. Ну и убытки народу тоже порядочные... Не без этого...

...Марков, Хвостов, союзники эти — они у меня всегда вызывали стыд и отвращение. Это, конечно, были подонки и хамы. А то, что государь им покровительствовал, так это от слабости характера и от одиночества. Одни из него сосут деньги и ордена, другие открыто презирают, третьи ненавидят и думают только, как бы его убить... А ведь и он человек, и ему хочется, чтобы хоть кто-нибудь его любил, портреты его носил...

Черта оседлости, процентная норма для евреев — это все были пережитки дикости, неумения управлять. Вместо того чтобы распустить тетиву, лук все время держали согнутым. Вот он и распрямылся... Я евреев почитаю людьми не менее почтенными, чем любые другие. Скорее наоборот: очень умны, способны, надежны; как администратор всегда предпочитал иметь дело с евреями. Но когда я сейчас приехал в Россию, я себя почувствовал как индус, который после долгого отсутствия вернулся в Индию. И в Индии этой роль англичан выполняли евреи. Я понимаю: естественно, они делали революцию, они и плодами ее хотят пользоваться. Но евреи не материал для создания русского государства. Вы — нация не государственная, да вы просто не понимаете самодовлеющей ценности государства! И вам в новом русском государстве снова придется уйти на старое место. Жаль мне вас, батенька, но никуда не денешься!

Рощаковский вдохновенно продолжал рисовать милые его монархическому сердцу картины той России, какой он хотел бы ее видеть.

— ...Да, да — будет государственный антисемитизм. И снова будет процентная норма в университетах, и снова перестанут принимать

евреев в ведомство иностранных дел, в полицию, в жандармерию, выключат их из государственной элиты... Ну не обязательно черта оседлости, теперь это трудненько восстановить, да и не требуется. А если потребуются, то не будет как раньше, когда евреям предоставили для проживания пятнадцать самых лучших, самых южных и плодородных губерний! Теперь, когда захочет, загонит он евреев к черту на кулички, за можай, в самую тундру, тайгу! И никто не пикнет! Влас Дорошевич не наплюет за это в морду в каком-нибудь фельтоне!.. Понимаете, дело ведь не в пользу этого для государства! Ну как же вы не понимаете? Для государства, для нации в целом исключение нескольких миллионов талантливых, образованных людей из управления, производства, науки принесет огромные убытки. Но когда создается национальное государство, когда нужно повести за собой народ — нужен лозунг всем понятный, всем ясный — ну вот как ваш этот знаменитый: "Грабь награбленное!" В цивилизованной Германии малокультурный и малоцивилизованный Гитлер пришел к власти, сказав: "Германия — для немцев!" И — пожалуйста — от цивилизованной, интеллигентной, философской Германии пух только полетел, одни рожки и ножки остались! И у нас выкинут этот лозунг: "Россия — для русских!" Неминуемо, неизбежно! А за этим лозунгом пойдут все, для кого евреи — конкуренты! Пойдут чиновники, профессура, журналисты, литераторы... Пойдут продавцы, приказчики, дантисты, врачи... Дело, конечно, некрасивое, и совестью покривить придется... Так ведь дело привычное! Когда выгодно, то благородные слова для этого найдутся! Ничто так не возбуждает национальную или революционную совесть, как выгода! Вот вы небось с ужасом смотрите на меня, старого циника!.. А какой же я циник? Я просто старый и разумный человек. Да, да...

Однажды в Ливадии разговорился с Петром Аркадьевичем Столыпиным — государя долго ждали на пристани... Очень был умный человек и знал, что хочет делать, — для государственного человека это почти самое главное! Но был он попорчен — как будто его моль поела! — своим губернаторским прошлым. Узок был, батенька. На Россию смотрел как на губернаторство, только большое... А это совсем, совсем другое дело! И опять же был связан очень со своей средой. Земельный вопрос решал по-куриному, тихонько — как будто у императорской России века впереди. А впереди-то не века, а несколько лет... Пошел бы на принудительное отчуждение за большой выкуп земли у помещиков да и отдал мужикам — и сто-двести лет Россия никакой бы революции не знала и не боялась! У Ллойд Джорджа хватило же ума и решимости. А почему? Своей земли не было, у родичей ее не было, смотрел вперед и думал о пользе государства, а не сословия. А наши дворяне, да и капиталисты — прохлопали они Россию из-за собственной жадности да глупости! Хорошо еще большевики нашлись, а не то — конец был бы русскому государству!

— А как вы к сменовеховцам относитесь? Вы читали этот сборник — "Смена вех"?

— Знаю, знаю, что вы хотите сказать! Читал я, сударь, эти сочинения, и газету их "Накануне" выписывал, да и разговаривал с некоторыми, когда по делам фирмы в Берлин ездил. Конечно, это у них разумная мысль — что большевики повернут к национальному госу-

дарству, как только самые толковые из них поймут, что мировая революция — сказка для недоразвитых голов. И понимают они, что тут без самодержавия не обойтись. Но и тут русский интеллигент не может, чтобы не возжелать своей, интеллигентской мечты: и чтобы русское государство было, да на западный манер — с партиями да парламентом... И чтобы самодержавие управляло Россией, но вполне цивилизованно и с оглядкой на газетчиков в Лондоне и Париже... А одной задницей сидеть на троне и парламентской скамье — невозможно! Вот этого им не понять было! Но народ не глупый, нет, и многие из них приспособились, конечно, как этот Толстой, писатель. Или профессор Тарле. Но из них никаких государственных деятелей не вышло, да и выйти не могло. Кончилось тем, что просто-напросто пошли в холуи. Да и незадорого...

...Как жилось, спрашиваете? Интересно, конечно, но тоскливо. Отвык от российских порядков. От грязных сортиров, неподметенного коридора, от плохо помытых и холодных тарелок, от невкусного харча... Понимаю, пускают это, но с тех пор как приехал в Россию — ни разу вкусно не поел! Негде!

— Ну как негде! Неужто в московских ресторанах нельзя вкусно поесть? В "Метрополе"? В "Национале"?

— Ох, что же мне вам объяснять — невозможно это, батенька, потому что вы в своей жизни никогда вкусно не ели. Вы не понимаете, как ели у "Донона", у "Кюба", даже в "Московской" или у Тестова! Только в нескольких парижских ресторанах можно было так поесть! У государя так не кормили! А ваши эти рестораны со старыми названиями — харчевни простые, и некому там изготовить вкусное! Быстро, ах, быстро забывается старое! Вот пришел я в Художественный, посмотрел "Анну Каренину"... Ну не выдержал! Воспользовался тем, что когда-то в Петербурге знаком был с Немировичем, пошел к нему за кулисы и говорю ему: "Ну, Владимир Иванович, эти не знают, не видели, а вы же бывали и на высочайших приемах, насмотрелись — как же допустить такое можете?! Каренин одет в мундир для большого приема, а треуголка у него для малого!.. Как же это!"

Знаете, это свойство нас, русских, — быстро забывать! И элишься на это, а ведь это великое, ну прямо благодетельное качество! Сами это испытаете! Лет через пятнадцать никто вам верить не будет, когда станете рассказывать о том, что было до тридцать седьмого! Ну что — казни! Казни забудутся так же быстро, как и другое. Русский человек — самый сильный, самый пластичный, он все может! Вот пришел ко мне Новиков-Прибой, принес мне роман целый — "Цусиму"! Залюбовался им: простой баталер, а ведь какую толстую книгу, целый роман, батенька, написал!

— Так "Цусима" все же не баталером написана, а писателем...

— Что?! А вы этот роман читали? Я прочел, с интересом прочел. Не писателем он написан, а баталером! Как он был, Новиков, баталером, так баталером и остался, и роман его интересен только тем, что из него можно понять, как баталер смотрит на великие события да судьбы человеческие... Как ду-у-урак смотрит!

Я с ним долго разговаривал, водку с ним пил. Пообтерся, свет посмотрел, в писатели ваши вышел, богатым стал, известным... А в глазах страх да этакая суетливость угодническая... Вы меня, старо-

го, извините, батенька, — но у всех вас в глазах страх да угодничество. У последнего английского матроса не встретите этого...

— Не понимаю я вас, Михаил Сергеевич... Вы сожалеете о страхе и угодничестве в глазах у русских людей. А сами мечтаете о государстве, основанном на страхе, несправедливости, неравенстве, на полурабской жизни одних и величии других... А не думаете вы, что вместо величия будет обыкновенное свинство?

— Все вижу, все, батенька, вижу! Все убытки вижу! И вам, евреям, достанется, и русский человек еще хлебнет лиха. И ненавидеть Россию будут и бояться ее будут — только никто и никогда ее не будет презирать, как это делали немцы при государе! Пройдут годы и годы, повыбьют и перемерут поколения, а великая Россия выпрямится, подомнет под себя другие, малые страны, и тогда исчезнет угодничество из глаз русских людей. Вы никогда не видели лицо англичанина, когда он приезжает в какой-нибудь Сингапур, в Индию, в Аравию... Вот такими будут лица и у русских!!!

...Рошачовский даже привстал на нарах. Его покинуло обычное спокойствие, черная шапочка сбилась набок, он уже походил не на французского олимпийца, а скорее на неудачливого пророка из попов-расстриг... Мне нужно было закончить этот разговор, я мог раскричаться и нарушить наш негласный джентльменский регламент спора. Рошачовский это тоже понял. Он обаятельно улыбнулся, поправил шапочку, махнул маленькой сухой рукой и сказал про свою горячность матросскими, дико непристойными словами, которые у него звучали почти светски... Наступил час ужина, в камеру внесли большие баки с чечевичной размазней, и мы перешли к своим обычным, простым камерным делам. Впервые и неожиданно мне стало жалко этого старика. Одинокого, совершенно одинокого в этой камере, в этой тюрьме, в этом городе и этой стране. Я здесь со своими, а он с кем?

Почему же он так одинок, так отгорожен от всех какой-то невидимой, но непреодолимой стеной? Почему он, русский националист, счастливый тем, что осуществляется его мечта, так бесприютен в этой огромной камере, где столько русских людей, с кем его должно роднить вот это великое — по его убеждению — чувство сонациональности? И почему единственным своим собеседником, ставшим ему здесь наиболее близким, он избрал еврея и коммуниста, по возрасту годного ему в младшие сыновья?.. И вообще — может ли эта категория людей, бывших хозяевами России, утратить свое ощущение неравенства с другими, могут ли они стать членами другого сообщества без чувства отвращения к нему, без сожаления об утраченном?..

Камера готовилась ко сну. Уже отужинали, уже окончились вечерние и, может быть, поэтому особенно тихие рассказы о когда-то прочитанных книгах, когда-то состоявшихся встречах... Существовало в камере негласное, но строго соблюдаемое правило: о том, что происходит, о нашей будущей судьбе спорили только днем. Только днем жители камеры со всеми деталями — страшными или смешными — рассказывали о допросах, о своих следователях. Вечера же всегда были отданы тому, что наш староста Грибков называл "литературно-

художественной частью"... Уже прошла вечерняя поверка; на нарах перестилалась одежда, служившая матрасами; уже из разных концов камеры слышались первые храпы; а я лежал на спине, смотрел на привычные и надоевшие грязные разводы досок верхних нар и все продолжал думать об этих людях.

А знал я до Рошаковского таких? У нас в "Молодой гвардии" работал молодой хромой художник — Голицын. Был довольно простым парнем, рисовал не бог весть как, охотно подхалтуривал, любил иллюстрировать приключенческие книжки и весело оправдывался, когда его изобличали в том, что одни и те же рисунки он дает к самым разным рассказам самых разных авторов... Не было в нем ничего величественного, ничего ущербного, и мне было странно как-то, когда я узнал, что этот Голицын — самый настоящий князь, из "тех Голицыных"! А еще? И вдруг я вспомнил, что знал еще одного — не молодого и беспечного художника, а человека, принадлежавшего к сановному окружению царя, человека, известного историкам, интересного и не совсем обычного...

Я оглянулся на своего соседа. Рошаковский еще не спал. Как всегда, он аккуратно, как-то ладно устроил свое ложе из толстого демисезонного пальто, в изголовье положил рюкзак, улегся поудобнее и, ожидая сна, задумчиво расчесывал пальцами свою франсовскую бородку.

— А Джунковского вы знали?

— Владимира Федоровича? Ну как же! Самый был красивый свитский генерал! И к тому же вроде свояк государю... Открыто жил с великой княгиней Елизаветой Федоровной — сестрой государыни. Стал ее любовником еще при жизни ее мужа — великого князя Сергея Александровича, а потом, когда его Каляев бомбой — того... — и вовсе перестал стесняться. И, знаете, их никто — даже при дворе! — никто не осуждал... Этот царский дядя был совершенно редкостной скотиной! Хам, педераст, жил с дворцовыми гренадерами, бил по щекам полицейских... Государь покойный Александр Александрович очень любил своих братьев, но этого презирал и стыдился просто... Хотел его сослать подальше, в Ташкент, но там уже жил один проворовавшийся родственничек, да и неудобно — родной брат русского императора! Из Петербурга все же выставил — послал в Москву генерал-губернатором. А для приличия женили... Привезли из Дармштадта старшую дочь великого герцога. Я хорошо знал ее отца и брата — послом русским был там. Мелкие и бедные герцогишки, Вильгельм с ними со всеми обращался, как русский купец с приказчиками. Ну и такая удача! Одна дочь за наследника русской империи вышла, вторая стала женой брата императора... Конечно, знали, что за птица этот брат, кому девочку отдают, так ведь разве принимают это во внимание при династических браках!

И вот молоденькая принцесса, романтическое создание, выросшая на Шиллере, Клейсте, попадает к этакому страшилищу! Ну, она сначала искала утешение в божественном. Только-только крестилась, стала такой ревностной православной, что даже привыкшие москвичи поражались. На всех заутренях, обеднях, всенощных... Ездит по всем монастырям, всю службу на коленях может простоять... Но ведь приходится выполнять и придворную работу: приемы, обеды —

не кто-нибудь ведь, а великая княгиня, тетка царя, сестра царицы! И молодость есть молодость, а рядом, рядом первый красавец Москвы — адъютант Сергея Александровича, полковник Джунковский. Красив был, красив, и, знаете, благородной красотой красив был... И вел себя всегда как-то рыцарственно... И карьеры поэтому не сделал, хотя уж кому бы и делать, как не ему!.. Был генералом свиты его величества, московским губернатором, помощником министра внутренних дел, шефом жандармов... А во время войны с большим трудом дивизию выпросил. И дальше командира дивизии так и не пошел! А Елизавета Федоровна была тихоня-тихоня, а своего красавца толкала вперед, толкала, но уж больно странно вел себя Владимир Федорович! Хотя и молодцом, но не государственно! Понимаете, батенька, принимает жандармскую службу, становится во главе, ну, как гебеу вашего, и вдруг узнает, что какой-то депутат Государственной думы у них тайным агентом работает... И, представляете себе, звонит председателю Думы Родзянко и говорит ему, что вот, дескать, Михаил Владимирович, один мой тайный агент из охранки пробрался к вам в Думу депутатом... Так неудобно это, знаете, какой ни на есть, а парламент... Вызовите этого субчика и скажите, чтобы этак тихо и благородно подал в отставку. Да. А этот агент был у большевиков чуть ли не первым человеком! Представляете, как взвыло охранное отделение!

...Да, эта история с Малиновским мне была известна даже больше и лучше, чем Рошаковскому. Охранке выпала редкостная удача — ее сотрудник стал членом Центрального Комитета большевиков, одним из главнейших лидеров партии, ближайшим помощником Ленина, депутатом Думы... Его парламентская неприкосновенность была как нельзя на руку охранке: можно было брать всех большевиков вокруг Малиновского, а самого провокатора не трогать... И вот все это рушится из-за странных, старомодных воззрений шефа жандармов...

— А потом решает покончить с Распутиным — он только-только прибрал к рукам Вырубову, а через нее и царицу... То ли Владимир Федорович на свое незаконное родство с царской семьей понадеялся, то ли в своей Москве привык действовать запросто и без особых церемоний, но приказывает он своим агентам Распутина схватить да и выслать по месту прежнего жительства — в Сибирь... Хо-хо! Ну и скандальчик получился в столице! Ну, тут государыня уже на свою сестру и внимания не обратила... По приказу государя Джунковского тут же уволили, велели ему выехать из Петербурга в свое крымское имение и без высочайшего соизволения оттуда не выезжать... Только когда война началась, еле допросился, чтобы на службу вернули...

— А вы после возвращения не слышали, что с ним, где он?

— Нет, не имел удовольствия больше с ним встречаться, никогда не слышал ни в России, ни за границей. Если остался жив в этой междурусской войне, живет, наверное, в эмиграции... А может, и умер — немолодой уже должен быть... Вы, батенька, что так заинтересовались Владимиром Федоровичем?

— Я знал его... Вернее, встречался с ним...

...Наш долгий, тихий разговор уже закончился, Рошаковский уснул — как всегда, мгновенно, свернувшись калачиком и положив под щеку правую руку. Он и спал-то элегантно: тихо, спокойно, не

беспокою окружающих ни храпом, ни сопением, ни страдальческими длинными вздохами. А я долго не мог заснуть, я вспоминал свою встречу с Джунковским и все пытался поставить его рядом с Рошачковским, сравнить их, понять, почему они такие несхожие...

...Это было всего десять лет назад, в 1928 году. Мне было двадцать, я только что провел вожатым свой первый пионерский лагерь. Я был молод, здоров, счастлив, удачлив, каждый день был праздником, каждый новый день — интереснее и лучше предыдущего. Мой старший брат Соля отдыхал в Крыму вместе с Варей Григорьевой — не то женой, не то невестой и — что мне тогда казалось более важным — секретарем нашей комсомольской ячейки. Мы договорились, что после лагеря приеду к ним в Крым. Первый раз в жизни ехал на юг, первый раз в жизни, после Инкермана, подъезжая к Севастополю, увидел из окна вагона озерки воды между ржавыми пакгаузами — море!.. А потом мы с братом бродили по Севастополю, потом трамваем поехали в Балаклаву и там сговорились с каким-то рыбаком, чтобы он нас отвез в Батилиман, где жили Соля и Варя.

Мы выгребли из тихой балаклавской бухты, прошли мимо высоких скал, на которых громоздились руины Гунуэзской крепости, и вышли в серо-синее и беспокойное открытое море. Рыбак поставил косой парус, лодка накренилась и резко понеслась мимо высоких отвесных скал Фиолента, мимо кудрявой зелени лесов, песчаных отмелей заливчиков...

Батилиман был совершенно редкостным для Крыма местом. Когда-то, в незапамятные геологические времена, половина высокой горы Кушкая обвалилась — так аккуратненько, как будто гору ножом разрезали. Обрушившиеся скалы заросли можжевельным лесом, непроходимыми зарослями ежевики. Море намыло огромные песчаные пляжи, разделенные накренившимися, но еще не упавшими скалами. И вот в этом пустынном месте, куда еще не успели попасть строители доходных дач, несколько писателей и художников построили себе дачи. Их было, кажется, семь... Были дачи Короленко, Чирикова, художника Билибина... Дачи были самые простые, большей частью деревянные, небольшие. Исключение составляла только дача Павла Николаевича Милюкова, двухэтажная, построенная из камня, с парадной лестницей, залой и библиотекой. В зале сейчас была маленькая столовая, где раз в день кормили два-три десятка курортников, приезжавших в Батилиман. А завтракать и ужинать надо было чем бог пошлет... А бог посылал немного. Из Батилимана до ближайшей татарской деревушки Хайты вела узкая конная тропа через горы, через перевал, называвшийся Турецким... Из Хайт можно было уже и на повозке добраться до Байдар, где были лавки и можно было купить съестное. Но мы не унывали. Утром мы варили какао на костре под скалой, днем собирали крабов, которых под камнями было бесчисленное множество, и варили их в большом ведре. Прибой иногда забивал под скалы довольно крупных зеленух, и тогда мы обжирались рыбой. Но нашей упорной борьбе за пропитание очень помогал проходящий к нам старик крестьянин. Он являлся в наш маленький поселок почти каждый день — с большой корзиной, в которой лежали

помидоры, баклажаны, бутылки с молодым вином, домашний сыр, маленькие вкусные хлебцы... Старик был высок, красив, очень живописен со своей развевающейся большой седой бородой, с живыми черными глазами под белыми густыми бровями. Одет он был в холщовые штаны, длинную посконную рубаху, на босых ногах — самодельные кожаные постолы. Продукты, которые он приносил, были всегда свежими, недорогими. Старик нам нравился: он не был жаден, был спокоен и обходителен.

Как и положено в двадцать лет, я был очень занят как курортными занятиями, так и размышлениями об одном человеке, оставшемся в Москве, и очень мало обращал внимания на тех, кто мне здесь попадался. И я даже не сразу удивился тому, что однажды застал нашего крестьянина-поставщика в пустой столовой. Он стоял возле книжного шкафа и, достав оттуда какую-то книгу, читал ее. Только потом я удивился своей ненаблюдательности. В библиотеке Милюкова давно уже были украдены все без исключения русские книги. Остались лишь иностранные, главным образом английские — их никто и никогда не трогал, они спокойно пылились в шкафах красного дерева, с деревянными бюстиками античных мудрецов.

Однажды мы компанией человек семь-восемь пошли на прогулку в горы у залива Ласпи. Мелкие и низкие горы заросли густым можжевельным лесом, очень скоро мы сбились с малозаметной тропы, а затем заблудились самым банальным способом: крутились вокруг одних и тех же горюшек, устали как черти, а главное, потеряли представление о том, где у нас море... Когда в нашей компании среди женщин началась нормальная паника, я нашел какую-то тропинку, и мы решили пойти по ней: должна же она нас куда-нибудь привести?.. И действительно, мы довольно быстро пришли к небольшому куску земли, расчищенному от зарослей. На краю бахчи, огорода и небольшого виноградника стояла белая хатка. Высокий старик, подвизывавший виноградные лозы, обернулся, и мы с радостью узнали в нем нашего старика-кормильца. И он нам обрадовался, когда, обступив его, мы — уже со смехом — рассказали, как заблудились в можжевельном лесу.

Старик даже не спросил нас, голодны ли мы. Он предложил нам помыть руки, сесть за большой стол под окнами дома и сказал, что его сестра нас покормит. Из хатки вышла высокая и очень красивая — несмотря на возраст, седину и простоту одежды — женщина. Она быстро накрыла стол грубой, но белой скатертью, принесла глиняные миски с баклажанной икрой, простоквашей, домашней колбасой. Хозяин притащил довольно большую бутылку холодного домашнего вина и разлил нам по стаканам. Потом присел к краю стола и с удовольствием смотрел, как мы — повеселевшие и оживившиеся — насыщались и, перебивая друг друга, обсуждали наши приключения. Он изредка вставал, чтобы подлить вина, подложить колбасы и хлеба. Было очевидно, что гости у него явление редкое и что мы ему приятны. И нам всем он был мил, и не мне одному, наверное, показалось странным, что мы раньше даже никогда не поинтересовались, как его зовут...

— Как ваше имя и отчество? — спросил я его...

— Владимир Федорович.

— А по фамилии как? — дополнила меня дотошная Варя.

— Джунковский.

— Вы случайно не были московским генерал-губернатором? — мгновенно спросил я, оправдывая свою курортную репутацию эрудита и остроумца...

Старик посмотрел на меня спокойно, внимательно, почти улыбаясь.

— Ну, если вы, молодой человек, столь осведомлены, то должны знать, что я им был, действительно, почти случайно...

Пожалуй, кроме меня и брата, в нашей молодой компании почти никто никогда не слышал эту фамилию. Но для всех нас встреча с живым генерал-губернатором была почти равносильна тому, как если бы мы встретились здесь, в тысячелетнем можжевелевом лесу, с неандертальцем... Мы все повскакали с мест и окружили нашего хозяина. Сидя на лавке, он прихлебывал из стакана красное вино и спокойно рассказывал.

...Революцию он встретил на фронте. Прибывший туда комиссар Временного правительства, очевидно знавший про него больше, чем мы, предложил ему уйти в отставку в связи с его отношениями с семьей бывшего царя. Джунковский уехал в Крым, где у него было небольшое имение. Там он философски спокойно наблюдал за всеми бурными событиями, потрясавшими Россию. Он сразу же и бесповоротно выключил себя из всякой политической борьбы. Когда в Крыму были белогвардейцы — категорически отказался от какого бы то ни было участия в "белом движении" и ни разу не выехал из своего имения в Симферополь, Ялту или Севастополь. При Советской власти — безропотно переехал из барского дома в сторожку и спокойно наблюдал, как в имении хозяйничают его бывшие работники и раненые матросы, присланные туда на отдых. Никто Джунковского не трогал, даже Землячка, когда была секретарем Крымского РКП (б), и та обошла его своим вниманием. Он никому не был нужен, а следовательно, и никому не был интересен.

Когда Советская власть в Крыму укрепилась, Джунковский считал неудобным оставаться в своем бывшем имении, где его и его сестру — как он сказал — кормили по привычке... Джунковский нанялся смотрителем на маяк Сарыч. Мы хорошо знали этот маленький маяк, стоявший на маленьком мысу, на краю залива Ласпи, совсем неподалеку от Тесселей. Возле маяка был крошечный, сложенный из камней домик для того единственного человека, который назывался смотрителем и который должен был каждую ночь зажигать неуклюжий старинный керосиновый фонарь маяка. Джунковский поселился со своей сестрой — фрейлиной государыни — в этом домике и жил в нем благополучно до первой чистки в своей новой советской карьеры.

В 1924 году Джунковского "вычистили" с его работы как бывшего царского сановника. Было очевидно, что ни на какую службу и работу его не возьмут. Тогда он решил стать крестьянином. Арендовал кусок заброшенной земли в середине Крымского заповедника, привел его в порядок, разбил огород и бахчу, восстановил одичавший виноградник... Джунковский не торопился, он работал сам, не спеша. Да и спешить ему было незачем. За долгое южное лето он

заготавливал себе на зиму немудрящие крестьянские продукты. Излишки продавал в Батилимане или Тесселях, на вырученные деньги покупал простую одежду, немного книг. Зимой редко выходил из дома, вокруг которого была темнота. Гудел ветер в лесу, глухо внизу ревели море... Потом начиналась весна, а с нею и работа, несчастные встречи с людьми...

— Вы, конечно, вправе мне и не верить, — закончил свой рассказ Джунковский, — но я считаю, что мне очень повезло в старости. Как и для большинства людей моего возраста, активная и настоящая жизнь окончилась уже давно. Нет ничего глупее попыток ее искусственно продолжать. Есть только один способ достойно заканчивать жизнь: стараться быть здоровым, чтобы можно было никому не быть в тягость и иметь возможность спокойно размышлять о всем хорошем и злом, умном и глупом, что ты совершил в прошлой жизни. Многие мои бывшие коллеги к тому глупому и недоброму, что они сделали до революции, немало прибавили. А думать об этом — выполнять программу естественного конца жизни — им некогда: нужно держаться на поверхности, вернее, барахтаться... Мне — лучше. Мы с сестрой ни от кого не зависим, только от себя, от своего труда. Мы независимы в своем мышлении, привычках, слабостях. Бывает ли на свете лучшая старость? Поверьте мне, друзья, я по своим обязанностям знал многих стариков, которые в прошлом были известны, облечены властью... Я наносил им визиты, навещал, когда они заболели, провожал их в последний путь. Все они были уже глубоко несчастные люди, мучившиеся от немощи, болезней, удрученные тем, что лишились власти, к которой привыкли, тяжело страдавшие от недостаточного внимания государя и властей к ним... Какие же мы счастливые!..

— А вы не... — начал кто-то из наших задавать ему вопрос.

— Нет, не жалею! — прервал его Джунковский с несвойственной ему твердостью. — Ни о каких утратах не жалею! Старики не должны жалеть о прошлом, они все уже взяли от жизни — и хорошее и плохое. Пусть молодые сами строят свою жизнь. И не надо им мешать, не надо навязывать им свои взгляды, вкусы, симпатии — ну зачем это?! Не нам, а им жить — пускай сами решают! Я так считаю, что после сорока лет человек обязан подчинять свои взгляды молодым, а после пятидесяти — он вообще не имеет права заниматься никакой политикой...

Еще несколько раз я встречал — уже как старого знакомого — Джунковского в Батилимане. Торопясь купить у него припасы, я с ним почти не разговаривал, считая, что у меня в запасе если не вечность, то во всяком случае достаточно времени, чтобы порасспросить бывшего шефа жандармов о разных интересных мне штуках... Но вскорости я уехал в Москву, новые и более для меня важные впечатления отодвинули встречу с Джунковским на задворки памяти. И я о нем вспомнил вот сейчас, лежа на нарах этапной камеры рядом с человеком, который знал Владимира Федоровича Джунковского совсем другим... Как по-разному кончают свою жизнь эти люди, познавшие власть, близость к ее вершине... И если я доживу до старости, к кому я буду ближе: к Джунковскому или Рощаковскому?..

Уже второй месяц мы сидели в этапной камере Бутырской тюрьмы. В этом огромном и шумном тюремном общежитии не было ужаса, страшного и таинственного ожидания, которое всегда сопровождает жизнь в следственной камере. Но не было и надежды, которая всегда живет рядом с ужасом. Было невероятное стремление к тому, чтобы уйти из тюрьмы, попасть в то неизвестное, что именуется лагерем. Умом, конечно, мы понимали всю справедливость того тюремного мудреца, который в сортире чем-то острым написал на стенке: "Не грусти, входящий, и не радуйся, уходящий. Будь терпелив, ничему не удивляйся и жди худшего". Но так хотелось другого, пусть это другое и будет худшим... Когда нас выводили на прогулку, я ходил по внутреннему, медленному кругу, смотрел на вечернее небо, на котором уже зажигались первые послелетние звезды, и бормотал слова Багрицкого:

...Пускай голодным я стою у кухонь,
Вдыхая запах пиршества чужого,
Пускай истреплется моя одежда,
И сапоги о камни разобьются,
И песни разучусь я сочинять...
Что из того? Мне хочется иного...

И вот это — иное — наступило так же неотвратимо и неожиданно, как и тогда, несколько недель назад в двадцать девятой камере... Только мы успели позавтракать, потом разобраться на своем месте, вытереть тряпочкой ложку, спрятать остатки хлеба, как вдруг по камере пронеслось: "Этап! Этап!.."

И в наступившей тишине стало отчетливо слышно, как мимо дверей нашей камеры нестройно и тревожно топают десятки, сотни ног. И гулко хлопают двери камер, и вся бывшая церковь полна шумом движения, сдерживаемых голосов, звучных команд... И вот уже открылась кормушка, и вертухай, грозно осмотрев камеру, не сказал, а командно крикнул:

— Всем приготовиться с вещами! Ничего не оставлять!

И сразу камера превратилась в муравейник. Такой же внешне неорганизованный, копошащийся, мечущийся. А в действительности торопливый и целесообразный. Все подбирается, раскладываются отдельно белье, одежда, продукты... Ничего нельзя связывать и увязывать — все равно разбросают на шмоне. Но нас уже приучили готовиться к шмону, чтобы выйти из него быстрее и с наименьшими потерями.

В этой суматохе я на какое-то время забыл о Рощаковском. Потом вспомнил и бросился к нему:

— Дайте я вам помогу!..

— Благодарствую, Лев Эммануилович. Я ведь моряк, нас в корпусе учили...

И действительно, когда это он успел аккуратно уложить все свои вещи в прочный заграничный туристский рюкзак, в маленький, но емкий саквояж отличной мягкой кожи!.. И он уже снял свою пижаму, переделался во что-то прочное, элегантное, не пострадавшее от прожарок, от обысков, перехода из камеры в камеру...

Вот уже открывается дверь камеры, и мы видим кусок коридора, полный вертухаями. Только не нашими, тюремными, почти

домашними, без оружия, в мягких сапогах. Эти — чужие — опоясаны португезами, на них кобуры и сумки, у них торопливый, сухой, непреклонный вид — этапный конвой... Вологодский конвой. (Нас все опытные арестанты предупреждали, что самый страшный, злой конвой — из вологодцев...)

— Р-р-р-разобраться по алфавиту!

— Вот мы и тут будем рядом, милейший Лев Эммануилович!.. — Рошаковский стоит рядом со мной — спокойный, невозмутимый...

Начинается долгая, долгая процедура. Арестант подходит к двери и быстро отвечает на быстрые вопросы:

— Инициалы полностью, год рождения, статья, срок?..

Потом он пропадает за дверью, куда-то по конвейеру... Наконец наша буква. Я "Ра", я раньше... Меня выносит в тюремный коридор, в сторону, где шмонают, перебрасывают, переводят, сортируют... Пока меня за рукав тянут куда-то, я уголком глаза слежу за дверью: сейчас из нее появится Рошаковский...

Но я вижу, как, придерживая руками набитые бараклом кальсоны, заменяющие ему тюремный сидор, выходит из камеры сумрачный профессор Рытов, а за ним уже видны Сахаров, Стенин... И уже около меня Гриша, и захлопывается дверь камеры, все здесь, вся наша этапная камера. Кроме Рошаковского... Его не вызвали, он остался один в этой огромной, пустой камере, наполненной жалкими, смятыми следами жизни и судеб, которые так спокойно бросал в пасть своему молоху — государству его маленький худенький пророк... Тогда, в суматохе этапа, этапного ожидания, этапного напряжения, я быстро забыл Рошаковского. Через многие и многие годы моя память все чаще возвращалась к этому человеку, к моим спорам с ним. От этих споров у меня уже ничего не осталось от злости, от желания убедить, переубедить... Были люди поумнее, и добрее, и почеловечнее бывшего друга покойного нашего государя, и те попадались на этот же крючок — ничуть не менее страшный и злоежкий, нежели все подобные крючки.

И никогда больше я не слышал о Рошаковском. Ему могло повезти, он мог живьем добраться до места, попасть сразу же в слабокманду, потом стать дневальным в бараке. И несколько лет до своего конца прожить относительно спокойно в полутемноте и вони барака, днем отдыхая от шума, криков, храпа, мата нарядчиков и бригадиров, хруста раздавливаемых вшей, стонов умирающих...

Не растерял ли он своего ощущения счастья? Хватило ли у него философского стоицизма, чтобы не утратить его перед оборотной и необратимой стороной своего идеала?

Борис и Глеб

У каждого человека моей судьбы хранятся в памяти встречи с людьми, чья жизнь поражает своей необычностью; с личностями яркими, оставившими в истории свой след. О некоторых я написал в те, сравнительно еще недавние годы, когда казалось, что эти люди навсегда вычеркнуты из исторической памяти. И все-таки, без большой уверенности, я думал, что "рукописи не горят" и, может быть, написанное мною когда-нибудь увидит свет. Но жизнь оказалась гораздо неожиданнее всяких предположений, и о многих моих лагерных знакомцах можно встретить биографические справки в словарях, статьи в газетах и журналах; можно увидеть их фотографии, с трудом узнавая в молодых, сильных лицах тех приугасших, измученных людей, с которыми бывал в этапах, на пересылках, работал в лесу или в конторе.

Мою память тревожит судьба двух братьев, юношей, почти мальчиков, с которыми я столкнулся в довольно тяжелый период своей лагерной жизни. Я даже фамилию их не запомнил, они прошли мимо меня какими-то теньями. Уверен, что они погибли и нет ни одного близкого им человека, который хоть когда-нибудь вспомнил бы о них. Миллионы были превращены в лагерную пыль, исчезли, не оставив после себя ни могилы, ни других материальных следов своего существования. Но там, на материке, у них находились родные и знакомые, их жизни отразились в биографиях других людей.

И скольких же я знал — крестьян, священников, бухгалтеров, учителей, — знал, но почти никогда не воскрешаю их в памяти. Она ведь не бездонна, просто очень глубока; на дне ее находятся люди, судьбы, и мне требуются усилия, чтобы вытащить их на поверхность, вспомнить лица, голоса, рассказы. А вот эти два мальчика — Борис и Глеб — никак не улягутся на дно памяти, и я до сих пор не понимаю почему: передо мною прошли десятки таких мальчиков, я видел, как они безропотно умирали от холода и голода, от неопознанных болезней в обычном бараке или в "больничном стационаре". Но я знаю, что они оплаканы своими близкими, что где-то остались их детские и юношеские фотографии.

А от Бориса и Глеба ничего не осталось. В том океане несправедливости, в котором мы жили и живем, эта капля горькой судьбы почему-то тревожит меня, толкает к тому, чтобы хоть в нескольких словах написать историю двух мальчиков, которую нельзя назвать неправдоподобной, потому что неправдоподобным было все испытанное нами.

Было это на Первом лагпункте Устьвымлага страшной зимой сорок второго года. Давно умолкли фанфары нашей победы под Москвой, и не было еще торжества Сталинграда. А немцы уже захватили всю Украину, Белоруссию и огромный кусок Российской земли, дошли до Кавказа, до Волги... Ежедневные сводки Информбюро, пусть и сглаженные неправдой и бодрым голосом Левитана, наводили непроходимую тоску. Было очень голодно, ящик с оледенелыми трупами выезжал за зону не один раз в сутки. И свирепствовали лагерные начальники, сиюсья выполнить план, который теперь звался "оборонным". А "оперы" выискивали среди заключенных "пораженцев" и даже "заговорщиков". В новых этапах прибывали заключенные с военными статьями. Потому что какая-то часть советской территории освобождалась, некоторые города, вроде Харькова, переходили из рук в руки, и первым делом там хватали "сотрудничавших с фашистами". Настоящие предатели, полицайи, каратели отступали вместе с немцами, и нашим "органам" доставались лишь сапожники, чинившие немецкие сапоги, кухарки, варившие немцам суп, и, конечно, "немецкие подстилки", как называли женщин, которые добровольно или насильно становились любовницами оккупантов.

Странные, ранее незнакомые и чуждые нам люди появились на нашем лагпункте. И среди них как-то сразу выделились два брата — Борис и Глеб. Разница между старшим, Борисом, и младшим, Глебом, была, вероятно, очень невелика: Борису — не больше восемнадцати, а Глебу — не больше шестнадцати лет. Они походили друг на друга, и все же младший был очень младшим, а старший — очень старшим. Они никогда не разлучались, и не только не примкнули ни к одной из тех лагерных групп и группочек, на которые всегда разбиваются заключенные, но отталкивали всякую возможность общения. Они вызывали сочувствие, и даже окончательно замордованных зеков, у которых голод и лишения выбили все признаки человечности, трогала необычайная забота старшего о младшем. Когда бригада возвращалась с работы, Борис брал у Глеба тяжелый инструмент и нес до инструменталки, в столовой отливал брату часть своей баланды. В свободные минуты старший что-нибудь рассказывал, а младший смотрел на него, как смотрит маленький мальчик на единственную защиту и надежду — на мать.

Конечно, находились люди, старавшиеся чем-то помочь мальчикам. Это было непросто, потому что у них в формулярах присутствовал полный набор самых страшных статей, включая шпионаж, диверсии, террор и даже "сотрудничество с мировой буржуазией" (было и такое преступление). Главбух хотел временно устроить Бориса составлять инвентаризационные ведомости. Но тот отказался работать в зоне, когда его младшего брата выводят в лес. И врачу стоило большого труда оставить на две недели Глеба в слабкоманде. Глеб подчинился приказу старшего брата, но очень страдал без него и почти весь день просиживал неподалеку от вахты, ожидая прихода бригад с работы. Извелся так, что доктор сердито решил: невозможно разлучать братьев, они больше изводятся, нежели поправляются...

Кто они были? Откуда? Как попали к нам? За что у этих почти ребятшек такие страшные статьи в формуляре? Статьи, закрывающие для них всякую возможность расконвоирования, устройства на

мене убийственную работу, нежели лесоповал. Мое положение крупного "придурка" (я же уже был старшим нормировщиком) почти уничижало возможность контакта с ними. Братья демонстративно отвергали всякое проявление жалостливого интереса к ним, они никогда и близко не подходили к конторе. Но вскоре произошли события, предоставившие мне случай узнать о них почти все, что было в их короткой жизни.

Не могу сказать, что те события были приятными для меня. "Кум" из своих "оперативных" соображений завел на меня дело по обвинению в пораженческой агитации. Это я подробно опишу позже, а здесь хочу сказать только, что я мгновенно слетел со своего высокого поста, был арестован, посажен в карцер, прошел этапы быстрого "следствия" и, в ожидании получения обвинительного заключения и вызова на суд, отправлен на общие работы, на лесоповал. И очутился в бригаде вместе с Борисом и Глебом.

Развод — вывод на работу бригад — одно из самых важных и запоминающихся событий повседневной жизни заключенного. И всегда невеселое. Даже летом, солнечным и теплым утром, томительно выстаивать в арестантской колонне, слушать командные выкрики бригадиров и нарядчиков, проходить быстрый и небрежный обыск, "сдачу-приемку" — когда лагерные вертухаи-надзиратели сдают бригады конвою. Эту тягостную процедуру не смягчили даже такие начальственные изобретения, как "вывод под музыку", с баянистом из КВЧ, игравшим у вахты бодрые советские песни или старые меланхолические вальсы.

Но гораздо страшнее — зимние разводы. Час, а то и больше надо топтаться на холоде, пока не откроются ворота зоны. Шесть часов утра, но еще полная ночь. Зона тускло освещена электричеством, да бегают, сбивая толпу арестантов в колонну, нарядчики с керосиновыми фонарями "летучая мышь" в руках. Колеблющееся пламя освещает людей, напяливших на себя всю "арматуру": ватные штаны, телогрейку, бушлат, полотенце вместо шарфа, засаленную ушанку. А в сильные морозы все обязаны надевать входящие в зимнее обмундирование "лицевые маски" против обморожения. Маски — с прорезями для глаз, носа и рта — сделаны из текстильных отходов: ярких ситцев, вафельной ткани и прочего тряпья. Из-за этих масок толпа зеков смахивает на фантастический страшный карнавал с какой-нибудь картины Босха.

Но даже в этой жуткой толпе, где никого нельзя узнать, бросаются в глаза два арестанта, которые всегда рядом, изредка даже держатся за руки — совсем как в детском саду. Так иногда Борис и Глеб идут по далекой дороге на лесосеку. В полном молчании доходим до инструменталки, разбираем топоры и пилы и движемся в тайгу. Тенем, спотыкаемся о корни деревьев, валежник, пни. Инструмент, даже относительно легкая лучковая пила, скоро становится тяжелым. Но все равно эта дорога приятней, чем омерзительная процедура развода. Мы стараемся идти побыстрее. И не потому, что конвой постоянно кричит: "Не растягивайся!" Мы жаждем скорее прийти на делянку, где у нас будет час, а то и больше "своего" времени.

Ранний развод зимой — совершенная бессмыслица. Мы приходим на лесосеку в полной темноте, когда лес рубить невозможно. И нужно

ждать, пока развиднеется. Вот это ожидание и является самым значительным для нас. Без приказа бригадира несколько человек спиливают сухостойную сосну, мгновенно разрезают ее на чурбаки, раскалывают и разжигают два костра: один маленький — для конвоя и один большой — для бригады. Рассаживаемся на поваленные деревья. Мы свободны сейчас, мы хозяева своих мыслей, воспоминаний, даже дел. От костра идет тепло — такое живительное, такое домашнее, пламя напоминает о чем-то далеком, оставленном: об огне, бьющемся в домашнем очаге, костре на рыбалке... Большинство молчит. Кто дремлет, кто не сводит глаз с пламени, кто деловито подвязывает чуни или даже пуговицу пришивает, некоторые тихонько разговаривают. Ах, только там понимаешь всю благодатную силу огня, только на ночной лесосеке и можно по-настоящему оценить подвиг Прометея!..

Мы бережем наш огонь, суем в костер целое дерево, чтобы он не погас, пока мы будем работать; мы еще посидим у этого костра и после того, как совершенно стемнеет, работу придется прекратить, а до съема еще не настанет положенное время. И это — тоже блаженство, подаренное нам не начальством, а неподвластными ему законами природы.

Братья сидят рядом, иногда — прижавшись друг к другу. Изредка Борис что-то тихонько говорит Глебу. А чаще всего они молчат, не отводя глаз от пламени. Но вот сереет, становятся видными стволы деревьев, и бригадир нехотя дает команду: "Хватит кантоваться, а ну беремся за дело!" Обычно мы разбираемся на пары, но братья работают порознь. Борис с кем-то валит лес, а Глеба бригадир поставил кострожогом. Конечно, это полегче, чем валить лес с корня и разделять его, но тоже дело далеко не простое. Сучья на лесосеках — "порубочные остатки", как они официально называются, — сжигаются лишь зимой. Так что в огонь идут и занесенные сугробами остатки летней рубки — толстенные сучья сосен, елей, и так называемые "вершинки", иногда составляющие половину большого дерева. Нужно сбросить снег, немного разमतать плотно слегающуюся кучу, сделать в ней нишу, развести небольшой костер из сухостоя, затем постепенно подкладывать наверх разгоревшегося пламени мокрые сучья, "вершинки" и даже целые тяжелые бревна.

Густой дым выедает глаза, мелкий пепел залепляет лицо, искры прожигают одежду, она — ватная, легко загорается, и запросто можно сгореть или — что тоже почти смертельно — остаться на морозе в одной рубашке, а то и без нее...

Борис тревожится за младшего, но даже следить за ним не в состоянии. Он подсобник у главного из пары — вальщика. Я был таким подсобником и знаю, что эта работа не оставляет времени и на минутный отдых. Вальщик двумя-тремя ударами топора делает в дереве подруб — он определит, куда должно упасть дерево, потом, низко нагнувшись, быстро орудует лучковой пилой. Подбегает подсобник, они кричат: "Бойся!" — и длинной вагой толкают дерево. Оно падает, обдавая снежной метелью. И после этого вальщик может постоять, стереть пот и покурить.

А подсобник не может остановиться ни на минуту. Он должен быстро обрубить сучья — совсем не легкая работа! — потом, приподымая дрыном поваленное дерево, разделить его на сортименты —

шестиметровый пиловочник, четырехметровую "неделовую". Он спешит, потому что вальщик уже берется за новое дерево. У меня вальщиком был молодой и опытный мужик из блатных; мне казалось, он нарочно работает быстро, чтобы насмерть замотать своего подручного. Наверное, это было не так, я пользовался репутацией "своего", ни одного работягу не оставившего без полной пайки. Но я не хотел сдаваться и быть в тягость вальщику — старался изо всех сил, не разгибаясь, чтобы не допустить неприятных минут, когда вальщик прекращает свою работу и начинает помогать мне в разделке леса. Он не сделает замечания, не посмотрит укоризненно, но все равно — если работаешь на пару, то или оба "перекантовываются", или же оба работают, не подводя один другого. Таков закон труда, даже если труд этот ненавистен, если это труд на чужого, на врага...

Вероятно, в таком же положении был и Борис. Он вздрагивал, когда слышал крик: "Бойся!", останавливался и настроенно искал взглядом брата. Слава Богу, у нас еще никого не прибило падающим деревом. Но в других бригадах это случалось нередко, и мы боялись леса, мы его ненавидели, и несколько лет после освобождения я не мог без какой-то злобы видеть то, что составляет такую красоту, такую прелесть — лес!

Но вот сереет небо, и быстро наступают зимние сумерки. Можно остановиться, стряхнуть с бушлата и шапки снег, мелкие сучки, пепел от костров и подсесть к вновь ярко разгоревшемуся огню. Свернуть махорочную сигарку, оглядеться и получить еще кусочек "своего" времени. Помолчать или же заговорить с сидящим рядом зеком. Потому что за весь день работы ни словом не перемолвился даже с напарником, и возникает потребность в том, чтобы услышать человеческую речь и самому что-то сказать.

В одну из таких вечерних "пересидок" я очутился рядом с братьями. Они, конечно, сидели вместе. Борис осматривал со всех сторон бушлат Глеба — искал, не глеет ли где-нибудь вата; он достал из кармана оставшийся от пайки хлеб и разломил этот кусок на очень неравные части. Глеб безропотно взял большую, они не торопясь съели кушочки и замерли, прижавшись друг к другу.

Неожиданно для себя я вдруг начал вспоминать некрасовское: "Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи, — Мороз-воевода дозором обходит владенья свои..." Я остановился и спросил у Глеба:

- Ты много помнишь из этой поэмы?
- Какой?
- Ну, Некрасова — "Мороз, Красный нос".
- Мы ее в школе не учили.
- А в каком городе была ваша школа?
- В Острове.

Я пытался вспомнить, где у нас, в какой области находится этот город. И, не вспомнив, вдруг догадался:

- Это в Чехословакии?
- Да. — Глеб испуганно оглянулся на брата, будто выдал какую-то тайну. Но Борис молчал, прислушиваясь к нашему разговору.
- Но ведь это была русская школа?
- Конечно, русская. И мы там много русских стихов учили.

И Некрасова тоже. Но другие. А больше Пушкина, я всю "Полтаву" на память знаю. И много других стихотворений. "Колокольчики мои, цветики степные!.." Это графа Алексея Толстого. А летом здесь бывают колокольчики?

Я попытался вспомнить:

— Да, растут. Не совсем такие, как в России, но похожие.

— А цветы здесь пахнут? А птицы поют?

Этот юноша был похож на ребенка, попавшего в совершенно ему неведомую страну, где все интересно и непонятно. Конечно, неведомую. И цветы здесь не пахнут, и за все годы, проведенные здесь, я не услышал голоса ни одной певчей птицы.

— А ты много знаешь стихов?

— Да, много.

И как бы обрадовавшись тому, что можно разговаривать не только с братом, но и с чужаком, Глеб начал читать стихи. Старые стихи, которые я впервые прочитал в дореволюционных хрестоматиях, пейзажные, исторические: "...на твоих церквях старинных вырастают деревья, не окинуть глазом улиц длинных, это — матушка Москва...", "Я знаю край, где все обильем дышит, где реки льются чище серебра..."

Иногда Глеб забывал слово или строчку, и тогда Борис вдруг ему подсказывал.

Вот с этого вечера завязались у меня какие-то отношения с братьями. Собственно, никаких близких отношений не было. Борис не курил, Глеб — тем более, и невозможно было угостить их махорочной закруткой. Я как-то предложил им редкую сладость — соевую конфету, но они сразу и резко отказались. Но мы теперь здоровались, встречаясь на разводе, Борис выслушивал мои советы, как сподручней очищать от ветвей косматые, густые ели — словом, мы были уже знакомые. И в темно-утренние часы на делянке у костра мы сидели рядом. Как-то Борис мне сказал, что Россию они не знают, видели только две-три деревни. А потом были в Москве и еще каких-то городах, но ни Москвы, ни других городов не посмотрели — одни тюрьмы.

— Хоть бы раз взглянуть на колокольню Ивана Великого, — со вздохом сказал Борис.

— Успеете!

— Ну, дай-то Бог... — И быстро, почти незаметно перекрестился.

Столь для нас редкую религиозность братья выказывали нечасто. Только когда бригаду приводили в столовую, они сразу же — как в церкви — снимали старые, грязные матерчатые ушанки. И на лесосеке, съедая свои кусочки хлеба, обнажали даже в любой мороз головы — с каштановыми стриженными волосами у Бориса и пшеничными — у Глеба, а потом что-то шептали про себя. Не сразу я догадался, что это молитва...

Однажды Борис, глядя на не совсем обычно выглядевшую ель, сказал:

— Как похоже на белую акацию...

— А в Чехословакии растет белая акация?

— Нет, не растет. Я не видел белой акации.

— А откуда же ты знаешь, как она выглядит?

— Из легенды.

— Какой? Какого поэта?

— Не поэта. А которой в разведшколе научили.

И, увидев, как изменилось мое лицо, вдруг начал рассказывать про то, как они с Глебом очутились здесь, в далекой и неизвестной им Коми республике. Он рассказал мне об этом в два-три приема в наши, "свой", часы у лесного костра. И не пытался продолжать в зоне, где он становился, как всегда, отчужденным от всех и знакомство со мной поддерживал только тем, что, встречаясь, вежливо говорил "доброе утро" или "добрый вечер". А ни утро, ни вечер не были добрыми, история братьев раздирала мое сердце, хотелось стать им как-то ближе, чем-то помочь, вмешаться в их такие страшные и несправедливые судьбы. Я иногда забывал, думая про них, о своей собственной участи, о том, что меня ждет в самом недалеком будущем. Впервые я столкнулся с такими неординарными жизнями.

Конечно, они были эмигрантами. То есть, скорее, из эмигрантов. Они сами ниоткуда не эмигрировали. И никогда Россию не видели. И не в России родились. Эмигрантами были их родители. Отец — кадровый офицер, в деникинской армии командовал ротой, хотя прежде имел звание полковника генерального штаба. Уже немолодым, растерявшим прежнюю семью человеком встретился в Константинополе с девушкой, дочерью московского адвоката. Злая судьба была к ним милостива, и они не потеряли друг друга на путях-дорогах белой эмиграции. Поженившись, они очутились в самом привлекательном для зарубежных русских месте — в только что созданной Чехословакии.

То ли из-за славянских чувств, то ли потому, что первый президент нового государства Масарик был давним поклонником России, но для русских эмигрантов Чехословакия казалась своеобразным куском прошлой России. Русские школы, гимназии, даже подобие университета. Культ всего русского. Борис и Глеб родились в провинциальном чешском городке Моравской Острове. Мать их умерла вскоре после рождения младшего сына и немолодой отец стал своим детям не только единственной опорой, но и воспитателем, идеалом и примером.

Старый полковник, теперь работавший скромным служащим в какой-то торговой фирме, по своим убеждениям принадлежал к левому крылу русской эмиграции. Он был противником интервенции, не присоединялся к многочисленным воинским союзам и объединениям. Сыновей, которым он посвятил теперь жизнь, воспитывал в страстной любви ко всему русскому: к людям, нравам, обычаям. Они учились в русской школе, потом в русском лицее, Борис собирался поступать в университет...

Но все планы и сама жизнь этой маленькой семьи оказались смятыми страшной силой, обрушившейся на Чехословакию. Она стала разменной монетой в попытках Англии и Франции утолить и остановить непомерные аппетиты Гитлера. "Мюнхенский сговор" бросил Гитлеру кусок страны, а остальное он прибрал к рукам, когда началась война. В том расслоении русской эмиграции, наметившемся после 22 июня 1941 года, отец моих молодых лагерных знакомых занял

позицию, которая привела его к гибели. Он присоединился к "оборонцам", к тем, кто считал, что русские должны защищать Россию, что они не имеют права сотрудничать с врагами их родины. Трудно сказать, как это случилось — я не мог расспрашивать Бориса, — но их отец был убит "случайным" выстрелом ночного патруля.

И дети остались одни. Одни на всем свете. Ни в Чехословакии, ни в каком-либо другом месте планеты у них не оказалось родных, опоры, к которой можно было прислониться. Они остались в большой квартире, жили тем, что распродавали вещи. Борис перебивался кое-какой работой. И для младшего брата стал тем единственным, кто ему заменял родителей, учителей, друзей... Чем они жили? Что занимало их мысли? На что надеялись?

На Россию. Немцы двигались к Москве, радио, газеты, все вокруг вопило, надрывалось в восторгах перед успехами немецких войск, а Борис в это не верил, следовательно, не верил и Глеб. Пробраться в Россию, стать красными солдатами теперь было их главной мальчишеской мечтой, но мечтой столь нереальной, что лишь чудо могло им помочь.

И вот один русский, давно перешедший на сторону фашистов, вероятно, внимательно присмотревшись к двум совершенно одиноким ребятам, предложил им пойти на службу к немцам, поступить в специальную школу. "С немцами и приедете в Москву", — уговаривал он, зная о заочной любви мальчишек. Вскоре они поняли, о какой специальной школе идет речь. Немцы готовили из русских эмигрантов разведчиков, которых можно было бы забрасывать в советский тыл. Двое русских подростков с очень русской внешностью, выглядевших еще почти детьми, показались им подходящим материалом.

И тогда у Бориса — такого разумного, спокойного, отягощенного чувством ответственности за младшего брата, — возникла идея, совершенно достойная книг Луи Буссенара и других классиков подобной литературы, которыми они зачитывались. Они поступят в школу, узнают все немецкие тайны, попадут в тыл к русским, там они сразу же побегут к командованию, все расскажут и попросятся добровольцами в русскую, советскую армию. А если даже не возьмут, то все равно — они уже будут в России и там навсегда останутся. Немцам русских не победить, так говорил отец, не просто русский патриот — полковник генерального штаба, понимавший лучше всех и знавший больше всех.

И братья очутились в немецкой разведшколе. Судя по рассказам Бориса, там не готовили асов разведки, умеющих работать с радиопередатчиками, пользоваться шифрами, устраивать диверсии. Братьям предназначалась более скромная роль. Они должны были изображать беженцев, оставшихся сиротами и пробирающихся в Москву или какой-нибудь другой город, чтобы там найти кров и помощь. По легенде, разработанной для них, они родом из Ростова-на-Дону, матери лишились давно, отец с первых дней войны ушел на фронт, и тетка, у которой они жили, уже через месяц получила на него похоронку. Тетке ни к чему были двое почти взрослых парней, она решила отфутболить их к другой, более обеспеченной родственнице в Вышний Волочек. Они не успели осмотреться, как к городу стали подходить немцы; родственница забеспокоилась, она не собиралась эвакуиро-

ваться, и двое парней — дети советского офицера — были ей совершенно не нужны. Братья бежали на восток, в сторону Москвы.

Борис и Глеб изучили план Ростова-на-Дону, вызубрили названия всех улиц, узнали о достопримечательностях города, могли рассказать о реке, где они купались, об оврагах, где играли в казаки-разбойники, назвать школу, фамилии учителей, их внешность, прозвища... Они запомнили клички людей, к которым должны были обращаться в городах по дороге, пароли... У ребят была прекрасная память, и немецкие офицеры-разведчики собирались это использовать. Ничего нельзя записывать. Только смотреть, запоминать цифры на танках и автомашинах, считать, сколько таких машин на дороге, и следить, в какую сторону они движутся. Их научили распознавать все виды артиллерии и танков, различать по петлицам и нашивкам роды войск, командирские звания... И докладывать об этом тем, кого они должны были разыскивать в городах и больших поселках. Им обещали, что они скоро, очень скоро будут в Москве и тогда их ждет прекрасная и богатая жизнь, как и у всех, кто усердно служит немецкому рейху.

Братья были хорошими учениками, они быстро запоминали все, чему их учили. А также фамилии, клички и внешность своих нынешних учителей и соучеников, разговоры, услышанные в разведшколе, — то, что, по их мнению, могло пригодиться русскому командованию.

А потом все происходило так, как задумано. Ночью их перебросили через линию фронта. Они прыгнули с парашютами — один за другим. Все им помогало: темная, но уже по-летнему немного прозрачная ночь, полное безветрие. Борис и Глеб благополучно приземлились. Действовали по инструкции: закопали парашюты, отметили это место камнем, чтобы потом показать.

Затем двинулись к дороге. Увидев первого же красноармейца, спросили, как попасть в СМЕРШ. Да, они знали, что это такое, — им подробно разъяснили в спецшколе. Красноармеец долго не мог понять, что от него хотят покрытые пылью ребята в худой, потрепанной одежде. Он было послал их подальше, но тут они заметили, что по дороге движется воинская часть, и обратились к командиру. Он немного ошалел, когда на его вопрос, кто они такие, Борис ответил — немецкие разведчики.

В СМЕРШ они, наконец, попали. Братьев быстро и недоверчиво допросили, накормили и отправили дальше. Все шло так, как они себе представляли. Их допрашивали советские офицеры, с каждым вопросом — старше по званию. Конечно, обидно было, что их держали под замком, что встреча с Россией началась таким образом. Но кормили хорошо, придели, обещали, что возьмут в советскую офицерскую школу.

Вот так они и добрались до самой Москвы. Только Москвы они не увидели, даже колокольню Ивана Великого... Из вагона пересадили в наглухо закрытый фургон и привезли прямо в тюрьму. Настоящую тюрьму, где произошло самое для них страшное: их разлучили впервые в жизни, посадили в одиночки. И допрашивали уже без всяких ласковых обещаний. С угрозами, замахиваясь кулаком. Но скоро братья встретились в общей камере, где были самые разные и отвратительные им люди: дезертиры, изменники, настоящие шпионы.

Потом их вызвали и объявили приговор: десять лет лагерей по статьям, смысл которых им был непонятен. А дальше начался путь в глубину России, к которой они так стремились. Он был обычный: Краснопресненская пересыльная, эшелон из арестантских теплушек, очень долгий — они пропускали все военные поезда — путь на Котлас и дальше по только что построенной железной дороге до станции Весляна. Хорошо мне знакомый путь. Но в мое время еще был пеший этап от Вогвоздина до Княжпогоста. Не думаю, что война как-то повлияла на гулаговское начальство в смысле появления у них скольконибудь гуманных черт. Однако братьев не разлучали. Хотя, по старым правилам, родственников не посылали в один лагерь, тем более на один лагпункт. Вероятно, при всей бесчеловечности тех, кто тасует судьбы людей, им было ясно, что эти юноши не выживут друг без друга. А во время войны "трудовые ресурсы" выросли в цене. Леса требовалось много — из целлюлозы делали порох... В лагерях даже появилась американская тушенка и яичный порошок — взамен вонючей трески которую уже негде было ловить.

В своих заботах о "контингенте" высокое начальство дошло до того, что из всех советских людей только зекам разрешалось получать продуктовые посылки. Несмотря на всеобщий голод, из разных городов тоненькой струйкой текли от родных посылки со съестным. И появился в лагере "черный рынок", где можно выменять пачку махорки на кусочек сала, махнуть теплый шарф, еще пахнущий домом, на пайку хлеба, пачечку концентрата гречневой каши... Но у братьев ничего не было для обмена, и некому было отправить им не то что посылку, а хоть махонькое письмо. Мы — мои друзья, работавшие в конторе, и я — старались как-то приручить этих ребят, помочь. Но Борис и Глеб спокойно и с забытым уже достоинством отвергали эту помощь. В их старомодной, еще дореволюционной учтивости, воспитанности, во всей лексике, где совершенно отсутствовал не только обычный лагерный мат, но и лагерная терминология, было нечто, внушающее уважение. Это чувствовали и мы, "образованные", и представители других лагерных категорий. К ним относились хорошо все — от бригадира и десятника до арестантов, превратившихся в "шестерок", в низшие существа, обслуживающие более сильных, более сытых.

Почему они были такими? Я об этом думал тогда, те две-три недели, которые провел с ними в одной бригаде, и после, став вольнонаемным, в собственной, отдельной и даже запирающейся комнате в бараке за зоной. Я об этом думал, когда меня от лагеря отделили десятки лет и большая, насыщенная жизнь. И сейчас снова мысленно возвращаюсь к этим юношам и снова стараюсь смоделировать их сознание, понять источник их сопротивляемости, отчуждения от лагерного бытия...

Думаю, что Борис, который был уже совершенно взрослым и сформировавшимся человеком, инстинктивно — в силу характера и воспитания — выбрал для себя и брата единственно правильную форму существования. Только оставаясь чужими для всех, не сливаясь с лагерниками, могли они сохранить свою индивидуальность, свою "самость", остаться такими, какими их вырастил бывший полковник генерального штаба. И это было абсолютно правильной тактикой.

Когда я каким-то образом разговорил братьев и даже сблизился с ними настолько, что узнал их историю, мне казалось, что я сумею их понять, совсем понять! Ибо спасительный для меня интерес к другим человеческим судьбам не исчезал даже в самые трудные дни. Но — не успел.

Вечером, после работы, в барак заглянул нарядчик.

— Завтра не выходите на работу,— сказал он.— Приготовьтесь к этапу.

Этап! Куда? В Вожаель на суд? Но мне еще не вручили обвинительного заключения, хотя я и подписал 206-ю об окончании следствия. А обвинительное заключение вручается за неделю до суда — я уже хорошо знал все процедуры строгой и нелицеприятной юстиции,— они соблюдались с совершенно бессмысленным упорством.

Утром я вышел на развод, мне хотелось попрощаться с братьями. Я нашел нашу бригаду в построенной колонне, поговорил с бригадиром, который ободряюще меня хлопнул по плечу и сказал:

— Живы будем — хрен помер!

Я согласился с ним и пожал руки братьям. Борис ничего не сказал, но посмотрел на меня так по-взрослому, понимающе, с таким сочувствием и теплом, каких я в нем никогда раньше не замечал. А когда, прощаясь с Глебом, я машинально притянул его к себе, он ткнулся головой в мой бушлат, и я вдруг осознал, что вижу его в последний раз.

В УРЧ — учетно-распределительной части — сказали, что меня до суда отправляют на соседний, Второй, лагпункт. Очевидно, наш "кум" Чугунов решил, что арестанту не следует оставаться на лагпункте, где его все знают, сочувствуют и стараются всячески облегчить жизнь. По их "оперативной" тактике, человек, которого привели на суд за новым сроком, должен выглядеть сломленным, физически и душевно измученным, а следовательно, способным к раскаянию и искреннему признанию своих преступлений. Зачем им это было нужно — черт их знает! Я и сейчас не пойму!

До Второго лагпункта было недалеко — 18 километров. Конвой персональный — помощник командира взвода, который туда направляется по делу. Друзья мне помогли собрать тощий сидор — мы шли пешком, и взять с собой я мог только самое необходимое. День тянулся нескончаемо долго, я сидел в своей старой конторке плановой части, курил и разговаривал с друзьями на нейтральные темы — так ведут себя после какого-нибудь несчастья.

Потом нарядчик забежал и крикнул мне:

— Разгон, на вахту!

Я обнялся и расцеловался с друзьями-товарищами — с которыми я вместе пришел на лагпункт, здесь были люди, уже ставшие мне близкими и родными. Каждый этап, подобный моему, означал, собственно, новый арест. Когда увидимся и увидимся ли вообще?

На вахте ждал мой конвоир. Помощника командира взвода я знал давно. Это был молодой мужик, не злобный, всю свою служебную жизнь он провел в лагере, не боялся слов "враг народа", к своим обязанностям относился спокойно, без ненужного рвения. В моем конфликте с "кумом" он скорее сочувствовал мне и на вахте сказал:

— Покурим, что ли, на дорогу. Да и пойдем не спеша. Мне горючиться ни к чему, да и тебе!.. — и он махнул рукой.

Мы еще посидели на вахте, выкурили по сигарке, и за мной закрылись ворота лагпункта, где я провел большую часть своего срока — с октября тридцать восьмого года.

Была середина зимнего дня, и мы могли бы дойти до Второго засветло. Быстро и молча, рядом — не по-конвойному — мы шли по знакомой дороге: она вела мимо инструменталки в лес. Не успев свернуть на главную дорогу, мы увидели впереди лошадь, запряженную в трелевочную волокушу, и людей. На волокуше лежал человек, укрытый бушлатом. Шапки на нем не было, и я заметил пшеничную остриженную голову. Следом с широко открытыми остекленевшими глазами шел Борис. Он взглянул на меня, как на незнакомого или просто на предмет, ничего не изменилось в мертвенно-белом лице.

Позади лениво плелся конвоир.

— Ты что? Кого везешь? — спросил мой спутник.

— Э! Зека молодого деревом прибило.

— Насмерть?

— Насмерть. Под комель попал. Как угораздило — черт его знает!

Страшный обоз прошел, я смотрел ему вслед, веря и не веря тому, что случилось...

— Да. Жалко парнишку, совсем пацан был... Ну, пойдем, что ль, а то в темень попадем.

Через полтора месяца, в марте, меня с двумя отказчиками вели со Второго в Вожаель на суд. Снег уже стал рыхловат, он разъезжался под ногами, идти было трудно, и хотя со Второго вышли утром, но до моего старого лагпункта добрались лишь вечером. Там мы должны были переночевать, а утром следовать дальше — Зимка, Мехбаза и затем наша столица — Вожаель. На вахте нас небрежно обыскали и отвели на ночлег в хорошо известный мне домик в углу зоны — кондей, карцер. На этот раз в карцере натопили, дневальный был знаком мне. Я его спросил:

— Ты помнишь двух братьев? Одного здесь деревом прибило. Может быть, жив?

— Да нет. Его уже холодного привезли. Помню это дело.

— А старший? На лагпункте?

— Нет его на лагпункте. Отправили, верно, с каким-нибудь этапом. Тут у нас было два этапа. Один на Воркуту, другой — неведомо куда.

Рано утром, еще до развода, за нами пришел конвой. Никого из своих я повидать не успел. И не мог узнать, что же случилось с Борисом. Где он? Жив ли? Я думаю, вряд ли. Не могу себе представить, как бы он выжил, сознавая, что не усмотрел за братом, не уберег его. Как будто он мог что-то сделать в этом страшном и непонятном мире, куда они попали вместо страны, которую считали родной.

...Почему отец назвал их так? Почему он назвал своих поздних и любимых сынов именами мучеников? Неужели ему не было страшно? В XI веке в Киевской Руси братья Борис и Глеб были убиты третьим братом – Святополком. В разное время, при разных обстоятельствах каким-то странным образом эта история повторяется из века в век.

Ведь и мои Борис и Глеб рванулись к своим братьям...

— ...А ты кнацаешь этого принца! — удивленно сказал мне старший нарядчик Махиничев и поглядел вслед доходяге, которому я дал шепотку махорки на самокрутку.

— Какого принца? Вот этого? Почему ты его принцем зовешь?

— Так он и есть принц! У него это в формуляре написано. Только он чернопопый принц. Из каких-то чучмеков... Но тихий из себя. Доплыл, как лебедь... Не вылезает из слабосилки.

На этого зека я обратил внимание давно. Он был восточник. Таких — выходцев из Ирана, стран Ближнего Востока — у нас было немало. На непривычном и страшном для них Севере они гибли быстро, почти неотвратимо. Стационар и слабосильная команда были заполнены ими. Сейчас, в начале торопливого северного лета, они, как перезимовавшие мухи, с подъема до отбоя сидели на корточках, выбирая солнечные места и греясь на еще негорячем солнце.

Но арестант, которого я "кнацал", то есть которому покровительствовал, был особый, выделялся из них. Как и все, он был одет в тряпье — остатки своей былой одежды. Так как пользы от них лагерю не было, то и казенной одежды им почти не давали. У "принца" было оливковое лицо, очень выразительные и грустные глаза. На вид — лет сорок, не больше.

Меня он привлек одним свойством: он никогда и ни у кого не просил покурить. Табак был самым дефицитным, самым драгоценным в лагере: Ценился больше пайки, больше любых шмоток. Не считалось зазорным, увидя кого-нибудь курящим, сказать ему: "Покурим?" И только самая последняя лагерная сволочь могла в этом случае ответить: "С начальником на разводе..." Никто свою самокрутку не докуривал — отдавал другим. Лагерные шакалы зорко следили за тем, кто закуривал, ходили за ним следом и ныли: "оставь десять...", "дай на дымок..." Это значило: оставить десять процентов сигарки, оставить хоть одну последнюю затяжку. Впрочем, истосковавшемуся по табаку заключенному хватало и этой одной затяжки. Он бережно брал обслюнявленный крошечный остаток сигарки, насаживал на носимую с собой острую деревянную щепочку, а потом глубоко, изо всех сил своих сморщившихся легких, затягивался — до самого конца, пока еще в мокрой газетной бумажке тлела последняя крошка махорки. Сладкая, одурманивающая волна обволакивала его, он бледнел еще больше, ноги подкашивались, он должен был тут же присесть, чтобы не упасть. Ни до этого, ни позже не видел я подобного действия самой обычной махорочной затяжки. Я это испытывал и на себе.

Заключенный, которого Махиничев назвал "принцем", никогда

и ни у кого не просил покурить. О том, как сильно ему хочется курить, можно было догадываться по тому, какими глазами он провожал куривших, как глубоко и тайком — будто он его воровал — втягивал он табачный дым, если кто-нибудь рядом курил. Тяжело смотреть на голодного человека. Но глядеть на страдания человека, томящегося по табаку, тоже нелегко. И когда я начал получать посылки из дома, то стал давать этому странно деликатному арестанту закрутку махорки, а то и спичечную коробку табака. И — это было уж действительно странно! — мне стоило труда уговорить принять дар. Он был интеллигентен, прилично разговаривал по-русски, однажды, не сумев подобрать нужного русского слова, спросил, не разговаривают ли я по-английски... Я принимал его не то за коминтерновца, не то за богатого коммерсанта, не то за агента "Интеллидженс сервис"... Но у нас не принято расспрашивать о биографии человека, о том, что его привело в тюрьму. И когда он ко мне несколько привык, беседы наши носили вполне безликий и светский характер.

...Но принц!!! Тут уже я ничего не мог сделать со своей неугаваемой любознательностью! И однажды, когда мы присели на лавочке и закурили, я осторожно стал его "раскалывать"... Мне для этого и не потребовалось больших усилий. Очевидно, я был ему симпатичен, может, у него и была потребность поделиться с кем-нибудь историей своей жизни.

Действительно, жизнь этого человека была необыкновенной, история того, как очутился он в коми-зырянских лесах, выделялась своей необычностью даже на фоне всего необычного, что тогда происходило со всеми нами.

...И в самом деле он был принц! Самый настоящий, доподлинный принц. Конечно, не из Бурбонов, Гогенцоллернов, Ганноверов, а — как говорил старший нарядчик — из "чучмеков"... Он был афганский принц. Двоюродный брат знаменитого афганского короля Амануиллы-хана. Я хорошо помнил историю этого афганского "Петра Великого", помню даже его внешность. Он был первым королем, который приехал в Советскую страну во время своего путешествия по Европе. Для московских комсомольцев живой король был невероятной экзотикой, и мы не стеснялись приходить к роскошному особняку на Софийской набережной — тому, где сейчас английское посольство, — чтобы смотреть, как из ворот дворца выезжает "роллс-ройс" с королем и королевой.

Как известно, Аманулла-хан почти петровской рукой стал ограничивать власть крупных феодалов и реакционного духовенства, завел западные порядки, заигрывал с крохотной группой афганской интеллигенции. Своих родственников он послал учиться за границу, и мой знакомый по Первому лагерному пункту окончил один из самых привилегированных колледжей в Оксфорде. После чего приехал на родину, женился и проживал в Герате, где у него были главные поместья и те самые восточные дворцы, про которые мы читали в мировой литературе.

Он там и находился, когда в Афганистане началось восстание под руководством Бачаи-Сакао. Восстание, кажется, было инспирировано

англичанами, в нем участвовали некоторые наиболее отсталые племена, возбуждаемые духовенством, и на первых порах восставшие имели большой успех. Бачаи-Сакао занял всю центральную часть страны, включая и ее столицу Кабул. Поскольку он всех членов царствующего дома аккуратно резал, то они драпали. Кто куда. Большинство бежало в соседнюю Индию. Убежала туда и семья принца, находившаяся тогда в Кабуле.

Мой солагерник присоединиться к ним не мог, потому что центр страны был уже захвачен. Бежать он мог только в соседнюю, близкую от Герата, Советскую Россию. У нас принца из династии, с которой мы заигрывали, приняли со всем почетом. Его отвезли в Ташкент, отвели прекрасный особняк, полный слугами, и стал принц вести свою, почти обычную, жизнь принца из восточной сказки. Тем более что — как у всякого несказочного принца — был у него текущий счет в каком-то европейском банке.

Так бы ему и жить да жить, спокойно ожидая дальнейшего развития событий, не вмешайся в эту жизнь главный элемент любой сказки — любовь. Принц влюбился. Предметом его вспыхнувшей страсти была очень красивая русская женщина — жена какого-то бухгалтера. Даже в условиях почти социалистической действительности принц всегда может отбить жену у бухгалтера. Он ее и отбил. Бухгалтерша бросила своего обиденного мужа, перешла в особняк принца и там стала вести почти сказочную жизнь.

Охваченный испепеляющей любовью принц почти не следил за тем, что происходило у него на родине. А там вся заваруха шла к концу. Под напором событий Аманулла-хан был вынужден отречься от престола, на престол вступил суровый Надир-хан — дядя Амануллы и ташкентского любовника. Новый король отменил некоторые реформы своего неразумного племянника, договорился с духовенством и феодалами, что-то обещал англичанам, после чего быстро и вполне по-восточному разделался с повстанцами, повесил Бачаи-Сакао и начал все приводить в порядок. Бежавшие принцы и принцессы стали возвращаться в свои слегка пограбленные дворцы.

Должен был вернуться в Афганистан и мой знакомый. Должен был, но не мог... Он не мог забрать с собой любимую бухгалтершу: у него на родине были жена, дети... А расстаться с любовью у него не было сил! И он ждал, тянул, тянул... А ждать становилось все труднее и труднее. Афганские газеты писали о нем как о примере невероятного развращения нравов: бросил жену, детей, живет с неверной в большевистской стране... Новый и суровый властелин Афганистана категорически приказал принцу кончать свою затянувшуюся любовную историю и возвратиться к обычной скучной принцевской жизни. Предупреждения следовали за предупреждениями...

И тогда принц сделал то, что обычно делают только сказочные принцы: он решил остаться в Ташкенте и до конца своих дней жить с любимой в качестве частного лица... Но вскоре ему пришлось убедиться, что это возможно только в сказках. Разгневанный дядя провел через парламент закон о лишении обезумевшего от любви племянника всех прерогатив члена царской фамилии и даже афганского гражданства. И — что было еще существеннее — наложил секвестр на счета принца в западных банках...

Расплата за любовь наступила мгновенно и носила отнюдь не сказочный характер. Принца вышибли из сказочного особняка, его любимая немедленно вернулась к терпеливо дожидавшемуся ее бухгалтеру. А принца, растерявшегося от горя и нищеты, вскорости арестовали, дали восемь лет "за незаконный переход границы" и отправили к нам в лагерь... "И сказок больше нет..." — как поется в какой-то песенке у Вертинского.

...Мы сидели долго на завалинке возле старой бани. Мы выкурили почти всю мою дневную табачную норму. Принц, очевидно, взволновался, рассказывая случайному собеседнику историю своего жизненного крушения. Смуглое его лицо, покрытое грязью и несмывающейся копотью лагерных костров, стало бледнее обычного. Он замолчал на полуслове и вдруг, поймав мой взгляд — я смотрел на него, грязного, жалкого, в опорках, в обрывках английского демисезонного пальто, подпоясанного веревкой, — сказал:

— Я понимаю ваши мысли и ценю деликатность, с которой вы эту мысль не высказываете вслух. Но со всей искренностью, на которую мне дает право мое положение и приближающийся конец моей жизни я хочу вам сказать: нет, я ни о чем не жалею! Я был так счастлив с этой женщиной, так необыкновенно, невероятно счастлив, что не могу считать слишком чрезмерной цену, которую я за эту любовь заплатил... За такое счастье нет достойной цены!..

Мое знакомство с принцем происходило жарким и тревожным летом 41-го. Мы лихорадочно следили за войной на Западе, на Балканах, мы чертили карты военных действий, спорили о том, как будут они дальше развиваться. Но даже в то время, среди этих споров и разговоров, у меня из головы не выходил рассказ принца, банальная, трагическая и трогательная история его любви. И все мне хотелось еще что-то узнать у него, расспросить, что же было в этой ташкентской женщине, возбудившей такую невероятную, такую благодарную любовь?..

Мне не удалось это сделать. Начавшаяся война смыла со всеми вопросы и делами и это тоже... Вместе с самым героем романтической и трагической сказки. В первые же дни войны иностранных подданных забрали со всех лагунктов и сконцентрировали на одной подкомандировке какого-то далекого лагункта. От нас ушел туда большой этап. В нем был и мой принц.

Умер ли он там или же выжил, был ли репатрирован на родину, прощен своим кузенном, вступившим на престол?.. Может быть, и до сих пор живет он в своих гератских дворцах — старый, седой, окруженный детьми и внуками, затаивший в душе свою незаконченную, оборванную любовь?.. А может быть, и забывший ее под натиском новых впечатлений или новой любви?..

Но я никогда не забуду этой истории и часто ее рассказываю друзьям. С удивлением, восхищением и искренним уважением к этому чувству. Все-таки — сказки есть!

Чужие

Я пишу про "чужих". По отношению к кому? К лагерю, к лагерным начальникам, к тем, кто их схватил, решил их судьбу, послал к нам? Но ведь точно такое произошло и со мною и со всеми другими моими товарищами по заключению! Однако мы были "свои". Даже сейчас, когда прошли десятки лет и я стал намного опытнее и разумнее, я по-прежнему считаю себя и мне подобных своими. А следовательно, объединяю себя и нас с теми, кто нас арестовывал, мучил, убивал. Хотя совершенно очевидно, что для них мы были такими же бесконечно чужими, как и те, кто не имел прежде ни нашего паспорта и гражданства, проживал не в Чухловке, а в Варшаве или Тегеране.

И все же — мы были своими. Мы были — советскими. Приходили к нам целые этапы смоленских, архангельских и кубанских мужиков — это были свои. И своими были стащенные со своих гор кабардинцы и чеченцы и выгнанные из своих степей казахи и калмыки — они были советскими. И своими мы считали коминтерновцев, годами живших в Москве, и иностранок, каким-то чудом в давние времена вышедших замуж за наших дипломатов или инженеров. И своими были проститутки, которые, имея заграничный паспорт, обслуживали заграничную клиентуру. И я уж не говорю об одесситах с греческими паспортами и бакинцев с турецкими. Все они были своими, потому что или они родились и выросли здесь, или же приехали и жили в нашей стране по своей собственной воле. Даже в том случае, когда они очень плохо говорили по-русски, а то и вовсе не говорили, — они были своими. И в лагерном котле они очень быстро растворялись и переставали казаться чужеродными. Те из них, кто выжил в первые год-два лагерной жизни, выделялись среди нас, "своих", разве что плохим языком. Но кабардинцы и чеченцы — те часто вовсе по-русски не умели говорить. Нет, все равно — все они были своими.

Чужими были другие. Люди другой страны, другой национальности, которых занесла к нам непонятная им, чужая и враждебная сила истории. Молдаван и буковинцев никто не спрашивал, хотят ли они быть румынскими или советскими; и никто не спрашивал поляков, хотят ли они попасть в коми-зырянские леса, — их просто-напросто несла река событий, они бежали от настигавшего их пожара, не раздумывая, куда они попадут. И, попав к нам, так и не могли ничего понять, ассимилироваться, попробовать прижиться. Они лишь инстинктивно жались друг к другу, сжимались в островок, размываемый смертями, этапами.

Чужие стали к нам поступать компактными массами в 1939 году, когда наша дружеская договоренность с Гитлером бросила к нам галицийцев, молдаван, буковинцев... Об их прибытии в Устьвымлаг, еще до появления их на Первом лагпункте, сигнализировало появление у блатных экзотической одежды: молдаванских мохнатых высоких шапок и цветных кушаков, буковинских расшитых меховых безрукавок, модных пиджаков в талию с высоко поднятыми плечами. На шалашовках появлялись странно на них выглядевшие летние элегантные пальто на белой шелковой подкладке, шали из ангорского пуха и даже шелковые дамские комбинезоны, нашпигованные множеством карманов на "молниях". Все это было вестником того, что на пересылке и Одиннадцатом лагпункте, расположенном у самой железной дороги Котлас—Воркута, появились новые этапы. Из тех, кому мы, как выражались почти все без исключения, "протянули братскую руку". Эти Одиннадцатый и Пересыльный были привилегированными лагпунктами, куда стремились все опытные уркаганы. Там снимались сливки с каждого нового этапа, который в этих местах задерживался на несколько дней для комиссовки и распределения по другим лагпунктам.

И лишь после появления ширпотребных примет пригоняли этап из чужих. После множества распределительных пунктов, тюрем и пересылок это были совершенно растерявшиеся люди, ничего не понимающие, думающие только о том, как прожить сегодняшний день. За пайку хлеба, за спичечную коробку махорки, а то и просто так — испугавшись страшного, неслыханного мата и поднятого кулака — они отдавали свои шмотки, получая взамен сменку, часто казавшуюся им выгодной сделкой. Собственно говоря, ватные штаны и хорошая телогрейка значили для лагерника больше, нежели модный варшавский костюм. Но ведь не было ни "рынка", ни "товарообмена". Был открытый грабёж, поощряемый начальниками, потому что через доверенных комендантов и нарядчиков они обильно пользовались всем лучшим, что отнималось у чужих.

Кто же они были, эти чужие? С молдаванами, буковинцами и прибалтами дело обстояло проще: они уже стали советскими, и на них распространялись все действующие и уже хорошо отработанные приемы "ликвидации как класса". По спешно подготовленным спискам в одни сутки, а то и в одну ночь забирались и грузились в машины буржуазия, чиновники из правительственного аппарата, наиболее видные деятели партий, видные журналисты и адвокаты. Все — вместе с семьями. Конечно, попадали в эти списки и мелкие торговцы, и дантисты, и даже курьеры какого-нибудь карликового министерства. В конце концов, активно участвовавшие в составлении этих списков местные доброхоты тоже были людьми со всеми человеческими слабостями и не могли устоять от соблазна свести счеты со всеми, с кем счеты так хотелось свести...

И вот этих людей, имеющих право взять с собой только то, что можно было физически унести, грузили в машины или вагоны и отправляли на распределительный пункт. Там мужчин отделяли от большинства женщин, детей и стариков. Эти угонялись в ссылку: в Сибирь, Казахстан и другие обширные регионы, которыми бог нашу страну не обделил. А мужчины — те шли в лагерь. Постановления

”тройки” с такими же литерами, как и у нас (СОЭ, КРА, КРД, ПШ и пр.), и сроками в пять, восемь или десять лет вписывались в формуляры там же, на распредпункте, а если не успевали, то они приходили вслед в лагерь. Иногда, по ошибкам этой адской канцелярии, эти постановления засылались не туда, а то и вовсе не присылались, что не мешало этим чужим пребывать в лагере. Ибо резонно говорили старые и опытные лагерники: был бы человек, а бумага всегда найдется...

Удивителен все же был этот феномен ”советскости”! Все ”присоединенные” — от прибалтов до буковинцев и бессарабов — принимали все, что с ними случилось, как нечто закономерное, неизбежное, как принимают хроническую, неизлечимую, с неумолимым прогнозом болезнь. Через какое-то время они становились обычными зеками. Плохо говорящими по-русски, с какими-то своими привычками и особенностями, но все же зеками. Таких мы видели множество — от персов и индийцев до тасманийцев — даже один такой попался... И лишь в одном случае мне пришлось увидеть и со странным чувством следить за поведением не отдельного ”чужого” зека, а целой популяции, как сказали бы биологи. Это случилось, когда в наш Усть-вымлаг плотной массой влились поляки.

Естественно, что произошло это в 1939 году. Вернее, осенью 1939 года. К этому времени кровавый сговор Сталина и Гитлера произвел четвертый раздел Польши, Молотов уже объявил о полной ликвидации Польши как государства, существующего совершенно незаконно, ибо поляки не могут иметь своей государственности. Оставалось только распорядиться с этим народом, который веками раздирался разбойничьими государствами, с которыми Польша имела несчастье соседствовать.

Как распорядились немцы — мы теперь хорошо знаем, и не это составляет тему моего рассказа. К нам в лагерь попали разные и совершенно противоположные категории бывших граждан бывшей Польши. Основная масса их были евреи. Когда на карте бывшей Польши была проведена граница, отмеченная лихой подписью Сталина и скромной подписью Риббентропа, множеству людей, бежавших от фашистского нашествия на Восток, предложили на выбор: возвращаться ли назад в немецкое ”польское генерал-губернаторство” или же двинуться дальше на восток, в необъятную глубь Советской России. И нашлись люди, у которых брошенные ими дома, предприятия, все старое и обжитое оказалось сильнее страха перед немцами. Они им казались еще теми пруссаками в остроконечных касках, которые запомнились на первой мировой войне. Конечно, завоеватели, но люди как люди. Ведь тогда им еще не было известно о решении Гитлера ”окончательно покончить с еврейским вопросом”. И они возвращались в свою Польшу, в свои родные города и дома, чтобы через два-три года уйти в газовые камеры Освенцима и других огромных фабрик убийства.

А спаслись от этой страшной участи те, которые неуверенно, с опаской, но решили остаться в чужой и страшной стране, ставшей к тому же союзницей фашистской Германии. Не все спаслись, но все

же — большинство. И когда я вспоминаю ужасы, через которые прошли эти люди, я все же отчетливо сознаю: спаслись они только потому, что попали к нам.

Кто же они были, те, кто превратились из людей в "контингент"? В лагеря попали далеко не все. Очень многие были отправлены далеко в глубь страны, стали бухгалтерами, рабочими, техниками и даже колхозниками. Они стали советскими гражданами, получили продовольственные карточки и каким-то образом пережили войну, послевоенную сумятицу, восстановление Польши — пусть еще не очень суверенной, но все же Польши, куда можно было вернуться.

А другие — другие пошли в лагеря. Можно только предполагать, чем руководствовались те неизвестные нам люди из тех самых "органов", которым в этой войне досталось воевать только с безоружными и беззащитными людьми. Ну, одна категория была ясна. Это были политические деятели — остатки польской родовой аристократии. Их посылали в лагерь только за фамилии — громкие, знакомые нам по историческим романам Сенкевича.

Несколько лет назад, во время одного из литературных мероприятий, меня повезли выступать в небольшой город около Минска — Несвиж. Меня предупредили, что городок очень интересный — родовое гнездо Радзивиллов. Тех самых, которые... Действительно, этот маленький старинный город был необычен своей архитектурой, бытом, людьми, еще носившими отпечаток нерусскости. В огромном парке в бывшем княжеском дворце теперь находился военный санаторий. А в самом городе центральное место занимал домашний костел Радзивиллов. В отличие от русских, православных церквей, костел всегда был и продолжал оставаться действующим. Католическая община в городе была большой и богатой, костел поддерживался на уровне прошлого: он был пышным, великолепным, украшенным статуями, гербами, воинскими знаменами, флагами ремесленных цехов. И нас, как знатных гостей, сопровождаемых городским начальством, водил по костелу старый, восьмидесятидвухлетний ксендз, умный, ироничный, умевший отлично ладить даже с большевиками. Был какой-то католический праздник, костел был заполнен большой толпой молящихся, и мы стали свидетелями красивого католического богослужения, с хором, органом, церковным шествием. А когда церковная церемония кончилась и все прихожане покинули костел, ксендз отпер большой замок, висевший на одной из дверей, и повел нас вниз, в огромное подвальное помещение, находившееся под всем храмом. Это была родовая усыпальница князей Радзивиллов. Десятки, если не сотни свинцовых гробов стояли в этом огромном подвале, залитом ярким электрическим светом. Это были гробы большие, и поменьше, и совсем маленькие, в них лежали мужчины, женщины, дети... На гробах одна и та же фамилия, незнакомые имена и разные даты. Здесь лежали герои исторических романов о Речи Посполитой, богатеишие феодалы, придворные царей, королей и императоров в России, Пруссии, Австро-Венгрии — везде этот род имел своих представителей. На одном из гробов лежала запыленная камергерская треуголка с плюмажем — это был наиболее "свежий" русский Радзивилл, отбывший в этот склеп в 1913 году.

Любое кладбище наводит на размышления о бренности всего земного, но никогда еще не было оно столь сильно, как в этом старом бывшем польском городке. И я вдруг вспомнил, что и у нас в лагере были Радзивиллы. Правда, не на нашем лагпункте, а на соседнем, на Мехбазе. Один князь работал банщиком, а две княжны были уборщицами в цехах и, по циничным утверждениям мехбазовских шоферов, оценивали свое расположение не дороже обычных лагерных шалашовок. Так вот чем, значит, может кончиться многовековая история этого рода: сотней запыленных свинцовых гробов и шалашовками на Мехбазе Устьвымлага...

Но было бы несправедливо утверждать, что такова была судьба всех аристократических польских родов, попавших в одну из зон "архипелага". У нас, на нашем Первом лагпункте, был один собственный польский граф. И не какой-нибудь захудалый, а не кто другой, как граф Тышкевич. Кроме того что он был богатейшим магнатом, хозяином Паланги, граф Тышкевич был видным политическим деятелем Польши, главой крупной консервативной партии. Так вот, он вел себя абсолютно по-графски. Начать с того, что он категорически отказывался выходить на работу. А стало быть, находился в категории отказчиков и сидел в кондее — в карцере, на штрафном пайке. Но отказчик он был не совсем обыкновенный, а поэтому стал ценным объектом воспитательной работы.

Каждое утро перед разводом, когда колонна зеков выстраивалась на дворе зоны, два надзирателя приводили из карцера графа Тышкевича. Обросшего седой щетиной, стриженного, в обрывках старого пальто и в опорках, его подводили к начальнику лагпункта, который начинал свое воспитательное представление:

— Ну ты, граф, так твою и так и перетак, ты работать пойдешь?

— Ни, пан. Работать я не могу,— железным голосом отвечал граф.

— Ах, ты не можешь! Ты... — И тут начальник, к общему удовольствию лагнаселения, для которого это было ежедневным спектаклем, объяснял графу, что он думает о нем, о его близких и далеких родственниках и что он с этим графом сделает в самое ближайшее время. Граф спокойно и величественно слушал, пока не раздавалась начальственная команда: — В пердильник его, сукиного сына, пся крев, в матку бозку! — И надзиратели уводили графа в карцер, где, как говорили, он пользовался среди отказчиков авторитетом и уважением.

Не знаю, чего в графе было больше — графского гонора или же расчета. Опытные уркаганы пребывали в отказчиках потому, что совершенно точно рассчитывали: сохранить жизнь надежнее на трехстах штрафных граммах хлеба в теплом карцере, нежели на полной килограммовой пайке в страшном лесоповальном лесу. Но так или иначе, а граф сидел "в отказе", расплачиваясь за это участием в ежедневном воспитательном представлении. Пока... Пока вдруг не появился на лагпункте вездеходик самого начальника лагеря. Усадили туда выведенного из карцера графа и мгновенно увезли в Вожаель. Через несколько дней всезнающие нарядчики рассказали, что графу за одну ночь сшили элегантный костюм (неко-

торые даже уверяли — фрак!), усадили в самолет и отправили в Москву.

И через какое-то время мы прочитали в доходящих до нас газетах об образовании в Лондоне полудружественного нам правительства Сикорского, где министром иностранных дел был не кто иной, как наш старый отказчик и карцерный сиделец — граф Тышкевич... Чудны дела твои, Господи! А еще через какое-то время мне попала в центральной газете статья, в которой с негодованием рассказывалось, что в новом эмигрантском польском правительстве министр иностранных дел ведет антисоветскую линию, забыв, кто спас от фашистов его самого и вместе с ним тысячи других поляков.

И это было чистойшей правдой. Меня и раньше, да и теперь поражает способность, выражаясь казенным языком "средств информации", писать самую страшную ложь, не выходя за рамки чистойшей правды. Помню, появилось на металлургических заводах идиотское движение — "женщины-горновые". "Только, только у нас, — надрывались от восторга газеты, — женщина впервые стала у летки доменной печи". И это было чистойшей правдой. Наш врач Македоньч с ужасом говорил мне, что женщина, проработавшая месяц у доменной печи, уже не способна к деторождению и женский труд в таких цехах категорически запрещен во всем мире. Но ведь газеты писали чистую правду! "Только у нас!"

На 1 января 1939 года в стране проводилась всесоюзная перепись. Не самое удачное время было для нее выбрано, и недаром она впоследствии была полностью отменена и даже засекречена. Но тогда она проводилась везде и, естественно, даже в лагерях. Иначе уж очень странно выглядела бы общая численность населения страны... Значит, перепись проводилась и у нас, и из длинного списка вопросов я запомнил лишь два: образование и профессия. Ответы были абсолютно правдивыми: "Образование — высшее", "Профессия — лесоруб". Через полгода, или сколько там, случайно попала нам сыктывкарская газета, орган Коми обкома, "За новый Север". И была там передовая, посвященная предварительным итогам переписи. Так, в этой передовой статье буквально говорилось следующее: перепись показала, какой огромный шаг в культуре сделала Коми АССР. Если до последней предреволюционной переписи в Усть-Сысольском уезде находился лишь один человек с высшим образованием, то перепись 1939 года показала, что в Коми АССР живет больше людей с высшим образованием, чем во Франции и Бельгии вместе взятых. И это не агитационная выдумка, а неопровержимый факт. Как говорит один из героев Бабея: "Это, товарищи, не факт, а на самом деле было..."

Не знаю дальнейшей судьбы неблагодарного графа. Вскоре мы с этим лондонским правительством рассорились, сам Сикорский сгинул в авиационной катастрофе, и куда-то начисто исчез граф Тышкевич. И я вспоминаю своего бывшего соллагерника только во время экскурсий по его бывшему дворцу в Паланге, где сейчас находится музей янтаря. Но оставим в покое аристократов и перейдем к другим социальным слоям бывшего польского общества.

Они были разные — настоящие поляки, почему-то большей частью молодые, почему-то не попавшие в армию. Но больше всего было пожилых и даже старых евреев. И это были не наши бедные русские местечковые евреи — кустари и ремесленники. Польские евреи отправлялись в лагеря, очевидно, по классовому признаку. Это были в прошлом крупные промышленники, владельцы фабрик и заводов, лесобирж. Может быть, не случайно, а сознательно, но большинство бывших польско-еврейских капиталистов были лесопромышленниками. Казалось бы, что это им должно было помочь адаптироваться в лесопромышленном лагере. Но — ничего подобного! Они совершенно не ориентировались в этом странном мире, ничем не похожем на тот, где они жили раньше.

У нас большое веселье вызвала история с одним бывшим лесопромышленником, который несколько дней походил на повал, а затем попросился на прием к начальнику лагпункта и решительно ему сказал:

— Гражданин начальник! Я очень внимательно осмотрел лес, который вы рубите, — можете мне поверить, я в этом понимаю! — и хочу вам сказать: такой лес рубить невыгодно.

— А что же с ним делать? — заинтересованно спросил начальник.

— Его надо продать на корню. Это будет намного выгоднее!

— Но у нас не продают лес на корню! — сказал пораженный таким предложением начальник.

— Не продают, потому что не умеют, — гордо ответил бывший лесопромышленник. — Поручите это мне, и я его продам на корню с большой для вас выгодой...

Экономические переговоры представителей двух миров окончились грустно. У начальника не хватило юмора и человечности оценить порыв старика и пристроить его к какой-нибудь "блатной" легкой работе. И тот продолжал ходить пилить невыгодный лес, пока, заболев воспалением легких, мгновенно не умер, оставив после себя лишь ставший легендой рассказ о том, как пытались наш лес продать на корню. Надо ли говорить, что все мы горевали оттого, что эта сделка не удалась.

После польских этапов народу у нас прибавилось и прибавилось работы нормировщикам. И я взял к себе помощником молодого поляка — Анджея, недоучившегося в Краковском университете и не попавшего в армию из-за природной хромоты. Это был очень способный и приятный парень, довольно хорошо говоривший по-русски и много мне рассказавший про ту Польшу, которую мы не знали тогда и, как мне кажется, не знаем до сих пор.

Очень тяжело было смотреть, какими беззащитными вдруг оказались не только перед начальственными вертухаями, но даже перед лагерной шоблой потомки Володыевских и Заглобов. Нас это не могло удивить, — такими оказывались иногда даже наши собственные герои гражданской войны. Но здесь к этому примешивалась еще жалость от невозможности объяснить, помочь, — большинство их не знали русского языка. Несколько дней я смотрел из окна конторы, как идет по зоне молодой еще доходяга-поляк, бережно держа в руках только что полученную пайку. И почти всегда на него налетала группка из четы-

рех-пяти самых низкопробных урок и отнимала у него эту пайку. Поляк оставался один на этой страшной площади перед бараками и беспомощно плакал... Чем ему можно было помочь?

— Лев Эммануилович,— сказал мне Анджей (я с трудом отучил его называть меня "пан начальник"),— а вы знаете, что этот парень был чемпионом Польши по боксу в полусреднем весе? И выигрывал на мировых состязаниях.

— Этот?! Позови его сюда!

С помощью Анджея я пытался выяснить, как может позволить пусть и ослабевший, но профессиональный боксер не сопротивляться кучке таких же доходяг, как он сам.

— Так ведь их много, а я один. У них все свои, а я один и чужой.

— Вы бокс не забыли?

— Да нет, конечно, как можно забыть! Я был в первой десятке полусредних в Европе.

— Вот даже в таком виде, как вы сейчас, смогли бы справиться с этой шоблой?

— Конечно, пан. Так как же я могу?

— Слушайте меня внимательно. Сейчас я вам дам свою пайку хлеба, и несите ее в руках, как всегда. А когда они налетят — нокаутируйте их всех без всякой жалости! Если вы это сделаете — останетесь жить: они признают только силу. Отдадите и эту пайку — никто вам больше не поможет, и вы здесь погибнете.

С Анджеем мы смотрели в окно на этот странный эксперимент, затеянный мной не из любопытства, а из естественного желания как-то спасти этого бывшего чемпиона от неминуемой гибели. Чемпион вышел из конторы, робко держа в руках мою четырехсотграммовую пайку. Через несколько минут на него налетели урки из слабкоманды — той, в которой находился он сам. Бывший чемпион беспомощно оглянулся на наше окно, и я ему пригрозил кулаком. И тогда я понял, что такое профессионализм. Этот польский доходяга сунул хлеб под мышку и затем мгновенно, несколькими ударами уложил в грязь трех нападавших. Остальные убежали.

— Анджей, пусть вся зона знает, что этот парень — чемпион по боксу и ему ничего не стоит перебить переносицу самому большому лбу!

Анджей сделал свое дело, и вся лагерная уголовная мелочь обходила бывшего чемпиона, который теперь не боялся за свою пайку. А настоящие урки за пайками не охотились, им даже импонировало, что есть в зоне бывший чемпион по боксу. Таким образом я сохранил для будущей армии Андерса хорошего солдата. Ибо в конце концов наша сложная польская политика привела к тому, что все поляки, могущие носить оружие, были отправлены в создаваемую где-то в персидских песках армию Андерса. Даже мой хромой Анджей уговорил прибывшего к нам польского эмиссара взять и его, рассказав, что хромая нога не мешала ему в Краковском университете быть чемпионом по стрельбе. И остались у нас старые евреи, могущие чинить бушлаты, делать чуни, быть дневальными в бараках.

Я с грустью расстался с Анджеем, к которому привык. И хотя он не столько работал (я никак не мог его научить считать на логариф-

мической линейке), сколько интересно рассказывал, мне пришлось искать нового помощника. И благодаря этому я познакомился с одним из интереснейших людей.

Осторожно вошел в нашу конторку очень пожилой человек и спросил:

— Могу ли я видеть пана нормировщика?

Его национальность, социальное положение в прошлом и даже характер были очевидны. Пальто было, конечно, поношенным, но чистым, и все пуговицы были аккуратно пришиты, и старое умное лицо было выбрито и чисто.

— Я слышал, что пану нормировщику требуется помощник, и хотел вам предложить свои услуги.

По-русски он говорил совершенно чисто и даже без того неистребимого акцента, который есть почти у всех нерусских.

— Да, мне помощник нужен. Но желательно, чтобы это был человек, имеющий хоть какое-нибудь представление о лесном деле.

— Мне принадлежали почти все крупные лесобиржи в Польше,— скромно ответил старик.— У меня были три лесозавода "Боллиндеры", я был знатным экспортером и кубатуру каждого бревна могу определять на глаз с точностью до одного-двух процентов.

— А умеете ли вы считать на счетах? Или на логарифмической линейке? Или на счетной простой машинке?

— Ни, пан. Этого я не умею.

— Как же вы будете работать? Я знаю, что у вас принято все подсчеты делать на бумаге. Но у нас это невозможно. Нормировщик должен непрерывно делить и умножать двухзначные и трехзначные цифры. И делать это быстро, к утру все рабочие наряды должны быть пронормированы.

— Я это делаю без бумажки и быстрее, чем на счетах. Я считаю в уме.

И тут он продемонстрировал мне нечто феноменальное. Я называл моему посетителю двухзначные и трехзначные цифры, и он делил и перемножал их в уме мгновенно. Я следил за ним, проверяя его на линейке, но таинственные клетки в его мозгу действовали гораздо быстрее... Я был совершенно поражен.

— Выходите завтра сюда на работу. Я скажу старшему нарядчику.

Старик вежливо поклонился и ушел. Через полчаса он вернулся, держа в руках аккуратный сверток.

— Что это? Кому?

— Вам, пан. Благодарность. Это очень хороший, почти совершенно новый костюм, я его купил в Лондоне перед самым началом войны.

Мое высокоидейное комсомольское прошлое сидело во мне как несгибаемый кол.

— Возьмите костюм назад и завтра на работу не приходите. Я, к сожалению, не могу вас взять на работу. Нормировщик должен быть

свободен от таких привычек. Ни я, ни мои помощники никогда не дают и не берут взятки!

Признаюсь, мне было горько смотреть, как осторожно и безнадежно закрывал за собой дверь этот человек, который никак не мог себя чувствовать в чем-то виноватым. Но у меня не хватило ума и доброты, чтобы окликнуть; позвать его назад. А еще горше было мне видеть, как плетется он в грязной колонне арестантов, которых утром гонят на работу. И вскоре я не выдержал и обратился к своему приятелю — главному бухгалтеру лагпункта. Константин Ионович Равинский был ленинградцем, адвокатом в долагерные времена, человеком умным, интеллигентным и комсомольской школы не прошедшим. Одной из его забот была необходимость часто менять хлебoreза. Не надо объяснять все значение и ответственность человека, который один живет в помещении, набитом хлебными караваемы, и раздвывает эти толстые и сладостные кирпичи на пайки: обыкновенные, премиальные, штрафные... И как доказательство точности, с какой эта кровная пайка отвешивается, к каждой прикальвался острой щепочкой маленький кусочек хлеба. Изготовление этих щепочек — "приколок" — было выгоднейшим занятием для какого-нибудь доходяги, которому хлебoreз покровительствовал.

Так вот, несмотря на подчеркнутую приколкой точность веса пайки и полную невозможность это проверить, каждая очередная ревизия хлебoreзки выявляла дикое воровство хлебoreза. Или же его абсолютное неумение вести это несложное хозяйство. Недостача обнаруживалась даже у хлебoreзов из 58-й статьи, людей несомненно честных. И главный бухгалтер был в отчаянье от невозможности подобрать человека, за работу которого он мог бы поручиться.

Я честно признался Константину Ионовичу, что меня мучает совесть: из-за моего комсомольского ригоризма ходит "на общие" старый человек, к тому же обладающий феноменальной способностью мгновенного счета в уме. У Равинского был очередной хлебoreзный кризис — проворовался опытный и, как казалось, надежный хлебoreз. И он согласился поставить на место хлебoreза бывшего крупнейшего лесопромышленника Польши.

Фамилия у него была скорее польская, нежели еврейская, — Свентицкий. Яков Павлович Свентицкий. И хотя я его не только называл стариком, но и ощущал как старика, ему, вероятно, было не больше шестидесяти с небольшим. И он вовсе не был похож на маленького торговца или ремесленника из белорусского еврейского местечка. Высокий, спокойный, несуетный, еще сохраняющий остатки достоинства очень богатого, а следовательно, независимого человека.

Хлебoreзом Яков Павлович оказался идеальным, и мой друг бухгалтер не мог им нахвалиться. Мало того, что любая ревизия всегда обнаруживала абсолютную честность развески, — множество нужных людей в зоне получало по лишней пайке, а начальник работ не стеснялся заходить в хлебoreзку и говорить хлебoreзу: "Такому-то бригадиру дайте десять лишних паек — они сегодня хорошо работали!", не задумываясь, откуда хлебoreз возьмет эти лишние пайки. И был прав. Лишние пайки всегда находились у нового хлебoreза. И не

только пайки хлеба, но и сахар и даже кой-какие продукты из вольнонаемного ларька. Очевидно, Свентицкий знал не только лесное дело и основы капиталистического бытия сидели в нем крепче, чем во мне мое антикапиталистическое прошлое.

К этому времени у меня произошли в жизни значительные события. У меня кончился первый срок, отменили второй лагерный срок, и я стал "вольным". "Воля" главным образом выражалась в том, что я теперь жил не в зоне, а получил комнатку в "вольнонаемом" бараке за зоной, и когда я проходил через вахту на работу и обратно, то надзиратели меня не ошупывали, не заставляли раздеваться. Все же я был как бы "ихний"... А все остальное было по-прежнему: я, как и раньше, приходил в конторку и, обменявшись с моим помощником Николаем Васильевичем Лисовским военными новостями, выслушав его комментарии и прогнозы (был Николай Васильевич комкор и когда-то занимал пост заместителя начальника Генерального штаба), садился за работу.

Изредка и только по делу заходил Свентицкий, который никогда мне не напоминал ни о моем поведении при первом знакомстве, ни о моей протекции. Мне нравился этот спокойный и грустный человек, который с каким-то убежденным фатализмом принимал все, что происходило с ним. Однажды он мне сказал:

— Лев Эммануилович! У меня есть очень хороший настоящий чай. Я буду рад, если вы вечером зайдете ко мне выпить чаю. Теперь между нами нет никаких деловых отношений, я от вас не завишу, и ваши убеждения, которые я очень почитаю, ничем не будут затронуты.

И стал я иногда — и все чаще — заходить к Якову Павловичу. И не столько чтобы выпить действительно настоящего вкусного чая, сколько для того, чтобы поговорить с ним. В хлебрезке было всегда тепло и уютно, вкусно пахло свежим хлебом и крепким чаем. Постель на топчане чиста и аккуратно застелена, в углу на гвозде всегда висела старая, но очень достойного вида шуба.

Свентицкий много ездил по свету. Был почти во всех государствах Европы, бывал и на Востоке, даже в Палестине. Не столько из-за религиозных чувств, — по-моему, он был совершенно лишен их, — сколько из-за любопытства. И рассказывал он умно, лаконично, сразу же находя самые точные определения. Совсем не банальные, скорее — парадоксальные. Никогда не спрашивал я его о семье, ее участии, о том, как и каким образом очутился он в Советской России один-одинешенек. Одиночество было, кажется, одним из главных свойств его натуры. Он не дружил, как все "придурки", с медицинской аристократией из санчасти, к нему не приходили потолковать "о том о сем" его земляки. Он жил наедине со своими мыслями, и я не могу объяснить, почему я стал его собеседником, вернее, слушателем его размышлений о судьбах еврейского народа.

— Он выполнил свою историческую миссию — если верить, что она у него была, — и окончит свое существование. Как это случилось со многими племенами и народами, даже великими народами, создавшими великие цивилизации. Через сто-двести лет о евреях будут знать лишь студенты, обучающиеся истории. Европейские евреи все погибли, их убили, сожгли, сгноили в лагерях.

— Это в Германии. В Польше.

— А в других местах? Разве мы с вами не вместе?

— Но в европейских странах сохранилось достаточно много евреев.

— Вы ведь никогда не сажали молодой лес? Чтобы лес выжил, чтобы отдельные деревья стали лесом, надобно, чтобы выжило большинство саженцев, чтобы деревьев было много, чтобы они образовали лес. У евреев остались деревья, отдельные деревья, леса они уже никогда не образуют. Сохранившиеся европейские евреи смертельно напуганы и больше всего боятся быть похожими на евреев.

— А американские? Их же миллионы.

— А они не евреи, а американцы. Они такие же евреи, как англосаксы, ирландцы, итальянцы. Одни едят спагетти, а другие фаршированную щуку, но все они — американцы, и страна у них одна — Америка.

— Вы бывали в Палестине, Яков Павлович. Как вы относитесь к идее сионизма?

— Это детская идея, идея драчливых детей. Англичане и другие европейцы никогда не выпустят из рук эту землю. А вокруг этих лесных островов, мечтающих превратиться в настоящий лес, — целая тайга, целый тропический лес арабов, которые законно считают эту землю своей. Что им история! И крестоносцы были хозяевами в Палестине, так что же — и европейцам претендовать на Святую землю? Ну а если и удастся евреям зацепиться за кусок Палестины — они будут непрерывно воевать. А воюющий еврей перестает быть евреем — он становится таким же отвратительным и глупым, как все, которые занимаются убийствами. Это не еврейское дело.

— А что же, Яков Павлович, является еврейским делом?

— Быть изгнанныком, а следовательно, не претендовать на власть. Строить для других заводы и фабрики, делать открытия, придумывать новые идеи, писать — тоже для других — книги, издавать — тоже для других — газеты. И тихонько утрачивать свое еврейство. Вот так еврей Дизраэли превратился в лорда Бикенсфильда. Так бы и было, если бы евреи не возбуждали непонятную мне ненависть и жажду уничтожения. И хорошо еще, если сразу — как моих... А когда это растягивается на годы, то так устаешь от этой бессмысленной жестокости. Но ведь и к этим годам надо привыкнуть, и в них надобно жить. У вас еще есть на воле близкие? И дети?

— Есть близкие. И дочь есть.

— Вот видите. Вы еще молодой, у вас уже и срок кончился, и вы еще проживете, сколько вам Бог отпустит. И род ваш может прожить несколько поколений, если гитлеры не станут полными хозяевами на всей планете. Вы не воспринимайте так трагически мои размышления. Я говорю, как Иов, потому что для меня и моего рода уже все окончилось. Смотрю на вас и понимаю, что стесняетесь мне задать вопрос: зачем же я стараюсь сохранить свою жизнь? Нормировщиком хотел стать, живу спокойно и сыто в хлебрезке... Это, дорогой Лев Эммануилович, от привычки жить. Неистребимая привычка, ее могут преодолеть лишь люди сильной души или сумасшедшие. Я ни к тем, ни к другим не принадлежу.

Свентицкий совершенно искренне привязался ко мне. Однажды даже вдруг решил мне подарить свою шубу — единственную, кажется, память о прошлом своем богатстве. И, как дальше выяснилось, не только память.

— Наверное, вы заметили, что я по своему характеру очень одинокий человек. Вероятно, малотерпимый. И я очень вам благодарен, что вы мне скрасили многие вечера, терпеливо выслушиваете то, во что вы не верите и что не принимаете. Собственно говоря, вы здесь наиболее мне близкий человек. И я хочу вам сделать подарок на память.

— Какой же подарок, Яков Павлович?

— Мою шубу.

Я с трудом сдержал неприличную улыбку, представив себя здесь, в лагере, в этой, наверное, еще XIX века тяжелой шубе.

— Нет, конечно, эта шуба не годится даже для того, чтобы в ней ходить по улицам вашей Москвы. Ее фасон вышел из моды. Но все остальное — не вышло и не выйдет. Это прекрасное, никогда не снашиваемое сукно, верблюжий ватин, приклад, который ставят только лучшие лондонские портные. Вы ее распорете, и сколько-нибудь приличный портной в России сошьет вам вечное прекрасное пальто. Но я дарю вам ее с условием, что вы сами сделаете всю предварительную работу: распорете, сложите отдельно материал, подкладку, приклад... Если бы я верил в потусторонний мир, я был бы там удовлетворен тем, что очень облегчил жизнь приятного мне человека.

— Яков Павлович, я тронут и благодарствую, но вы говорите так, как будто завещание составляете.

— Да, вы правы. Завещание.

— Для него еще не наступило время. Я уверен, что скоро закончится война, вас — как иноподданного — освободят в первую очередь, и ваша старомодная шуба еще покрасуется на ваших плечах.

— Ну хорошо. Мне уже знакомы ваши убеждения, и давайте найдем компромисс. Шуба — мое единственное достояние, и ее так легко украсть. А вы вольный человек и живете за зоной. Возьмите ее к себе. Если, как вы наивно думаете, меня освободят — я буду вам благодарен за то, что вы мне ее сохранили. Если же умру здесь, как это мне суждено, то считайте, что я вам ее завещал, и отнесите ко всему, что я вам сказал, как к моей последней воле, вернее — просьбе.

— Хорошо, Яков Павлович. Унесу я вашу шубу, хотя и здесь ее никто не украдет, в ней нет никакой ценности для лагерника.

Но в этот вечер я ее не унес, и в следующий не унес, все откладывал, да и как-то неудобно мне казалось выходить вечером через вахту с тяжелой шубой в руках, под насмешливо-понимающими взорами надзирателей: "Взял, значит, в лапу нормировщик. А еще трепались про него — дескать, не берет..."

Наверное, я бы все же выполнил странную просьбу старика. Да не успел. Убили его.

— Слышали? Хлебореза-то нашего тюкнули — зарубили!

Я побежал в хлеборезку. Она уже была полна вертухаями, там распоряжался всем "кум", на топчане, прикрытый ветошью, вымазанной кровью, лежал мой вчерашний собеседник, и я, слава Богу, не

увидел его изрубленное лицо... Все было обычно. Пришел в хлебрезку урка из бандитов, потребовал буханку хлеба и, получив отказ, хладнокровно вынул из-под бушлата топор, всадил его в голову старику и, спокойно забрав буханку хлеба — одну, только одну буханку! — ушел в барак. Теперь он столь же спокойно ест эту буханку в карцере. Вместо того чтобы ходить на работу в лес, ему предстоят передачи от восхищенных дружков, беседы с опером в "хитром домике", этап в Вожаель, свидания на пересылке со многими знакомыми, суд и совершенно ничтожный срок. Ибо дадут ему десять лет "с погашением отбытого срока", а так как после последней судимости он отбыл около полугода, то вот эти полгода он и получит за убийство старика.

Значит, прав был в своих трагических предчувствиях Яков Павлович! И суждено ему быть похороненным в безымянной могиле на лагерном кладбище и исчезнуть навсегда, как исчезли все его близкие...

А завещанная им мне шуба добрых два месяца служила предметом разговоров и легенд не только на нашем лагпункте, но и во всем лагере. Ибо нашли в ней огромное количество крупных бриллиантов.

— Два кило бриллиантов! И все — как грецкие орехи! — оживленно рассказывали распространители лагерных слухов — парашники.

Очевидно, Свентицкий еще до начала войны, а может быть, в самом ее начале все свое огромное состояние перевел в портативный вид — бриллианты — и зашил их в старую, никого не привлекающую шубу. И мне предстояло стать наследником этой сказочной Голконды!... Как ни грустно мне было от гибели этого мне симпатичного старого, измученного человека, но я не мог не смеяться, когда мне начинали расписывать все исчезнувшие возможности моего бриллиантового будущего. Мне становилось невероятно смешно (да и теперь я улыбаясь думаю об этом) при мысли, как я освобождаюсь "совсем", приезжаю в Москву с карманами, набитыми бриллиантами "в грецкий орех"... А что я с ними буду делать? Даже сейчас, лишившись многих предрассудков, я не знал бы, что делать с мешком бриллиантов... Наверное, те, что перед сдачей их в фонд государства схапали пару-другую бриллиантов, лучше меня знали, как ими распорядиться.

Реальнее, нежели исчезнувшие бриллианты, остались в моей памяти вечера в хлебрезке, мучительные размышления бывшего капиталиста, и я продолжаю мысленно спорить с ним. О том, как ошибался он в своих исторических прогнозах и как был прав в нравственных предпосылках к ним. Полвека прошло со времени его гибели, за это время не началась еще предсказанная им гибель еврейского народа, но сам он погиб, как погибли его и мои близкие, как погибли миллионы. И от того, что люди репродуцируются, не исчезает главное — невозможность примириться с такой судьбой каждого, навсегда исчезнувшего человека. В знаменитом документальном американском фильме "Геноцид" показано, как бульдозер сталкивает в ров Освенцима или в другом месте массовых убийств сотни, тысячи голых мужских и женских трупов. Нельзя об этом думать без отчаянья. Как нельзя думать без отчаянья о том, как и у нас убивали, закапывали

в неизвестные могилы десятки и сотни тысяч мужчин и женщин. Тех убивали за то, что они — евреи. А этих за что? Потому, что убийствами решались всякие проблемы: расовые, классовые, политические... Убийства — простейший и надежнейший способ решения всех и всяческих проблем. Поэтому я ненавижу и презираю всех "великих" полководцев. После одного из победных, но очень кровавых сражений Наполеону доложили, что потери французской армии огромны. "Пустяки! — спокойно ответил великий полководец. — Одна ночь во Франции — и вся убыль будет пополнена..."

Душа с них вон, со всех этих "великих"! Я ничего не могу с ними сделать, они все могут сделать со мной! Но они не могут и никогда не смогут заставить меня всех их — македонских, наполеонов, сталиных и гитлеров — не то чтобы любить, а хоть сколько-нибудь уважительно к ним относиться. Никто не может меня заставить их не презирать. Все они — говно, и пусть те, кому этот предмет нравится, в монографиях, статьях, романах и поэмах облизывают их.

Поляки исчезли из лагеря почти так же мгновенно, как появились. Все они были объектами политических манипуляций, и ими распоряжались с равнодушием людей, гоняющих гурты скота на мясокомбинаты. Поляки понадобились для разных целей — одни в армию Берута, другие в армию Андерса, третьи еще для чего-то. Они пробыли в лагере недолго, два-три года и, в отличие от нас, советских, пригнанных в 37—38-м годах, остались живы. За редким исключением. Кроме лесопромышленника, желавшего продать этот лес "на корню", и Якова Павловича, походя убитого профессиональным бандитом. А остались они живы только благодаря тому, что лагеря претерпели большие и принципиальные изменения. Эти изменения были вызваны институтом "придурков". И тут мне необходимо об этом сказать и вступить в дискуссию с таким авторитетом, как Александр Исаевич Солженицын.

Именно он в "Одном дне Ивана Денисовича" и "Архипелаге Гулаг" создал презрительное отношение к "придуркам". Да, Иван Денисович и вообще представители народа "упирались рогами" и погибали "на общих", а интеллигенты "придуривались" в конторах и после привычной канцелярщины предавались спорам об искусстве и литературе... Все это — глубоко неисторично и попросту аморально.

В единственном в своем роде "Справочнике по Гулагу", составленном Жаком Росси, отбывшим два десятка лет в лагерях, вернувшимся во Францию и там издавшим свой "Справочник" в 1987 году, говорится: "Придурком называется заключенный, устроившийся на канцелярской или другой не физической и не тяжелой работе". В законе, изданном в 1930 году, было сказано: "Лица, осужденные за контрреволюционные преступления, не могут занимать в лагере никаких административно-хозяйственных должностей". Когда в лагере хлынул девятый вал, этот закон неукоснительно соблюдался. И все "контрики" отправлялись "на общие" и там весьма быстро погибали. Лагеря 1937—38 годов были, как правило, лагерями уничтожения.

Но, по умным расчетам палаческих дел мастеров, лагеря долж-

ны были быть не просто гильотиной, а гильотиной на хозрасчете. В лагерях заключенные должны были работать, а следовательно, выполнять план. Тот самый "план", который был универсальным экономическим и политическим законом. Устьвымлаг был лесным лагерем. Очень большим. В нем находилось 24 лагерных пункта плюс множество подкомандировок, они были раскиданы на несколько сотен километров в густой тайге и должны были поставлять стране миллионы кубометров леса. То есть это было очень большое — намного большее, нежели самый большой леспромхоз,— лесозаготовительное предприятие. И для работы на нем требовалось очень большое количество специалистов: от врачей, инженеров, экономистов и бухгалтеров до фельдшеров, автомехаников, железнодорожных мастеров, людей самых разных специальностей.

Я уже в другом месте рассказывал, как под давлением неумолимого, не знающего никаких отговорок плана самые усердные, ненавидящие "контриков" вертухайские начальники вынуждены были нарушить закон от 1930 года и ставить на работы, требующие специальных знаний, "пятьдесят восьмую". Ибо среди "социально близких" — среди воров, убийц, насильников и хулиганов — не оказывалось врачей, инженеров, экономистов... В том, что многим заключенным удавалось избежать тяжелых, убийственных работ и отсиживать от них в теплом цехе, конструкторском бюро, конторе или санчасти, не было и не может быть ничего аморального и предосудительного. Каждый заключенный, которого гнали в лес, завидовал "придуркам" и мечтал таким быть. "Придурком" был и сам Солженицын в своей знаменитой "шарашке", "придурком" назывался любой, имевший хоть какую-нибудь нужную лагерю специальность. Иван Денисович умел класть стены из кирпича, и он был счастливым заключенным — его не гоняли в лес. А у нас был на лагпункте молодой аспирант из Московского университета, о котором даже в те времена московские профессора не боялись писать в лагерь начальнику письма с просьбами сберечь этого человека, ибо он — гениальный математик и украсит отечественную и мировую науку. А наш начальник поставил его на раскорчевку трассы, да еще на месте, где был сосновый лес. (Ах, как же трудно корчевать руками именно сосновые пни!) И, объезжая верхом работы, подъезжал к гениальному математику и спрашивал: "Ну, какие корни легче извлекать?" Они ведь любят и шутить, начальники. Несостоявшийся гениальный математик умер через месяц-второй. И действительно, кому нужен в лесоповальном лагере какой-нибудь Лобачевский или Гаусс?

Лесоповал, тот самый, тогдашний лесоповал — без мотопил, трелевочных тракторов, автопогрузчиков,— был убийствен. Недаром в лагерях лесоповал называли "сухим расстрелом" или "лесным расстрелом". Больше всего в лагере погибали не чахлые интеллигенты, которые что-то умели, а мужики — здоровые, привыкшие к тяжелой физической работе, к труду крестьяне. Все они становились жертвою "большой пайки". А "большая пайка" действительно была большой! Утром нормальный заключенный получал 400 граммов хлеба и миску затирухи — кипятка, в котором была размешана ржаная мука; придя с работы, на которой он не только выполнил, но и перевыполнил норму, лесоруб получал 600 граммов хлеба, миску затирухи, еще 200

граммов хлеба вместо второго блюда и еще 200 граммов хлеба — как "премиальное блюдо" за перевыполнение нормы. Следовательно, "большая пайка" составляла почти полтора килограмма хлеба. Пусть сырого, плохо пропеченного, но настоящего хлеба! Для крестьянина, годами жившего впроголодь, такое количество хлеба — даже без приварка — казалось колоссальным. На такой пайке прожить можно!

В действительности на такой пайке на лесоповале прожить нельзя. Невозможно. Наш старый, мудрый врач Александр Македонovich Стефанов мне сказал, что дефицит между потраченной энергией и возвращенными "большой пайкой" калориями так велик, что самый здоровый лесоповальщик через несколько месяцев обречен на неминуемую голодную смерть. Да, да, самую тривиальную голодную смерть при пайке в полтора кило. И из крестьян (а именно они составляли большинство в лагере) выживали только те, кто умел точить инструмент и становился инструментальщиком, кого брали на привычные сельхозработы, где была возможность подкормиться краденой картошкой, редиской, любым овощем. Надо ли говорить, что кража любого лагерного имущества — от пайки хлеба до детали от локомотива — не только не считалась зазорной, а вполне естественной и вызывала только восхищение и зависть. Так думал я и тогда, так думаю я и сейчас. Такой хозяин, как Гулаг, не имеет права рассчитывать, что его рабы будут блюсти его интересы в ущерб себе. "Чужим" не удавалось мгновенно перешагнуть через этот психологический порог. И если они оставались живы, то в большой мере из-за существующего в лагере института "придурков".

Волей-неволей, а начальство вынуждено было делить с "придурками" какую-то часть своей неограниченной власти. План, который официально назывался "государственным законом", был для начальников не менее суровым и страшным, нежели для нас статьи нашего родного Уголовного кодекса. Опытный сдатчик леса, плановик, бухгалтер, прораб — от них зависела не только карьера, но и сама жизнь начальства. Потому что шла война и неудавшихся начальников сдавали в армию. И у "придурков" появлялась совершенно реальная власть. Они могли подбирать себе помощников, назначать на "блатные" работы людей, и — что говорить! — делали они это в первую очередь по отношению к интеллигентам, специалистам, людям, умеющим что-то делать. И не потому, что Иваны Денисовичи, ходившие на лесоповал, были им безразличны и далеки, а потому, что невозможно было помочь тем, кто ничего, кроме физической работы, не мог делать. Но и среди них искали и находили людей самых экзотических специальностей: умевших гнуть дуги — их переводили на командировку, где изготовлялись лыжи; умевших плести из лозы мебель — начальство любило обзаводиться плетеными креслами, стульями, диванами.

Невозможно переоценить деятельность лагерной медицины. Да, и лагерный фольклор, и внелагерные рассказы о лагере изобиловали анекдотами о "лепилах", о "придурках" от медицины. Но заключенные врачи выполняли свой профессиональный и человеческий долг в бесчеловечных условиях унижения, угроз, зависимости от вертухаев, "контрольных цифр" на освобождение от работы. У них не хватало

лекарств, инструментария, но они лечили, оперировали, освобождали от работы, спасали людей, давая им на комиссовке легкую категорию труда. Каждый, кто был на "архипелаге" и выжил, не имеет нравственного права думать о лагерных врачах без чувства глубокой благодарности.

"Чужие" в большой степени выжили потому, что "придурки" их приспособляли к какой-нибудь работе, где можно было сохранить жизнь. Я надеюсь, что те, кто еще сейчас жив и помнит прошлое (а забыть его нельзя!), не забудут и этого.

•

Бунт на борту...

"...Или, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыплется золото кружев розоватых брабантских манжет".

Я смотрел, как на лице капитана Намятова попеременно краска ярости сменяла бледность страха, на его рефлекторные подергивания руки к кобуре нагана и пытался вообразить, как с потертых обшлагов его гимнастерки сыплются лепестки розоватых брабантских манжет...

— Чего лыбишься-то?! Вам это что, смешки!

Ну не объяснять же капитану Намятову, что он карикатурно вызвал в моей памяти знаменитые строчки стихотворения Гумилева.

— Я же вас предупреждал, гражданин капитан, что не нужно заводить с ними.

— А чего так не заводится? Такие же зеки, как все! Подумаешь, Хуаны черномазые! И не таких ломали! Коминтерновцы у меня сортиры чистили, а здесь эти пацаны мне бунт устраивают — они, видите ли, испанцы, — тоже мне гордая нация! С быками привыкли драться...

Признаться, не ожидал от капитана Намятова такой эрудиции: даже слышал про бой быков в Испании.

— Так вы бы им все объяснили, гражданин начальник, сказали, что-де прощаете их, все зачеты восстанавливаете и этого надзирателя, что обзвал их, уберете с командировки...

— То есть как это я им объясню? Когда они самому начальнику лагеря, самому полковнику сказали что-то матерное по-ихнему. Жодэр — это что такое? Буквы те же.

— Да кто их знает. Раз буквы похожи, так значит...

И вот тут-то мне следует объяснить, с чего это у капитана Намятова посыпались не то что розоватые брабантские манжеты, а все его капитанское величие, насмерть усвоенное убеждение, что нет ничего, что может противостоять его власти. Ибо его власть — это власть всей огромной, немыслимо огромной и немыслимо могучей машины, что называется "Советская власть". И противостоять ей никто и ничто не может. А тут нашлись. Да и кто!

Смерть тирана — любого тирана — всегда не только приятна, но и интересна. Ибо вслед за ней неизбежно начинаются реформы, изменения, перемещения. Часто они бывают идиотическими, бессмысленными, ухудшающими то, что и раньше было плохо. Но зато — новое, а значит, интересное. "Хоть гирише, да иньше" — это доподлинная, выстраданная народная мудрость. Значит, с марта 1953 года, с того блаженно счастливого дня, когда мы готовы были пуститься в пляс

под траурный марш Бетховена, началась для всех нас непрерывная полоса реформ. Выгоняли по „бериевской“ амнистии уголовников, ломали лагпункты и переделывали их в поселки, куда якобы приедут завербованные лесорубы; разделили лагерь на собственно лагерь, продающий зеков для работы, и другой лагерь, который вроде как бы занимал этих зеков, с их помощью валил лес и вообще что-то производил. Все эти великие реформы, затеянные светлыми умами с Лубянки и Кузнецкого моста, лопались с таким громким и вонючим треском, что старые, опытные зеки, не имеющие никаких шансов стать объектом либеральной реформы, помирали со смеху.

Аминистированные быстро вернулись назад с новыми сроками и вполне довольные. Побыли на воле, попили, пограбили, побабиллись, отвели душеньку и вернулись в родной дом, получив по новому, либеральному Уголовному кодексу вполне сносный сравнительно с прошлыми, небольшой срок. В бывшие лагпункты вместо убранных нар привезли кровати, застелили их простынями и прекрасными шерстяными одеялами. Потом привезли туда „завербованных“: чахлах молодых мужиков и баб, сохранившихся еще чудом в лесах Мордовии, Чувашии, Удмуртии. „Чудь начудила и меря намерила...“ Все, черт, стихи вспоминаются в самое неподходящее время! Но чудь и меря вовсе не собирались допиливать прикамскую тайгу. Через месяц-другой все они удрали, увозя с собой одеяла, простыни, тиковые чехлы с матрацев и даже подушки, набитые какими-то особыми жесткими перьями неведомых птиц. Все удрали. До одного. Кровати, пока их не разворовали и не продали на сторону, увезли, снова поставили привычные, родные нары и снова начали возводить совсем недавно уничтоженную зону. Все возвращалось на круги своя.

И из великой реформы с разделением лагеря на тюрьму и производство ничего не вышло, кроме разных и смешных ситуаций. Тюремщикам, что брали в зоне зеков и возили их лес пилить, конечно, без туфты обойтись нельзя было, ибо от них требовали план. Тюремщики, которые зеками торговали, получали за них (воображаемые, конечно) деньги, исходя из того, сколько они напилили. Все они были кровно заинтересованы в туфте, и она стала принимать совершенно феерические размеры. Когда я был в предыдущем лагере — в Усть-вымлаге, — какой-то не утративший любопытства и юмора заключенный плановик подбил крайне занятые итоги выполнения производственного плана всего лагеря за год. Он подсчитал, что леса было вырублено больше, чем числилось по таксаторным картам. Стрелована леса больше, нежели вырублено. Вывезено больше, чем стреловано. Укатано в катища больше, нежели вывезено. Сброшено во время сплава в реку больше, чем укатано. Вытащено больше, чем сброшено. И отправлено потребителям больше, чем было вытащено... И все сошлось. И все были довольны. Конечно, начальники. Что же касается тех, кто по пояс в снегу валил лес, тасил его к трелевочным волокам, возил, укатывал, сбрасывал, вытаскивал, — тем было все это совершенно безразлично, они были не людьми, а „контингентом“. Вот только умирали они значительно быстрее, нежели на это рассчитывали начальники. Но Гулаг зорко следил, чтобы лагерная машина крутилась, и вместо тех, кто заполнял безымянные могилы на лагерных кладбищах, привозили новый „контингент“.

Я прошел через все великие, средние и малые послесталинские лагерные реформы, меня перегоняли из Усть-Сурмога в Кушмангорт, из Кушмангорта на Мазунь, я поистаскался на самом отвратительном и опасном, что есть в лагере, — в этапах — и был почти счастлив, когда осел в Чепецком отделении, под светлыми, почти херувимскими крыльями капитана Намятова. Привезли меня туда по спецнаряду как старшего нормировщика, а значит, пределы барского гнева по отношению ко мне были ограничены. Ну а на барскую любовь я не рассчитывал и у более человекоподобных, нежели капитан Намятов.

Чепецкое отделение было новым. В нем строилась железнодорожная узкоколейка для вывозки леса, а на дорогу нанизывались новые лагпункты. Вообще, он был "перспективным", на нем можно было рассчитывать на получение новых званий, должностей и множества мелких и крупных привилегий, составляющих главную прелесть пребывания в начальниках.

Однажды я был вызван в начальственный кабинет. Кроме самого Намятова, там находились люди, появление которых ничего хорошего не предвещало. Кроме нашего домашнего, лагпунктовского "кума" — оперуполномоченного 3-го отдела, в кабинете находилось почти все высокое начальство, включая и самого подполковника, начальника "НКВД в НКВД" — 3-го отдела правления лагеря. Вскоре я понял, что они от меня хотели. Проектировали строительство "спецкомандировки". От меня требовался расчет потребной рабочей силы. Почему-то подкомандировка должна была строиться не на линии железной дороги, а в глуховатом куске тайги, куда нелегко было и материал доставлять, и рабочих посылать. Зачем?

— Командировка специальная, — важно сказал подполковник. — Рассчитана на особый контингент, который должен быть изолирован от общего контингента и не будет с ним смешиваться на общих участках и прочих объектах.

— Значит, штрафная?

— Не штрафная, а специальная! Там будет находиться особый контингент. Конечно, такие же зеки, как все, да не совсем такие.

— Какие же, гражданин начальник?

— Хуаны.

— Кто-кто? Это что, особый вид законников?

— Э, да ни черта вы не смыслите, а еще с образованием! Хуаны — это испанцы. Привезли их к нам мальцами, когда в Испании война была, а потом выросли и осели тут на нашу голову. Конечно, они все советские. И сроки советские получили. Кто за кражу, кто за хищение социалистической собственности, кто за антисоветское поведение. Забыли, мерзавцы, кто их спас, выросли и позволяют себе — не нравятся им, видите ли, наши порядки.

— А почему же особая командировка? Тут же у нас есть всякие зеки. И китайцы, и персы, и поляки...

— Хуаны — не все. Они особые. Очень дерзкие. Не могли им слова сказать, на все способны. Ему надзиратель замечание сделает, а он ему — ты у меня попробуешь наваху! А что такое наваху?

— Кажется, такой особый нож с двумя лезвиями.

— Вот-вот. И у всех у них наваху или еще что, и с ними ухо надо держать остро. Помните, вам с ними работать, они должны норму вы-

полнять, кормить и начислять зачеты им будут на общих основаниях.

Вот так возникла "спецкомандировка". В общем-то совсем обычная: с зоной — забором из высоких стволлов; "запреткой" из колючей проволоки, с вышками по углам; баней в зоне, вахтой, инструменталкой и бараклом для охраны за зоной — словом, все как у всех. И карцер в углу зоны, и "хитрый домик" для того, чтобы "кум" мог принимать стукачей,— отличная, четко функциональная, на века отработанная архитектура.

И однажды весенним днем все свободное от работы население зоны — врачи, санитары, повара, дневальные, конторские — все сбежались к реке. По Каме катер тащил небольшую баржу, в которой обычно перевозят заключенных. На берегу стояла охрана, все начальство, лаяли и облизывали кровавые рты овчарки на поводках.

По наведенному трапу на берег начали сходить "хуаны". Молодые ребята, среди которых были почему-то рыжие, а не только черные. Синие небритые щеки, огненные и абсолютно непокорные глаза. Вот эта непокорность и была наиболее отличительным свойством молодых испанцев. Я глядел на них и вспоминал фотографии и кинохронику тех лет, когда я еще был на воле. Палубы пароходов, наполненные испуганными мальчиками и девочками, цветы и объятия, лавина очерков, статей, рассказов, репортажей о любви и заботах, которыми окружили жертвы гражданской войны — детей, вырванных из рук фашистов. Где они были, эти мальчики и девочки, после того как завяли букеты цветов, кончились объятия, журналисты нашли новую тему — врагов народа? Жили, наверное, в детских домах. И хотя эти дома тоже имели прибавку "спец", но они были такими же, как все: с атмосферой духовной несвободы, казарменным режимом, школой, в которой было запрограммировано все — от урока на завтра до классного собрания, обязательных песен, выкрикивания коллективных лозунгов, скучной "физкультуры". А потом ПТУ, или как они там тогда назывались, и первые годы на заводе... А если не хочется на заводе? А если хочется совсем другой работы, другой жизни, а если не нравится жить в общежитии?

Они были непохожие на других, а значит, чужие. Чужие для своих сверстников, для товарищей по заводу, по общежитию, улице, городу. Поэтому они сплывались, у них вырабатывались свои законы, свои нормы поведения. Кто постарше — успел побывать в армии, они как могли дрались с фашистами, но не все были сыновьями Долорес Ибаррури, и не все подвиги были отмечены, и не все смерти были оплаканы. У них был общий язык, на котором они могли разговаривать друг с другом и который не понимали другие; у них сохранились пусть детские, но все же воспоминания о своей родине — ее холмах, городах и белых домиках в селах; они помнили еще свои песни. Они учились в русских школах, читали и говорили по-русски, но ребята постарше хорошо знали свой родной язык, умели не только читать, но даже доставать испанские книги и читать их своим товарищам. Инстинкт крови и засевшее в генах то неопределенное, что зовется "испанским", заставляло их сопротивляться всему, что они считали унижительным, и немедленно бросаться, не раздумывая, на выручку своим.

Вот такими они сходили по трапу на берег, и все мы тут увидели, что они — не как все... Их не посадили на корточки, не поставили на

колени, не заставили сесть на землю. Процедура обычная, обязательная при любом этапе: выходящих из вагона или "воронка", слезающих с грузовиков, сходящих с палубы баржи обязательно сразу же, невзирая на любую погоду, на снег, грязь, дождь, заставляют сесть или же встать на колени, чтобы потом, когда выйдут все, когда вокруг построится конвой с овчарками, заставить встать, построиться по четыре, устроить перекличку, заставить выслушать конвойную "молитву": "...шаг вправо, шаг влево, конвой стреляет без предупреждения" — и лишь после этого двинуться этапной колонной.

Так вот "хуанов" никто на колени не ставил, на корточки не сажал. Их быстро пересчитали, не заставляя слушать "конвойную молитву", быстро повели к подведенной к берегу узкоколейке, так же быстро погрузили на несколько подготовленных платформ и увезли в тайгу. Испанцы проходили через эту процедуру с любопытством и весело, они осматривали незнакомый пейзаж, незнакомых людей и, обращаясь к людям в омерзительно знакомой им форме, кричали какие-то слова. Слова были вполне русскими и классическими.

Вскоре началось генеральное совещание у капитана Намятова, посвященное решению испанского вопроса. Я увидел, что решается он почти со всеми классическими трудностями, сопровождавшими решение всех испанских вопросов за многие века. В начальники "спецкомандировки" назначили старшего лейтенанта Шкабарду. От обычного конвойного вертухая его отличала какая-то воинствующая тугодумность и железное убеждение, что три звездочки на его погонах должны автоматически приводить всех зеков в полную покорность. Фельдшером решили послать недоучившегося студента Ленинградского университета. Недоучился он, собственно, русской филологии, ибо его схватили, когда он был на третьем курсе филфака. Но в лагере проявил несвойственную филологам цепкость, устроился в санчасти, стал "лепилкой", начал носить белый халат и сразу же вошел в важный и очень привилегированный слой лагерных медиков. В самом большом затруднении были производственники. Что будут делать "хуаны"?

— Как что? — возмутился Намятов. — Дорогу строить. Конечно, рельсы им свинчивать не дадим, пусть насыпь отсыпают, на земляных работах можно даже и таких...

— Нет, нет, — уныло сказал начальник строительства дороги. — С нас управление лагеря каждый день спрашивает погонные метры дороги, а с ними какие же метры! Сегодня метры, а завтра сантиметры, а то и вовсе не выйдут на работу, разбирайся с ними, а вечером на селекторной перекличке докладай, на сколько протянули дорогу.

Да, с этим и Намятов не мог спорить. За дорогу спрашивали строго.

— Ну, что нормировщик скажет? — Намятов посмотрел в мою сторону.

— Давайте, гражданин капитан, поставим их прокапывать канавки вдоль насыпи. На них не только плана, но и технических условий нет. Сколько прокопают, столько и прокопают, глубоко ли или же так, землю поцарапают — все равно они ни к чему, и в план не входят, и отчитываться за них не надо.

— То есть как это не надо? А выполнение нормы, а деньги, а зачеты?

Вот это уже было серьезней. Дело происходило летом 1955 года. Из старых кондовых гулаговских законов осталось, что кормили "по выработке". Ну, это дело простое. И даже в самые грозные лета в моей нормировочной практике не было ни одного зека, не выполнившего нормы и не получившего своей кровной горбушки. Но среди великих послесталинских реформ было нечто новое и существенное. Во-первых, деньги. За выполнение и перевыполнение норм зекам платили. Прямо почти как вольным. Конечно, у них вычитали за кров и пищу, да так, будто этим кровом был уютный пансионат Четвертого управления, а пищей — икра с креветками и консоме с гренками. А потом надо было зекам содержать всю охрану, всех своих начальников, начиная от последнего надзирателя и кончая генерал-майором Тимофеевым. Но и после этого что-то оставалось. И, учитывая астрономическую туфту, в которой больше всего было заинтересовано само начальство, — оставалось немало. Достаточно, чтобы покупать в ларьке редкие припасы, спирт у деревенских спиртоносов, а очень многим даже разными путями деньги семье переводить.

Но самым главным нововведением были зачеты. До сих пор не пойму, как на это пошли большие гулаговские начальники. Разве что из уверенности, что резерв у лагерного "контингента" большой. Значит, были зачеты. Этим славным студенческим словом обозначалось то, что срок наказания снижался соответственно выполненным нормам. За выполненную норму день наказания считался за два, а за перевыполнение — день за три. И всем заключенным выдали на руки отпечатанные на коричневой оберточной бумаге "зачетные книжки", в которых страницы были поделены на квадратики, в которых регулярно проставлялась новая дата окончания срока. И каждые три месяца зек сдавал свою "зачетку", через день ее получал и вписался взглядом в новый "звонок" — новый конец срока. Разглядывать эту книжечку было одним из самых больших и острых ощущений. Вот видишь, как на глазах худеет твой срок, как быстро (день за три!) приближается день свободы! Я это сам испытал...

Но в этих "зачетках" были свои прелести для начальства и свои ужасы для заключенных. Капитан лагерного отделения, то есть лично капитан Намятов, мог эти зачеты не то что не давать, но и снижать старые. "За нарушение лагрежима". А в это нарушение входило все возможное и невозможное: отказ выйти на работу, невыполнение приказа любого начальства — вплоть до бригадира и десятника; за то, что "прекословил" — так странно назывался недостаточно почтительный ответ начальству; за то, что помочился в непопущенном месте... Список возможных нарушений, за которые можно лишить зачетов, был бесконечным. Намятов и его многочисленные подручные пользовались этим не только щедро, но и с каким-то садистским наслаждением. Старший лейтенант Шкабарда лично вызывал к себе по очереди зеков и каждому вручал полученные с головного лагпункта "зачетки". Вручал медленно, давая возможность зеку тут же раскрыть зачетку и увидеть, как вдруг у него срок побежал назад, как он удлинился. И не на день, и не на неделю, и даже не на месяц. Иногда он удлинялся на год, а то и больше. Вынести это могут не все. Я не раз видел, как выходили от Шкабарды пожилые рыдающие люди. Или же бледные, с застывшими на губах матерными словами, старые и опытные "закон-

ники". Меня самого не раз лишали зачетов. И хотя больше чем день за два — да и то редко-редко, в порядке поощрения — я не получал, а мой десятилетний срок был отбит только наполовину, но все равно — очень трудно было стряхнуть с себя чувство унижения, беспомощности, ощущение полной своей зависимости от всей этой шайки недочеловеков.

Да, в этих желтых тетрадочках была взрывная сила, и я тогда уже почувствовал, что с "хуанами" начальству будет плохо. Нормировщиком я решил послать молодого еще арестанта, недавнего студента Тимирязевской академии, бытовика, получившего свой немалый срок за "попытку изнасилования". Витя мне пытался объяснить, что понималось под "попыткой", но в этом не было надобности. Год назад вышел специальный указ "Об усилении ответственности за изнасилование", и лагерь был полон виновными или же совершенно невиновными жертвами своих страстей. Был этот неудавшийся насильник сообразительным, способным парнем, и, направляясь на "спецкомандировку", я ему объяснил его задачи.

Что всем без исключения надобно "выводить горбушку", Витя уже знал. У нас никогда "невыполненных" не было. А вот с "перевыполнением"? Это деньги и зачеты...

— А кто у них пахан, Лев Эммануилович?

— Вот это тебе следует узнать. И помни, что это не воры, не законники. У хуанов пахан — главный и авторитетный человек — становится совсем по другим правилам и обычаям.

— А по каким?

— Вот придем — узнаем, как и что.

Командировка, куда мы пришли, уже существовала два дня. Назавтра кончался льготный срок устройства, и людей должны были вывести на работу. Для нормировщика и счетовода продстола выделили маленькую комнату, сам Шкабарда занял комнату, отделанную как "кабинет": самодельный письменный стол, самодельное кресло с подлокотниками, табуретка, прикованная к полу. На окне частая решетка. Все как надо. Но хозяин начальственного кабинета был встревожен.

— Что, не слушаются, гражданин старший лейтенант?

— Да нет, слушаются-то они слушаются, да не того, кого нужно.

— Кого же?

— А есть у них такой — Антоний. Антон по-нашему. Сам из себя маленький, щуплый, а без его слова — ничего и никуда. Начал их разбивать на бригады, они — как Антоний скажет. Бригадиров он же назначал. Я против него пока сказать ничего не могу — тихий из себя, вроде не грубит, но много про себя думает... Ох, как много!

— Ну и пусть, гражданин начальник, правит своими. Вам же легче.

— Да нет, тут не детский дом, не санаторий, тут лагерь, тут тюрьга, все они должны понимать, что они зеки и отбывают заслуженное наказание. И не Антона своего должны они слушать, а поставленное над ними начальство.

С Антонио я через несколько минут познакомился. Пошли мы с ним в конторку и там часа два-три разговаривали с "паханом" хуанов. Мои познания об Испании были весьма ограниченны. Историю я

знал по университетскому курсу; политику — по довоенным газетам; быт — по дореволюционным очеркам Василия Ивановича Немировича-Данченко и романам Бласко Ибаньеса. Но и этого оказалось достаточным, чтобы расположить к себе Антонио. Тем более что он сразу понял, кто есть кто... Антонио хорошо говорил по-русски, но понять, из какой он среды, я так и не мог. О себе рассказывал очень скупое, вернее — ничего не рассказывал. Родом был из небольшого городка неподалеку от Барселоны. Родители занимались сельским хозяйством. И упомянув их — вздрогнул, и лицо у него стало застывшим. Наверное, они были жертвами гражданской войны — она у них была почти такой же жестокой, как и наша. Вывезли его из Испании восьми-девятилетним ребенком, сейчас ему уже было лет 26, хотя он выглядел моложе; небольшого роста, но очень приземистый, сбитый, с плотно сжатыми не улыбающимися губами и черными, жесткими, даже скорее жестокими глазами.

На командировке находилось 172 испанца. Разного возраста, но больше молодые — самому старшему было 32 года. Срока у них были почти у всех "бытовые" и по нашим меркам "детские" — 5—7 лет. Одни получили за то, что, работая грузчиками в магазине, прихватывали что-нибудь, чтобы выпить и закусить. Делали это, конечно, все, но они были чужие, на них легко было свалить и другие, не такие мелкие хищения. Много было ребят за "злостное и особо дерзкое хулиганство". Ибо, когда начиналась драка, в которой били кого-то из своих, "хуаны" бросались на выручку и в таких драках были беспощадны. А когда являлась милиция, то к своим испанским ругательствам прибавляли русские, которые были первыми словами, выученными в России. Некоторым, особенно "дерзким", сумевшим особо уязвить представителей власти, пришивали и 58-10 — "антисоветскую агитацию". А по ней меньше десятки не давали. Но таких было немного, и они находились как бы под негласной опекой всей командировки.

До того как их всех собрали в Соликамской пересылке Усольяга, они были в разных местах: на лагпунктах Усольяга и Нарыблага, в тюрьмах "на материке", в детских колониях, где терпеливо ожидали когда им исполнится 16 лет, когда можно их будет сплавить в общий лагерь. Объединились они все на пересылке, где, очевидно, и стал их лидером Антонио. Он был для этого подходящим человеком. Властный, не опускавший глаза перед начальством, готовый из-за "своего" дойти до самого высокого чина. Справедливый, ничего ни у кого не отнимающий. Он знал русский лучше других, хорошо говорил, читал и грамотно писал. Но со своими разговаривал только по-испански и их заставлял между собою говорить только на родном языке. Это обстоятельство впоследствии стало одной из "болевых точек" отношений между "хуанами" и начальством. Каковое требовало, чтобы все говорили на языке, им понятном. А на незнакомом — мало ли что могут говорить и о чем только не могут договориться. Будущее показало, что начальство — как всегда — право...

С Антонио было просто и естественно обо всем договориться. Я объяснил ему, что копанье канавок, да еще летом, да еще в песчаном грунте, — детские забавы, что важно не столько копать, сколько делать вид, и когда появляется начальство, то не валяться на траве, а держать в руках лопатку. Ибо за это пойдут зачеты. Для них, "мало-

срочников”, была реальная возможность скинуть половину срока. У самого Антонио было семь лет. За что — не спрашивал, по нашей лагерной этике спрашивать об этом не полагалось. С зачетами испанцы встретились впервые, их ввели только недавно, и Антонио сразу же оценил значение маленьких книжечек на оберточной бумаге, которые им уже успели выдать. Распрощались мы совсем по-хорошему, и я впервые увидел улыбку Антонио, когда, прощаясь с ним, я лихо сказал ему подслушанное ”Sea bueno”.

Своему Виктору я дал инструкции, которые он понял с полуслова. Канавы прокапываются в странном грунте, могущем существовать только в рабочих нарядах лагеря, грунте, который представляет из себя почти гранитный монолит, но почему-то сплетен сосновыми корнями и к тому же прилипает к лопате. И такой странный, ни в каких учебниках геологии не значившийся грунт не выбрасывается на бровку, а относится в сторону метров этак на десять... С контрольным десятником у меня были хорошие отношения, он должен был освободиться через полгода, и у него не было никакого расчета ходить к странным ”хуанам” и качать с ними права. Правда, вся командировка была конвойной, и на работу испанских зеков водили молодые солдатики срочной службы, но при всем том, что они были отличниками боевой и политической подготовки, им было совершенно наплевать на то, как работают их подконвойные зеки. А те — и это стало сразу же очевидным — бежать не собирались. Что от них конвоем и требовалось.

В первый же свой приход на головной (Виктор был расконвоирован) мой нормировщик доложил мне, что дела на спецкомандировке идут хорошо. Приходят с работы весело, порядок соблюдают, рабочие наряды заполняют не бригадиры, а сам Антонио под диктовку нормировщика, и выработка у каждого никогда не бывает меньше 140 процентов — как раз столько, чтобы получить ”день за три”.

Собственно, я рассказываю здесь о своих служебных преступлениях. Ибо все, что я делал как нормировщик, все, что я санкционировал, было безусловно преступно с точки зрения Уголовного кодекса. Приписывались несуществующие работы, у государства незаконно, путем обмана, изымались товарно-материальные ценности — крупа, мука, треска, еще что-то съестное, уплачивались лишние деньги и пр. и пр. Это был полный набор уголовно наказуемых преступлений. Их совершал не только я. Их совершали все зеки, начиная с самого рядового заготовщика веточного корма и кончая самыми высокими зековскими чинами — вплоть до начальника работ.

И никаких угрызений совести мы не испытывали тогда, как я не испытываю их сейчас. Мы не имели никаких обязательств перед государством. Перед этим государством, которое нас схватило, разрушило или убило семью, держит и мучает здесь... Несправедливость уничтожает всякое чувство ответственности и любые обязательства. Я могу сопротивляться всем этим Намятовым и Шкабардам только одним путем — стараясь выжить назло им всем. И для этого годится все: обман, неограниченная туфта, все! Впрочем, даже те зеки, у которых еще на крылышках сохранились бледные следы пыльцы на-

ивности, не могли не понимать, что начальство в туфте заинтересовано не меньше, чем мы, только туфтить они хотели за наш счет.

Уверен, что то всеобщее разложение, обман, приписки, коррупция, взяточничество, которые стали характерны для периода со странным названием "застой", вышло из "архипелага Гулаг". И те, что там сидели, и те, что их там держали, — все они вышли из лагеря, утратив всякое представление о таких реликтовых понятиях, как "служебный долг", "служебная честность". Приписки миллионов тонн хлопка в Узбекистане, феерические взятки и поборы, рабско-тюремные порядки на "социалистических полях", сращивание прямых уголовников и убийц со всякими начальниками — от милиции до партийного руководства — все это, по моему убеждению, порождено лагерями, через которые прошли миллионы людей. Пусть в самом, казалось бы, разном качестве. В своем знаменитом сочинении Солженицын прикоснулся к частице этого уникального в истории человечества явления. Недаром он назвал "Архипелаг Гулаг" опытом художественного исследования, в котором бы участвовали историки, экономисты, врачи, психологи, социологи... До сих пор лагеря являются самым что ни на есть "белым пятном", к которому разрешают прикасаться только лирическим или же темпераментным очеркистам, пишущим на тему "возвращенные имена".

Но я не собираюсь тут рассказывать об экономических и всяких других особенностях "архипелага". Мне предстоит поведать о недолгой жизни и необычном конце "спецкомандировки" для "хуанов". В конце июня прибежал на Головной лагпункт мой встревоженный нормировщик и рассказал, что там у них "началось". Начало было для нашей обычной лагерной жизни событием совершенно нормальным. Во время развода колонна заключенных что-то по-своему, по-испански чрезмерно развеселилась, и дежурный надзиратель, весьма обыкновенный вахлак, грубо накричал на Антонио — накричал не по-испански, разумеется, а по-русски. Тот ему ответил на ставшем ему уже полуродном языке, что он думает о надзирателе, старшем лейтенанте Шкардыбе, капитане Намятове и всех других начальниках. Не ручаюсь, что туда не попал самый высокий и августейший начальник, могло быть и такое. Шкардыба укрощал арестантскую бузу на старый привычный манер: приостановил развод, схватил Антонио и еще парочку "хуанов" и поволок их в карцер. Тогда вся командировка отказалась выйти на работу и вернулась в бараки. А только что кончился месяц, и заветные зачетки были забраны у зеков и отвезены Намятову. Они вернулись чистыми. Все предыдущие зачеты были сняты, у всех конец срока был точно такой, каким числился в первичном арестантском формуляре.

И командировка забастовала. Вся. Мало того — пошли к карцеру, который, как обычно, охранялся лишь одним дневальным, набили этому дневальному морду, сорвали замок и выпустили Антонио и его верных оруженосцев. Вероятно, если бы это случилось с обычной командировкой, то ее укротили бы обычным путем, не очень-то пуская в ход уговоры. Но дело происходило в самый разгар послесталинской либерализации, да и командировка была особой, и народ на ней осо-

бый, и не только начальство — сам черт не знал, что еще будет дальше и какие новые реформы воспоследуют. Поэтому уговаривать "хуанов" прибыло самое высокое начальство из Соликамска. Сам полковник вышел перед толпой — увы, не строем, а толпой — заключенных и пытался им втолковать основы пенитенциарной системы в Советском Союзе. На что услышал всякие, в том числе и чисто испанские, но тем не менее понятные даже русскому человеку слова... Что требовали забастовщики? Чтобы к ним немедленно прибыл самый главный прокурор из самой Москвы, которому они объяснят, что никаких законов они не нарушали, вели себя примерно, и что, в конце концов, им надоело вести такую жизнь, как все. И пусть их всех отправят домой — в Мадрид, Басконию, Кастилию — словом, к своим собственным полицейским и надзирателям.

И тогда Намятов, естественно с благословения начальства, приказал не кормить бунтовщиков. Ворвавшиеся надзиратели потребовали опрокинуть котлы, уже наполненные баландой, хотели забрать весь хлеб из хлебозерки, продукты из ларька и продовольственного склада. Но бунт "хуанов" был не "бесмысленный и беспощадный", как характеризовал русский бунт Пушкин, а значительно более осмысленный. Восставшие испанцы выгнали из зоны всех надзирателей. Они вежливо вошли на вахту и предложили оробевшим вертухаям немедленно удалиться с вахты. Мало того — приказали убрать с вышек вооруженных надзирателей. И все это спокойно, без особого шума, поигрывая своими экзотическими ножами, которые вдруг оказались у каждого заключенного. После чего они заперли ворота зоны, воздвигли около нее баррикады, разобрали на кирпичи все печи в бараках и на кухне, из всего металлического наделали "холодное оружие" и заявили, что из зоны не выйдут и будут защищать ее до смерти, пока не прибудет к ним самый главный прокурор из Москвы.

Вот в такой препозиции я и давал никчемные и оппортунистические советы капитану Намятову, который впервые столкнулся с подобным событием. Собственно говоря, подавить бунт 172 безоружных людей ничего не стоило. За пределами зоны была казарма, где жили с полсотни вооруженных солдат. У них были автоматы, пулеметы, которые почти всегда убедительнее уговоров. Но время — ах, это странное и неопределенное время, наступившее после смерти тирана!

На головном царило невероятное возбуждение, зона была полна неизвестных нам начальников разных рангов, по лагерю уже шли слухи, что на бронекатерах, чуть ли не на линкорах привезли усиленное подкрепление с артиллерией дальнего калибра, что вся мятежная командировка окружена и скоро начнется ее штурм. Ожидают только московского прокурора. Действительно, скоро "броуновское движение" в зоне стало еще оживленнее, и по направлению к мятежной командировке потянулась целая колонна людей. И не только начальство всех сортов, но и все бесконвойные, имеющие хоть какой-нибудь ничтожный повод двинуться к командировке. Естественно, что я был из всех не последний...

Был конец июня, и лесная дорога была прекрасная, вокруг огненно цвел иван-чай, и ничего тревожного не было в нашей довольно большой толпе. Вскоре мы подошли к бунтующей командировке. Ни орудий крупного калибра, равно как и малого калибра, ни даже пуле-

метов вокруг не было видно. Стояла в довольно большом отдалении цепь из солдатиков и не без интереса смотрела на происходящее. Все здания в зоне были без кирпичных труб, на вышках вместо солдат стояли черноволосые и оживленные зеки, ворота прочно заперты, но перед ними стояла группа людей — очевидно, руководителей мятежа. Среди них я узнал Антонио.

Главный прокурор в малопонятном для нас мундире с малопонятными нашивками смело пошел вперед, сопровождаемый начальством.

— Пойдем! — вдруг сказал мне Намятов...

И я двинулся в этой начальственной толпе. Сначала все шло тихо, и речь шла о предъявлении полномочий. Антонио спокойно сказал, что они ждут Главного прокурора из Москвы или же его заместителя и разговаривать они будут только с ним, потому что речь идет вовсе не о внутрилагерных делах.

— Я помощник Генерального прокурора Советского Союза, — важно произнес прокурорский чин. Он был в меру толстый, в меру важный, но мундир на нем был совершенно новенький, еще не помятый. В таком в далекую командировку не едут. И вообще, печать провинциализма лежала на этом "помощнике Генерального прокурора".

— Где вы работаете? — тихо спросил Антонио.

— То есть как где? В генеральной прокуратуре.

— А где она находится в Москве?

— Смешно спрашивать! На Пушкинской улице, на улице имени поэта Александра Сергеевича Пушкина. А прямо напротив — подвальчик с холодным пивом. (Почти все присутствующие мечтательно облизнулись.)

— А живете вы где, гражданин помощник Генерального прокурора?

Помощник немного замялся от неожиданного вопроса.

— И живу совсем неподалеку — на улице Максима Горького. Это главная московская улица, там все главные магазины. И вообще, что вы меня об этом спрашиваете! Я — коренной москвич, родился в ней, всю жизнь прожил, знаю в Москве каждый переулок, не только улицу Горького!

Мы все стояли вокруг прокурора и Антонио, предъявлявших друг другу верительные грамоты. Я присутствовал при очередной наглой попытке хоть в чем-то, да обмануть заключенных. Мне было совершенно ясно, что этот тип знает только улицы Соликамска, а в Москве лишь здание прокуратуры да подвальчик с холодным пивом.

Как бы почувствовав мое состояние, Антонио ко мне слегка повернулся, и я ему тихо сказал:

— Спроси, где в Москве Хоромный тупик...

— А где, гражданин помощник Генерального прокурора, в Москве находится Хоромный тупик?

— Тупик Хоромный? Да нет в Москве такого. И вообще, нет в Москве никаких тупиков — ни хоромных, ни бесхоромных, ты мне брось тут экзамены устраивать!

И вдруг всем — от Антонио до самого последнего солдата — стало очевидно, что прокурор этот вовсе не из Москвы, что приезд его — липа...

Антонио, до того оживленный, вдруг напрягся как струна, побелел, и, подойдя вплотную к прокурору, спокойно сказал:

— Ихо дэ пута... Врешь, не из Москвы ты, и разговаривать с вами не будем!

Он резко повернулся и через мгновение вместе с товарищами был за воротами. Мы слышали скрип запираемых ворот зоны, с вышек испанцы кричали по-русски и по-испански почти одинаково звучащие слова, растерянный прокурор пошел к казарме — главному штабу осады мятежной командировки.

И в это время ко мне подбежал нарядчик:

— Разгон, быстро, немедленно мотай в зону, прямо в УРЧ.

...Они что — слышали? И кто доложил? И почему в УРЧ? Но когда вызывают в УРЧ, то не задают вопросов и не задерживаются. Я, запыхавшись, вбежал в контору и открыл дверь в УРЧ.

Начальника не было, он находился в зоне военных действий у мятежной командировки, но лицо старшего нарядчика было совершенно расплывшееся.

— Разгон, тебе что сегодня снилось?

— Да ладно тебе, некогда мне с тобой шутками заниматься!

— Ничего себе шуточки! Свобода тебе! Понимаешь — сво-бо-да!

Из писем я знал, что мои близкие подали во все инстанции заявления, даже наняли адвоката, чтобы он поехал в Ставрополь, где меня в последний раз судили. Но чтобы так, сразу! И неужто можно этим шутить!

— Ну, давай быстро в КВЧ к одноногому! — Значит, серьезно! Одноногий инспектор КВЧ делал фотографии для тех, кто шел на освобождение.

Признаюсь, эта новость выбила у меня из головы все на свете, включая даже взбунтовавшуюся командировку. И спать не мог, и даже не расспрашивал о том, как идут дела там, у бунтовщиков.

Утром 2 июля меня вызвал Намятов. Он сидел за столом, набрякший от бессонной ночи, помятый, без своей обычной уверенности. На столе у него лежали мои документы, и среди них я узнал заветную "Справку об освобождении", к углу которой была приклеена маленькая фотография с моей недоумевающей и абсолютно уголовной физиономией.

— Освобождаетесь за прекращением дела. Можете ехать куда хотите. А зачем вам ехать? И тут люди живут!

В каком-то другом рассказе я говорил, что я ему ответил.

— А как там на командировке, гражданин капитан? (Сказать ему "товарищ капитан" я бы не смог даже под дулом пистолета!)

— Ничего, обротаем! Они думают, что из Москвы им свободу привезут! Вот приедет из Москвы прокурор, он им всем дополнительные срока навешает. Срока им, хуанам проклятым, а не зачеты! Через час моторка в Бондюг уходит. Собирайтесь, поедете с ней.

Через час несколько человек бесконвойных и вольных усаживали меня в лодку.

— Ну, как там у испанцев? — очнулся я.

— По-прежнему, — ответил начальник плановой части. — Сидят в осаде, потребовали, чтобы им сухой паек дали. И дали. Ждут из Москвы настоящего прокурора.

— А тот был липовый?

— Ну конечно. Это ж наш был, из Соликамска. Как они его так быстро раскололи! Ну, теперь с ними будет москвич мучиться. Оказывается, тут целый международный вопрос!

Лодка была загружена до самого уреза воды. Кроме меня еще два окончивших срока блатника, почтальонша, завхоз, еще кто-то. Как бы мотор не заело.

Мотор не заело, и мы пустились вниз по Каме. Был солнечный, прекрасный день 2 июля. Я сидел и все не мог себе представить, что буду в Москве. Буду в Москве проходить мимо милиционера и не бояться его.

Не доезжая до Бондюга, нам навстречу взревел, разрезая воду, полуглиссер самого начальника лагеря.

— Прокурор из Москвы едет, — сказал всезнающий завхоз. — Ночью из Москвы на самолете прилетел. Его-то они, эти испанцы, добились. Да чего другого добьются?

Так я тогда этого и не узнал.

Теперь-то я знаю, что они все же — во всяком случае, большинство из них — добились своего. Добились родины. И живут в городах или деревнях своей Испании и иногда по вечерам в прохладной таверне — или как еще там называется забегаловка — рассказывают о том, как бунтовали они в далекой тайге в верховьях русской реки Камы.

Да я иногда об этом вспоминаю. Никого бы из них, конечно, не узнал. Кроме Антонио. Вот его бы узнал! Даже постаревшего, почти неузнаваемого — но узнал бы, встретившись с ним на какой-нибудь испанской улице.

Так ведь не встретимся...

Костя Шульга

Незнакомый женский голос, захлебываясь, торопливо рассказывал мне по телефону: она сестра Константина Шульги, в записной книжке брата нашла мой телефон и, зная, как он ко мне относился, решила мне позвонить и сказать, что Костя в мае умер, умер внезапно, от инфаркта, потому что очень переживал, что его жена на него написала в ОБХСС, а Костя начал нервничать, курил все время и не спал, все ходил по комнате и ходил, ни с кем не разговаривал, а восемнадцатого мая она к нему пришла, а Костя лежит мертвый на полу... Женщина прервала свой рассказ, заплакала и повесила трубку.

...Умер, значит, Костя!.. Как странно, что даже он не выдержал. Было что-то успокаивающее в его невероятной устойчивости, жизненном оптимизме, абсолютной уверенности, что всегда можно приспособиться, вывернуться, адаптироваться, выскользнуть, договориться, переждать, начать сызнова... Умер он, кажется, сорока шести лет и почти всю свою жизнь жил как ванька-встанька: как его ни старались уложить — тут же подымался... Костя и внешне чем-то напоминал эту старую и милую игрушку: круглое доброе лицо, большие умные глаза, почти всегда улыбающийся рот.

Когда наш этап пришел на Усть-Сурмог — первый из лагунктов моего нового срока,— он, подождав, пока я разложусь и устроюсь на нарах, подошел ко мне, улыбаясь, назвал себя, сказал, что работает счетоводом продстола, и очень естественно и просто предложил мне — пока я не устроюсь — сахар, махорку, хлеб и банку мясных консервов. Я внимательно посмотрел на Костю: на его хитром, доброжелательном лице не было и тени благостыни и милосердия.

— Вы, Шульга, всем новозапникам предлагаете харчи и табак?

— Ну зачем вы такое говорите? Мы же не в камере! Нет, я как будущему товарищу по работе. Я был на приемке этапа и знаю, что вы — нормировщик...

— Пока что я на общих...

— Все равно будете нормировщиком!

Костя был битый арестант, отлично понимал, что к чему... Действительно, через какое-то время я стал нормировщиком. Я не согласился на Костино предложение войти в привилегированное сообщество "вместе кушаем", состоявшее из него, прораба строительства и старшего контрольного десятника. Нормировщику нельзя входить в такие компании, не утрачивая своей самостоятельности. Но с Шульгой я работал рядом, и мне было интересно следить за ним. В нем не было наглости и неистребимого налета хищничества, характерных для людей, занимавших этот чрезвычайно важный в лагере пост. Костя,

конечно,— как и все счетоводы престола — комбинировал, ловчил, обильно кормил себя и свою компанию,— словом, действовал, как все. Но он никого не прижимал, ни у кого ничего не отнимал и старался всем помочь. Не могу сказать, что он это делал по природной и бескорыстной доброте, хотя, несомненно, был добрым человеком. Доброжелательство входило в жизненную философию Кости, оно было выработано в нем многими годами беспризорничества, войны, тюрем и лагерей. Костя Шульга был убежден, что добро не пропадает... Оказывая кому-нибудь услугу, он знал, что создает некий резерв помощи, в которой он, может быть, будет нуждаться. Шульга был хитрым, смекалистым и очень оборотистым парнем, с золотыми руками лекальщика высшего разряда. В нем ощущалось непоколебимое физическое и душевное здоровье, полная уверенность, что он способен всех перехитрить, обвести, пережить.

Конечно, как и следовало ожидать, Костя множество раз "горел", попадал на такие страшные штрафняки, как "Кровавый Сим", но нигде не пропал, вьвертывался и снова жил веселым, улыбающимся привилегированным арестантом. Было бы неточно определить наши отношения как дружбу. В то время моего второго лагеря я оказался довольно уставшим, отчужденным человеком, мало подходящим для дружбы с веселым парнем намного меня моложе. Но Костя относился ко мне с какой-то почтительной нежностью, что ли. В этом не было ни тени подобострастия, ни чего-либо другого унижительно-го. Он мне верил, а я верил ему. Поэтому я довольно полно знал историю его жизни. Костя был одной из миллионных жертв самой странной юстиции, которая когда-либо существовала.

Никогда не пойму, зачем надобно было иметь такие законы, такой суд! Мне казалось, что наша юстиция могла быть, подобно нашей Конституции, самой лучшей, самой прогрессивной в мире. И это было бы вполне в духе ее создателя. Сталин почти никогда не писал или не говорил ничего, что противоречило бы справедливости, гуманности, закону... Просто, говоря одно, он делал совершенно противоположное. И если он с трибуны Пленума ЦК говорил: "Мы не дадим вам крови нашего Бухарчика, любимца и вождя партии", то ясно было, что участь Бухарина уже предрешена... И если Сталин — как лозунг — провозглашал, что "самый ценный капитал — это люди", то это означало, что уже целые предприятия переведены на изготовление колючей проволоки для лагерей; сказав почти дрогнувшим голосом, что "дети за отцов не отвечают", он тут же отдавал распоряжение, чтобы не только дети, но и все родственники уничтожаемых партийно-государственных чиновников были незамедлительно арестованы и отправлены в лагеря и ссылку...

Во времена Сталина суд и Уголовный кодекс составляли лишь ничтожную часть механизма репрессий. "Внесудебный порядок" был легальным и общеизвестным установлением. Каждый, кто засекречивался, давал подписку с неразглашением, уезжал за границу или же совершал еще что-либо противоестественное жизни нормального советского человека, расписывался, что ему известно о том, что за всякое нарушение, известное или неизвестное, он "будет отвечать во внесу-

дебном порядке". Никогда еще русское слово "порядок" не приобрело такой смысл! Если верить Далю, то "порядок" означает "правильное устройство", "соблюдение стройности", оно имеет синонимы: "основательно, дельно, обдуманно, не зря, не как попало"... "Порядок", который у нас назывался "внесудебным", давал возможность одному или нескольким людям заочно присуждать арестованных к любому сроку заключения — вплоть до двадцати пяти лет, — к каторжным работам, к пожизненной ссылке, к расстрелу... Употребленное мною слово "присуждать" звучит здесь весьма неточно, но мне трудно подыскать другое слово... Какое уж там "присуждать"! Составляли список и убивали. Или же сначала убивали, а потом составляли список. Или же убивали и никакого списка не составляли. Высокопоставленные любители, вроде Багирова, убивали тут же в кабинете самолично. Впрочем, не один Багиров, а и другие деятели помельче имели эту привычку, которая им нравилась своей декоративностью.

Палачество — приведение в исполнение казней — утратило в наше время всю вековую зловещность этой профессии. Пушкин усматривал падение общественных нравов в том, что образованные люди позволяют себе издавать и читать записи парижского палача. Но больше чем через сто лет после Пушкина Андрей Свердлов показал мне рукопись сделанной им литературной записи воспоминаний коменданта Московского Кремля Малькова. В этих грубых и не самых правдивых воспоминаниях несколько страниц было посвящено подробнейшему описанию того, как сам Мальков расстреливал Каплан, как он тащил ее труп в кремлевский сад, как он этот труп облил керосином и сжигал. Я сказал полуавтору воспоминаний, что хвастливое описание казни женщины — отвратительно и несомненно будет издательством вычеркнуто... Ничего. Все остальное — оставили, книга вышла уже тремя изданиями и, наверное, будет переиздаваться и дальше. В одном из своих старых фельетонов Михаил Кольцов писал, что мы в установлении правопорядка бесконечно далеко ушли от того времени, когда полуграмотный матрос, ставший председателем ЧК, писал на куске оберточной бумаги: "Расстрелять купца Кутепаткина как гидру мировой буржуазии, а вместе с ним еще двадцать девять человек в его камере..." Нам никогда не станет известным, вспоминал ли этот фельетон Михаил Кольцов в месяцы и недели перед тем, как его убили. Но нам-то уж совершенно очевидно, что судьба купца Кутепаткина и его сотоварищей по камере была завидной по сравнению с Кольцовым, с теми, кто стали объектами сталинского "правопорядка".

Ну не ясно ли, что при неограниченных возможностях внесудебных репрессий, расправ, предупредительно-пресекательных "изоляция", "ликвидаций" и пр. и пр. у нас была возможность ту самую малую часть дел, которые передавались в суд, обставлять самым наилучшим образом: с абсолютной гласностью суда, чопорными судьями в париках, придиричивыми и настырными адвокатами в мантиях, приносящими — словом, со всеми онерами respectableного и благоприсойного правосудия!

Ничего подобного! И гласные законы, и суд, призванный их осуществлять, носили столь же откровенно разбойничий характер, как и

”внесудебный порядок”. Начать с того, что сами эти законы были не только беспредельно жестоки, но и необыкновенно гибки, растяжимы, как теперешние ”безразмерные” носки из эластика: их можно было применять к любому человеку, за любой проступок, и давать такие сроки, какие судье хотелось или же какие ему указывались негласными инструкциями, директивами или же попросту телефонным звонком из множества учреждений, командовавших судами.

В мировой литературе существует классический святочный рассказ про голодного мальчишку, укравшего булку. Попробуем представить себе эту трогательно-драматическую ситуацию, происходящую в ту самую милую зиму 37—38-го годов, когда советским детям была, наконец, возвращена елка и веселый праздник вокруг нее. Значит, голодный мальчик, которому только что исполнилось четырнадцать лет, ворует бывшую ”французскую”, а ныне ”городскую” булку стоимостью в три копейки. Если мальчишка немного поднаторел в ютиции и правосознание в нем развито достаточно сильно, то он подождет в магазине, пока гражданин или гражданка не купят эту булку, а уж затем у них ее сопрет. Попавшись на месте преступления, он в этом случае получит один год тюрьмы по Указу о мелких кражах. Но если молодой преступник не имеет юридического опыта и, движимый нетипичным для нашего общества голодом, он эту булку свистнет с прилавка магазина, то уже и преступление это по-другому называется, и карается оно по-другому. Теперь это уже является ”хищением социалистической государственной или кооперативной собственности”. И как бы судья ни жалел неразумного мальчишка, он ему меньше трех лет заключения дать не может. Это при ”смягчающих” обстоятельствах. А вообще-то ему за булку положено семь лет. И не приведи бог, чтобы этих мальчишек было двое! Тогда это ”сообщество”, это уже ”коллективное хищение”, и десять лет наказания за эту булку — вовсе не предел. Был у нас на лагунке один молодой человек. Демобилизовавшись, он поступил работать на стекольный завод возле Махачкалы ”Дагестанские огни”. Электричества в общежитии не было, жгли керосиновые лампы, и он со своим товарищем по комнате выбрал из огромной кучи стеклянного боя и брака два еще годных ламповых стекла. На проходной их задержали. Они получили каждый по пятнадцати лет. Ну ладно, они ведь взрослые, а булку-то украл ребенок?! Но, создавая современную модель рождественского рассказа, я сознательно написал, что герою рассказа исполнилось четырнадцать лет. Ибо начиная с этого возраста в применении наказаний и отбывании наказаний ребенок был полностью уравнен со взрослыми.

Нет, мне не удастся выдержать эту отстраненную интонацию в рассказе о детях, попавших под колеса тюремно-лагерной машины. Из всех жестокостей жестокость к детям самая страшная, самая πρωивоестественная в своей античеловечности.

Мне было семнадцать лет. Я делал первые неуверенно-самоуверенные шаги в журналистике, когда ”Комсомолка” мне поручила написать очерк о тюрьме для детей. Несколько дней я провел за кирпичной оградой бывшего Даниловского монастыря. Потом написал очерк, который я назвал так, как называлась тюремная стенгазета: ”Фабрика сознательного гражданина”. Все, о чем писалось в очерке, было правдой. Весь очерк был предельно лжив. Да, в этой тюрьме

не было ни голода, ни холода, и были стенгазеты, и кружкi, и кино, и почти чистые простыни на железных койках. Но я ни слова не написал о том, как вздрагивают дети от окрика надзирателя; о том, как старшие избивают младших; о тюремной иерархии, в которой чем ты меньше и слабее, тем тебе хуже... Я не написал о том, что малые дети становятся наложниками старших полубандитов, с чьей помощью тюремная администрация справляется с населением тюрьмы. О многом я не написал и всю последующую жизнь, и до сих пор, чувствую свою ответственность за эту ложь. Самую непростительную из многих лжи, написанной и сказанной мною.

Я не знаю, насколько изменились порядки в детских тюрьмах с тех пор. Они стали по-другому называться. Думаю, там мало что изменилось. Но все же это специальные тюрьмы для детей. Мне начиная с тридцати восьмого года пришлось увидеть другое — детей в общих тюрьмах и лагерях. Из всего страшного — это было самое страшное.

Малолетки — так назывались малолетние арестанты. Они были разные: малолетние городские проститутки и крестьянские девочки, попавшие в лагерь "за колоски", собранные на плохо убранном поле; профессиональные воры и подростки, сбежавшие из спецдомов, куда собирали детей арестованных "ответственных"... Они вступали в тюрьму и лагерь разными по происхождению и причинам, приведшим их сюда. Но вскоре они становились одинаковыми. Одинаково отпетыми и страшными в своей мстительной жестокости, разнузданности и безответственности. Все-таки даже в общем лагере, находясь "на общих основаниях", малолетки пользовались какими-то неписаными привилегиями. Надзиратели и конвой их не убивали. Малолетки это знали. Впрочем, они бы не боялись, даже если бы их и убивали.

Они никого и ничего не боялись. Жили они в отдельных бараках, куда боялись заходить надзиратели и начальники. В этих бараках происходило самое омерзительное, циничное, разнузданное, жестокое из всего, что могло быть в таком месте, как лагерь. Если "паханы" кого-нибудь проигрывали и надобно было убить, это делали — за пайку хлеба или же из "чистого интереса" — мальчишки-малолетки. И девочки-малолетки похвалялись тем, что могут пропустить через себя целую бригаду лесорубов... Ничего человеческого не оставалось в этих детях, и невозможно было себе представить, что они могут вернуться в нормальный мир и стать нормальными людьми.

...В 42-м году в лагерь начали поступать целые партии детей. История их была коротка, ясна и страшна. Все они были осуждены на пять лет за нарушение закона военного времени "О самовольном уходе с работы на предприятиях военной промышленности". Это были те самые "дорогие мои мальчишки" и девчонки 14—15 лет, которые заменили у станков отцов и братьев, ушедших на фронт.

Про этих детей, работавших по десять часов, стоя на ящиках — они не доставали до станка, — написано много трогательного и умиленного. И все написанное было правдой.

Не было только написано о том, что происходило, когда — в силу обстоятельств военного времени — предприятие куда-нибудь эвакуировалось. Конечно, вместе с "рабсилой". Хорошо еще, если на этом же заводе работала мать, сестра, кто-нибудь из родных... Ну а если мать была ткачихой, а ее девочка точила снаряды?... На новом месте

было холодно, голодно, неустроено и страшно. Многие дети и подростки не выдерживали этого и, поддавшись естественному инстинкту, сбегали "к маме". И тогда их арестовывали, сажали в тюрьму, судили, давали пять лет и отправляли в лагерь.

Пройдя через оглушающий конвейер ареста, обыска, тюрьмы, следствия, суда, этапа, эти мальчики и девочки прибывали в наши места уже утратившими от голода, от ужаса с ними происшедшего всякую сопротивляемость. Они попали в ад и в этом аду жались к тем, кто им казался более сильным. Этими сильными были, конечно, блатари и блатарки.

На "свеженьких" накидывалась вся лагерная кодла. Бандитки продавали девочек шоферам, нарядчикам, комендантам. За пайку, за банку консервов, а то и за самое ценное — за глоток водки. А перед тем как продать девочку — ошупывали ее как куру: за девственниц можно было брать больше. Мальчики становились "шестерками" у паханов, у наиболее сильных, более обеспеченных. Они были слугами, бессловесными рабами, холуями, шутами, наложниками, всем кем угодно. Любый блатар, приобрета за пайку такого мальчишку, мог его бить, морить голодом, отнимать все, что хочет, вымещать на нем все беды своей неудачливой жизни.

Мы — "пятьдесят восьмая" — ничего с этим не могли сделать. В глазах этих детей и подростков мы были лагерными придурками, не имеющими никакой власти, никакой силы, никакой привлекательности, которую давало презрение к законам и начальникам. Никто из нас не мог на разводе, перед тысячной колонной арестантов, сказать начальнику лагпункта: "Мотал я твою работу, твою веру и тебя — на общих основаниях" — и спокойно пойти в сторону карцера...

Я был уже "вольным", когда однажды летом пришел на командировку, где врачом был Александр Кузьмич Зотов, успевший освободиться, получить новый срок и снова попасть на одну из командировок нашего лагпункта.

Кузьмич был на приеме, натренированный санитар принес мне в кабинку санчасти привилегированный больничный обед. Есть я не хотел, но и обед было бы глупо отсылать назад на кухню. Опустелый лагерьный двор подметала какая-то белокурая девчушка, совсем девочка. Было что-то деревенски-уютное в этой девочке, в ее нехитрой работе.

Я позвал ее. Спросил, что она делает на командировке. Ответила: на ошкурровке, занозила палец, он распух, его резали, она уже несколько дней освобождена... Я сказал ей:

— Садись к столу и ешь.

Ела она тихо и аккуратно, было в ней еще много ощутимо домашнего, воспитанного семьей. И была она привлекательна этой домашней тихостью, чистотой выцветшего, застиранного платяца из лагерной бумазеи. Мне почему-то казалось, что моя Наташка должна быть такой, хотя эта лагерная девочка была совсем светленькая, а моя дочь имела каштановые волосы уже десяти дней от роду...

Девочка поела, аккуратно сложила на деревянный поднос посуду. Потом подняла платье, стянула с себя трусы и, держа их в руке, повернула ко мне не улыбочное свое лицо.

— Мне лечь или как? — спросила она.

А потом, не поняв, а затем испугавшись того, что со мной происходит, так же — без улыбки — оправдывающе сказала:

— Меня ведь без этого не кормят...

И убежала. Конечно, я представлял собой пугающее и непривлекательное зрелище, если и теперь, через тридцать с лишним лет, я начинаю плакать каждый раз, когда вспоминаю эту девочку, ее нахмуренное лицо, усталые и покорные глаза...

А теперь продолжу свой рассказ о том, что тогда называлось "законами" или еще как...

Каждый новый закон составлялся так, чтобы была возможность его ужесточения.

У нас на Первом была женщина, осужденная за нарушение закона об абортах. Я эту женщину запомнил потому, что муж ее — капитан, обвешанный множеством орденов, — во время войны, по разрешению своего командования, приезжал в лагерь на свидание с женой. А история этой женщины была такая: в награду за воинские подвиги офицеру-летчику разрешили недельный отпуск домой. Затем он уехал в свою часть, а жена его забеременела, что, очевидно, также входило в государственную политику. Но женщина не вняла высоким государственным мотивам. Был сорок второй год, конца войне не было видно, у нее уже было двое детей. И она уговорила свою близкую приятельницу — медсестру — сделать ей аборт. Аборт был неудачным, официальная медицина быстро установила, что имело место нарушение закона, и неутомимая юстиция, засучив рукава, быстренько взялась за свое правое дело. По закону женщина, сделавшая себе аборт, уголовному наказанию не подлежит. Наказываются только две категории "преступников": те, которые аборт делали, и те, которые укрывали первых... Короче, бедной женщине нужно было назвать свою приятельницу, которая, рискуя свободой, пошла на противозаконное деяние. Вероятно, судью очень разозлило упорное нежелание героини моего рассказа назвать преступника. И он послал в тюрьму эту женщину "за укрывательство аборта". На пять лет. Командование воинской части засыпало все юридические инстанции ходатайствами, посылая летчика в Москву и в лагерь — все было напрасно. Женщину освободили только по амнистии 1945 года.

Суд — любой суд! — имел совершенно неограниченные возможности для произвола. Некоторые ухищрения нашей юстиции были таковы, что я никогда бы не поверил в это, не прочитав документы, в которых все написано черным по белому...

...Знаменитая "послесталинская" амнистия не распространялась на осужденных за "крупные хищения социалистической собственности". "Крупные" — это от пятидесяти тысяч и выше. Пришел ко мне один малоизвестный пожилой зек и почти плача просил написать ему заявление, "ну, чтобы хоть они поняли, что ли!..". Почему-то считалось, что у меня легкая рука, и таких заявлений мне приходилось писать немало. Я взял в руки обстоятельный, на нескольких страницах (не то что мой!) приговор и погрузился в изучение дела, поразившего даже мое, ко всему привычное, воображение...

Пострадавший, придя с войны, стал председателем колхоза. И, очевидно, был неплохим председателем. В голодную весну 47-го он быстро и хорошо провел посевную. Семена у него хранились настолько тщательно, что ни один килограмм не попал в отходы. А возможность отхода предусматривалась при закладке семян. И осталось после сева в колхозе восемь центнеров пшеницы. Так как полевые работы еще не кончались, а трактористы падали в обморок от голода, председатель колхоза провел через правление постановление о том, чтобы эти восемь центнеров раздать трактористам за трудодни... Но... Но среди всяческих постановлений, которые тогда считались единственным двигателем экономики, было и весьма свежее постановление "Об усилении ответственности за разбазаривание семенного материала". Естественно, доброхоты стукнули, и председателя посадили. То, что он эту пшеницу не взял себе, а роздал на трудодни, не имело, конечно, значения. Он "расхитил". Но сколько? Государство платило колхозу по восемь рублей за центнер. Это — по таблице умножения — значило шестьдесят четыре рубля, что юстицию не устраивало. Можно было бы перевести пшеницу на цену, по которой мука продавалась в магазине, если бы она продавалась... Но и это не устраивало жрецов правосудия. Они придумали интереснее. Сначала они высчитали, сколько могло бы получиться хлеба, если бы эти восемь центнеров дали максимальный для этих мест урожай... Предполагаемый урожай они предполагаемо продали на черном рынке по предполагаемой наивысшей цене... Теперь предполагаемая сумма выручки достигла пятидесяти трех тысяч рублей. И эта сумма "хищений" — уже не как предполагаемая, а совершенно реальная — была записана моему председателю в приговор, каравший его заключением сроком на пятнадцать лет. Ну не талантливо ли?! Но рука моя на этот раз действительно оказалась легкой. По написанному мною заявлению Москва распространила амнистию на неудачливого председателя. Конечно, не отменила приговор, а амнистировала после того, как он уже отсидел треть срока.

"Внесудебный порядок" и "судебный порядок" не существовали изолированно друг от друга. Они сплетались, расплетались, сходились и расходились, они — как любят говорить критики о литературе — "взаимно обогащали друг друга"... От следователя зависело, по какому из этих видов "порядка" пустить дело. Практического значения для арестованного это не имело, так как даже срок, даваемый судом, фактически решался тем же следователем. Я имел возможность в этом убедиться на своем личном опыте.

Во "внесудебном порядке" существовало определение "социально вредный элемент" — прямо-таки по смешной комедии Шкваркина... Вопрос о "вредности" решал неизвестный человек в известном доме. Естественно, никто у него не мог спросить: почему он пришел к печальному выводу о том, что его подследственный — "социально вредный"? Вредный и вредный! Получи, голубчик, свои семь лет и благодари Бога, что у тебя бытовая статья, а не та самая!..

В гласных законах всегда были аналоги негласного "внесудебного порядка". Например, знаменитая статья 7-35. Она карала сро-

ком до семи лет людей "без определенного места жительства и без определенных занятий". Знаменитый английский закон о бродяжничестве, считающийся в истории беспримерным по своей жестокости,— трогательная детская забава по сравнению с нашим родным 7-35! По нему уходили в лагерь не только проститутки, нищенки, непристроенные и не оформленные надлежащим образом инвалиды. По нему мог пропасть почти любой человек. Имеет жительство, но суд почитает жительство это не совсем определенным; имеет занятие, но занятие это также лишено каких-то определенных свойств... Впрочем, мне нет надобности здесь подробно растолковывать этот закон. Ибо он один из тех законов, которые пережили Сталина. И сейчас существует закон "о тунеядцах", свежа еще память о том, как при либеральном Хрущеве арестовали и выслали как "тунеядца" прекрасного поэта Иосифа Бродского.

В любом из "порядков" нашей юстиции одна статья могла заменяться другой исходя из самых разных соображений. Иногда это имело несомненные удобства и для арестанта. Наверное, мне стоит, именно в этой связи, рассказать историю Фридриха Платтена. Тем более что ее невозможно найти ни в энциклопедических справках, ни в книге, написанной о нем каким-то чиновником от истории. Речь идет о том Фрице Платтене, который был лидером левых швейцарских социал-демократов и организовал в 1917 году перевозку Ленина и других большевиков в "пломбированном" вагоне через Германию из Швейцарии в Россию. Платтен еще известен тем, что в январе 1918 года, когда автомобиль, в котором ехали Ленин, М. И. Ульянова и Платтен, обстреляли бандиты, он заслонил собой Ленина и был ранен. Ленин был крайне возмущен, что ни шофер, ни один из пассажиров не имели при себе оружия. Крупская тогда подарила Платтену маленький браунинг, на рукоятке которого велела выгравировать: "Спасителю нашего Ильича". Прошу читателя обратить внимание на этот пистолет. По законам драмы, как писал Чехов, он должен в конце действия обязательно выстрелить...

"Конец действия", естественно, произошел в 37-м. Учитывая, что Платтен был работником Коминтерна и родным его языком был немецкий, молодой, начинающий следователь выбивал из него признание, что он, Платтен, сызмальства работал в немецкой разведке. Подследственному было уже под шестьдесят, ему невозможно было сопротивляться служебному энтузиазму молодого и здорового парня с железными кулаками и отсутствием совести. Но Платтен со слезами уговаривал своего палача приписать ему службу в любой разведке: английской, французской, бразильской, ватиканской — любой, кроме немецкой. Потому что если он подпишет такое "признание", то останется документ, подтверждающий обвинение Алексинского, что переезд Ленина в Россию организован разведкой германского генерального штаба... Как ни был туп и невежествен молодой разбойник, ведший "дело" Платтена, но и он смутился от упорства и просьб старика. Он перестал его бить и отпустил в камеру, дабы доложить начальству о странном арестанте. Платтен очень долго сидел в камере без допросов, пока решался вопрос о его судьбе. Конечно, для Вышинского было соблазнительно документальное подтверждение его заявлений о том, что Ленин прислан немецкой разведкой (а он это

писал не только в 1917 году, но даже в начале 1918 года, когда редактировал в Москве правоменьшевистскую газету), но от этого пришлось отказаться...

И тогда "выстрелил" тот самый пистолет... Его же нашли при обыске, Платтен бережно хранил подарок Крупской. Фридрих Платтен получил восемь лет по совершенно банальной, почти бытовой статье: "Незаконное хранение огнестрельного оружия". Получил, поехал в лагерь, где и умер от дистрофии в первые годы войны.

Кажется, первой статьей многотомного царского Свода законов было: "Никто не может отговариваться незнанием закона". Это совершенно естественно. И тот, кого юстиция втягивала в свои вонючие, удушающие внутренности, это понимал в совершенстве. Ну а другие? Огромное большинство граждан и не подозревает о множестве юридических дамочловых мечей, висящих на весьма непрочных веревочках над их легкомысленными и необразованными головами. Даже зная, они не в состоянии в это поверить.

Рике, как и многим сотням тысяч людей, сосланных "навечно" в ссылку, давали расписаться под извещением, что самовольный уход из деревни, где жил ссыльный, считается побегом, который "во внесудебном порядке" карается двадцатью пятью годами каторги. Да, да — не какого-нибудь обычного "вшивого" лагеря, а каторжного: без фамилий, с 12-часовым днем на действительно каторжных, смертельно тяжелых работах. Ссылные спокойно расписывались. Они не только не собирались бежать, но в их сознание и не входила реальность такой неправдоподобно страшной участи.

Но зимою 1951 года в Георгиевской пересылке я встретил подростка, почти еще мальчика, у которого на шапке, спине и руке бушлата, на коленях ватных штанов был нашит каторжный номер. История молодого каторжанина следующая: отец его был дезертиром. Просто-напросто в начале войны, когда был призван в армию, — удрал. И всю войну скрывался не то в Сибири, не то где-то еще дальше. По одному из неопубликованных законов семья дезертира подлежала аресту и ссылке. Жену дезертира с малолетним сыном арестовали и из Черкесска выслали куда-то в Казахстан, где они перебивались с хлеба на воду. В 1945 году была объявлена амнистия всем дезертирам. Отец моего соседа по пересылке приехал в родной город, явился куда надо, получил официальное прощение и законный паспорт. Естественно, что он был "аки наг, аки благ", да и привык, наверное, к безответственной жизни скрывающегося человека. Семью он не торопился выписывать. И так тянулось несколько лет, пока его ссыльная жена не умерла и растроганный папаша не написал сыну, чтобы тот приехал к нему в Черкесск. Мальчишка рванул... Дальше идет совершенный гиньоль. С мальчика-то, оказывается, никто еще не снимал "вечную" ссылку... Юридическое образование как его отца, так и его самого было еще далеко не законченным. Из Казахстана комендант, наблюдавший за ссыльными, сообщил, что мальчик удрал. В Черкесске его арестовали и "во внесудебном порядке" дали двадцать пять лет каторги. Куда ошарашенный пацаненок и следовал через краевую пересылку в Георгиевске.

Но что спрашивать с этого мальчика! О том, что происходит в области, именуемой юстицией, не имели представления и люди намного более грамотные, нежели он. В Ялте осенью 1971 года я сцепился в яростном и злобном споре с Вадимом Собко. Среди украинских "письменников" он почему-то слывет либералом и свободомыслящим. Спор шел о крымских татарах. Либеральный писатель Собко утверждал, что незаконно были высланы все другие национальности. Кроме крымских татар. Вот они-то и были настоящими пособниками и союзниками гитлеровцев, и народ этот наказали правильно. Моим словам, что дети и женщины не были пособниками врагу, Собко противопоставлял железный довод: крымских татар-то не реабилитировали, не амнистировали. Все другие народы-бедолаги возвращены в родные места, их поэты — как Кулиев или Кугультинов — давно уже поют и славят, а про татар — ни гу-гу!..

Просматривая только вышедший очередной том Литературной энциклопедии, я наткнулся на статью о татаро-крымской литературе. И там был такой абзац: "В мае 1944 года, в результате нарушений социалистической законности, татары, жившие в Крыму, были переселены в Среднюю Азию, Поволжье и на Урал; 5 сентября 1967 года указом Президиума Верховного Совета СССР были отменены огульные обвинения по отношению ко всему татарскому населению Крыма (смотреть "Ведомости Верховного Совета СССР". 1967, № 36, стр. 531—532)". Ну, что я не засматривал на 531-ю страницу тридцать шестого номера "Ведомостей...", можно еще понять. Но Собко, который так часто ездил за границу, был каким-то общественным деятелем, выдающимся нашим пропагандистом за рубежом, даже и он не знал, что крымские татары четыре года назад уже прощены, реабилитированы и пр. Вот только возвращаться им не дают. Но это уже вопрос не законов, а быта, инструкций и других мелких неприятностей...

Моего брата, маститого профессора, занимающегося советским периодом, я как-то спросил: знает ли он, что во времена Сталина труд в сельском хозяйстве был у нас официально принудительным?.. Брат промямлил, что практически, конечно, "имелись элементы", но насчет "официально"!.. Я с интересом спросил профессора: знает ли он об указе Президиума Верховного Совета от какого-то (не помню какого) июня 1947 года? Профессор ответил, что о таком Указе слыхом не слыхал...

А я слыхал. Больше того: во время моей командировки по районам Ставрополя в качестве методиста краевого кабинета культпросветработы присутствовал на собраниях в колхозах, когда крестьянам зачитывали этот указ. В газетах он не был опубликован, но колхозников о нем добросовестно известили. Действительно, их это — как говорится — "касалось"... По этому указу труд в колхозе объявлялся обязательным для всех проживающих в сельской местности и не работающих на производстве или же не служащих в советских учреждениях. Каждый мужчина, женщина, юноша, девушка, подросток обязаны были работать в колхозе. И выработывать определенную норму трудодней. Кажется, для Ставропольского края минимум трудодней был установлен в 176. Так вот: каждый, кто уклонялся от труда в колхозе и не выработывал за год установленного минимума трудодней, постановлением сельского Совета (да, да, да! Не суда, не даже ка-

кой-нибудь такой-сякой "тройки", а просто сельсовета!) вместе со всей нетрудоспособной частью семьи высылался на пять лет в "отдаленные места Советского Союза", где уже обязан был работать на положении ссыльного. Я много встречал таких ссыльных на пересылках, в тайге на Верхней Каме. Дело не в том, что жители сельской местности не обременены юридическими гарантиями... Я рассказываю эту историю, чтобы объяснить, какова была степень всеобщего незнания того, что происходило на обильной ниве советской юстиции. Что говорить о прочих жителях городов, когда об этом указе не имел представления профессор, занимающийся историей нашего общества!

Но безусловным украшением судебного "порядка" были два параграфа Уголовного кодекса, составлявшие некую вершину отечественной юридической мысли. Это были параграфы шестнадцатый и семнадцатый.

Семнадцатый параграф УК был порождением юридического гения Вышинского и показывал, как мы далеко ушли от того наивного времени, когда двадцать девять человек расстреливались только потому, что они оказались в одной камере с "гидрой мировой буржуазии" купцом Кутепаткиным. Теперь происходило, собственно, то же самое, но оно было облачено в пышные одежды высокотеоретической науки "о соучастии". Именно так называлась толстая книга господина Вышинского. За это самое "учение о соучастии" он был награжден какими-то учеными наградами и возведен в сан академика. Я этой толстой книги не читал, но не могу не удивляться тому, что можно написать целую толстую книгу о том же самом, о чем в свое время написал всего лишь несколько слов на куске оберточной бумаги председатель уездного ЧК...

В самых общих чертах смысл параграфа семнадцатого заключался в том, что каждый член преступного сообщества (а участие в сообществе выражается и в знании о его существовании и недонесении о нем) несет ответственность не только за свои личные преступные деяния, а за деяния сообщества в целом, а также каждого его члена в отдельности, невзирая на то, что конкретный обвиняемый мог и не знать других членов сообщества, не знать о том, что они делают, как и не знать о том, что сообщество, в котором он состоит, делает вообще... Хотя "учение о соучастии" должно было облегчить изнурительный труд палачей, но оно, несомненно, облегчало и участь арестованных. Теперь следственная техника значительно упрощалась. Объединяли группу в несколько десятков человек и одного из них — наиболее слабого — били до смерти, пока он не признавался в шпионаже, вредительстве, диверсии и, конечно, покушении на жизнь "одного из руководителей партии и правительства". Всех остальных уже били только до полусмерти, требуя сознания лишь в том, что они знакомы с тем, кто уже написал на себя "на всю катушку". После чего эта "катушка" автоматически переходила к ним. "Через семнадцать". Как это выглядело на судебном заседании, я могу передать со слов одного моего лагерного знакомого.

Ефим Соломонович Шаталов был весьма крупным хозяйственником. Много лет он был начальником Главцемента. Почему надобно

было его сажать — одному богу известно! К политике он не имел никакого отношения, да и иметь не мог, поскольку готов был служить и служил верой и правдой любому непосредственному начальнику и истово молился на главного начальника. Кроме того, он был невероятно цепок, обставлял каждый свой шаг целой системой предохранительных мероприятий. Когда его тривиально обвинили во вредительстве, он на суде вел себя так агрессивнo, что растерявшийся суд отложил слушанье дела. Через некоторое время Шаталову вручили новое обвинительное заключение и через час вызвали на новое заседание Военной коллегии. На этот раз председательствовал сам Ульрих. Вася Ульрих для подсудимого был старым, милым и добрым знакомым. Много лет подряд в "Соснах" сидели всегда за одним столом, вместе ходили гулять, умеренно выпивали и рассказывали друг другу мужские анекдоты. Председатель Военной коллегии Верховного суда провел заседание, очевидно, руководствуясь старым принципом, что суд должен быть скорым, правым и милостивым. Вот почти полная стенографическая запись судебного заседания, изложенная Ефимом Соломоновичем.

Ульрих (*быстрым, тихим, сгущающим голосом*). Подсудимый! Вы прочитали обвинительное заключение? Признаете ли себя виновным?

Шаталов (*со всей силой преданности и любви к суду*). Нет, нет!.. Я ни в чем не виноват!

Ульрих. Знали ли вы о существовании в Наркомтяжпроме контрреволюционной правотроцкистской организации?

Шаталов (*всплескивая руками*). Понятия не имел! Не подозревал об этом вражеском клубке вредителей и террористов!

Ульрих (*внимательно-ласково рассматривая своего недавнего собутыльника*). Во время последнего процесса правотроцкистского центра вы были на воле?

Шаталов. Да.

Ульрих. Газеты читали?

Шаталов (*медленно, стараясь понять причину столь странного вопроса*). Читал...

Ульрих. Стало быть, вы читали показания Пятакова о существовании в Наркомтяжпроме контрреволюционной организации?

Шаталов (*неуверенно*). Конечно, конечно, прочел...

Ульрих (*торжествующе*). Ну вот и договорились! Значит, знали о существовании в Наркомтяжпроме организации! (*Обращаясь к секретарю суда*). Запишите: подсудимый признается, что знал о существовании пятаковской организации...

Шаталов (*исступленно кричит, икая от ужаса*). Я же из газет, из газет узнал о том, что там была организация!..

Ульрих (*спокойно-удовлетворенно*). А суду неинтересно, откуда вы узнали. Значит — знали! (*Поспешно, как поп на малооплачиваемой панихиде.*) Есть вопросы? Вопросов нет. Вы хотите сказать последнее слово? Не надо повторять! Суду все это известно. (*Качнувшись влево и вправо к заседателям*). Оглашаю приговор! Тр... Тр... пятнадцать лет...

Конечно, я не буду настаивать на том, что этот суд строго соответствовал понятию "правый"... Но он был — по сравнению с други-

ми — милостивым, он оставил Шаталова в живых... И безусловно, был скорым. Очевидно, скорость была типической. На вечере памяти Косарева в Музее революции зав. административным отделом ЦК рассказывал, как он, по поручению Хрущева, знакомился с делом Косарева. В протоколе судебного заседания было указано: "Начало заседания — 11 часов 00 минут. Конец заседания — 11 часов 10 минут"...

Но все, о чем я выше рассказывал, относится к параграфу 17 УК. К Косте Шульге это отношения не имело. К нему имел прямое касательство параграф 16-й. С его помощью Костя был втянут в машину правосудия. Дело в том, что параграф 16-й давал право суду давать срок "по аналогии". Если судье казалось, что рассматриваемое преступление не подходит ни к одной статье наказания, то он применял другую статью Уголовного кодекса "по аналогии" — через параграф 16-й УК.

Теперь можно приступить к истории жизни и преступления Кости. Жил он в Краснодаре, в семье, которую быстро раскидал ветер начавшейся войны. Костя остался один, но это его не смущало, ибо он был мальчишкой сильным и сообразительным. Насколько я понимаю, вел он довольно свободный и предосудительный образ жизни. В частности, не брезговал и тем, чтобы отворачивать головы чужим курам и варить их в старом ведре. На одной такой курице он и попался. Или кура была ответственной, или же судья был чем-то раздражен, но он не пожелал применить к Косте указ о мелких кражах, по которому можно было дать только один год тюрьмы. Он применил к Косте — через параграф 16-й УК — статью кодекса, карающую за конокрадство... Так сказать, посчитал курицу за лошадь... Костя, как конокрад, получил ПЯТЬ лет и отправился в местный лагерь. В лагере пожилой рецидивист, имевший опыт и какие-то планы на Костю, уговорил его бежать. Во время побега бандит убил охранника. Беглецов быстро поймали, убийцу расстреляли, а Косте — как сообщнику, не достигшему совершеннолетия, — дали десять лет по статье 59-3 — бандитизм.

Лагерь, где Костя отбывал новый срок, находился неподалеку от Сталинграда. И было это летом 1942 года... Фронт так быстро приближался к лагерю, что начальство не могло и думать о том, чтобы эвакуировать заключенных. Лагерное начальство понемногу разбежалось, разбежались и неленивые заключенные... Убежал — даже не убежал, а не торопясь ушел и Костя Шульга. Он добрался до Сталинграда, который уже стал прифронтовым городом, явился в военкомат, назвал свою настоящую фамилию, прибавил себе полтора года и попросился на фронт, сказав, что паспорт и прочие бумаги он потерял... Военному некогда было проверять, да и не к чему... Перед ним стоял рослый, здоровый парень, которому можно было дать и много больше восемнадцати.

Костя ушел на фронт. После того как он побыл в пехоте и в артиллерии, он попал на бронепоезд (после небольшого ранения и госпиталя), на котором и провоевал до конца войны. Стал он старшиной роты, и я хорошо представляю себе, каким всеобщим любимцем он был: расторопный, распорядительный, бесстрашный, улыбчивый. Он аккуратно получал свои медали и ордена, всеобщая любовь к нему

дошла до того, что в 44-м году, уже в Восточной Пруссии, Косте предложили вступить в партию... И тут уже Косте некуда было податься! Кроме как в СМЕРШ. Куда он принес покаяние и историю своей передовой жизни. У Кости отняли оружие, ремень и посадили под арест. Так он сидел, пока начальство проверяло его слова и решало его участь. Через некоторое время его вызвали, отдали ремень, орден, оружие и объяснили, что в партию ему еще рано, но воевать он может, поскольку оправдал кровью, заслужил и пр. и пр.

Арестовали Костю Шульгу 9 мая 1945 года через два часа после окончания войны. Даже погулять и поприбавить не дали. И не судили. Просто отправили в лагерь досиживать срок, полученный в 42-м. Отняв, конечно, все ордена и медали. Многолетняя тяжба Кости Шульги с юстицией, в которой я принимал посильное участие в качестве легкой руки, сводилась к одному: юстиция годы, проведенные Костей на войне, не засчитывала в отбытый срок, поскольку они были проведены не в заключении, а на воле. Костя же не мог примириться с такой несправедливостью и засыпал все средние и высокие учреждения заявлениями, в которых настаивал на том, чтобы годы войны посчитали... Надо ли говорить, что все произошло по формуле императора Священной Римской империи Фердинанда I: "...пусть свершится правосудие!" Правосудие свершилось, Костя освобожден только в 54-м году.

За год до своего освобождения Костя стал целыми днями торчать в санчасти, в кабинете зубного врача и техника.

— Я и здесь не пропал, и на воле не пропаду,— сказал он мне спокойно и уверенно,— научусь зубопротезному делу, женюсь. Построю дом, буду жить как человек! Что же, я на семьсот рублей жалованья стану жить, что ли? Голова и руки у меня есть, я свое всегда заработаю. В нашей жизни самое главное — приспособиться. Я это умею, я приспособлюсь...

То, что Костя Шульга называл самым главным, по сути было главной проблемой, которая вставала перед каждым арестантом. Совершенно очевидно, что и перед каждым неарестантом. Как выжить? Как приспособиться? С наименьшими потерями для здоровья, достоинства, самой жизни... Это приходилось решать иногда мгновенно, иногда в долгие бессонные ночи, но решать приходилось обязательно. Как себя вести?

Рика с неприязнью рассказывала мне об одной женщине, с которой сидела вместе во внутренней тюрьме. Эта женщина категорически протестовала в камере против "комбедов" и других форм тюремной самопомощи. Она считала, что в советской тюрьме обязательно добросовестное выполнение всех без исключения правил; что арестанты должны делать все, чего от них хотят следователи; подписывать любые показания на любого человека, ибо все это делается в интересах Советской власти, следовательно, интересах более высоких, нежели судьба отдельного человека... Может быть, она так поступала из страха? Такого обычного, оправданного пытками, угрозой смерти... Но я был немного знаком с этой женщиной, еще больше знал понаслышке. Это была Соколовская — интеллигентный и бесстраш-

ный человек, знаменитая руководительница Иностранной коллегии в Одессе во время интервенции; та самая красивая и обаятельная женщина, которая под фамилией Орловской выведена Славиным в его знаменитой пьесе. Она была замужем за любимцем Сталина — Яковлевым, который был одно время секретарем ЦК, а затем заведовал Сельскохозяйственным отделом ЦК. Соколовская была намного умнее и талантливее своего мужа.

Что же ее заставило участвовать в лживом и безнравственном спектакле? Ведь не было ни одного арестанта, которому бы не предложили — открыто, без всякого стеснения — участвовать в этом представлении. Участвовать без всякой гарантии оплаты.

О, если бы такая гарантия была! Если бы с этими людьми можно было договориться! Пусть такая договоренность была бы ужасной договоренностью между гангстерами-похитителями и их жертвой! Все равно: даже в этом случае уже появляются какие-то нормы. Пусть и не правовые, но все же нормы!.. Все же какие-то правила игры!

Но все дело в том, что никаких правил не существовало и не было никаких гарантий, что будут компенсированы любая жертва, любой компромисс с совестью, правдой и прочими — в глазах тюремщиков — эфемерными вещами. Ибо, хотя они нисколько и не нуждались в теоретических обоснованиях, существовала авторитетная формула: "Нравственно только то, что идет на пользу..." А уж кому на пользу — это они решали сами.

И имело значение: кто решал. Конечно, существовали инстанции, именовавшиеся "директивными" и могущие приказывать энкавэдэшникам. Но давно известно, что палачи очень неохотно расстаются со своими жертвами, даже получив высочайшее распоряжение. Так что высочайшее или полувысочайшее приказание также не давало никаких гарантий. Иллюстрацией к этому является история моего лагерного знакомого Павла Феликсовича Здродовского.

Да, да, прославленный академик, лауреат всех премий, Герой Социалистического Труда и прочих званий носитель. Познакомились мы в лагере, хотя и в долагерные времена мы знали друг о друге: у нас был общий знакомый — Шура Вишневский, ныне также всех званий и орденов кавалер.

Было это осенью 1941 года. К нам на Первый пришел очередной этап, и принимавший этап наш врач Александр Македонович Стефанов, запыхавшись, подошел ко мне и сказал:

— С этапом пришел знаменитый эпидемиолог профессор Здродовский. Он у меня в стационаре. Идите скорей ко мне...

Я побежал... Неужели тот, о котором мне много рассказывал Шура? Все было так. Действительно он. Формуляр у него был собачий. Перекрещен, что означало "склонен к побегу" и запрет на расконвоирование. А кроме того была в формуляре почти смертельная отметка: "Использовать только на общих подконвойных работах".

Но это был все же не 38-й, а 41-й, когда такая зловещая отметка могла носить и чисто художественный характер. Во всяком случае, на нашем лагпункте никакая сила не могла заставить погнать профессора медицины на общие работы. Здродовский, конечно, немедленно был

зачислен больным в стационар. И мог находиться в нем неопределенно долго. Времени у него было достаточно, чтобы по вечерам, когда я приходил из конторы, неторопливо рассказывать мне свою выразительную и поучительную историю.

Здродовский к 37-му году был крупнейшим в нашей стране эпидемиологом, имевшим мировое имя как самый крупный специалист по борьбе с инфекциями, в особенности с бруцеллезом. По разработанным им методам в стране работали десятки противобруцеллезных станций, так и называвшихся: "Станции Здродовского". Неудивительно, что, когда в 37-м году на Украине началась массовая эпизоотия среди лошадей, во главе специальной комиссии, направленной для борьбы с ней, был поставлен Павел Феликсович. После нескольких месяцев работы он докладывал о необходимых мерах на каком-то высоком заседании — не то Цека, не то Совнаркома. Во всяком случае, председательствовал на заседании Хрущев, недавно назначенный в управители.

Здродовский академически спокойно докладывал, что эпидемия на лошадей вызывается вирусом. Время от времени волнами она прокатывается по Европе и Азии. Теперешняя эпидемия идет с Востока. Для борьбы с ней надо делать то-то и то-то... Профессорский доклад прервала нетерпеливая реплика Хрущева:

— Что вы нам, профессор, толкуете об эпидемиях?! Падеж лошадей был вызван вредительством. Лошадей травили порошками! Вот они — эти порошки — лежат передо мною... Виновные во вредительстве признались в своих преступлениях, понесли заслуженное наказание... А вы тут нам толкуете про всякую там эпизоотию!..

Здродовский протянул руку, взял со стола вредительский порошок, высыпал его себе на язык, проглотил... И потом — столь же академически — объяснил Хрущеву, что его совершенно не касаются ни вредительство, ни признания вредителей и пр. — это дело юристов. Что же касается лошадей и порошков, то порошками этими никого отравить нельзя, поскольку состоят они главным образом из пищевой соды; что его, Здродовского, дело — доложить, как быстрее ликвидировать эпидемию. Что он и делает.

Арестован он был после этого довольно скоро. С ним особенно не чинились — некогда было! — всунули через ОСО десять лет. Но зато отправили его в абсолютно губительный лагерь, откуда почти никто возвратиться не мог. Лагерь этот находится в Ухтпечлаге, он строил дорогу Чибью — Крутая. Строительство это было несколько затянувшейся формой убийства. Бездонное болото, куда заключенные кидали тачки с песком. Люди за тачками менялись быстро, больше двух месяцев никто не выдерживал. Здродовский пережил уже многих, но себя не обманывал и знал, что ему долго не протянуть.

И вот тут происходит то неизвестное, роковое, гиблое или спасительное, чего всегда, ежечасно ожидает всякий арестант... Здродовского отрывают от тачки, кормят, моют, стригут, одевают в первый срок и везут в Управление лагеря. Там со всей осторожностью и почтением спецконвой его везет на аэродром и сажает в специальный самолет. И летит арестант Здродовский куда-то в неизвестное, аж за тридевять земель, на различных аэродромах пересаживаясь с самолета на самолет... Только потом, через весьма продолжительное время,

узнал Здродовский, как это все происходило, что находилось в основе его необыкновенного спасения.

В Казахстане началась неслыханная эпидемия бруцеллеза, захватившая крупный рогатый скот, а главное — овец. Погибали миллионы животных, катастрофа приняла такой серьезный характер, что вопрос о ней был поставлен на заседании Политбюро. Во время заседания происходит сцена, прямо-таки взятая из многочисленных фильмов. Расхаживавший вдоль стола Сталин остановился, вынул изо рта трубку и сказал:

— А что же делают в таких исключительных случаях станции Здродовского? (Память у него была потрясающая! Он знал невероятное количество всего на свете!) И кстати, что делает для ликвидации эпидемии сам Здродовский? Где он, в Москве?..

И, взглянув в лицо человека, который должен был знать, кто где, сразу понял, где он, и добавил:

— Если жив — найти и направить!..

Здродовского успели найти и отправили. В Казахстане знатного арестанта, присланного лично Сталиным, приняли как заместителя. Ему отвели особняк, полный слуг, которые одновременно были и телохранителями-охранителями. Прямые провода соединяли Здродовского с Цека, Совнаркомом Казахстана, с областями и министерствами. В его распоряжении были самолеты, автомобили, десятки и сотни сотрудников. Каждое приказание невиданного диктатора носило характер закона, тень пославшего его витала над ним, и приезжавшие в особняк высшие начальники разговаривали с ним почтительно, заискивающе улыбаясь..

И Здродовскому удалось совершить почти что подвиг. В какие-то считанные месяцы, в неслыханные для истории медицины сроки, эпидемия бруцеллеза в Казахстане была ликвидирована. Полностью исчезла опасность, что она переползет в европейскую часть страны. Высокие казахстанские начальники чуть ли не плакали от умиления и благодарности. Они отправляли Здродовского в Москву — за заслуженной наградой. Все правительство провожало его на вокзале, усаживали в купе международного вагона. Он ехал домой вольным, один, совсем как некогда. Наркомвнудел Казахстана на вокзале отвел Здродовского в сторону и сказал:

— Павел Феликсович! Вот вам пакет. Советую прямо с вокзала захватить в наркомат, сдать этот пакет и получить необходимую справку. Формально вы же арестант, вас дворник домой не пустит, побежит докладывать в милицию... Вы получите сначала справку, а потом уже и соответствующие документы. Заранее поздравляю вас с высокими наградами и прошу не забывать в Москве и нас...

...Ах, с каким наслаждением описывал Павел Феликсович долгий путь от Алма-Аты до Москвы! Уют международного вагона, крахмальные салфетки ресторана, где можно сидеть за накрытым столом, неторопливо пить дорогой коньяк и смотреть, как за зеркальными окнами бежит земля... В Москве на вокзале его встречали, предупреденные телеграммой, родственники, друзья, ученики... Цветы, объятия, слезы... По дороге, сидя в машине, Павел Феликсович вспомнил:

— Давайте на минутку остановимся у Лубянской площади. Я

зайду в наркомат, сдам пакет и получу справку, это займет всего несколько минут, вы меня подождите в машине...

Уже новой, вольной и уверенной походкой Здродовский вошел в подъезд, сдал вежливому дежурному пакет, подождал, пока не вышел какой-то капитан и предупредительно попросил его пройти с ним. Здродовский шел по бесконечным коридорам, проходам и этажам, пока запутанная география этих закоулков не стала ему знакомой... Потом провожатый остановился у мучительно знакомой двери и услужливым жестом пропустил его вперед. На двери была вывесочка: "Прием арестованных". А дальше пошла хорошо знакомая процедура: "...разденьтесь, снимите белье, поднимите руки, расставьте ноги, нагнитесь, раздвиньте задний проход..." Обрезание металлических пряжек и пуговиц, выдергивание шнурков... Через час вновь обработанный арестант уже сидел в одиночной камере внутрианки и нетерпеливо ждал, когда его вызовут. Он ждал день, неделю, месяц, полгода... Никто его не вызывал, никто его не беспокоил, только тревожили таинственные ночные гулы... Через восемь месяцев его вызвали с вещами, запахали в воронок, привезли в Лефортово. В тот же день вызвали на Военную коллегия и через десять минут всунули те же десять лет, только уже — честь по чести! — по статье Уголовного кодекса. И по этой статье, дополненной словами "военного времени", Здродовский догадался, что, пока он сидел в камере, началась война...

Через какое-то время этап занес его в Устьвымлаг, на Первый... Александр Македонович долго держал Здродовского в больнице. С большим трудом Управление лагеря разрешило отправить профессора на самую дальнюю командировку для работы фельдшером. Долго фельдшерствовать профессору не дали. Осенью 42-го года у него начался новый цикл: опять за ним приехали из Управления, опять его одели-побрили, опять в самолет... Уезжая, Здродовский вздохнул и сказал, что с военным сыпняком справиться будет труднее, нежели с бруцеллезом...

И долго, долго я о нем ничего не знал. В Москве в конце 45-го мне сказали, что Здродовский на воле, возглавляет институт. А в 60-х годах увидел его по телевизору: он выступал в связи с присуждением ему Ленинской премии. Был старый, но еще очень бодрый, очень усердный, очень довольный. Хвалил, не мог нарадоваться и благодарил. Такой он был благополучный и преуспевающий, что мне не захотелось с ним встречаться. Мне показалось, что в его величественном процветании он мог бы испытать некое душевное неудобство от неизбежных воспоминаний о прошлом. А я задыхался от отвращения к тем, кто не хотел вспоминать, кто желал как можно прочнее забыть... Может быть, я был не прав и Здродовский вовсе не принадлежал к числу старающихся забыть? Рассказывали мне, что Королев и в самом зените своей славы любил собирать у себя, на своей огромной даче, за богатышскими разносолами обильного стола, старых товарищей по тюрьме, по туполевской "шарашке". Он угощал их, вспоминал старое и признавался:

— Прохожу мимо охраны, они вытягиваются в струнку, на лице почтение... Но все равно каждую ночь я думаю, что они сейчас могут ворваться ко мне в спальню и крикнуть: "Собирайся, пада!"

...Может, и академик Здродовский также не приобрел чувства устойчивости гарантий?.. Но я никогда не пытался это проверить.

Так или иначе, а он должен был участвовать в этой игре, не имея никаких гарантий.

Множество арестантов, если не большинство, так или иначе давали на это свое согласие. Я, конечно, не говорю о тех, чье согласие было вынуждено пытками, переходящими границу человеческих возможностей. Да, соглашались участвовать. Но делали это по очень разным побуждениям.

В нашей двадцать девятой камере находился один из ближайших помощников Туполева, Тимофей Петрович Сапрыкин. Это был пожилой, желчный, озлобленный и мрачный человек, нелюдим, ни с кем почти в камере не разговаривавший. Однажды его привели с допроса ночью, когда вся камера уже спала и только я, томимый тоской и бессонницей, сидел на нарах и курил. У Сапрыкина было лицо совершенно ошарашенного человека. При всем этом он был целехонек, без каких-либо следов следовательского усердия. Потребность поделиться пережитым была у Сапрыкина, очевидно, настолько сильной, что с него слетела свойственная ему молчаливость. И он обрадовался даже такому малознакомому собеседнику, как я.

Отвечая на мой вопросительный взгляд, он затаился папиросой, выпустил клуб дыма и вместе с ним выдохнул:

— Я сейчас был на очной ставке...

— ?..

— С Андреем Николаевичем...

— И как?

— Можно сойти с ума! Приводят, сидит у следовательского стола Андрей Николаевич. Спокойный, выглядит прилично, нетронутый... Следователь — сволочь, конечно, лютая — начинает эту церемонию: знаком, не знаком, имеете ли личные счета и прочая муть. Потом спрашивает у меня: "Подтверждаете ли показание арестованного Туполева о том, что он вас завербовал в свою контрреволюционную вредительско-шпионскую организацию?" Я кричу: "Вранье! Этого быть не может! Андрей Николаевич, как вы могли?!" А Туполев спокойно, как на планерке в ЦАГИ, говорит мне: "Вы мне верите?" Я отвечаю: "Всегда и во всем верил, Андрей Николаевич?" — "Ну так вот. Вы сейчас подпишете показания о том, что такого-то числа я вас вызвал к себе в кабинет и предложил вступить в руководимую мною шпионско-вредительскую организацию..." — "Что вы такое говорите, Андрей Николаевич?!" — "Вы меня всегда слушались?" — "Слушался!" — "Слушайтесь и сейчас. Делайте то, что я вам говорю! Подтвердите все показания, которые я давал и которые я сейчас подтверждаю на очной ставке. Подпишите все показания, которые вам продиктует следователь. Читайте, что я по-прежнему являюсь вашим начальником, и делайте все, что я вам приказываю!.."

... Сапрыкин курил папиросу за папиросой, мычал что-то, разводил руками... Согласно тюремной этике я у него не спрашивал, выполнил ли он приказ своего бывшего начальника. Конечно, выполнил. Через некоторое время его от нас забрали, а во время войны я встре-

тил его фамилию среди награжденных за строительство самолетов: Сапрыкин получил орден Ленина.

Рика, сидевшая в это же самое время во внутренней тюрьме, дружила со своей соседкой — Юлией Николаевной Туполевой, женой Андрея Николаевича. Однажды Юлия Николаевна пришла с допроса притихшая, огорченная и рассказала Рике, что она очень смущена необыкновенной любезностью следователя и его похвалами мужу. "У меня впечатление, что Андрей пошел на какую-то подлость..." — призналась она Рике.

Но можно ли это назвать так категорически — подлостью? Согласившись участвовать в предложенном ему спектакле, Туполев сохранил жизнь не только себе и жене, но и множеству людей, многим замечательным ученым, в том числе Некрасову, Петлякову, Королеву... Можно ли обвинять Туполева в безнравственности за то, что он ради сохранения жизни согласился на участие в "шоу", когда огромное количество безукоризненно интеллигентных и в общем вполне порядочных людей принимают участие в этом спектакле всю жизнь, рискуя в случае своего отказа потерять не жизнь, а только карьеру, только высокооплачиваемую работу, поездки за границу и прочие ценности, далеко не сравнимые с жизнью?..

Но ведь мой рассказ не о Туполеве, а о Шульге. Если б с ним дело обстояло так же просто, как с Туполевым, то Костя и в лагере и на воле отлично бы жил, не перегружая свою совесть излишними терзаниями. Но все дело в том, что Косте никто и не предлагал участвовать в хорошо оплачиваемом спектакле. Оплачивался лишь тот, кто был нужен. Самоотверженное и абсолютно искреннее участие Соколовской в спектакле окончилось тем, что ей пустили пулю в затылок: она не была нужна, самолетов она строить не умела. В той странной жизни, в которой жил Костя Шульга на воле, в лагере, на войне, снова в лагере, снова на воле, — не существовало никаких четких ориентиров, по которым можно было следовать по жизни, никаких твердых правил...

Но Костю это сначала устраивало. Ему казалось, что он в этой игре без правил обыграет своего банкомета, что он здоровее его, хитрее, что "я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...". Как кипуче, захлебываясь, жил Костя на воле! Странно, но во всех своих метаниях Костя никогда не порывал связи со мной. Освободившись, он уехал в Краснодар, я от него в лагерь получал письма, даже посылку. Но жить в Краснодаре со справкой рецидивиста, отбывшего срок за бандитское убийство, он не мог. Уехал в Соликамск и там очень скоро проявил себя как один из лучших протезистов. Он поступил в какую-то поликлинику, а у себя на квартире оборудовал маленькую мастерскую, в которой выколачивал большие деньги. Соликамск для этого подходящий город. Его не мог миновать ни один человек, освобождающийся из Усольлага или Нарыблага. Почти у всех у них были беззубые рты. И сильнейшее желание вернуться к своим с зубами — пусть стальными, но все же зубами.

Приезжавшие из Соликамска рассказывали, что живет Костя шикарно. Живет с какой-то недавно освободившейся красючкой, хо-

дит в коверкоте, радуется корешам, хлебосолен и щедр с ними. Впоследствии Костя уверял меня, что никаких законов он не нарушал, с золотом не работал, вот только патент у него был на другого человека, потому что у Кости не было диплома... А Костя считался у него — у дипломированного — подручным. По правилам вроде бы и все правильно! Но все же кончилось это тем, что Костю арестовали, за что-то судили, по какой-то статье дали два года. В близкой к городу колонии Костя отбухал половину срока, освободился за хорошее поведение и рванул с негостеприимного Севера.

Дальнейшие этапы Костиной жизни отмечены всегда внезапными его появлениями у меня в Москве. Сначала он несколько лет жил в Краснодаре. Утратив свою уверенность объехать судьбу, он решил дальше поступать только по правилам. Прописался под Краснодаром, поступил на какие-то курсы протезистов, быстро получил диплом, оформился на работе, женился, родил ребенка... Зарабатывал большие деньги в далеких от города хуторах, где лихо мастерил нуждающимся челюсти. Построил дом в Краснодаре. Кончилось это тем, что он однажды появился у меня в Москве, встрепанный, утративший на какое-то время свою обычную уверенность.

— Не пойму никак, чем я им мешаю? — говорил он мне. — Делаю все по закону! На хутора уезжаю только на выходные, ни у кого не отнимаю кусок хлеба. Протезистов там нет, на меня люди молятся, никого не граблю, беру почти по таксе, зарабатываю свой хлеб честно, без обмана. За что же меня травят как бешеную собаку?! Вызвали в милицию, хотели описать дом. Ну, я его, конечно, на маму записал, пришлось быстро уволиться и рвать когти — ведь опять решетка маячит!..

— Куда же ты теперь?

— На Алтай. Со своим ремеслом покончил! Ну его, за свой же труд, никому ничего не делаю, снова попаду в лапы к вертухаям. Нет, я теперь буду жить по-другому! У моей жены отец живет на Алтае, в глухой деревне. И он — знаменитый, опытный пчеловод. Буду жить у него и разводить пчел. Тут тебе ни патента, ни диплома, ни инструмента... Ульи мои, а цветы — божьи, всеобщие... Сколько накачаю меду — мой он, и имею полное право продавать его на колхозном рынке по всем правилам...

В первые годы своей новой, полусвятой жизни Костя изредка появлялся в Москве, по дороге в Краснодар и обратно. Покупал в Москве вошину, инструментарий, литературу... Всегда привозил банку какого-то невероятно вкусного и душистого меда. Дело свое Костя поставил широко, со свойственными ему деловитостью и умением. Он доставал какие-то машины для перевозки пчел на самые урожайные куски леса и луга, изобрел улей очень удобной конструкции, за хорошие комиссионные охочие до базара женщины продавали Костин мед там, где он был наиболее дефицитен.

Теперь Костя был веселый, довольный. Он начал строить в Краснодаре новый большой дом для себя, рассчитывал когда-нибудь поселиться на любимом Юге. С наслаждением расписывал, какой это будет замечательный дом и при нем сад, а в саду всего несколько ульев: только для себя, только для избранных гостей — таких, как я и Рика, которые обязательно будут приезжать к нему каждое лето в гости...

В один из своих приездов Костя сидел передо мною серый, осунувшийся, с трудом переводя дыхание. Лопнула, разлезлась по швам вся его новая, так старательно собранная жизнь. Пока он ложился костями на этом проклятом Алтае, добывая деньги на светлое будущее, его жена в Краснодаре вела веселую жизнь, жила, как последняя лагерная шалашовка. Ему дали знать, он сейчас же туда, застучал курву на месте, на горячем, а она выгнала его... А дом-то, сад — все на ее имя! Уехал на Алтай, а этот, святой-то старичок навернул его... А ведь формально у Кости ничего нет — пасека числится за стариком... Все деньги вбухал в пасеку, в новый дом, на руках ничего не осталось. Стал качать у старика права — тот пригрозил милицией. Кто-де ты такой? Дармоед и приживала!.. Поехал к матери в Краснодар, ночью пришла милиция: где прописка, чем занимаешься, почему бывшей жене угрожаешь?

... Да, это уж был не тот ослепительно-белозубый, молодой и уверенный счетовод продстола, с которым я познакомился на Усть-Сурмоге... Было в этом человеке уже что-то необратимо надорванное, неуверенное...

Потом он надолго исчез, и я ничего о нем не знал. Однажды неожиданно позвонил по телефону. Голос был спокойный, удовлетворенный:

— Стал теперь вашим земляком — москвич... Да, да — живу в Москве. Работаю в военной организации, женился... Разрешите мне приехать, хочу познакомить со своей женой, повидать вас, Рикку Ефремовну...

Костя нанес нам семейный визит. Был парадный, в хорошем костюме, при галстукке. Красивый. Только посеревший, с опущенными уголками рта, без обычного для него блеска энергии и предприимчивости в глазах. Жена его — полупышная дамочка с востреньким носиком и властными манерами — зорко следила за тем, чтобы визит проходил по всем правилам, и Костя себя вел по правилам. Костю почему-то называла Константином Порфирьевичем, а о себе говорила в третьем лице.

Пока дамы на кухне обсуждали проблемы ведения хозяйства в Москве, Костя в кабинете торопливо, шепотом рассказывал мне про свою новую жизнь.

— Я с ней в поезде познакомился однажды... Ну, таких самостоятельных еще не встречал! Член партии, начальник кадров на одном маленьком заводике... Устроила меня в военной поликлинике, работаю протезистом, передовик, на доске выставили... Прописан за городом, живу у нее — квартира отдельная, однокомнатная, все удобства, все есть, очень авторитетная, начальство к ней в гости — запросто... С милицией живет вась-вась... Ну, сами понимаете — кадры!..

— Так вот на свою зарплату и живешь?

— Ну что вы! Разве на нее можно? Живу, как все. Врач пришлет клиента, на работе сниму мерку, дома сделаю, на работе примерю и надену. Половину — врачу... Ну, как все работают, так и я. Только с тем врачом, что она мне сказала... И вообще без нее — ничего!.. Я при ней — как шестерка... Любит, чтобы глазом только повести — и на цырлах...

— И нравится так?

— Так нравится — не нравится, надо же жить! Не могу больше вот так скитаться, всего бояться... Черт с ним! Буду жить по правилам! Она обещает добиться московской прописки, тогда зарегистрируемся, стану жить, как все, по силе возможности... Не вышло в Соликамске, в Краснодаре, на Алтае — может, в Москве стану жить, как все. Сколько же можно?..

...Грешен — на визит мы не ответили. И не только потому, что кадровичка не понравилась, но и потому, что было жалко и неприлично видеть Костю таким: шестеркой на цырлах... Он и сам не уговаривал навестить его новый дом. Потом он изредка звонил, на мои вопросы и приглашения прийти отвечал уклончиво. Мне казалось, что вдвоем ему приходиться не хотелось, а одному — не разрешали... А потом вышло так, что почти полгода нас не было в Москве. И осенью — этот телефонный звонок, заплаканный голос его сестры...

Я где-то уже говорил, что тюрьма — один из самых консервативных и устойчивых институтов. Во всяком случае, у нас в России. О лагерях это сказать нельзя. Они — неотъемлемая часть нашего общества, в них почти мгновенно сказываются изменения — социальные, политические, экономические, в нем происходящие. Поэтому тот лагерь, куда я попал в 1951 году, был очень отличен от того, который я оставил в 1946-м.

Среди многих изменений одним из наиболее разительных был характер уголовного мира. Послевоенные уголовники отличались от старых своим крайним экстремизмом. Куда девались старые добрые уголовные профессии: жулики, мошенники, аферисты, карманники? Послевоенная формация — это холодные убийцы, зверские насильники, организованные грабители. Но не только это отличало новую уголовную генерацию. Теперь они все были поделены на касты, на сообщества с железной дисциплиной, со множеством правил и установлений, нарушение которых жестоко каралось: в лучшем случае — полным изгнанием из уголовного сообщества, а часто и смертью. Наиболее распространенной формой уголовного сообщества в лагере были "законники". Пребывать "в законе" означало: на работу выходить, но не работать, а только делать видимость работы; не находиться в службе лагеря на любой должности, включая даже такие безобидные, как повар или санитар; не вступать ни в какие отношения и находиться в смертельной вражде с "ссучившимися" — теми, кто, по блатной терминологии, "вышли из закона" и стали работать в службе; быть в полном и безотчетном подчинении у "паханов" и беспрекословно выполнять их приказы...

Жизнь "законников" в лагере была обставлена правилами поведения, которые соблюдались с истовостью почти религиозной. Для блатаря, находящегося "в законе" и этот закон нарушившего, не было другого выхода, как "бежать на запретку". "Запретка" — это распаханная, разровненная граблями полоса земли между высоким забором и низенькой оградой из колючей проволоки. Каждый заключенный, очутившийся на "запретке", должен немедленно лечь ничком на землю: в противном случае его убивал без предупреждения охранник с вышки. На "запретку" бежали "ссучившиеся", преследуемые

своими бывшими товарищами. Надзиратели их выводили из спасительного куска земли и уводили в карцер. Через некоторое время их этапировали на другой лагпункт: здесь уже оставаться они не могли, поскольку были объявлены вне закона...

Из того, что я рассказываю, не следует предполагать, что "законники" жили суровой, почти аскетической жизнью. Они не работали, но им приписывали полную выработку; они облагали денежной данью всех "мужиков" — работающих; они половинили посылки, покупки в ларьке; бесцеремонно курочили новые этапы, забирая у новичков лучшую одежду. Словом, они были рэкетирами, гангстерами, членами маленькой мафии, и все "бытовики" — а их было большинство — ненавидели "законников" лютой ненавистью. После Сталина, когда повеяло либеральным ветерком, по всем лагерям прошли кровавые восстания "мужиков" против "законников".

В Чепецком отделении, где я был с 54-го, главным паханом среди местных "законников" был Ваня Француз. Ничего французского не было в этом лысом, очень тихом и спокойном человеке. Было ему за пятьдесят, и большую часть этих лет он провел в тюрьмах и лагерях, потому что вором стал с малолетства и больше ничем не занимался. Он был очень неглуп, уравновешен, неограниченной властью над своими подданными пользовался без крайностей и соблюдая даже некоторый такт. Со мною — как и с другими нужными людьми — Ваня Француз был предупредителен, безукоризненно вежлив и разумен. Однажды вечером мы с ним разговорились в конторе.

— Иван! — сказал я ему. — Давно хочу тебя спросить: почему ты — умный, немолодой человек — до сих пор ведешь эту жизнь? Сколько времени ты пробыл на воле: ноль целых?.. Неужто такая жизнь тебя устраивает? И тебе не хочется пожить по-людски: с семьей, детишками, не боясь лягавых, сук, ночного стука в дверь?.. У тебя хорошая голова, хорошие руки... На любом месте, на любой работе тебя будут ценить... Ну, не будет у тебя столько монет, так они же интересны молодому, а не таким уже, как мы с тобой!..

— Ах, Мануилыч, — ответил мне, немного подумав, Иван. — Хоть спасибо тебе, что разглядел во мне старика... От хорошего, что ли, я себе такую старость выбрал? И разве хочется мне околевать в лагере, как собаке какой: то ли от колуна, то ли у лепилы в околотке? Вижу, хочешь меня спросить: почему не завязываешь? Завязывал. И не один раз. На канале Волга—Москва — досрочно освободили, почетным значком наградили, грамоту дали... На воле с почетом взяли на работу, старался, как "мужик", честно упирался рогами. Забрали под изоляцию — дали срок ни за хрен собачий... Отбыл пятак, вышел, огляделся — ко мне везде, как к бешеной собаке... На работу не берут, жить в городах не разрешают, а тайга мне обрыдла — вот! Пососал лапу с месяца, второй, ну и пошел по новой... Отсидел трояк, списался с одной заочницей, приехал к ней, показали друг другу, тут бы и начать житуху... А меня ночью с постели мент поднимает: какое у тебя право без прописки с бабой спать?.. Скрипнул зубами да и пошел к старой коdle... Как этот усатый благодетель откинул копыта, выпустили по амнистии, доехали до первого города, там нас — как перепелов! — сетками ловят... Ничего не говорят, дрюкают срока, и все! Там кто-то бабу прижал, там ларек взяли, а они — всех подряд, не разбирая, кто, что?!..

И понял я, Мануилыч, что мне с ними играть невозможно! Для игры должны быть правила! Я их блюду — пусть их блюдет и кто банк держит! А то получается, что у меня на руках двадцать одно, а он мне вдруг говорит: "Сегодня выигрывает тот, у кого двадцать два". У меня двадцать два, а он мне: "Сегодня выигрши при девятнадцати!" Он не блюдет правил, и мне с ним играть невозможно! Банк у них всегда на руках, и они мне никогда не оставят на отмазку... Вот и должен я до конца жизни быть "в законе" — другого ходу у меня нет...

— Знаешь, Иван, странно как-то видеть такого пахана, как ты, выполняющего все эти правила... Они же как игра. Ну, молодым свойственно выдумывать всякое... Раньше этого не было у блатных...

— Не было. Потому что в жизни еще были какие ни на есть, а правила. А теперь на воле никаких правил нет! А жить без них — невозможно! Пусть у нас и дурацкие законы, а зато мы их блюдем! Без дураков! До конца! Какими бы они ни были!..

...Я видел конец Вани Француза. Весной 55-го на Чепецком лагпункте началось восстание "мужиков" против "законников". О том, что такое восстание готовится, знали почти все. Во всяком случае, почти все заключенные. И "мужики" и "законники" — невзирая на все тщательные обыски на вахте — проносили в зону оружие: железные прутья, самодельные ножи, топоры... Начальство, конечно, тоже знало о готовящемся. На вышках были установлены пулеметы, надзиратели озабоченно бегали по всей зоне. Очевидно, они следили за Иваном. Он — при всем своем опыте — проглядел это. Когда стороны с диким ожесточением кинулись друг на друга, когда с вышки — пока в воздух — затрещали пулеметные очереди, два надзирателя подстергели Ивана, когда он был возле запретки, схватили его и мгновенно перекинули через проволоку... Иван упал на проклятую землю запретки, хотел приподняться, но над ним засвистели пули, и он понял, что все кончено...

Все это происходило у самой конторы, мы стояли у окна и видели драматический конец вождя "законников". Надзиратели подскочили к Ивану и подняли его с земли. Он как бы внезапно ослепшими глазами посмотрел кругом и начал кланяться на все четыре стороны — как стрелец перед плахой на Красной площади... Ивана увели за зону, в карцер, а восстание продолжалось, хотя было уже совершенно очевидно, что "законники" потерпят поражение. Через два часа они сдались и лагпункт стал "чистым", все в нем были рассортированы. Мертвых и раненых унесли в стационар, "законников" вывели за зону — им предстоял этап на другой лагпункт, где были только такие, как они. Ивану теперь предстояла совершенно другая, непонятная еще для него жизнь. Теперь его отправят на лагпункт, где собраны "суки", и самому Ивану предстояло дальше вести позорную и непривычную жизнь "ссучившегося"...

...Я вспомнил невеселую историю старого вора в тот вечер, когда Костина сестра сказала мне о его смерти. Они были совершенно

разные люди: Ваня Француз и Костя Шульга. Но оба они погибли из-за того, что участвовали в игре без правил. Очевидно, не только они, а каждый из нас стоит перед этой альтернативой: или примириться с тем, что ты всегда в проигрыше, или же тем или иным способом стараться обойти неумолимого банкомата. Но даже Косте это не удалось. Почему-то среди огромного списка жертв игры без правил, который я держу в памяти, Костю мне особенно жалко. Поэтому я о нем и написал.

Тюремщики

— ...Тьюрема — нет, есть тюремщики!..

Антонио (в моей памяти осталось только имя, может быть, я и не знал его фамилии) это сказал с обычной своей категоричностью. И все население двадцать девятой камеры отнеслось к его словам с полным вниманием. Антонио этого внимания заслуживал. Есть знаменитый рассказ о человеке, который коллекционировал эхо. Антонио, очевидно, коллекционировал тюрьмы и порядочно преуспел в этом занятии. Он сидел чуть ли не во всех тюрьмах мира. Антонио был итальянцем и анархистом. Из Италии он бежал в 1924 году. И с тех пор странствовал по свету, занимаясь своим загадочным анархистским делом. Естественно, что везде его сажали в тюрьму.

К нам Антонио попал не совсем обычным путем. Когда в Испании началась гражданская война, он незамедлительно поехал в классическую страну анархизма, где его единомышленники были хозяевами Каталонии. Так как анархизм у Антонио был лишь дополнительной профессией к штурманскому делу, то он нанялся на испанский корабль, перевозивший оружие из СССР в Испанию. Во время одного из рейсов, когда корабль прибыл в Мурманск, Антонио — когда он сошел на берег — пригласили для консультации в какое-то неизвестное ему учреждение. Через полчаса он уже понял, что его "коллекция" значительно обогатится... В нашей Бутырской камере он был энергичен, жизнерадостен и разговорчив. Раз в месяц, когда нам давали небольшой кусок бумаги, чтобы арестант мог отвести душу и написать куда-нибудь жалобу, Антонио аккуратно разделял листок на две части и писал два письма. Одно он адресовал "Его превосходительству Генеральному прокурору СССР, господину Вышинскому". Второе — "Послу Испанской республики в Москве товарищу Марселю Паскуа". После этого он успокаивался и снова начинал свои бесконечные рассказы.

Так как Антонио был природным полиглотом и по нашим тюрьмам уже таскался больше года, то его странно звучащую русскую речь можно было понимать. Итак, он испробовал тюрьмы и Старого Света и Нового Света. Самые худшие тюрьмы, как утверждал Антонио, в Китае. Там он сидел в обычной яме, накрытой решеткой. Время от времени в яму бросали что-то съестное и опускали ведро с водой. Самые лучшие тюрьмы в мире — в Бразилии. Там они помещаются в бывших монастырях. Арестанты живут в неплохих кельях, которые открыты днем и ночью. Каждый волен делать, что он хочет: рисовать, читать, спорить, разводить цветы в обширном монастырском дворе или же заниматься любовью с добрыми сеньоритами, которые совер-

шали богоугодное дело, ежедневно принося в тюрьму богатую снедь для бедных арестантов. Тюремщиков это совершенно не интересовало. Их долгом было следить, чтобы никто из заключенных не вышел за пределы монастырских стен. Ибо наказание лишением свободы и состояло в том, что свобода была ограничена периметром монастырской тюрьмы.

Так вот, Антонио — этот крупнейший специалист по тюрьмам — говорил, что для арестанта имеет значение не тюрьма, а тюремщик. Лучше очень плохая тюрьма с хорошим тюремщиком, чем очень хорошая тюрьма с плохим тюремщиком. Опыт у слушателей Антонио был ничтожным, мы его слушали с интересом, но довольно рассеянно. Но к словам итальянского анархиста я мысленно часто возвращался во время моих тюремных скитаний. Думаю, что Антонио был прав. И не только в частности, но и в главном. Ипполит Тэн в своей "Истории Франции" писал, что Наполеон превратил Францию в огромную казарму, которая полностью отражала характер ее создателя. Но ничто в государстве так не отражает характер ее создателя, как тюрьма. Она есть наиболее совершенное выражение духа и плоти того, кто стоит во главе авторитарного государства. Ибо он и есть главный тюремщик.

Тюремщик — это не только тот реальный человек, который со связкой ключей ходит по тюремному коридору, открывает камеры, два раза в день считает арестантов, водит их на opravку и прогулку, сажает в карцер, выпускает своих подопечных на время — на допросы — или навсегда: на волю, на этап, на расстрел. Кроме этих, лица которых нам становятся знакомыми, которых мы, не зная их фамилии, награждаем кличками, — кроме них есть еще уйма других тюремщиков. Многие из них и не бывают никогда в тюрьме. Они сидят в нормальных кабинетах с клеенчатыми диванами, дорожками на полу и портретами на стенах. Они занимаются только тем, что читают бумаги, пишут бумаги, разговаривают по телефону, ходят к начальникам и дают им подписывать свои сочинения. В течение рабочего дня они несколько раз звонят по телефону своим женам, любовницам, родителям, детям и спрашивают у них о здоровье, настроении, домашних разносях. Если по окончании рабочего дня нет собраний, они едут домой и в кругу близких предаются всем приятностям или неприятностям домашней жизни. Как все.

Но именно эти люди и сочиняют все правила тюремной жизни. Они определяют время и порядок тюремной прогулки, количество и качество тюремной пищи; они обсуждают и решают, какими должны быть кровати в камерах, должен ли быть на койке матрац или нет, сколько писем может получать арестант, можно ли делать ему передачу и какую... Словом, это они и сочиняют весь комплекс того, что называется тюрьмой. Каждый карцер, прежде чем стать темным и вонючим ящиком или же светлым адом, существует в описаниях, чертежах. Под этими описаниями и чертежами есть подписи авторов, а в углу и по сторонам под словом "согласовано", "утверждаю" стоят подписи начальников этих авторов. И если нужно повесить человека, то эти люди делают чертежи виселицы — как это положено, в разных проек-

циях; и если нужно расстрелять, то они же в чертежах и описаниях предпишут, как и куда стрелять, как и чем смывать кровь; и они же составляют детальное техническое описание тюремных и лагерных кладбищ; они указывают, кто и как должен вырывать у покойника золотые зубы, чтобы добро не пропало; какого срока белье должно быть на покойнике; чем писать номер на деревянной бирке, привязываемой к ноге покойника, и к какой ноге; чем разбивать череп покойника перед захоронением, дабы быть убежденным, что никто не попытается использовать смерть и похороны для бегства...

Все это делают вот эти неизвестные нам люди. Именно потому, что они нам неизвестны, они страшны своей загадочностью. Мне всегда хотелось знать: какие они, как выглядят? Они ведь самые разные. Кроме неудавшихся архитекторов, которые, соблазненные пайками и высокой зарплатой, пошли делать чертежи тюрем, есть и другие: прокуроры, судьи, еще кто-то там... Как, например, выглядит тот самый прокурор, который ответил тете Паше?

Тетя Паша была пожилой, доброй женщиной, которая мыла полы в конторе. Она относилась ко всем конторским с жалостью за их неумение делать что-то полезное и нужное. Обшивала всех нас, ставила заплатки на штаны и телогрейки придурков, не достигших еще тех высот, когда носят одежду только первого срока. История жизни тети Паши была несложной. Сама она из Златоуста, муж у нее погиб во время аварии на домне, осталось двое сыновей-подростков. Жили — соответственно. Добрые люди научили тетю Пашу поехать в Челябинск, купить там чулки и продать их, естественно, с надлежащей наценкой, в Златоусте, где этих чулок не было. Дальше все рассказывалось в обвинительном заключении и приговоре суда, которые, в соответствии с законом, были выданы тете Паше на руки. Она "с целью спекуляции приобрела в Челябинске 72 пары нитяных чулок, каковые пыталась перепродать на рынке г. Златоуста по спекулятивным ценам". Тетя Паша была изблечена, арестована, судима и приговорена за спекуляцию к семи годам заключения, с конфискацией принадлежащего ей имущества. Детей разобрали знакомые, да они уже и могли скоро поступить на все готовое в ремесленное училище. Прошло пять лет, началась война, дети тети Паши достигли возраста, когда можно защищать свою Родину, и ушли воевать. Сначала тетя Паша получила похоронную на младшего, и ночью, оставаясь в конторе мыть полы, она выла и билась головой о столы.

Потом она пришла ко мне в контору с каким-то остекленевшим лицом и протянула толстый пакет, который ей дали в УРЧЕ — учетно-распределительной части. В пакете было несколько медицинских справок, постановлений комиссий, история болезни. И ко всему этому — письмо тете Паше от начальника госпиталя. Речь шла о старшем сыне тети Паши. Он лежал в госпитале после тяжелого ранения, врачи сделали все, что могли, он был, как написано в заключении, "практически здоров" и мог быть выписан из госпиталя. Но у "практически здорового" человека не было одной ноги и обеих рук. Выписать его из госпиталя можно было лишь при условии, что есть у него близкие, которые возьмут его и будут за ним ухаживать. Очевидно, сын сказал, где находится его мать. Потому что начальник госпиталя писал, чтобы мать раненого солдата написала заявление в Прокуратуру СССР, при-

ложила посланные ей документы, после чего ее освободят и она сможет приехать за сыном.

— Мануилыч, напиши, родной...— сказала, плача, тетя Паша.

Я написал. Убедительно написал. Подшил к письму все присланные документы и передал в УРЧ. Прошло два или три месяца, и каждый день я успокаивал тетю Пашу, уверяя ее, что таких заявлений много, что требуется время, чтобы оформить ее освобождение, я расписывал по дням всю длинную процедуру хождения по инстанциям ее дела. Тетя Паша плакала, верила и брала у меня бумагу, чтобы ежедневно писать письма сыну.

Однажды я зашел в УРЧ. На столе лежала грудa бумаг, отсортированных для вручения или объявления арестантам. Мне бросилась в глаза фамилия тети Паши. Я взял и прочитал небольшую бумагу с грифом Прокуратуры СССР. Прокурор какого-то ранга или класса извещал тетю Пашу, что заявление ее рассмотрено и в просьбе о досрочном освобождении отказано "за отсутствием оснований". Я осторожно положил бумагу на стол и вышел на крыльцо, умирая от страха, что могу сейчас увидеть тетю Пашу... Везде: в бараке, в конторе,— везде были люди, которых я не мог, не хотел видеть. Я побежал в сортир и там задрожал, схватившись за вонючие стены из рудстойки. Так со мной было всего два раза за тюремную жизнь. Почему я плакал? Потом я понял почему: от стыда. Я умирал от дикого стыда, невыносимого стыда перед тетей Пашей. Во время первой мировой войны во Франции освобождался от любого срока заключения — даже от пожизненного — арестант, у которого сын погиб на фронте...

За 72 пары нитяных чулок тетя Паша уже отбыла пять лет лагеря, она отдала своему государству двух сыновей, и вот — "нет оснований"...

Я дал себе слово, что если мне суждено будет освободиться, то я приеду в Москву, разыщу этого прокурора, чтобы посмотреть, какой он? Какие у него глаза, как выглядит? Многого я не сделал в своей жизни, и этого тоже. Я даже забыл фамилию этого прокурора. Не то Дмитрошук, не то Дмитриев, не то Дмитриевский...

Но как бы ни была значительна для нас роль этих далеких тюремщиков, мы общались прежде всего с тюремщиками реальными, такими, от которых мы зависели каждый день, каждый час. Так было в Бутырках, в Котласской пересылке. Среди них мы уже различали более мерзких и менее, просто служака и энтузиастов своего тюремного ремесла. От них зависела степень удобств нашей неприглядной жизни. Но никому из нас не приходило в голову, что от них зависит самая наша жизнь. Это я понял только во время своего первого пешего этапа.

Из Котласа нас на барже привезли в Вогвоздино — пересыльный пункт на Вычегде. Это памятное для меня место. Там я познакомился и подружился с Александром Сергеевичем. Там, в Вогвоздине, через пять месяцев после того, как я там был, умерла Оксана — моя жена.

Из Вогвоздина мы шли пешим этапом по недавно построенному тракту Устьвым—Чибья. Прорубленный в тайге, он был проложен по болотам, уже разбит колесами грузовиков, песок и щебенка колыхались под нашими ногами, мы шли по непросыхающим лужам. В день мы делали 25 километров, к вечеру приходили в этапный станок — загороженное забором с вышками место для ночлега арестантов. По-

года в этом августе была теплая, даже жаркая, идти по зыбучему песку было трудно. И еще — нам попался жестокий конвой. Каждое утро мы выстраивались, и начальник конвоя — невысокий, рябой парень — строго оглядывал этапную колонну и медленно, отдельно читал нам конвойную молитву: "По пути движения соблюдать установленный порядок: не разговаривать, выполнять все требования конвоя. Шаг вправо, влево, нарушение правил считается попыткой к побегу, оружие применяется без предупреждения. Понятно?!" Строю арестантов надлежало хором отвечать: "Понятно!" Если начальнику конвоя казалось, что мы отвечаем недостаточно громко и дружно, он снова грозно спрашивал: "Понятно?!" И так до тех пор, пока не получал требуемое удовлетворение.

И весь конвой был под стать своему начальнику — малорослый, рябой и ретивый к службе. Однажды — это было на второй или третий день пути — я заговорился с шедшим рядом Александром Сергеевичем, заговорился настолько, что забыл об осторожности, рассказывая ему историю словаря, редактором которого я однажды был. Вдруг мы услышали крик: "Колонна, стой!.." Мы остановились, не понимая, в чем дело. Напротив меня, на обочине дороги, стоял конвоир и, держа винтовку на весу, кричал:

— Ложись! Ложись, троцкист... твою мать!

Не сразу я понял, что крик обращен ко мне. Я оглянулся и увидел, что стою в глубокой грязной луже. И туда мне предлагал лечь этот молодой рябой идиот, эта скотина, эта вооруженная гадина!.. А я не лягу! И стреляй, сволочь!!!

— Ложись! Конвою сопротивляешься, б...! — Конвоир шелкнул затвором и послал патрон в ствол. Глаза его горели яростно, весело и торжествующе, он весь был какой-то праздничный.

— Ложись! Ложись же, ложись!.. — неся ко мне шепот моих товарищей. И я понял, что вот он сейчас меня застрелит, все окончится, я так и не узнаю ничего о своих, не доскажу своей истории Александру Сергеевичу...

Медленно сгибая колени, я опустился в лужу, приложил щеку к какому-то бугорку в ней и закрыл глаза. Господи! Как бы так лежать и дальше и не вставать...

— Вставай!

Очень медленно я поднялся и посмотрел на конвоира. Глаза его потухли, лицо утратило праздничность, вдохновение убийцы ушло из него. Так ему и не удалось убить. Вероятно, ему это было приятно. Ему было приятно, что он может убить человека, что стоит ему нажать курок — и сразу же исчезнет целый человек со всем миром мыслей и связей, от этого конвоира не зависящих. Этот чужой и независимый мир существует, но лишь до тех пор, пока он не выстрелит.

И я тогда понял, что в одном они, тюремщики, сильны: они могут нас убить. Больше ничего они с нами не могут сделать. Александр Сергеевич (Асы — я так его всегда звал) мне приводил слова Сенеки: "Избежать этого нельзя. Но можно все это презирать". Асы научил меня чувствовать себя свободным от унижения, он научил меня это все презирать. В распоряжении тюремщиков осталось одно: они могли меня убить. Ну и еще могли увеличить или уменьшить меру моих физических страданий.

Поскольку тюремщики все же происходят из людей и по своему устройству от других людей не отличаются, каждый из них обладает уникальностью и своеобразием, свойственными человеку. Поэтому я не считаю, что тюремщики, о которых я буду дальше рассказывать, обладают особенными типическими чертами. Я просто хочу здесь рассказать о некоторых тюремщиках разного уровня, с которыми мне пришлось иметь дело. Это были люди самых разных званий, рангов и возможностей. Среди них были умные и глупые, добрые и злые, чиновники и энтузиасты. Я и миллионы других людей от них зависели. Я расскажу о своих тюремщиках. Пусть другие расскажут о своих. Я думаю, это надо знать всем тем, кто не испытал того, что испытали мы, и не знает того, что знаем мы.

ИВАН ЕФИМОВИЧ ЗАЛИВА

Прошла неделя нашего этапа. Позади остались тракт до Княжпогоста, недостроенная железная дорога от Княжпогоста до Весляны, большие деревянные ворота над лежневой дорогой, что-то вроде триумфальной арки с красивой надписью "УСТЬВЫМЛАГ НКВД СССР". Остались пересыльный пункт нашего лагеря, и 11-й лагпункт, и командировка "Зимка", и Мехбаза. Мы теперь шли по широкой песчаной дороге, взбираясь с горы на гору. По сторонам стоял сосновый бор необыкновенной красоты. Ровные бронзовые стволы уходили в небо. Земля между деревьями была покрыта серебристым ковром, ровным, бархатистым, никогда мною не виданным. Это был ягель. За неделю нашего этапа мы устали, устал конвой, конвоиры не давали нам обычных десяти минут отдыха через каждые два часа пути, больше обычного матерились, подгоняя отстающих, они торопились скорее сдать нас другим хозяевам.

Наконец за крутым поворотом блеснула река. Быстрая на перекатах, спокойная в заводях. Весляна — какое красивое название! Древнеславянское, что ли? На другой стороне реки стоял уже привычный нашим глазам архитектурный комплекс: высокая, из бревен, вкопанных стоймя, зона — забор; за ним приземистые бараки; несколько поодаль невзрачные дома начальников и вольнонаемных; длинное здание конюшни, дымящаяся труба пекарни... Наша колонна медленно проползла через наплавной мост и подошла к вахте. У ворот зоны стояли разные люди: востренькие молодые люди в телогрейках первого срока, с отчищенными фанерками и карандашами в руках — нарядчики; другие личности арестантского вида в белых халатах — очевидно, врачи; надзиратели и вохровцы, одетые отнюдь не для парада. И впереди всех — высокий человек в хорошо сшитой шинели, синей энкавэдэвской фуражке, начищенных до невероятного блеска сапогах. Он весь переплетен ремнями портупей, рука твердо лежит на деревянной кобуре маузера, глаза смотрят снисходительно, но со строгостью. Это и был наш первый лагерный начальник: начальник Первого отдельного лагерного пункта Устьвымлага НКВД СССР — старший лейтенант госбезопасности Иван Ефимович Залива.

О нем я хочу рассказать не только потому, что это был мой первый лагерный тюремщик, но и еще потому, что он был любопытным

явлением. Такого я впервые встретил и мог следить за ним несколько лет. Сама личность Заливы имела значение для многих и очень для нас важных перемен, происходивших в лагере. Мне неизвестна предшествующая лагерю часть биографии Заливы: где учился, где работал, как стал старшим лейтенантом госбезопасности — чин отнюдь не маленький для "органов"... Залива был человеком дикого невежества и редкой глупости. В этом смысле он резко выделялся даже на фоне всего лагерного начальства, не страдавшего излишними знаниями и умом. Он не был вором, как большинство других начальников; не был садистом — с грустным сожалением он провожал глазами сани, на которых в сорокаградусный мороз увозили связанных, совершенно голых отказчиков на штрафную командировку. Скорее в нем присутствовали даже некое украинское добродушие, улыбочивость, умеряемая необходимой для его должности строгостью.

Залива всегда стремился делать то, чего от него хотело его начальство. От него требовали, чтобы он принимал как можно больше з/к з/к, — и он принимал этап за этапом, не отговариваясь, как некоторые другие, отсутствием барачных, палаточных, одежды, инструмента, продовольствия... Во всей своей деятельности он руководствовался прежде всего интересами государства. Из списка продуктов в требованиях на продбазу вычеркивал рис, манку и пшено, заменяя их дешевой ячневой сечкой; солонину заменял треской; справлялся о ценах на медикаменты и требовал, чтобы лекарства были дешевые. Охотно брал с базы бушлаты и валенки второго, а то и третьего сроков вместо дорогих новых. Очень берег самый дорогой инвентарь лагеря — лошадей. Сам ранним утром приходил на конюшню и следил, как кормят лошадей дефицитным овсом. Следил за тем, как отвешивают его и скармливают. Пока Залива ходил на конюшню, арестантам не удавалось отнимать у лошадей причитающуюся им пайку, лошади хмурились овсом на виду у строгого и неподкупного начальника. В месячных сводках по лагерю наименьший отход лошадей был на Первом лагпункте. Заливу всегда за это хвалили.

За "контингент з/к з/к" с него первое время никто не спрашивал. Первый год нашей лагерной жизни — 1938—39-й, когда этапы шли один за другим, Заливу ставили в пример — он всегда находил место для новых "контингентов". Просто эти места у Заливы быстро освобождались. Наш московский этап, прибывший на Первый лагпункт в конце августа 1938 года, насчитывал 517 человек. Весною 1939 года из москвичей осталось на лагпункте 27 человек. Ну, человек 20—30, наверное, были этапированы на другие лагпункты для работы по специальности. Остальные все умерли. В первую же зиму. Кроме московского этапа вымирали смоленские, ставропольские, могилевские этапы.

В ноябре 1938 года к нам пригнали 270 китайцев с Дальнего Востока. Это были жители Маньчжурии — в огромных волчьих шапках, длинных шубах, каких-то особых ватных сапогах. Оказывается, они, испокон веков живя на границе, которая не имела видимого обозначения, летом переходили в Россию и работали до зимы на огородах. В 1937 и 1938 годах их всех посадили, дали по восемь лет за "незаконный переход границы" и послали в лагерь. Залива не мог на них нара-

доваться. Он их поставил на ручную трелевку. Трелевать — это значит доставлять бревна к дорогам вывозки. Треляют обычно на лошадях. Но лошадей было мало, они были дороги, для лошадей необходимо было на лесосеке делать трелевочные волоки. Гораздо проще было трелевать людьми. Человек 6—8—10, в зависимости от кубатуры балана, берут его на плечо и несут. Я был на ручной трелевке и знаю, что это такое. Глаза вылезают из орбит, все мысли вылетают из головы, идешь, думая только об одном: скорее, как можно скорее свалить это страшное, давящее, убивающее... Больше недели такой работы никто из нас не выдерживал. А китайцы день за днем ровно, тихо и спокойно работали. Каждый из них в правой руке держал палку, которой осторожно прощупывал дорогу. Десять человек несли бревно, в котором было почти две тонны, несли осторожно, размеренно, очень хорошо несли.

Они были очень добрыми, честными и работающими людьми — эти китайцы. И даже в лагере соблюдали относительную чистоту. Месяц или полтора Асы и я жили в китайском бараке, что было большим счастьем: в этом бараке не воровали, не грабили, всегда было подметено. Китайцы приходили с работы в полной темноте, съедали баланду, а потом чинили свою разорванную меховую одежду. (Залива на этом сэкономил, можно было им не выдавать лагерной.) Они сидели на корточках на нарах, во рту держали горящую лучину (тогда другого освещения не было) и ловко, быстро зашивали свои тулупы. 269 китайцев умерли к февралю 1939 года. Остался только один, который работал поваром на кухне.

Каждое утро Залива вызывал нарядчика и плановика, тщательно и строго расспрашивал о результатах развода. Сколько прошло по "группе А" — работающие, сколько по "группе Б" — обслуга и сколько по "группе В" — освобожденные по болезни. Он строго следил, чтобы все эти группы укладывались в присланные Управлением лагеря контрольные цифры. И уж потом он спрашивал о "литере В" за ночь. "Литер В" — это умершие. На них Управление контрольных цифр не спускало, а следовательно, за них и не спрашивало. В нашу первую зиму каждые сутки по "литеру В" на нашем лагпункте "проходило" 25—30 человек. Никаких особых болезней и не было. Просто Залива строго соблюдал все правила. Приходил этап, первые три дня люди, согласно инструкции, работали на гарантийном питании — пока не втянутся в работу. Затем их переводили на питание по выработке. Нормы эти были с трудом выполнимы даже для привычных квалифицированных лесорубов, имеющих хороший инструмент. Они были совершенно невыполнимы для людей, непривычных к тяжелому труду, ослабленных тюрьмой и этапом, раздетых и разутых. Через три дня все прибывшие заключенные переводились на штрафной: триста граммов сырого черного хлеба, две миски затирухи в день. И все. Через неделю, десять дней, две недели люди начинали странно пухнуть, неустойчивый понос за два-три дня доводил их до конца.

Простоватый и добродушный Залива на моих глазах только за одну зиму убил около полутора тысяч человек. А может, и больше. И — удивительно: к нему заключенные относились как-то незлобиво, с усмешкой. Дело в том, что для нас в большой мере качество тюремщика измерялось еще и возможностью его обмануть, провести. А глу-

пость, невежество и трусость Заливы давали арестантам немалые возможности. Залива ходил на конюшню и мешал воровать овес лишь до тех пор, пока ветврач уважительно и скорбно ему не сказал:

— Смотрю я на вас — храбрый вы человек, гражданин начальник!

— Это конечно,— снисходительно согласился Залива.— А почему? — вдруг спросил он, побледнев от страха.

— Так ведь лошади-то у нас чем больны? Инфекционной анемией. Ин-фек-ци-онной...

— Троцкист проклятый! — взревел Залива.— Ты чего ж не сказал сразу, что здесь зараза!

Больше ноги его никогда на конюшне не было.

Выполняя старую, никем не отмененную инструкцию о содержании заключенных в лагере, Залива не допускал, чтобы 58-я статья использовалась в обслуге лагеря. Не только нарядчики и коменданты, но и каперсы, завстоловой, пекарней, санитары, дневальные — все они были "социально близкими", как именовались в инструкции воры, бандиты, насильники и прочие уголовники. Естественно, что даже сокращенный в интересах государства паек и вполнину не доходил до работяг. Дикое воровство и произвол были нормой внутриарестантской жизни на лагпункте.

Но при Заливе начал происходить необратимый процесс завоевания лагеря 58-й статьей. Залива процветал лишь первую зиму, когда от него никто не требовал выполнения плана в кубометрах древесины. Но через год, когда прошел угар избыточного количества зеков, из Москвы строго сказали, что лагеря не только должны содержать арестантов, но и давать "отдачу" — так странно и малоприсойно в официальных документах назывался экономический результат работы миллионов заключенных.

И тогда у Заливы стала размываться прежде такая четкая, такая ясная граница между тем, что можно и чего нельзя. Для сохранения благосклонности начальства ему понадобились умные плановики и бухгалтеры, опытные инженеры, способные организаторы, честные кладовщики... Он их мог брать только в пятьдесят восьмой. И выяснилось, что инстинкт самосохранения у Заливы настолько развит и силен, что способен заменить ум, образование, опыт. Залива решительно посылал на общие работы столь милых ему "социально близких", он ставил на все командные посты тех, на кого ему указывали начальник плановой части, главный бухгалтер, врач. Прораб, плановик пользовались тупостью Заливы без всякого снисхождения. Из и без того скромной выработки они значивали чуть ли не половину, и после дневной сводки бледный от страха Залива уже не вызывал плановика, а сам прибегал в плановую часть и заикаясь, почти униженно просил "подкинуть" ему несколько десятков или сотню кубометров... К ночи прежде столь грозный и уверенный в себе начальник делался жалким и потливым от дикого страха: каждую ночь сейчас шла селекторная переключка.

Примерно к полуночи в кабинете Заливы собирались главные начальники лагпункта. Заливу, сидевшего за роскошным письменным столом, изготовленным собственным краснодеревщиком, окружали разных званий вертухаи: начальник охраны, "опер", начальник санчасти, начальник КВЧ (культурно-воспитательной части). А поодаль си-

дели начальники из зеков: плановик, бухгалтер, нормировщик, контрольный десятник, прорабы. И на них-то, на них — с выражением страха, скорби и надежды — смотрел Иван Залива. Как же он проклинал, наверное, эту проклятую технику, этого арестанта-радиста, который так ловко и быстро все устроил и скромно сидел тут же, чтобы, если понадобится, устранить повреждение в трансляционной сети.

Все сидят, разговаривая вполголоса, как будто их могут услышать еще более, чем они, всемогущие начальники, которые сейчас так же сидят там, в Вожаеле, в кабинете грозного начальника Управления лагеря. Залива не сводит скорбно-собачьих глаз с небольшого квадратного ящика, стоящего на столе. Наконец, ящик начинает трещать, хрипеть, откашливаться. Из него вылезает голос начальника производственного отдела, опрашивающего все лагпункты, участвующие в перекличке. Потом из ящика раздается спокойный, уверенно-наглый голос самого начальника Управления. Бедный Залива командует на Первом лагпункте, поэтому с него начинают, ему достается самая большая часть начальственного гнева и усердия.

— Залива! Давайте сводку выработки.

Дрожащий голос Заливы прерывается рыком:

— Сколько, сколько? Вы чего там, бездельники и дармоеды, делаете? Где государственный план? Я вам послал контингент, я вам подкинул лошадей, где отдача? Я вас, дурака, заставлю эти кубы на своем... принести!

Когда Залива пробует в этот поток ругани вставить робкое слово оправдания или обещания, его останавливают так, что даже привычные вертухаи начинают упорно смотреть в пол. Наконец, эта пытка временно приходит к концу.

— Если завтра не повысите выработку на сто пятьдесят кубов, вы у меня все с голыми ж... в лес пойдете кубы давать! А что с вами делать, когда не можете зеков заставить работать!

Потом идет разговор с другими лагпунктами — более счастливыми, а часто и менее счастливыми... Время от времени начальник вспоминает про Заливу:

— Залива, вы здесь? Слышите, как работают на четырнадцатом? А у них и людей и лошадей меньше! Там умеют заставить работать! Там знают, что такое государственный план! А на первом, наверное, санаторий устроили, пользуются тем, что начальник дурак!..

А ведь Залива считал, что заставлять работать он умеет!.. И врачей, и всех лагерных придурков заставлял часто в лес идти... Но вот кубы, где брать эти проклятые кубы?!.. Их можно было взять, только обращаясь к "троцкистам". И Залива вымаливал у плановика сотенку кубов "на собственные нужды"; он согласен был на то, чтобы в кабинке прораба жила его любовница; он вообще был согласен на все ради сохранения своей нелегкой, а все-таки начальственной жизни. Кроме страшной ночи переклички, был и день. Когда можно было сидеть в кабинете, карать, а если надо — то и миловать; когда можно было на превосходных легких саночках, в которые был впряжен чистокровный рысак — из анемийных — объезжать "объекты"; когда можно было, прожив день, подсчитать, сколько он ему, Заливе, лично дал прибыли и убытка. Дело в том, что Залива был еще феноменально скуп. Воровать он боялся, потому что его трусость была почти рав-

на скупости. Но на себя и жену-он старался тратить как можно меньше. Обед — как пробу — ему приносили из арестантской кухни. Так как обед этот всегда был сытный и вкусный, то недоеденное он брал с собой — для жены. Даже хлеб ему приносили из пекарни — “для пробы”. Когда все же жена должна была выкупать паек — не пропадать же ему, — она записывала количество и цену каждого продукта. Залива с этой бумажкой приходил в бухгалтерию и проверял: не обсчитала ли его жена. Иногда он и сам перевешивал продукты. Все в его доме было заперто, ключи Залива носил с собой... Утром он выдавал же-не харчи, потребные для прокормления...

По мере того, как люди в лагере становились относительно дороже, а требования “отдачи” все увеличивались, Залива все время понижался в должности. Он стал заместителем начальника, потом переведен на маленький лагпункт, где делали лыжи, потом еще куда-то. К концу войны я застал его начальником небольшой командировки — так назывались филиалы лагпунктов. После войны он уволился и распродал все свои вещи. Заключенным он продал некоторые сношенные шинели, продал им своего большого рыжего кота. Долго и страстно торговался с ними, перечисляя все превосходные качества кота.

Он уехал на свою Украину, увозя замученную жену, огромные сундуки, неизвестно чем набитые, и добрый шматок денег, заработанных годами усердия и привязанности к родному государству. Друзей он на Первом не оставил, зла к людям не имел и через несколько месяцев прислал начальнику охраны довольное, сытое справедливостью, письмо. Его все же оценили: не на лютном и надоевшем Севере, а в родной теплой Полтавщине назначили начальником райотдела МГБ.

КОРАБЕЛЬНИКОВ

В Котласе на пересылке я его ни разу не видел. Не видел я его и когда нас вели на пристань. Я на него обратил внимание лишь к концу первого дня жизни в барже. Буксирный пароходик не спеша тащил по Северной Двине, а потом по Вычегде две баржи с арестантами. В трюме нас было набито человек четыреста или пятьсот. Негде было присесть, спать ложились по очереди. Нар в трюме не было, мы просто сидели и лежали на грязном и сыром полу. Дождь бил в потолок и борта, речная волна плескалась где-то выше головы. Кормили нас почему-то только селедкой. Правда, какой! Это была настоящая дальневосточная “иваси” — небольшая, жирная и вкусная до изнеможения. Мы ее ели с кожей, чешуей, потрохами, головой, хвостом, костями. Вот только после нее хотелось пить, а сырую забортную воду давали только два раза в день по одной кружке. К люку, ведущему на палубу, днем и ночью стояла длинная очередь. Переминаясь с ноги на ногу, кроя конвой в гроб и душу, люди нетерпеливо стучали в люк. Нюгие не выдерживали, мочились и испражнялись тут же в углу. Наверху, на мокрой палубе, вусмерть пьяные конвоиры плясали и истощно кричали песни. Время от времени они открывали люк и провожали пинками очередной десяток арестантов, спешивших пробраться к маленькому дощатому сортиру на корме. Наиболее строптивых арестан-

тов конвоиры раздевали догола и усаживали на деревянную чалку. Сидя под дождем, наказанный зек становился свидетелем всех причуд конвойного веселья.

И вот там в барже я увидел Корабельникова. Плотно сбитый, без всяких признаков тюремной бледности, он выделялся своей уверенностью и спокойствием. Был хорошо одет, прямые пшеничные волосы он ежеминутно встряхивал, резко вскидывая голову. И были у него странные какие-то глаза: светлые, почти такого же цвета, как и волосы. От этого его круглое лицо приобретало необычный вид — как у незрячего, чьи глаза закрыты бельмами. На барже большинство сбивалось в кучки, свои жались к своим. Впервые нас соединили с уголовниками в Котласе, но и там пятьдесят восьмая жила в отдельных бараках. В трюме баржи мы были вместе, но мы не смешивались — как вода и масло. И внутри каждой категории люди распадались еще и на сокамерников, на мелкие подгруппы, основанные на каких-то неясненных, но общих интересах.

Корабельников не примыкал ни к одной группе, он ни с кем не смешивался. Он не был похож ни на блатного, ни на политика. И селедку он получал на себя одного, и сам ее ел, не входя ни в одно из арестантских сообществ, организованных по великому принципу "кушаем вместе". И его нисколько не смущала эта отчужденность от других. Он уверенно переступал через лежащих на полу людей, он дышал воздухом трюма, состоящим главным образом из запахов мочи, селедки, кишечных газов, махорочного дыма, так свободно и легко, как будто это был воздух леса или покрытого цветами луга.

Познакомились мы неожиданно. Я отошел от своих к борту. Там из каких-то щелей бил свежий, холодный воздух, и можно было к такой щели припасть и подышать всласть. Я присел на пол, оглянулся. Около меня сидел этот, замеченный мною уже раньше, человек с желтыми глазами. Неподалеку, разлегшись на своих скудных сидорах, блатные пели старую соловещью песню:

Трюм наш тесный и глубокий,
Нас везут на "Глебе Бокий",
Как баранов...

— Да, — вскинул голову желтоглазый, — Глеб Иванович Бокий! Авторитетный был человек!!

Я повернулся к нему:

— А вы что, знали Глеба Ивановича Бокия?

— Ого! А как же! И не его одного. Кого только не знал, кого только не видел! И Артузова, и Молчанова, и Бермана... Ну, само собой — Паукера... А ты откуда Бокия-то знаешь? Или тоже?..

— Это мой тесть...

— А! Ну, ясно-понятно, значит...

Желтоглазый оживился, на лице его исчезло то странное выражение, которого я раньше не понимал. Это было выражение превосходства над всеми этими людьми в барже. Это выражение я видел на его лице почти всегда. Кроме тех редких случаев, когда мне приходилось быть свидетелем разговора Корабельникова (такая обычная фамилия у желтоглазого) с начальством. С любым начальством. Тогда у Кора-

бельникова желтые глаза его загорались собачьим умом: вниманием, почтением и пониманием. А потом глаза снова потухали, и он снова смотрел на ненадлежащий мир спокойно и равнодушно. Даже без зла. Это было удивительно, потому что из множества злодеев, которых мне пришлось в этом странном мире встретить, Корабельников произвел на меня особо страшное впечатление. Уже после лагеря, даже после второй тюрьмы, второго лагеря, Корабельников — его прямые пшеничные волосы, его желтые и равнодушные глаза мне снились по ночам, и я стонал во сне и просыпался, покрытый липким потом.

Даже такого нечеловека, каким был Корабельников, очевидно, тяготили одиночество и невозможность разговаривать о том единственном, что он считал ценным и интересным в жизни. Меня он сразу принял за "своего". Я ведь знал по фамилии всех его богов — начальников, я был зятем одного из них, человеком, безусловно, с его точки зрения, посаженным во все тайны, в которых он жил. Мне было нетрудно поддерживать в Корабельникове эту уверенность. Много тайн я знал, а о тех, каких не знал, говорил как о чем-то мне давно и хорошо знакомом. Корабельников мне был страшен и непонятно отвратен с первого взгляда, первого звука его голоса. Но неистребимое любопытство жило во мне, и я — осторожно, чтобы не вспугнуть, — потрошил то липкое, страшное и омерзительное, чем он был наполнен.

В служебной энкавэдэвской иерархии Корабельников занимал весьма ничтожное место. Он был рядовой оперодчик, работал в оперативном отделе НКВД, начальником которого был Паукер. Это отдел, который занимается слежкой, охраной начальства, арестами, выполнением приговоров. Но, судя по рассказам Корабельникова, он был при малом своем звании — не то младший лейтенант, не то просто лейтенант — человек доверенный. Теперь я жалею, что не сумел в себе преодолеть ужас и брезгливость и уже через два дня стал скрываться в трюмном аду от Корабельникова, от его рассказов. Но Корабельникова я навсегда запомнил. И сейчас я совершенно отчетливо вижу его круглое и плоское лицо, его прямые, вскидываемые вверх волосы, его похожие на бельма глаза. И слышу его ровный и спокойный голос:

— ...Работать, конечно, можно везде. Но у нас надобно иметь сноровку и — знаешь — такое понимание. Я на наружном работал немного, работа малоинтересная, перешел на операции. Ну вот там надо понимать всю тонкость. Я когда прихожу на операцию, сразу же срисую себе, что это за народ. На того, кого беру, и не смотрю — его без меня будут колоть. А вот я сразу же берусь за всю кофлу в его квартире. И сразу же соображаю, кто ему — арестованному — кто есть. За кого он — за мать, или за жену, или за сына, дочь — за кого он больше боится, кого больше обожает, что ли... И берусь за того... Ох, берусь так, что голубчика на Лубянку привозят уже готовенького — только оформляй... Делаю обыск и по глазам все узнаю — где что искать или что им всего дороже. И не нужно это, конечно, всякая там ерунда — кукла какая от помершей девочки или что... Но сразу же понимаю, как что брать, чтобы их всех перевернуло! Знаешь, в ногах валялись, на все готовы были... И бабы такие из себя красивые да гордые готовы тебе сапоги лизать, могу любую из них тут же... Конечно — ни-ни... Невозможно. Не могу!.. Паукер на этот счет был строг, я же себе не враг. Некоторые из наших так, незаметно от дру-

гих ребят, дадут свой телефончик и потом пользуются. Самого-то уже отвезли в Лефортово и в расход списали, а его баба или дочка, скажем, ездят, куда им скажут, дают со всем усердием, верят, что поможет, выпустят ихнего... Но это дело рискованное, я на это никогда не шел, начальство всегда во мне было уверено: ни на шаг ничего не нарушу, все сделаю как надо! Мне их трахать и не надобно, мне достаточно знать, что могу, что захочу я — все с ними могу делать!..

Сам Волович меня заметил, иногда самолично вызывал и давал распоряжения такие, которые не мог доверить какому-нибудь пен-тюху. И было, было всякое, занятное было, да...

— Государственное?

— И государственные дела были, ответственные. И другие. Ну, ты же знаешь, все эти начальники люди-человеки, всех тянет на такое сладенькое, что не позволено. Это меня они в клочья измочалят, если я при обыске что-нибудь там сопру или отведу девочку в другую комнату для личного обыска... А у самих есть такие, понимаешь, дела, ух, только держись! И в делах государственных, и в своих — всегда нужны верные люди. Я всегда был верным!

...В 34-м, первого декабря, нас всех вызвали, со всех концов Москвы собрали. Паукер и Волович лично отбирали людей. Меня первого вызвали. Ночью нас всех в специальный поезд и в Ленинград. Приехали. Перрон оцеплен. Встречают нас Медведь, все ихние начальники. Нас сразу же на машины и на Литейный. И там меня вызывают и дают поручение, какое не каждому дадут. Мне и еще одному парню. И почти месяц сидел в тюрьме, во внутренней...

— Это за что же?..

— Ну не арестантом же сидел!.. Я сидел в камере с Николаевым. Что Кирова шлепнул. И не подсадкой сидел. Николаев знал, кто я. Мы с моим напарником сменялись каждые шесть часов. Его ни на минуту одного не оставляли. Один только раз, когда к нему в камеру пришел сам Иосиф Виссарионович, мы его одного с ним оставили. Вот так они в камере беседовали целый час, а мы стояли за дверью. А с нами знаешь кто?.. Ух! Вот где было начальников!!

— А потом?

— А потом Сталин вышел, а я зашел.

— А какой он был, Николаев?

— Так, чудик. Как будто его мешком по голове хлопнули. Завалится на койку и лежит, голову кутает... Ну это я ему запрещал. Не полагалось, голова и руки должны быть все время на виду, чтобы не сделал, дурак, с собой что-нибудь... Или же бегаёт по камере, сам с собой чего-то разговаривает. А то начинает меня расспрашивать.

— Про что?

— Про волю, про то, какая погода. Его на прогулку не водили. А то вдруг спросит про то, что в театре идет... Один раз спросил, как расстреливают, — вот чудик-то! Смехота! Я ему говорю: узнаешь сам, чего спрашиваешь... Вот так я с ним был все время, устал, понимаешь. Это же надо понимать — сижу в тюрьме, света белого не вижу. Из камеры выхожу, тут же во внутренке ложусь спать — потому что должен быть выспавшись и бодрым, на службе нахожусь. Как пришли его брать на расстрел, так, понимаешь, вздохнул с таким облегчением.

Проводил его, поехали мы с напарником в наше общежитие, приоделись во все вольное, завалились в "Асторию" и как кутнули, ух! И девочек он раздобыл, хорошо, культурно провели время. По-человечески хоть отдохнули после такой работы...

— А с ним, значит, не пошли?..

— Это с кем? С Николаевым, что ли? Чего я не видел, подумаешь! Видел я, как их коцают. Так ведь какая в этом корысть? Вот если бы взяли исполнителем — другое дело! Да это и не по моему характеру. Конечно, Маг у нас был первым человеком. Самое высокое начальство с ним всегда за ручку, чего только скажет — сразу все, пожалуйста. Всегда пьян, всегда бабы, специальную конспиративку держали для него, он туда баб водил. И охрана при ней. Вот как он шлепнул Зиновьева, Каменева там, Бухарина, ну и всяких других — захотел иметь орден Боевого Красного Знамени и чтобы указ об этом во всех газетах был. И — пожалуйста! Наградили, и указ в газетах. А подумаешь — дел-то куча, пухнуть в затылок... Ну а в помощниках у него ходить — была охота! Видел раз, после того как Каменева шпокнули, как они работают, его помощники. Крови из него, как из свиньи какой... Тащи его в машину, вези, обмывай пол, да что я ему — уборщик какой, что ли? Нет, мне такая работа — в помощниках — она без интереса. Мне что интересно: самому быть начальником, мне самостоятельность интересна! Пока я по-глупому не подгорел, у меня работенка была будь спок! Самая чистая, разлюбезная, красивая была работа! Ух, как вспомню, что потерял по собственной своей глупости, так сердце заходит!..

— А что же это была за работа?

— А это, понимаешь, в прошлом году было. Работа такая. Вот мы с моим напарником — тоже был грамотный, образованный, знаешь, парень — приезжаем вечером в "Метрополь". Одеты мы по самой моде, в самые дорогие габардины и коверкоты, шили нам шмотки в мастерской, где само начальство шьется. В кармане полно монет. У подъезда остается оперативная машина с человеком, а мы — как иностранцы какие — сидим на самом лучшем месте. Столик нам уже оставлен недалеко от фонтана, оттуда всех видно. Ну, метр да шестерка знают, что мы за люди... Конечно, за все платим, чего не платить — деньги казенные. Но счет-то один, а натура другая! Выпьем две бутылки самого дорогого испанского коньяка, а в счете показана одна пол-литра русской горькой... Едим мы лососину да котлеты де воляй, а в счете гуляш да кета... А служат с поклонами, в глаза заглядывают, ну, понимают, кто они и кто мы — что они против нас и что мы с ними сделать можем...

...Вот так сидим целый вечер, не спеша так, по-благородному, по-иностранному, едим и закусываем и смотрим. Сидят там иностранцы, из посольств — мы уже знаем, из каких, кто они. Смотрим, не подходит ли кто к ним из советских. А то и не перемигиваются ли с кем? Потому что из не своих к ним кто же подойдет по своей охотке, все знают, чем такое окончится... А вот мигнуть — это могут. Так, чтобы незаметно. Ну, от нас ничего не скроется!

Хорошо быть самостоятельным! Знать, что ты хозяин! Бывало, сидишь так, уже вторую бутылку кончаем и смотрим. Вокруг фонтана танцует всякая эта шушера — считают себя черт знает кем! Поду-

маешь, он там университеты кончал, зарплата ему хорошая идет, с ним клевая девочка, невеста там или кто ему... Вот он вьется вокруг нее, глазки у них горят, счастливые, дескать, до усеру... Про нас они ничего не знают, да знали бы — и внимания не обратили... А хозяйева-то ихние — мы... Вот так они меня с моим напарником выведут из терпения, я ему говорю: давай оформим, что ли. Давай, говорит!..

Ну, тут мы тихо встаем, напарник мой идет в гардероб, там для нас специальная комнатка была... А я так вежливо, интеллигентно подхожу к ним, извиняюсь так перед его бабой — как положено — чин-чинарем! — и прошу его на пару слов... Она так кивает головкой, а я его спокойноенько пропускаю вперед в гардероб, а там — когда он спрашивает: в чем, мол, дело? — ему книжечку из кармана... И — в комнатку. Там мы его сразу за карманы, отбираем что есть, напарник берет его номерок, приносит пальто — одевайся, парень, кончилось твое счастье... И — в машину. Привезем, сдадим. А иногда еще возвращаемся обратно. Сидит его баба ни жива ни мертва, небось и монет у нее нет расплатиться. Вот умора-то!.. Пропал ее парень, нету его, кранты ему!.. А время такое, что понимает — конец!.. Если бы хотел, тут же мог бы к ней подойти и везти ее к себе — на все бы согласилась небось, лярва!.. Но я знаю — тут сидят и другие наши. И от Паукера и от особоуполномоченного — это зачем же мне засыпаться?!..

— Постой! Ну вот вы привезли этого человека, сдали его... А за что? В чем его вина? Что вы про него говорите?

— Ох и непонятлив ты! Что с ним делать — не наше дело. Там сидят ребята не дураки, оформят его как надо. Взят по подозрению, перемигивался с иностранцами, дескать... Наше дело подозреваемого взять, ваше дело разобраться, оформить, если что... У опытного и ловкого парня он тебе на всю катушку напишет... А если следователь поленился, даст ему лет восемь по подозрению в шпионаже — и будь здоров!.. И не кашляй!..

— А вдруг здесь, в барже, ты встретишь вот таких своих крестников? Или в лагере?

— Конечно, может быть неприятность. Ну да конвой знает. Ты не думай, наша служба еще не кончилась. Если вместе попадем, увидишь еще, что за человек Корабельников! Держись за меня, жив тогда останешься.

— А за что же тебя вот так и взяли?

— За глупость мою. По службе я всегда был справен, на самом хорошем счету. И вот по пьяному делу трепанулса самому своему большому корешу, — дружил с ним душа в душу! — трепанулса я ему про одно бабское дело у начальника... Ну дурак же был — откуда это на меня нашло! А кореш, конечно, стукнул... Меня за задницу!.. Повинился — вот здесь я, делайте со мной что хотите — виноват, исправлюсь!.. И, понимаешь, ерундистика какая получилась: я во внутренней еще сижу, а уже того начальника, про которого я трепанулса, взяли да дают ему такие бабки — ой-ой-ой!.. А мне все равно: раз трепанулса, вышел из доверия, должен быть наказан!.. Сунули мне пятак СОЭ и в общий этап. Ну, этап-то общий, да я не общий. Я свое выслушу. Я не пропаду!..

Собственно, на этом разговоре и кончилось мое общение с Корабельниковым. Вероятно, если бы я нашел в себе силы, я мог бы у него узнать еще немало интересного для историка и исследователя своего времени (какими я, да и, наверное, множество других людей себя считали). Но сил преодолеть отвращение от его лица, глаз, рассказов у меня не было. Я скрывался от него среди своих. Когда он пробирался по трюму, очевидно разыскивая меня, я прятался...

В Вогвоздине, где нас выгрузили из барж, он куда-то скрылся, я его ни разу там не видел. И в этапе с нами его не было. А все же Корабельников объявился — как нарочно! — именно на нашем Первом лагпункте. Мы уже работали месяц — ходили на разрубку трассы лежневой дороги. Погода испортилась, шли холодные осенние дожди, мы приходили насквозь мокрые, в остатках своей гражданской одежды, неспособной удержать немного наше тепло. Жили мы в огромной палатке, безнадежно сырой и грязной. Спали вповалку, прижатые друг к другу, на сплошных нарах, изготовленных из кругляка. Грязь и копоть от костров въелись в наши лица настолько прочно, что мы и не пытались их отмыть. Система старшего лейтенанта Заливы за один месяц превратила нас в ходячие скелеты, изуродовала обросшие грязной шерстью лица.

Когда я увидел Корабельникова у крыльца конторы, я не испугался, что он меня узнает, — это было невозможно. Корабельников был одет в новую лагерную униформу. О том, что он уже в немалых лагерных чинах, можно было догадаться по тому, что его телогрейка была дополнительно и тщательно простегана, в ней были сделаны два боковых кармана, в которые Корабельников засунул свои большие бледные руки.

— Кто это? — спросил я у одного всезнающего одноэтапника.

— Начальник новой подкомандировки. Прибыл к нам по спецнаряду.

Подкомандировка, которую приехал создавать на нашем лагпункте Корабельников, оказалась штрафной. В лагере всегда есть специальный штрафной лагпункт. В нашем Устьвымлаге штрафной лагпункт был — Девятый лагпункт. Но кроме этого общелагерного лагпункта, куда посылали заключенных по указанию управления, большим лагпунктам разрешалось создавать собственные штрафные командировки, так сказать, местного значения. Залива добился того, чтобы ему разрешили такую командировку сделать — он тогда был у начальства в фаворе. Корабельников был прислан как специалист. Он оказался прав, верная его служба не пропала даром.

Штрафная командировка была построена в десяти километрах от лагпункта. Бесконвойные, а затем и конвойные, которые ее строили, шепотом рассказывали про нее страсти. В зоне два построенных из мелкотоварника низких барака. Стены не законопачены, нары общие, на окнах решетки, двери всегда на запоре, в бараках параша. Кормят тут же в бараке — как в тюремной камере. Кормежка штрафная: четыреста хлеба, две миски баланды в день. Но больше всего поразил строителей командировки карцер. Он был совсем другим, нежели наши обычные карцеры. Это был сруб, сделанный как колодец. Человека туда укладывали связанным, прижав голову к коленям. Двери в карцере не было, просто приподнималась круглая

крыша, чтобы уложить человека, а затем его накрывали крышей, запиравшейся деревянными клиньями. Помещался в этом карцере лишь один человек. Но так как в этом страшном сооружении не было никакого отопления, то зимой карцёр освобождался очень быстро: через час-другой наказанный превращался в заледенелый, неразгибаемый труп. Его и хоронили так — согнутым. И могилы для них рыли особые — круглые. И в первую зиму нашу лагерную самой большой угрозой у начальников было:

”Ты у меня ляжешь в круглую яму!..”

Второй, маленький барак на штрафняке был для женщин. Только от них в лагере стали потом известны все подробности деятельности Корабельникова. Только от женщин. Только они (не все, конечно) возвращались со штрафной. Мужчины погибали все. Почти без исключения. Отправление на командировку к Корабельникову означало верную смерть. Каждая отправка на штрафняк превращалась в далкое, невысказанное зрелище. Пытаясь хоть как-то отсрочить этап, некоторые блатные прибежали к старому приему: раздвигались догола, думая, что в таком виде их зимой на этап не пошлют. Но на Корабельникова, который сам, как ангел смерти, приходил за сырьем для своего карцера, это не действовало. Голого человека связывали, несли из барака через всю зону, проносили через вахту и бросали на сани. Потом его неторопливо везли на штрафняк. Вой замерзающего человека стихал в отдалении. Залива, грустно и укоризненно качая головой, провожал еще одного плохого и неразумного з/к.

Корабельников меня ни разу не увидел — страх, что он меня может увидеть, был одним из наибольших среди всех страхов лагеря. Я прятался от него, благо это было и нетрудно. А в конце декабря 38-го года меня отправили на третью командировку. Оттуда меня привезли весной, когда командировка наша почти уже вымерла. И головной лагпункт был тихий и малолюдный. Зимой новых этапов не было, а большинство старого лагнаселения свезли на кладбище. И штрафняк был закрыт, а сам Корабельников по спецнаряду отправлен в Управление для выполнения новых заданий.

Летом 1940 года я получил пропуск и отправился бесконвойным на сплав. Когда я вернулся, то, пользуясь пропуском, пошел на бывший штрафняк. Зона была покосившаяся, в некоторых местах заваленная. Проволока запретки вбита в землю. Страшная неживая сырость была в осевших бараках. Сколько людей прошло через них? За зоной стоял хорошо срубленный дом, где жили охрана и один заключенный — Корабельников. Лагерные шалашовки, побывавшие на штрафняке, рассказывали, что начальник штрафной жил с охраной душа в душу, жил хорошо и весело. Лагерных женщин приводили туда мыть полы и развлекать конвоиров — Корабельников знал, что нужно начальникам. Недалеко от зоны я увидел странное сооружение, похожее на сруб колодца. Нелепая круглая крыша валялась на земле, почти невидная среди густо поднявшегося иван-чая. Земля вокруг страшного сооружения была неровной, вздыбленной в нескольких местах. Не сразу я догадался, что это кладбище. Круглые могилы...

А Корабельникова я больше никогда не встречал и ничего о нем больше не знаю. Хотя, став вольнонаемным, расспрашивал о нем наших ребят в Управлении и на других лагпунктах. Я думаю, что его

расстреляли, когда по всем местам заключения искали и забирали людей, имевших какое-либо отношение к убийству Кирова и его расследованию. Наверное, дотошные и верные служаки — такие же, как Корабельников, — добрались до него. И тут уж ему ничего не помогло, никакая верная служба. Ну, должен был сам понимать: работа есть работа...

От того, что Корабельникову выстрелили в затылок, я не получил никакого удовлетворения. Мне он кажется по-прежнему живым, когда я думаю о нем, — я стараюсь это делать как можно реже, — меня начинает бить дрожь от неутоленной злобы. В моих глазах этот маленький и ничтожный человек дослужился до большого чина: он стоит неподалеку от главного его бога — от Сталина.

ПОЛКОВНИК ТАРАСЮК

”...В лагере только первые десять лет страшно. Потом — привыкаешь”. В этой лагерной присказке, кроме ”веселия висельника”, присутствует и немалая доля здравого смысла. В условиях скольконибудь обычной лагерной жизни зек, переживший первые два-три года, имеет шанс отбыть весь свой срок. К лету сорок первого года мы уже были спокойными и обычными лагерниками. Кто не выдержал, того уже ”списали по литеру В”, а уцелевшие приспособились, пристроились к работе полегче, наладили связь с родными, регулярно получали письма и посылки. Уже создались прочные связи, у кого дружеские, у кого почти семейные, мы получали много книг из Москвы, некоторые из нас стали бесконвойными. Заливу успели понизить, новые начальники были более разумными людьми. Стараясь получить от заключенных большую ”отдачу”, они понимали, что для этого надобно их кормить получше. Чтобы дойти до этой истины, не требовалось ни особого ума, ни гуманистических вывертов: большинство начальников были из крестьян и знали, как надо обращаться со скотиной.

Так продолжалось до 22 июня 1941 года. Тот шок, который испытали все без исключения — и начальники и арестанты, — у начальников сказался в идиотско-бессмысленном взрыве предупредительно-пресекательных мероприятий. В первый же день войны в зоне сняли все репродукторы, была полностью запрещена переписка, запрещены газеты, отменены посылки. Рабочий день был установлен в десять, а у некоторых энтузиастов и в двенадцать часов. Были отменены все выходные дни. И конечно, немедленно наведена жесточайшая экономия в питании зека.

К осени людей начала косить пеллагра. Мы тогда впервые услышали это страшное слово и со страхом стали у себя обнаруживать начальные, а затем прогрессирующие следы этой ”болезни отчаяния”, как она именуется даже в медицинских учебниках. Становится сухой, шершавой и шелушащейся кожа на локтях; на косточках пальцев рук появляются темные, быстро чернеющие пятна; на горле становится все явственнее темный ошейник из сливающихся пятен. Потом начинаются быстрое похудание и неудержимый понос. Собственно, это уже почти конец. Понос уносит слизистую кишечника. А она не

восстанавливается. Человека, утратившего слизистую кишечника, уже ничто не может вернуть к жизни.

В течение двух-трех месяцев зоны лагеря оказались набиты живыми скелетами. Равнодушные, утратившие волю и желание жить, эти обтянутые сухой серой кожей скелеты сидели на нарах и спокойно ждали смерти. Вozы, а затем сани по утрам отвозили почти невесомые трупы на кладбище. К весне 42-го лагерь перестал работать. С трудом находили людей, способных заготовить дрова и хоронить мертвых.

И тут-то выяснилось, что военный энтузиазм лагерного начальства был совершенно неуместным. Оказалось, что без леса нельзя воевать. Лес необходим для строительства самолетов, изготовления лыж, для добывания угля. А самое главное — для пороха. Основой всех современных порохов является целлюлоза, которая, как известно, делается из древесины. Как ни нужны были люди на фронте, но работники лесной промышленности были почти все на броне. И все наши начальники были на броне. Вот только требуемый от них лес они не могли дать: некому было его рубить... И тогда только самое верховное начальство стало делать минимально разумное. Заключенных лесорубов стали кормить по нормам вольных рабочих; заключенные стали единственными людьми в стране, которым разрешалось отправлять продуктовые посылки; была восстановлена переписка, повешены репродукторы, начали приходить газеты. И немедленно полетели со своих мест одни начальники и прилетели другие.

Вот тогда-то мы услышали фамилию нового начальника Усть-вымлага — полковника Тарасюка. К этому времени в наш лагерь влили остатки эвакуированного Березлага. Березлаговцы многозначительно качали головой, рассказывая нам о своем начальнике, ставшем сейчас начальником нашего лагеря. По их словам, полковник Тарасюк был, если перевести это из красочного блатного словаря, отъявленным человеконенавистником. И хотя березлаговцы шелкали языком, говоря о потрясающих административных талантах Тарасюка, но они не могли умолчать и об этом, наиболее ярко выраженном, свойстве полковника.

Действительно, Тарасюк был лагерным начальником, представлявшим тип рабовладельца. Про него говорили, что до лагеря он был наркомом внутренних дел Дагестана и с этой почетной работы снят за "перегибы". Если Тарасюк действительно был в 37-м году в Дагестане, то мне понятно, каким образом появился при нас в Котласе этап столетних стариков. Да, да. Пришел из Дагестана в Котлас целый эшелон, в котором были одни старики от 80 лет и старше. Они не знали русского языка и не выражали никакого желания с кем-нибудь общаться и рассказывать, почему они очутились здесь. В своих косматых папахах и домотканых одеждах они сидели молча на корточках, закрыв глаза. Пробуждались они от этой неподвижности только для того, чтобы делать намаз. Трущиеся около УРЧ зеки объяснили нам, что все они были "изъяты" для ликвидации в Дагестане феодальных пережитков. Дело в том, что многие дагестанцы не признавали советские суды и предпочитали обращаться к этим старикам, судившим по адату, по обычаям и традициям. Чтобы обратить жителей Дагестана к более прогрессивным формам судопроизводства, всех стариков за-

брали, дали им — без исключения — по десятке и отправили умирать на Север. В этом был, безусловно, "почерк" полковника Тарасюка...

Но теперь Тарасюк работал в лагере, и все мы вскоре почувствовали его железную и целенаправленную волю. Он проехал по всем лагпунктам, выгнал блатных со всех работ, связанных с питанием, и поставил на эти должности только пятьдесят восьмую. Счетоводы продтола, каптеры и повара бледнели от страха, когда Тарасюк появлялся в зоне. Тех, кто способен был идти в лес, кормили лучше, нежели конвой, лучше, чем вольнонаемных... Появились лекарства, приехали вольные врачи, установили специальные противопеллагрозные пайки. Тарасюк восстанавливал работоспособность лагеря с энергией талантливой и волевого администратора. Но как!..

Впервые я вблизи увидел Тарасюка, когда он приехал к нам весной 42-го. В сопровождении огромной свиты из разномастных начальников он обошел все места в лагере, не исключая сортиров. Когда он встречал в лагерной обслуге человека, который ему казался достаточно здоровым, чтобы пилить лес, а не кантоваться в зоне, он, как Вий, протягивал к нему палец, и дрожащий начальник УРЧ немедленно заносил фамилию несчастливой зека на фанерную дощечку. Вечером Тарасюк созвал всех начальников частей. Я тогда заменял старшего нормировщика и поэтому вместе с другими начальниками из заключенных — начальником плановой части, главным бухгалтером, старшим контрольным десятником, прорабами, ветврачами и просто врачами — оказался вблизи Тарасюка.

У него было лицо римского патриция — холодно-спокойное, равнодушное. В том, как он уселся в кресле начальника лагпункта, снял телефонную трубку, приказал телефонистке соединить его с Управлением, в том, как он разговаривал с начальством, — во всем ощущалась многолетняя привычка повелевать, быть хозяином жизни и смерти всех окружающих. Слова "хозяином жизни и смерти" надо понимать совершенно буквально. И это относилось к вольнонаемным в такой же степени, как и к заключенным. Все вольнонаемные были на броне, достаточно было Тарасюку приказать "разбронировать" — и любой начальник отправлялся на фронт. Похорошки на них приходили удивительно быстро. Об этом знали все. Тарасюк — лучше других.

Он приказал начальнику лагпункта доложить состояние "контингента" — так именовались во всех канцелярских бумагах заключенные. Запыхавшийся от волнения начальник перечислял, сколько у нас зеков "всякого" труда, сколько "среднего", "легкого", сколько в "слабкоманде", в лазарете... И сколько из них работают в лесу, сколько в конторе, в обслуге...

Спокойно и свободно слушал Тарасюк отчет. Вдруг он перебил начальника:

— Сколько премблюд выдается в зоне?

"Премимальное блюдо" было у нас куском жидкой каши, вылитой на деревянный противень и застывшей в желеобразном состоянии. Его получали, кроме лесорубов, все административно-технические работники и вся лагерная обслуга, работавшая на выработке: прачки, водовозы... Услышав ответ, Тарасюк спокойно сказал:

— Снять. Увеличить за этот счет премблюдо работающим в лесу.

Начальник ЧОС — части общего снабжения — хотел что-то сказать, но Тарасюк почти незаметно вскинул на него глаза, тот задохся словом и замолчал.

— А это, это кто такие? — заинтересовался Тарасюк. Речь шла о "команде выздоравливающих". Их у нас было 246 человек. Начальник лагпункта посмотрел на исполняющего обязанности начальника санчасти доктора Когана. Это был молодой еще врач, которого после ранения на фронте прислали работать в лагерь. Коган встал и не без гордости сказал, что эти люди "вырваны из рук пеллагры", что можно теперь надеяться, что среди них летальных случаев больше не будет... Дальше произошел следующий диалог:

Т а р а с ю к. Что они получают?

К о г а н. Они все получают противопеллагрозный паек, установленный санотделом Гулага: столько-то белков в количестве столько-то калорий.

Т а р а с ю к. Когда и сколько из них пойдет в лес?

К о г а н. Ну конечно, в лес они уже никогда не пойдут. Но они будут жить, и когда-нибудь их можно будет использовать в зоне на легких работах.

Т а р а с ю к. Снять с них все противопеллагрозные пайки. Запишите: пайки эти передать работающим в лесу. А этих — на инвалидный.

К о г а н. Товарищ полковник! Очевидно, я плохо объяснил вам. Эти люди могут жить только при условии получения этого специального пайка. Инвалиды получают четыреста граммов хлеба... На таком пайке они умрут в первую же декаду... Этого нельзя делать!

Тарасюк даже с каким-то интересом посмотрел на взволнованного врача.

— Это что, по вашей медицинской этике нельзя делать?

— Да, нельзя...

— Ну, я плевал на вашу этику, — спокойно и без всяких признаков гнева сказал Тарасюк. — Записали? Идем дальше...

Все эти двести сорок шесть человек умерли не позже чем через месяц.

У нас в лагере были начальники умные и глупые, добрые и злые. Тарасюк был совсем другим. Он был — рабовладельцем. Таким, какими были, неверное, рабовладельцы в античном обществе. Вопрос о человеческой сущности рабов его никогда не занимал и не беспокоил. Я сказал, что лицом он напоминал римского патриция. Он и жил как римлянин, назначенный губернатором какой-нибудь варварской провинции, завоеванной Римом. В специальных теплицах и оранжереях для него выращивали овощи и фрукты, экзотические для Севера цветы. Были найдены лучшие краснодеревщики, делавшие ему мебель; самые известные в прошлом портные обшивали его капризную и своенравную жену. И лечили его не какие-то вольнонаемные врачишки, со студенческой скамьи запредавшиеся Гулагу, а крупнейшие профессора, руководители крупных столичных клиник, отбывавшие свои большие сроки в медпунктах далеких лесных лагерей.

Как известно, римские матроны раздевались догола перед мужчинами-рабами не потому, что были бесстыжими, а потому, что не счи-

тали рабов за людей. По тем же причинам Тарасюк — как и эти персонажи классической древности — совершенно не стеснялся. И не только зеков, но и тех "вольняшек", которые по своему происхождению и положению мало чем от зеков отличались. Он как-то собрал в Управлении совещание нормировщиков и экономистов для очередной "накачки". Это было в середине войны, когда даже "вольный" паек с трудом обеспечивал полуголодную жизнь. Заседание было долгим, люди сидели замороченные усталостью и голодом. В это время к Тарасюку, сидевшему — как это положено — впереди за отдельным столом, подошли хорошо одетые молоденькие официантки в кружевных передниках, с шелковыми наколочками в волосах.

Профессионально быстро и бесшумно они покрыли стол ломкой от тугого крахмала белоснежной скатертью, поставили перед полковником судки разных калибров. Тарасюк, не прерывая заседания, заправил за тугой воротник полковничьего кителя белоснежную салфетку и открыл судок. По кабинету разнесся обморочно-вкусный аромат какой-то лесной дичи, приготовленной его личным поваром, который в своей прошлой жизни был шефом известного петербургского ресторана. Тарасюк равнодушно глодал дичину, прерывая это занятие лишь для того, чтобы на кого-нибудь рыкнуть, властно оборвать или же ограничиться суровым взглядом ясных и холодных глаз. Он настолько не считал сидящих напротив него людей сколько-нибудь равными ему, что не только есть — он мог и испражняться перед ними, если бы это ему было удобно. И при этом трудно было назвать его специально злым или особенно злым...

Он поощрял хорошо работающих заключенных, особенно отличившимся рекордистам разрешал приводить к себе в барак женщин, не опасаясь надзирателя. Врачам и портным, приходившим к нему в особняк, горничная выносила вслед кусок белого хлеба, намазанного маслом... И в лагере поддерживался неукоснительный порядок, при котором хорошо было тем, кто умел хорошо пилить лес, и плохо тем, которые — не имело значения, по каким причинам, — этот лес пилить не умели. Был порядок. Была даже справедливость — если можно употребить это столь странно звучащее здесь слово... Ведь при Тарасюке начальники лагпунктов не позволяли себе самоуправничать, заключенных не обворовывали, им давали все, что положено: выяснилось, что им положено иметь матрастики и даже простыни, они появились, и арестанты спали на простынях, ей-ей... Правда, правда — он был справедливый начальник!

Никого из начальников мы так не ненавидели, как ненавидели Тарасюка. Он у нас был недолго. Наладил лагерь, привел в порядок, его после этого перевели восстанавливать другой лагерь.

Когда мы с женой очутились на воле, мы жили в Ставрополе, очень голодали и рассчитывали каждую копейку. Однажды Рика мне дала последнюю трешку, бывшую в доме, и я пошел на проспект Сталина в магазин за чесночной колбасой и хлебом. Рядом в киоске продавались прибывшие вечерним поездом газеты. Обычно я удовлетворялся "Правдой", вывешенной в витрине возле филармонии. Но тут я увидел "Известия", и меня толкнула в сердце знакомая фамилия в черной рамке в конце последней полосы. Я купил газету. ГУЛЛП НКВД СССР с глубокой скорбью извещало, что после тяжелой

и продолжительной болезни скончался крупный организатор производства, орденоносец полковник Тарасюк...

Я зашел в магазин и вместо того, чтобы купить колбасу, пошел в другой конец магазина. На два рубля семьдесят копеек я купил четвертинку водки, а на оставшиеся тридцать копеек — хлеба. Дома — на недоуменный вопросительный взгляд жены — я протянул ей газету, водку и хлеб. Господи! Какое это было счастье — увидеть на ее усталом и измученном лице такую радость, такое несдерживаемое торжество! Мы уселись за стол, разрезали хлеб и разлили водку. Непьющая Рика даже не пыталась увеличить мою порцию. Задыхаясь от счастья, что Тарасюк сдох от рака, — наверное, даже обязательно, в страшных муках!!! — мы выпили эту водку... Он сдох в муках, а мы, мы пьем водку... На ВОЛЕ! Значит, есть все же справедливость? Или Бог? Ну, не знаю, как это называется. Да и значения это не имеет. Есть это?

КАПИТАН НАМЯТОВ

Намятову было далеко до Тарасюка. И не потому, что один был полковником, а другой только капитаном; один — начальник огромного лагеря, другой — начальник лагерного отделения. Время у них было разное. Тарасюк пользовался практически неограниченной властью над многими десятками тысяч людей. Намятова я застал начальником Чепецкого отделения Усольяга летом 54-го. Уже прошел и улегся угар послесталинского шквала: амнистия, новый Уголовный кодекс, новые, непривычные либеральные порядки. Отказчик или нарушитель лагережима теперь долго ждал, пока составлялся акт о содеянном им нарушении. Потом этот акт подписывался, затем "лепила" — врач или фельдшер — давал письменное заключение, что содержание в карцере не угрожает ценному здоровью заключенного. Потом акт относили Намятову, который внимательно с ним знакомился, вызывал к себе в кабинет винового для того, чтобы самому составить представление о личности нарушителя, степени его вины, способности к раскаянию. И лишь после этого определял меру наказания — столько-то суток. Так теперь полагалось по новым инструкциям, которые в подразделении капитана Намятова выполнялись неукоснительно.

И уже после этого грешного зека надзиратели вели в карцер. В карцер, кондей, пердильник, холодную — как он раньше назывался. А теперь он и назывался по-другому: "отдельно отстоящее помещение"... Как я идиотски обрадовался, когда, читая о пореформенном времени в России, наткнулся на это название! Оказывается, когда крепостные стали свободными людьми, а сажать их все же и даже пороть приходилось, прежняя холодная, ну, скажем, место, где держат, порют, — оно стало называться именно так: "отдельно отстоящее помещение..."

...Я хочу прервать свое повествование для некоторых филологических — дилетантских, конечно, — размышлений. Почему так устойчива тюремная лексика, тюремная терминология? И не в том дело,

что у Достоевского, Дорошевича и Солженицына слова "камера", "глазок", "параша" и множество других имеют одинаковый смысл. В конце концов, их назначение нисколько не изменилось, естественно, что параша так и остается парашей, а о происхождении этого слова еще не рассказано ни в одном этимологическом словаре.

Но почему в тюрьме в камеру "заводят", а не "вводят"? В карцер "бросают", а не "сажают"? Почему на этап и допрос "берут", а не "ведут"? Почему в тюрьме говорят не "мы пошли на прогулку", а "нам дали прогулку"?.. "Свиданка", "передача", "смертная" — ничего почти не изменилось в этом языке, который проявил такую же дьявольскую устойчивость, как и то, что его породило!

Впрочем, может быть, это и к лучшему? Потому что то новое слово, что возникло в нашей жизни и принадлежит только нашему времени, — одно из самых мне ненавистных! Я говорю о слове "специальный", ставшем приставкой "спец"... Казалось бы, самое обыкновенное, ну не очень красиво звучащее, полуканцелярское слово... Но ставшее приставкой слово "спец" почти всегда имеет у нас самый страшный смысл. "Спецакция" — это расстрел, "спецкоридор" — режимные одиночки, "спецколлегия" — суд для рассмотрения политических дел... "Спецотдел" — не требует объяснений... И даже безобидный "спецбуфет" — имеет отвратительный характер потому, что это буфет для привилегированных, и в "спецстрое" подозревается что-то малосимпатичное: строительство тюрьмы или особняка для сановного вельможи...

Так вот — в "отдельно отстоящее помещение" вели зека, а за ним надзиратель нес тошенький матрац, ибо в случае простого, а не злостного нарушения (что определялось Намятовым же по особой, новой, послесталинской инструкции) наказанному полагалось иметь в карцере "спальные принадлежности" — как назывался по инструкции этот прогнивший тюфячок.

Я в рассказе о капитане Намятове очень часто употребляю слово "инструкция". Отношение к инструкции больше всего отделяло Намятова от Тарасюка. Тарасюк был сатрапом, он проводил политику, а не придерживался инструкции. На инструкции он плевать хотел, он их сам издавал и отменял. Намятов же придерживался точного смысла и буквы инструкции.

Не могу сказать, что Намятов был особо злым. Нет, злым он не был, он никогда не причинял никому зла, если это не было предписано инструкцией. И малое количество добра, предусмотренное инструкцией, он выдавал, не утаивая ни одного его грамма. Но он отказывал в свидании с сыном-заключенным матери, которая недели к нам ехала на поезде, на машине, плыла лодкой, шла пешком через тайгу и болото, — она не знала, что разрешение следует получить в Соликамске, а не в том месте, где находится ее сын... И переубедить его никто не мог.

Трудно мне передать всю степень злобы, которую заключенные питали к Намятову. Впрочем, не одни заключенные. Мне однажды пришлось быть свидетелем довольно занятой сценки. Намятов встретил недалеко от зоны крестьянку-спиртоноску. Ближайшая деревня была от лагеря далеко, ее отделяло 42 километра заболоченной тайги. Но много женщин из этой деревни подрабатывали на про-

даже заключенным водки или спирта. Деньги у заключенных были: их работу начали оплачивать почти по вольным расценкам, удерживая, конечно, все налоги, а также стоимость содержания конвоя, надзирателей и самого капитана Намятова. Все равно — на руки и после этого выдавали довольно много денег. Большинство этих денег отбиралось бригадирами, "паханами", "законниками" и многими другими, из разряда пасующих... И на них покупалась водка. Через бесконвойных или конвоиров. Для последних — солдат, получающих три рубля в месяц, — это была единственная возможность выпить.

Намятов задержал у зоны подозрительную вольняшку, которая несла в мешке две четверти спирта. К месту интересного происшествия сбежались все, кто имел такую возможность. Капитан поступал строго по инструкции: он объяснил колхознице, что она совершила преступление, предусмотренное двумя параграфами Уголовного кодекса, что он сейчас ее отведет в штаб отделения и составит протокол, затем он взял за горлышко полную, запечатанную красным сургучом четверть и ударил ее о сосну. Позади меня что-то упало на землю. Я обернулся. Молоденький солдат свалился в обморок...

Намятов был очень верующим. Конечно, не в Бога, а во все то, что он изучал в школе, где готовили начальников для лагеря, в политкружках, где истово занимался; во все то, что он читал в рекомендованных инструкцией периодических изданиях и книгах. Этим он также отличался от Тарасюка, который, конечно, не верил ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай. А Намятов верил истово, не позволяя себе ни в чем, хоть в самом малом, усомниться. В частности, он был убежден в законченности социалистического характера учреждения, где служил и которому искренне отдавал все силы. И в предусмотренной инструкциями воспитательной работе с вольнонаемным составом и "контингентом" Намятов часто и охотно об этом распространялся.

Однажды, когда я принес на подпись пронормированные рабочие сведения, он мне начал выговаривать. Кажется, он был недоволен тем, что в его социалистическом предприятии выработка на одного лесоруба чрезвычайно мала. Мне это надоело, и я ему сказал:

— Ну что вы огорчаетесь, гражданин капитан, тем, что в леспромхозе выработка выше? У нас же не социалистическое предприятие.

Намятов откинулся в кресле и посмотрел на меня как-то странно, испуганно.

— То есть как это не социалистическое?.. А что же мы?

— Пережиток капитализма.

— Что?! Выходит, я служу в пережитке??

— Конечно, в пережитке. Как писал Ленин в "Государстве и революции", определенные пережитки капиталистического государства, в виде тюрем и прочего, сохраняются и в нашем обществе. Об этом же совершенно точно сказано у Маркса. Вы везде читали, что наши фабрики и заводы, совхозы являются последовательно социалистическими предприятиями?

— Да.

— А где-нибудь и когда-нибудь вы видели слова "социалистическая тюрьма", "последовательно социалистический исправительно-трудовой лагерь"? Никогда!

Наша теоретическая дискуссия окончилась в общем-то банально. Намятов вызвал надзирателя, приказал надеть на меня наручники и отвести в "отдельно отстоящее помещение". Дело обошлось без справки от врача. Тюфяка мне тоже не дали.

На другой день надзиратель меня вывел из кондея и повел к начальнику. Намятов был хмур, бледен и как-то измят. Он строго мне сказал:

— Идите на работу. И запомните: Маркс и Ленин писали не для заключенных. Их не касается то, про что учит марксизм-ленинизм...

Очевидно, он потратил целый день, чтобы связаться с политотделом Управления лагеря и выяснить меру преступности моего заявления. И — укрепить свою собственную веру в социалистическую непорочность.

Я не мог не восхититься железной логикой того инструктора или кого-нибудь еще, с кем разговаривал Намятов. Конечно, наш мир существовал отдельно от того, другого, в котором живут другие и в котором мы были раньше сами. Хотя мы были нераздельной и неотъемлемой частью этого мира. Искусственное разделение этих миров входило в систему иллюзий, на которых все строилось. Впрочем, об этом в другом месте, когда я попробую рассказать о той странной социально-экономической системе, какой являлись в нашей стране исправительно-трудовые лагеря.

В рассказ о Намятове я хочу вклинить другую историю, другое наблюдение, подтверждающее слова Антонио, что в тюрьме дело не в инструкциях, а в самом тюремщике.

"По новой" Риду и меня посадили в разное время. Ее — почти на год раньше меня, в марте 49-го. Полгода она сидела в ставропольской внутренней, потом немного в городской, а затем ее отправили в краевую пересыльную тюрьму, откуда она должна была быть доставлена этапом в Красноярский край в пожизненную ссылку, на вечное поселение. Все это я выяснил в Ставрополе, где занимался делом, уже мне знакомым по 37-му году: записывался в очередь к прокурору, каждую неделю ходил в бюро справок местного НКГБ, доставал деньги на передачу, с нетерпением ждал дня передачи и проводил весь этот необыкновенно важный для меня день в очереди у стены внутренней тюрьмы. Времени для этого у меня было достаточно. После ареста жены меня немедленно уволили с работы. По ночам я занимался "негритянской" работой: писал лекции по вопросам марксистско-ленинской философии, истории партии и состояния советской литературы для лекторов крайкома партии. Среди лекторов у меня нашелся щедрый и обильный работодатель, который мне давал писать лекции для себя и нескольких своих товарищей. На гонорар я кормился сам и кормил передачами Риду.

Я уже узнал, что никакого нового дела у жены нет, что ее арестовали по старому делу и что она просто-напросто ждет в тюрьме постановления Особого совещания, приговаривающего ее к пожизненной ссылке. Мне это — через несколько месяцев хождений в приемную НКГБ — объяснил прокурор по спецделам — спокойный седой

полковник. Когда я узнал, что ее по старому делу отправляют в ссылку, я не удержался и спросил полковника:

— Как же это может быть? Ведь она же отбыла наказание за то, за что была арестована в тридцать седьмом. А по закону разве можно наказывать два раза за одно и то же преступление?

Полковник удивленно на меня посмотрел.

— По закону, конечно, нельзя. Но при чем тут закон?..

Он же — в другой раз — когда я у него поинтересовался, поедет ли жена в этап в теплушке или же в столыпинском вагоне, с достоинством ответил:

— У нас нет столыпинских вагонов. У нас советские вагоны. В нем и поедет ваша жена в ссылку...

Через полгода у меня не приняли очередную передачу, и я узнал, что Рикю отправили в Георгиевск, в краевую пересыльную тюрьму. Как всегда в таких случаях, у людей развиваются совершенно им несвойственные энергия, инициатива и сообразительность. Я каким-то образом достал от одного знакомого письмо к начальнику Георгиевской пересылки, одолжил деньги и выехал в Георгиевск с такой поспешностью, что приехал в город чуть ли не раньше, чем этап, которым ехала жена.

У меня был домашний адрес начальника пересылки, которому я должен был вручить письмо с просьбой оказать мне возможное содействие. Я разыскал тихую улицу на окраине Георгиевска, нашел дом, открыл калитку и вошел во двор. Там стояли козлы, лежало бревно, высокий старик в военной форме один пилил бревно двуручной пилой. Я невольно пожалел старика — я хорошо знал, что это трудно: пилить одному двуручной пилой, — и спросил, здесь ли живет начальник тюрьмы.

— Я начальник пересыльной тюрьмы, — сказал старик. — Что бы вы хотели? Садитесь. Вот скамейка, она чистая...

Это было довольно неожиданно для меня. Я знал, что такое начальник тюрьмы вообще, а начальник пересылки в особенности... Пересылки, где нет надобности отчитываться за "использование рабочей силы"... И вот — пилит себе дрова двуручной пилой!..

Начальник тюрьмы внимательно прочитал письмо, потом вернул его мне и сказал:

— Иван Иванович просит меня оказать возможное содействие вашей жене. Но может быть, вы знаете, что дальнейшая ее судьба от меня не зависит. Она поступает сюда с готовым определением места назначения. Время формирования и отправки этапа также не зависит от меня. Единственно, в чем я могу вас успокоить: здесь ее здоровью ничто не угрожает. Чтобы передать ей письмо, посылку, отправить деньги, получить свидание — от меня ничего не требуется. В приемный час приходите в тюрьму, и вам все сделают.

Я ушел от необычного начальника раздосадованный неудачей. Но в этот же день, постояв часа два-три в очереди, очень быстро подвигавшейся, я сделал все, о чем мечтал. У меня приняли передачу и письмо, объяснили, что я могу каждый день посылать жене прямо с городской почты письма и деньги. Письма она будет получать на следующий же день, деньги будут начисляться на ее тюремный счет и

выдаваться по мере ее просьбы. Свидание я могу получить быстро, толково и даже, как мне показалось, с той интонацией обязательности, которой я не встречал даже в таких нейтральных учреждениях, как сберегательная касса.

Потом, долгое время спустя, когда Рика рассказывала мне о своих тюремных делах, она захлебывалась от удивления, вспоминая Георгиевскую пересылку. В пересылках Рика понимала. Она их прошла в огромном количестве в начале 38-го года в этапе от Москвы до Мариинских лагерей в Сибири и из Мариинска до Устьвыма... А осенью и зимой 49-го года она ехала в ссылку тем вагоном, который прокурор с гордостью назвал советским. А это значило, что она переходила из пересылки в пересылку по всему длинному пути от Северного Кавказа до Красноярского края. Нет, что такое пересылка, мы хорошо знали! Это липкая грязь, оставшаяся от прошедших этапов; вши и клопы; часовые очереди в бане, где дают шайку воды, которой можно только размазать грязь на теле; прожарка, в которой какими-то чудесными способами на одежде сгорал мех и плавилась пуговицы, но выживали насекомые... И неутолимый голод, потому что в пересылке почти легально можно не кормить арестантов; грабеж обслуги, звериная ярость охраны... В пересылке всегда "чужие". Сегодня пришли, завтра уйдут и никогда больше здесь не появятся. Это порождает к этапникам чувство абсолютной безответственности. С ними можно делать все. И с ними делали все.

И вот — Георгиевская пересылка. Где камеры не только подмечены, но и вымыты. Полы, нары. Где кормят настолько сытно, что исчезает постоянный этапный голод. Где в бане можно мыться по-настоящему. Где даже есть — Рикю это поразило больше всего! — специальная комната со всеми приспособлениями, где женщины могут совершать свой туалет... В этой тюрьме письма передаются быстро, а телеграммы в любое время дня. И каждый день в камеры приносят свежие газеты. И ни разу не лишают прогулок. И каждый день лавочка. Довольно большой выбор продуктов. Продуктов этапных: сушек, плавленых сырков, сахара, махорки, спичек...

А самое главное, самое непривычное, непонятное — какая-то атмосфера сочувствия. Может быть, нам казалось, что выполнение инструкций и есть сочувствие? Нет, пожалуй, нет. Перед этапом Рикю вызвал начальник КВЧ и сказал, чтобы в этапе у нее — имелись в виду и все другие — было бы на руках только девяносто девять рублей; Рика была достаточно опытной арестанткой, чтобы понять... Все, что свыше этой суммы, отбиралось конвоем и практически исчезало навсегда. Значит, свыше этой суммы надо прятать так, чтобы их не нашли при шмоне. Ну, эта задача не особо трудная. Даже при самом тщательном этапном обыске арестант имеет возможности унести с собой все что угодно, включая разобранный танк среднего размера.

Впрочем, несмотря на полное доверие, которое я питал к рассказам жены, я получил возможность проверить лично. Через год я сам попал в Георгиевскую тюрьму и те месяцы, что я там провел, не переставал удивляться. Не чистоте, сытному питанию, а присутствию человечности в том максимуме, какой только может быть в тюрьме.

Тюремщик обязан выполнять все многочисленные инструкции. Каждая направлена к тому, чтобы как можно больше стеснить арестанта, сделать его жизнь как можно более мучительной. Это касается всего. Если он тебя ведет на допрос или на оправку, то заставляет держать назад руки, поворачиваться лицом к стене и замирать, как только надзиратель стукнет ключом по пряжке своего пояса. Если он выдает передачу, то все разрежет, перекрошит, перепробует, сделает все, чтобы лишить передачу самого в ней главного — домашности... И, отведя на оправку, не считается с тем, как работает твой кишечник, а гонит назад, не дает сполоснуть лицо и руки... А самое главное — тюремщик не должен вступать ни в какие хоть сколько-нибудь человеческие отношения с арестантами. Не имеет права разговаривать, задавать вопросы, выслушивать ответы, сам отвечать на вопросы. Он не должен сочувствовать, улыбаться, смеяться, плакать — словом, проявлять свои человеческие свойства.

И все же находятся тюремщики, которые старательно выполняют все инструкции, — они не могут их не выполнять! — кроме одной, неписаной, но самой главной: не проявлять никакой человечности. И я, и Рика, и множество моих товарищей иногда встречали таких. Рика мне рассказывала про одну надзирательницу ставропольской внутренней тюрьмы. Было известно, что ее зовут Клава. Она делала все как надо. Но ей почему-то нравилась Рика. Она ее не торопила в уборной, никогда не повышала голос, всегда назначала Рикю выносить мусор. А это, собственно, вторая прогулка. Мусор надобно относить на какой-то дальний, третий тюремный двор. Для этого нужно идти через огромные дворы. По дороге Рика с ней разговаривала. Собственно, говорила одна Рика — Клава ей не отвечала, да и грамотная Рика не задавала ей никаких вопросов. Просто Рике было приятно говорить, что вот хорошая погода, и как приятно выйти на двор раздетой, и что в углу двора расцвели какие-то цветы... Клава слушала. И улыбалась...

Конечно, улыбка надзирателя — первый шаг к отступлению от инструкций. Потом Клаву перевели в передаточную. Ну, которая принимает передачи для заключенных. Вот тогда и я с ней познакомился.

Передача — вещь невероятно важная в наших тюрьмах. Это единственная возможность дать о себе знать и что-то узнать о сидящем в тюрьме. Передачи принимали раз в неделю, а потом раз в десять дней. Я начинал к ней готовиться задолго. Доставал деньги, обдумывал, что купить, готовил тару. Тара — это очень важно! Увидеть на несколько минут масленку из дома, знакомую тарелку, чашку, которую видела у знакомых, — это ведь целый язык, настоящий разговор... Вот такие-то посылают тебе домашний творог — узнаешь эту чашку? Я в порядке, живу у Жени — ты же помнишь эту тарелку с отбитым краем?..

И опись того, что передаешь. Конечно, пишешь только перечисление продуктов. Но как это важно — увидеть родной почерк! Клава не торопила Рикю подписывать быстро свою фамилию под списком передачи. Она терпеливо ждала, пока Рика тщательно — чтобы было как можно больше слов! — выписывала день, и месяц, и то, что все, все она полностью получила, и свое имя, свою фамилию — это же письмо!! И можно было через Клаву передать просьбу: принести то-то

и то-то... Однажды Клава мне вернула папиросы и улыбаясь — да, да, улыбаясь! — сказала:

— Ваша жена возвращает папиросы, потому что начиная с этого дня она бросает курить. Она просила передать, что с этого дня...

Это был наш день, это был подарок мне, и Клава это понимала и радовалась своему соучастию в моей радости... А однажды, в день рождения Рики, я, поддавшись нелепому авантюризму, влил в банку компота, который я передал Рике, немного вина... Клава мне быстро принесла банку назад и сказала:

— Ваша жена не хочет компота. — И, понизив голос: — Никогда этого не делайте, ее могут навсегда лишит передачу...

Да, у этой Клавы установились какие-то, запрещенные законом, человеческие отношения со мной и Рикой. Однажды она вернула мне передачу и с какой-то тревогой в голосе сказала:

— Выбыла из тюрьмы. — И потом, быстро: — Идите отсюда в городскую, там сегодня передача, вы успеете ей передать...

Не знаю, запомнила ли она мою фамилию, — сколько таких было! — но меня она запомнила. Когда через семь месяцев я сидел во внутренней тюрьме и моя квартирная хозяйка сделала мне передачу, Клава с надзирателем вошла в одиночку, где я находился, положила передачу на стол, обернулась ко мне и несмотря на то, что я был уже серый, стриженный, поросший седой щетиной, мгновенно узнала меня... Она побелела — это было заметно даже в тюремной камере, — и глаза ее стали такими испуганными и печальными, что мне очень трудно было соблюсти свою невозмутимость. И я был рад, что эта передача была единственной и что я больше Клаву в тюрьме не встречал.

Но все-таки вернемся к Намятову. Мне нужно закончить свой рассказ о нем. В Чепецком отделении Усольлага ему жилось плохо. Впервые его назначили начальником большого строящегося отделения. Это было большое предприятие. Строилась узкоколейка — а километр ее стоит миллион рублей... Строились депо, мастерские, склады, биржи, вольнонаемный поселок, зоны для заключенных... И это было время, когда какие-то умники из энкавэдэшников или идиоты из экономистов решили, что на лагерь можно распространить общие правила: нормы, расчеты, всяческие запутанные и идиотические "показатели". А какие там "показатели"! Не знаю, как на воле, а здесь строить можно было, только нагло и открыто нарушая все инструкции, правила, законы, "показатели" — словом, все, во что свято верил Намятов. Все вольнонаемные начальники от прорабов до лейтенантов входили в сговор с блатняками-бригадирами, приписывали им выработку, переплачивали огромные деньги, начисляя зачеты, разрешали паханам пить водку, отнимать заработок у зеков, не стеснялись брать в лапу эти отобранные деньги. Намятов видел, что вокруг него идет дикий грабеж, наглое воровство, он видел это и ничего не умел с этим сделать.

Да и что он мог сделать? Строится железная дорога. Как и положено в порядочном строительстве, банк начисляет деньги по выполнению отдельных этапов строительства. Какие-то умники из неведомых

мне учреждений придумали для стимулирования работы такой порядок, при котором основное количество денег перечислялось за последнюю стадию работы: укладку верхнего строения полотна — шпал и рельсов. Великая мысль заключалась в том, что вот, дескать, поспешишь с окончанием работы, чтобы получить все деньги, и быстрее выполнишь план строительства. Ну а что самое трудоемкое — это не рельсы укладывать, а разрубать и корчевать трассу и делать насыпь, — это их не касалось. Ловкие прорабы быстро нашли выход. На только что разрубленную и еще не раскорчеванную трассу они разбрасывали шпалы и свинчивали поверх шпал рельсы, после чего составлялся акт и строительство считалось на две трети законченным. А уж потом под эти шпалы начинали корчевать пни и отсыпать полотно... Можно себе представить, сколько это стоило, сколько нужно было придумывать несуществующих работ, чтобы привести в порядок все многочисленные "показатели"!

Намятов ходил осунувшийся. Больше всего его волновало, что он дает зекам липовые зачеты и этим сокращает их срок. Не начислять он не мог — иначе они бы не работали, да и начальство бы его сразу же выгнало: они-то знали все правила игры и шли на это. Но Намятов успокаивал свою непорочную совесть другим. Он — безусловно выполняя инструкции — делал все, чтобы заключенных этих зачетов лишить. У него для этого были огромные, почти неограниченные возможности. Он лишал зачетов за разговор в строю, за то, что заключенный не в сортире, а около него мочился, за плохо убранную постель, за пререкания с надзирателем, за попытку отправить письмо в обход лагерной цензуры... А перенести это — трудно. Очень трудно, когда ты считаешь, что освободишься через год и семь месяцев, а тут тебе объявляют, что лишили зачетов за полгода, а это значит — накинули почти полтора года, следовательно, освободишься ты только через три с лишним года... Даже привычному арестанту это трудно перенести, а большинство законов были "мужиками", а не блатняками. Сидели они больше по "закону от седьмого восьмого", работали изо всех сил, считали каждый день и каждую копейку.

Меня он лишал зачетов несколько раз. За "пререкание", за "заниженные нормы", за обход лагерной цензуры. Я к этому относился спокойно: у меня было десять лет, а потом — хотя уже прошло больше двух лет после "сдэха", после смерти Сталина, — я был уверен, что теперь-то я освобожусь... Но лишение меня зачетов все же не оставляло меня совершенно равнодушным. Намятов это понимал. И меня, признаться, удивило, что, когда пришла телеграмма о моем освобождении, он меня вызвал и предложил остаться в лагере вольнонаемным... Вот так-таки взял и предложил!

— Чего смеетесь-то! Это если все в Москву будут лезть, кто же тут будет вольнонаемным работать?

— Вы и будете, гражданин капитан. Это у нас есть срок. А у вас срока нет. Вы нанялись быть в лагере бессрочно. Навсегда.

— Идите!

Когда я уходил из зоны, меня шмонали так, как никогда при аресте или этапе, — выполняли указание Намятова. Наверное, он был убежден, что увожу много денег.

А сам Намятов — как я узнал потом, — как будто чтобы дока-

зять мне, что он не навсегда приговорен к лагерю, через год уволился, перешел на заслуженную им пенсию и уехал наслаждаться свободой и чистой жизнью в Кисловодске, где у него был нажитый трудом домик, садик над Подкумком, розы вокруг балкона. Он был еще очень крепкий, средних лет человек и мог бы наслаждаться заработанной честным трудом счастливой жизнью очень долго. Но через какие-то полгода или год Намятов ушел гулять и не вернулся домой. Только через день его нашли в роще под городом. Он висел со связанными руками на суку старой развесистой сосны. Очень большой шум был тогда на курорте, и милиция выбилась из сил, устраивая облавы на уголовников. Но я-то знаю твердо, что уголовники не убивали Намятова. Это сделали степенные колхозники, никогда в жизни не тронувшие ни одну тварь, если она не была немцем на войне, люди, освободившиеся и не могущие начать обычную нормальную жизнь, пока они не удовлетворят естественное чувство справедливости.

МАЙОР ВЫПОЛЗОВ

Выползов стал начальником Устьвымлага после Тарасюка, и это было воспринято зеками с таким же чувством, с каким люди через пять-шесть лет восприняли замену Сталина другими людьми. Жить стало не лучше, но веселее. Человечнее, что ли... Тарасюк жил над людьми. Он других — и вольнонаемных в том числе — и за людей, наверное, не считал. А Выползов был человеком, жил среди людей, и ничто человеческое не было ему чуждо. Арестантам, которым вообще-то все известно про своих начальников, нравилось, что новый начальник лагеря любит выпить, любит женщин и часто меняет свои недорогие привязанности. Как это хорошо, когда начальник не без слабостей!

Кроме того, Выползов любил все красивое, все изящное, он был любителем искусства. А это уже немало для большого количества людей в лагере. Он собрал на командировке "Зимка" всех сохранившихся живых художников, скульпторов, резчиков, краснодеревщиков. Официально командировка считалась инвалидной, производящей ширпотреб. И действительно, она выпускала деревянные и глиняные игрушки, примитивную керамику, какие-то хозяйственные мелочи из дерева. Но этим занимались ремесленники. Художники делали другое. Они делали дивную керамическую посуду, которая украсила бы любую выставку, любой музей. Они выделывали из березового капа необыкновенные шкатулки, сигарницы, папиросницы, украшенные инкрустациями, с секретными замочками, музыкальными сюрпризами... Ловкие снабженцы привозили из южных лагерей страны вагоны с бревнами дуба, бука, ореха, клена, светлого ясеня. И столяры — не столяры, а настоящие художники! — изготовляли из разных сортов дерева мебель, которая могла бы украсить любой дворец. На маленьком кожевенном заводике выделывали из оленьих шкур замшу, а варшавские портные шили из нее костюмы, поражавшие воображение своей нерусской эlegantностью. Там же выделывались драгоценные меха, шились горностаевые одеяла... И многое другое —

Выползов очень любил красивые вещи. Красивые картины, мебель, посуду, безделушки. А это много значит.

Я уверен, что если бы у Сталина была потребность украшать десятки своих загородных дворцов не картинками, вырезанными из "Огонька", и не стульями и столами, какие делают для вокзалов, а предметами, хотя бы отдаленно имеющими отношение к искусству, — то чем-то лучше нам жилось. Во всяком случае, была бы сохранена жизнь многих и многих людей.

Конечно, художественная продукция "Зимки" не оприходовалась, не проходила по каким-либо ведомостям и не шла на рынок. Кроме того, что Выползов любил красивую жизнь и красивые вещи, он не был скупым, жадным и ценил у других вкус к изящному. Поэтому большинство вещей, производимых художниками и мастерами, шло в Сыктывкар, в Москву — начальникам самого разного ранга. Для начальства, приезжающего в Устьвымлаг в командировку, делались большие и прочные сумки: в них укладывались многочисленные подарки. Выползов хорошо знал вкусы своих начальников, и не только вкусы, но и меру этических принципов каждого. Кому — костюм замшевый и одеяло горностаевое, кому спальный гарнитур, а кому — так, для памяти, для забавы детишкам — сувенирчик, что-то смешное и маленькое, вырезанное из лосевого рога... Бесконвойные бригады инвалидов бродили по лесам и болотам, собирая сброшенные лосевые рога.

Так как Выползов любил искусство, он был меценатом.

Справедливости ради следует сказать, что все лагерные начальники — кроме, конечно, Тарасюка — любили искусство и поощряли создание лагерных агитбригад, как еще со времен Беломорканала стали называться ансамбли профессиональных и самодеятельных артистов. В беломорканальские времена они действительно были любительскими. Ну а в наше время можно было создать отличный коллектив из вполне профессиональных и даже известных артистов.

Выползов поставил лагерное искусство на высокий уровень. На Комендантский лагпункт со всех близких и далеких лагпунктов привозили артистов и музыкантов. Из них создали агитбригаду. Они не работали на производстве, числились в "группе В" или "слабкоманде" (конечно, за счет фактически больных и ослабленных, ибо лимит на эти категории был неукоснительно тверд) и услаждали начальство своими талантами. Они ставили моднейшие в то время пьесы: "Слава" Гусева, "Платон Кречет" Корнейчука и прочие жизнеутверждающие высокохудожественные произведения. Певцы и певицы исполняли "Синий платочек", "Чайку", "Ты ждешь, Лизавета" и другие любимые произведения из кинофильмов и не кинофильмов. Балерины, плясуны откалывали огневые и опять-таки жизнеутверждающие танцы. Скрипачи и виолончелисты ослабевшими пальцами играли "Рондо капричиозо" Сен-Санса и "Песню без слов" Мендельсона. Ибо хотя начальники больше всего и любили жизнеутверждающее, но они все же были людьми, и им было приятно время от времени немного погрузиться в теплое и уютное зале клуба под негромкую и меланхолическую мелодию.

Клубом в Вожаеде называлось огромное здание с центральным отоплением, прекрасной сценой, хорошим залом, с фойе, разрисован-

ным отличными художниками. И возле клуба кормилась стайка художников, декораторов, бутафоров... Иногда агитбригаду сажали на машину и отправляли на какой-нибудь лагпункт, который давал наилучшую "отдачу". Это всегда было большим событием и для артистов, и для награжденного лагпункта.

Во всех лагерях — а их в Коми было множество! — находились начальники-меценаты, которые друг перед другом выдрючивались своей крепостной группой. Ну это как кому повезет! Больше всего, кажется, повезло начальнику Ухтижимлага. У него в Ухте была настоящая опереточная труппа, которой руководил Константин Эгерт, тот самый, знаменитый красавец из Малого театра, снимавшийся в "Медвежьей свадьбе". В труппе пел превосходный премьер Харбинской оперетты, танцевала Радунская из Большого театра, оркестр оперетты был составлен из первоклассных музыкантов, среди которых был виолончелист Крейн из знаменитого трио...

Иногда начальник Ухтинского лагеря наносил визит в соседний лагерь. Хотя это прозаически называлось "для обмена опытом", но обставлялся такой визит по всем правилам протокола посещений одних государств главами других. Начальство сопровождала большая свита начальников отделов, для них готовились избранные места в гостинице, намечались маршруты, привозились с "Зимки" подарки. И начальник привозил с собой своих лучших артистов, чтобы хозяева понимали, что и у них с искусством не хуже, а может быть, даже и лучше...

Вот так и мне пришлось увидеть ухтинскую оперетту. Я тогда уже был на положении вольнонаемного, был вызван на хозяйственное совещание в Вожаель (это входило в программу визита начальства из Ухты) и поэтому удостоился возможности (правда, из самого дальнего ряда) увидеть давно забытое зрелище.

Ах, каким же пленительным оно было! Кончалась война, из Восточной Пруссии в лагерь шли эшелоны с носильными вещами, собранными в брошенных домах. Они за бесценок продавались вольнонаемным, которые их успешно переделывали с помощью лагерных портных. Ну а для своих артистов начальство не жалело трофейных туалетов! На сцене вожаельского клуба шла "Сильва". И — ей-богу! — это было не хуже, чем на Большой Дмитровке!

Невозможно было отвести глаз от этих красавиц в дивных и роскошных туалетах... Их глаза блестели не меньше, чем тэтовские бриллианты на шее, в ушах, на пальцах. Умопомрачительны были красавцы в элегантных фраках, которые они носили профессионально умело и красиво. И так идиотски-сильно хотелось верить, что где-то, в каком-то неведомом царстве-государстве существует эта жизнь с такими вот конфликтами; что можно почти всерьез переживать вот такие драмы, такое счастье, такие несчастья!.. "Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?" — радостно-страдальчески пела Сильва, и я физически наслаждался этим страданием, этой истомой в голосе, всем блеском театральной роскоши, парадом красоты и радости.

Спектакль кончился. В фойе джаз из зеков Комендантского лагпункта заиграл наимоднейшее польское танго, офицеры начали выводить в круг своих толстых и румяных дам, чьи туалеты, несмотря на все переделки, все же сохраняли в чем-то элегантность и стиль чу-

жой жизни. Смотреть на этих танцующих, после той красоты и подлинного артистизма, которые я только что видел, было почти тягостно. Я вышел на улицу. Был конец ноября, и недавняя метель намела вокруг дома огромные сугробы. Небо прояснилось к начинающемуся сильному морозу, и звезды горели — как всегда зимой — с мрачной силой и отчужденностью от всего живого.

У "артистического" подъезда клуба я услышал возню и знакомые конвойные возгласы: "Чего ползаете, как вошь по мокрому ...!", "Давай разбирайся, живо!", "А ну, становись, быстро!", "Разговоры!" Я завернул за угол и увидел столь привычную, совершенно обыкновенную сцену: арестанты — мужчины и женщины, — одетые почти одинаково: в ватные штаны, мятые телогрейки и уродливые бушлаты, устало, привычно-нехотя выстраивались в конвойную колонну, конвой торопил их, материл, он спешил отвести зеков на Комендантский, чтобы успеть еще вернуться и если не потанцевать, то хоть посмотреть танцы. Я всмотрелся в чем-то показавшиеся мне знакомыми лица арестантов. Не сразу я понял, что они показались знакомыми потому, что я их только что видел. Красивыми, молодыми, элегантными, счастливыми, несмотря на все переживаемые ими горести опереточной любви. В этих подконвойных лицах ничего этого уже не было, ни малейшего признака. Они стали обыкновенными, нашими, со всеми следами возраста, многих этапов, дикой усталости и такого мне знакомого желания скорее, как можно скорее дойти до теплого барака, раздеться, выпить кружку кипятка с куском хлеба...

А все равно они, наверное, были благодарны меценатам за то, что им не надо было вставать на развод, идти в темноте в лес на непеносимо тяжелую и губящую людей работу!

Выползов был меценатом и поэтому добрее и лучше многих других. Большой карьеры он не сделал — такие люди не достигают обычно каких-нибудь особых начальственных высот, — он и после Усть-вымлага начальствовал в других лагерях, дослужился до большой полковничьей пенсии и, не потеряв ни колечко вкуса к жизни, к изящному, к искусству, вероятно, и сейчас еще живет в хорошем, заранее где-то на юге построенном доме, полном красивых и дорогих вещей. Бог с ним!

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТИМОФЕЕВ

Фамилия этого генерала была знакома многим сотням тысяч заключенных, которые прошли — или же остались — в лесоповальных лагерях Урала, Коми, Карелии, Архангельщины, Сибири...

На разводах читались приказы о расстрелах беглецов и отказчиков за "контрреволюционный саботаж"; о новых сроках за небрежное отношение к лошадям, машинам, вещдовольствию и другому казенному имуществу. Включая, естественно, и самих зеков. Ибо за "членовредительство" тоже давали срок. И все эти приказы заканчивались словами: "Подлинный подписал: начальник Главного управления лагерей лесной промышленности НКВД СССР генерал-майор ТИМОФЕЕВ". Словом, это был наш почти главный тюремщик. Не всякому удастся увидеть тюремщика такого ранга. Мне — удалось. Два

раза. И я хочу об этом рассказать. Но прежде мне предстоит довольно длинно изложить предысторию этого события. Пусть возможный читатель меня за это извинит.

В силу причин, неподвластных нашей воле, всякий срок кончается. Еще шла война, когда начали кончаться сроки у пятилетников, еще несколько лет — и должны были начать кончаться сроки у восьмилетников — их тогда в лагерях было больше всего. И с этим надо было что-то делать. Путей для этого было много. Во-первых, давать новые сроки по новым "лагерным" делам. Во-вторых, задерживать освобождение или "до конца войны", или же просто "до особого распоряжения". А уже освободившихся считать вроде как бы и вольными, но на положении ссыльных: без паспортов, без права выезда не только что за пределы лагеря, но и за пределы отведенного пункта. И опять же с обязанностью делать, живя за зоной, то же самое, что и в зоне: пилить лес, чинить машины, шить бушлаты, шелкать на счетах... Это состояние называлось "быть закрепленным за лагерем до особого распоряжения". В двух категориях — "второсрочника" и "закрепленного" — мне пришлось быть. Пожалуй, я об этом расскажу сейчас, так как не знаю, в каком другом месте этих воспоминаний я смогу это сделать.

У меня было пять лет, и мой срок кончался 17 апреля 1943 года. Я был не очень приметным арестантом, и, вероятно, специально мне новый срок бы не дали, если бы не одно обстоятельство. В начале войны, выполняя какие-то указания "об усилении бдительности", на всех лагпунктах начальники стали хватать арестантов, которых они или не хотели освобождать, или же просто желали по каким-либо своим соображениям убить. Делалось это довольно просто. Стукачи писали в "агентурках" то, что им диктовали оперы. Подобранные уголовники за пачку махорки давали необходимые свидетельские показания. Обвинение всегда было одно и то же: пораженческая агитация. За это давали срок — до десяти лет. В нужных случаях агитация становилась "групповой агитацией". Это уже была статья 58-10 и 58-11 — создание организации. За это расстреливали. Со всех лагпунктов в Управление отправляли людей, которых заново арестовывали, держали в местной тюрьме, допрашивали. В Вожаеле их судила лагерная спецколлегия, кого расстреливали, а кому — давали новые сроки и отправляли на штрафняк, где возможность выжить была отнюдь не гарантированной.

У нас на лагпункте среди арестованных оказался начальник электростанции — Олег Стаскевич. Это был молодой человек иронического склада ума, имевший — невзирая на молодость — уже какую-то сложную доарестантскую биографию. И на язык он был невоздержан. Мы с ним жили в одной "кабинке" — маленьком бараке человек на пятнадцать. Вот Олега порешили сделать одним из продуктов их оживленной, способствующей обороноспособности страны деятельности. Стаскевича арестовали, а тех, с кем он общался, стали таскать в "хитрый домик", как называют специально построенное в зоне помещение для опера: маленький дом с отдельными входом и выходом.

Нашему оперу — Чугунову — очень хотелось сделать меня свидетелем. Для этого ему надо было "подобрать под меня ключи", и делал он это по привычному и нехитрому трафарету. Ночью меня забрали,

посадили в карцер, утром предъявили обвинение в том, что я в присутствии таких-то и таких произнес длинную и пылкую речь, в которой призывал Гитлера как можно скорей победить большевиков, освободить Россию, а с нею, естественно, и меня. Следствие вертелось, как может вертеться примитивная, хорошо смазанная и отработанная машина. Негодующее заявление одного свидетеля, показания других, очные ставки... Было довольно смешно читать выпендренные, полные патриотических фраз из передовых, показания малограмотных мелких воришек, "шакалов", дошедших в лагере до последнего предела падения и унижения. Но смеяться было ни к чему — я же понимал, чем все это кончится. Через несколько дней Чугунов закончил следствие, дал мне подписать двести шестую и тогда приступил к главному. Он предложил мне подписать уже написанное им готовое показание на Стаскевича и дал мне "честное слово коммуниста", — так ведь и сказал!!! — что он после этого мое дело тут же, на моих глазах, бросит в печку...

Как пишут в коммюнике, "стороны не пришли к согласию" — и разгневанный опер дал естественный ход делу. Меня, как числящегося "за судом", этапировали на другой лагпункт, а после того как я там месяца два походил на повал, в суде дошла очередь и до меня (эта очередь была довольно длинной, и в ней никто не рвался вперед). Этап потопал в Вожаель. Был февраль 42-го года, только что прошедшая метель уничтожила все дороги, перемела лежневки, конвой вел меня и еще троих отказчиков по сугробам, по еле выдающимся вешкам, обозначающим трассы бывших дорог. Шестьдесят километров мы прошли за четыре или пять дней, ночуя в карцерах лагпунктов, лежавших на нашем пути. Это было очень важное для меня путешествие, потому что мне не на что было надеяться и я мог думать обо всем: о своей жизни, о жизни других людей, о всех моих поступках и верованиях — с полной свободой, ни на что не оглядываясь, не пытаясь нисколечко хитрить с самим собой.

Нас довели до Вожаеля, посадили куда надо и через два дня судили. Суд был если и не справедливый, то, во всяком случае, скорый. Из набитого коридора, где толпились абитуриенты, меня вызвали в суд, и через полчаса я получил новый срок за "пораженческую агитацию в военное время". Был уже вечер, когда меня вели из суда по вольнонаемному поселку на Комендантский лагпункт. Я знал, что теперь меня отправят на штрафной и я, очевидно, никогда больше не увижу этот нормальный человеческий мир, каким он мне представлялся сейчас, за марлевыми занавесками освещенных окон. Над столами, застланными белыми скатертями, свисали оранжевые абажуры, сшитые из марли и окрашенные красным стрептоцидом. Силуэты женщин и детей свободно и легко передвигались в этих комнатах, на столах расставлялась какая-то снедь. Они ждали прихода с работы хозяина, чтобы ужинать... Было что-то кроткое, домашне-умиляющее, просто что-то диккенсовское в этих мелькавших картинках быта семейных тюремщиков. Но я не помнил, что здесь живут тюремщики. Для меня это был старый, добрый, милый мир, полный маленьких и больших радостей, мир, из которого я навсегда должен был уйти. И я прощался с ним, потому что меня из него уводили и я считал, что у меня не хватит сил, чтобы дожидаться возвращения в него.

...Люди обычно считают себя слабыми и совершенно не знают свою физическую пластичность, свою фантастическую приспособляемость к почти любым условиям. Мне казалось, что есть предел усталости, когда исчезают желания и возможность сопротивляться обстоятельствам. Я еще так думал потому, что видел многих совсем молодых людей, которые, как мне казалось, устали жить и от этого умирали.

Это было весной 1939 года. Меня, полуживого, покрытого — как пантера — большими черными, не проходившими много лет пятнами цинги, — привезли на головной с подкомандировки, где я провел зиму. Спас мне жизнь один красивый и необыкновенно занятый авантюрист, который работал врачом и которому я чем-то показался. У него было три года, он освобождался и приехавшему ему на смену врачу сказал меня найти и, если я еще жив, помочь выжить. Новый врач — Александр Кузьмич Зотов — был тоже довольно редкостным типом, может быть, я о нем расскажу. Он заявил Заливе, что ему необходим в качестве помощника студент, медик-пятикурсник... и назвал мою фамилию. Меня разыскали на командировке, положили на подводу и привезли в госпиталь на головной.

Госпиталем назывался совершенно обыкновенный барак, в котором на нарах лежали и умирали дистрофики. Зотов быстро привел меня в порядок — он меня кормил так, как жена людоеда откармливала мальчика с пальчик... А когда я пришел в себя, раскрыл передо мною роскошную перспективу превращения меня в "лепилу" — медицинского работника. Пока я числился в слабкоманде, он меня назначил — как он пышно меня называл — ординатором. Это означало, что я оставался один дежурить ночью в огромном бараке. Три недели моего ординаторства, наверное, были самыми страшными в моей жизни. Обязанность моя была довольно несложна. Мне оставляли шприц и три (никогда больше) ампулы камфары. Я мог их впрыскивать умирающим — по моему собственному выбору. Затем обходить нары и, когда замечал уже умерших, закрывать им глаза и связывать кусками бинта руки и ноги. Первая операция производилась по традиции и из эстетических побуждений, вторая же имела чисто практический смысл: мертвеца с наступившим трупным окоченением было удобнее бросать в ящик, в котором вывозили на кладбище.

Ампулы, в которые я наивно верил, я старался тратить на молодых — мне их было больше всего жаль. Но я видел юношей, подростков — главным образом из "осколков" (как поэтически-образно называли на Лубянке детей уничтожаемой партийно-государственной элиты), — которые умирали в полном сознании и без малейших признаков страха перед наступающей смертью. Они были как столетние старики, уставшие от длинной жизни и рассматривавшие смерть как отдых. Эти 17 — 18-летние мальчики уже так устали от арестов, обысков, допросов, этапов, голода, холода, непосильного труда, они так от этого устали, что не боялись, что все кончится. Никаких попыток удержаться у этих мальчиков уже не было, и когда я впрыскивал камфару, то они мне совершенно спокойно говорили:

— Зачем? К утру я уже умру...

А утром приходил начальник санчасти — высокий прыщеватый

молодой фельдшер в форме младшего лейтенанта. Он вызывал меня и, деловито вынимая из кармана записную книжку, спрашивал:

— Сколько за ночь летальных случаев?

И аккуратненько записав — 15 или 20, а то и больше... — уходил. И больше уже в больничном бараке не показывался.

...Так вот: я думал, что у меня наступает то исчезновение сопротивляемости, которое я видел у этих умирающих мальчиков. Потому что я прощался с этим миром спокойно, без особого страха, просто с сожалением, с легкой, что ли, грустью. "Печаль моя светла..." Потом я понял, что все это не так. Бедные дети в бараке умирали как столетние старики оттого, что были смертельно больны, — от цинги, пеллагры, дистрофии, никем не замечаемой пневмонии. Их же никто не лечил, им и температуру не мерили, а если бы и мерили, то она у них была бы ниже нормальной: у дистрофика все жизненные процессы протекают не так, как у здорового человека.

А вообще-то теперь я твердо знаю, что из всех сколько-нибудь высокоорганизованных, во всяком случае из млекопитающих, человек — самое пластичное, самое приспособляющееся существо. Твердо знаю, что никакое животное — ни корова, ни свинья, ни собака — не выдержало бы того, что выдерживали заключенные в лагерях.

Но тогда, в феврале 42-го года, я этого еще не знал. И уж, во всяком случае, мне не могло прийти в голову, что после этого мѳнут десятилетия, что я буду на свободе, в Москве, что мне предстоит еще раз выдержать новый круг арестов, суда, этапов, тюрем и лагерей, что опять будет свобода и многие годы счастья. Что вот эти воспоминания я буду писать в Ялте в теплый и солнечный ноябрьский день. Сейчас закончу эту страничку и пойду с Рикой вниз к морю. Пройдемся по всегда оживленной набережной, постоим у парапета, потом пойдем в парк, где южная меланхолическая осень пахнет вялым листом и все еще цветущими розами... А через несколько недель уедем в Москву, и там, в своем маленьком кабинетике, окруженный со всех сторон книгами, я привычно сяду в вертящееся кресло, достану рукопись и начну дальше заниматься историей жизни одного замечательного и грустного ученого, умершего в 1912 году... Конечно, с помощью машинной и машиноподобной логики можно — как ребячество — опровергнуть мою наивную веру в возможность человека сопротивляться обстоятельствам. Но сколько раз, прижатый в угол, я вспоминал, как прощался с прошлым и будущим февральской ночью 42-го года...

...Но — как пушкинский Онегин, правда, по совсем другому поводу, — я "не умер, не сошел с ума"... И даже на штрафняк не попал. Мой приятель, уже отбухавший свое и дошедший до поста начальника отдела труда и зарплаты лагеря, добился, чтобы меня отправили назад, на Второй лагпункт, для работы нормировщиком. Мне ведь удалось научиться этому дефицитному делу, и оно мне сослужило верную службу на протяжении моих многих лагерных лет.

И все кончилось тем, что я — уже конвойным, "вторичником" — снова засел в контору Второго лагпункта. Жил я все последующие месяцы без большого аппетита. Все же нелегко это перенести: получить

новый срок за полтора месяца до свободы. Пусть условной, довольно мифической, но все же свободы. Трудно было прожить день 17 апреля 43-го года — день, когда я должен был освободиться. Трудным и почти совершенно необозримым — как всегда в начале срока — представлялся мне мой будущий путь.

Вот так я прожил весну и начал лето. В конце июня, встретив меня в зоне, начальник дивизиона охраны бросил мне на ходу:

— А насчет тебя, кажется, бумажка пришла об освобождении...

Я остался совершенно спокоен. Такие случаи уже бывали. Арестанту дали новый срок, а спустя какое-то время в учетно-распределительном отделе кто-то натывается на перечень оканчивающих сроки, где бедолаге забыли приписать новый... И идет на лагпункт лживая бумажка о вызове на пересылку для освобождения... Я пошел к начальнику лагпункта. Об Анатолии Николаевиче Епаничников я еще где-нибудь расскажу. Это был молодой и редкостный для тюремщика человек — добрый, вежливый, исполненный доброжелательства к заключенным. Он мне подтвердил, что бумажка о вызове меня есть, и прибавил, что она, очевидно, пришла по недогляду и что он меня отправлять не будет: слишком мучителен этап туда и обратно, мучительны дни, проведенные впустую на пересылке. Он просто сообщит в УРО о происшедшем недоразумении. Я поблагодарил Епаничкова и пошел в свою конторку.

И вдруг я почувствовал, что не могу работать... А вдруг? А вдруг это не недоразумение, а правда?... Впервые за все эти месяцы мое сознание стало выходить из-под контроля. Я не мог больше ни о чем думать. И я пошел в УРЧ — учетно-распределительную часть. Там работало несколько вольнонаемных, и была такая славная девушка Женья — дочка какого-то начальника, попавшего в немильность к Тарасюку и поэтому отправленного на фронт. Я начал просить Женю дозвониться до Управления и выяснить в УРО, почему прислана бумага с моим вызовом на освобождение в то время, когда... Женья вздохнула — до Управления от нас было очень трудно дозваниваться, и она считала, что это все зря. Но она была добрым существом и жалела меня... Женья начала крутить ручку телефона и крутила ее час, два... Она не могла перестать, потому что я стоял рядом и не сводил с нее глаз. И она дозвонилась, позвала соответствующего инспектора и стала ему терпеливо объяснять о происшедшем недоразумении. Вдруг лицо ее изменилось, оно стало бледным, потом она прибавила — да, да, понимаю... — и медленно положила трубку. Из глаз ее брызнули слезы, и вдруг — неожиданно, неоправданно! — она бросилась мне на шею и, рыдая, стала говорить:

— Лев Эммануилович! Все правда, все правда! Вас освободили! Приговор отменили! Совсем отменили!..

...И это непросто — пережить вот такие минуты! Мне пришлось еще раз испытать почти такое в 1955 году, когда меня — тоже летом — освободили за пять лет до окончания срока... Да. Ночью Епаничников сделал совершенно неслыханное. Он снял с лесовывозки машину, посадил на нее меня с конвоиром и отправил на пересылку, приказав высадиться за несколько километров до пересыльного лагпункта: чтобы не погореть, за такое с ним черт знает что могли сделать!.. Через неделю я — сам собой, как настоящий вольняшка! — вернулся

на Второй лагпункт с бумажкой не из УРО, а из отдела кадров о назначении меня на ту же самую должность, на которой я работал заключенным. Я стал "закрепленным за лагерем" и переехал за зону, в комнату вольнонаемного барака.

Почему меня освободили? Я получил довольно громкую известность в лагере — я был единственным, у кого отменили приговор по такому "пораженческому" делу. Как это произошло? Так как все — и даже в лагере — происходит по строго соблюдаемому закону, то, когда я получил новый срок, мне дали двадцать четыре часа для того, чтобы написать кассационную жалобу. Получив кусок бумаги, я сел за стол в пустом бараке Комендантского лагпункта и стал обдумывать стоящую передо мной литературную задачу. Я понимал, что хотя и минимальный, но есть у меня шанс... Дело в том, что Чугунов в моем деле проявил откровенную халтуру. У него был штамп, который до сих пор действовал совершенно безотказно. Он его применил и ко мне. Забыв об одном — я был еврей... Почти все мои близкие были коммунистами и на фронте. Чтобы я стал пораженцем — мне следовало бы сойти с ума, не меньше!... Да, тут есть какой-то шансик!.. Но как заставить того, неизвестного мне, чиновника прочесть мою кассацию? Таких приговоров и жалоб — тысячи, они их и не читают, наверное!.. Значит, нужно написать так, чтобы было прочтено. Во-первых, она должна быть написана отчетливыми буквами — тем библиотечным шрифтом, какому меня обучали когда-то на спецкурсах, и занимать не более половины страницы. Во-вторых, она должна начинаться такой фразой, которая бы заинтересовала жреца правосудия... И заканчиваться чем-то таким, что не оставит этого жреца равнодушным...

Мою кассационную жалобу я теперь считаю лучшим своим литературным произведением. Первая фраза была такой: "Мое дело, очевидно, единственное в мире. Меня — еврея, у которого уже полтора десятка родных убито немцами в Белоруссии, а другая половина родных сражается на фронте, — обвиняют в том, что он, в здравом уме, за пять месяцев до освобождения, публично призывает Гитлера победить Советский Союз". После этого шло лаконичное и весьма саркастическое описание моего "дела". Затем я стал думать над последней фразой. И написал: "Обвинение, по которому я осужден, носит не частный характер, а имеет принципиальное значение. Я уверен, что Еврейский антифашистский комитет, к которому я — в случае надобности — обращаюсь за помощью, это поймет".

И я стал думать, что произойдет, когда какой-то прокурор, или как их там называют, — когда он достанет из груды бумаг мое дело и привычно-лениво начнет пробегать мое заявление. Таких коротких кассационных жалоб он и не видел раньше! Он ее прочтет и начнет читать подшитые к жалобе обвинительное заключение и приговор. Потом он начнет мысленно или вслух материть опера, суд — всю эту халтурную шарашку: "Не могли, идиоты, халтурщики, лентяи, придумать для этого зека что-нибудь другое! Разленились до того, что уже ни на что ума не хватает!" И — он заглядывает в анкетную часть обвинительного заключения — этот тип еще и журналист по профессии! И обязательно, сволочь, напишет в свой еврейский (а может быть, он сказал — жидовский) комитет, и еще не оберешься с ним

неприятностей!.. И, трижды выматерив своих лагерных коллег, он в сердцах пишет заключение: "Приговор ОТМЕНИТЬ!.."

Так ли это произошло или иначе — я уже никогда не узнаю. Но думаю, мои предположения довольно близки к истине. Во всяком случае, кассационная инстанция не то что послала дело на новое следствие или слушание — она просто отменила приговор. Я даже не знаю, с какой мотивировкой. И я стал свободным, ну, конечно, с "закреплением в лагере до особого распоряжения".

Каков был статут "закрепленного"? Я считался вольным и в качестве такового мог жить за зоной, мог жениться и стать членом профсоюза. Я получал заработную плату, возможность ходить на собрания и посещать политзанятия. Мог свободно передвигаться в пределах лагеря, конечно, не пропуская службы, ибо лесной лагерь считался оборонным предприятием, а следовательно, за прогул полагался срок до пяти лет... Впрочем, "закрепленный" был избавлен от уже надоевшей ему процедуры ареста, следствия, суда, этапа... Если лагерное начальство усматривало в поведении вольного что-либо ему не нравившееся, то лагерный прокурор составлял постановление, на основании которого "закрепленный" раскреплялся и снова загонялся в зону в качестве заключенного "до особого распоряжения".

Но через несколько месяцев после окончания войны слово "раскрепление" приобрело новый и совершенно обольстительный смысл. Какая-то неведомая нам инструкция разрешала начальству особо отличившихся в поведении и труде бывших заключенных, а ныне "закрепленных" — раскреплять. То есть переводить их в положение почти обычных граждан. С паспортом, с правом передвигаться за пределы лагеря, с правом даже уезжать на время положенных, уже возобновившихся, отпусков. Правда, паспорт был с 39-й статьей положения о паспортах, и с этим паспортом нельзя было появляться почти что во всех краевых и областных центрах, столицах союзных республик и многих других городах. И увольняться из лагеря тоже нельзя было. И много кое-чего нельзя было. Но этого "кое-чего" были лишены и другие — коренные вольные, и уже никто без суда не мог тебя загнать в зону. А главное, самое главное — можно было получить отпуск, уехать и увидеть все то, что у тебя сохранилось: дом, семью, родной город, друзей... Это была настоящая свобода, и желание "раскрепиться" стало самым главным в нашей жизни.

Я не стану здесь рассказывать, как я "раскрепился". У меня это тоже гладко не прошло. Помощник лагерного прокурора, ведавший раскреплением, меня не пропустил. Это был маленький чернявый украинский еврей — невежественный подонок, пьяница и хам, больше всего боявшийся, чтобы его не заподозрили в том, что он покровительствует "своим". У этого выродка была только одна хорошая черта — он боялся своего отца. А отец — крошечного роста, кряжистый старичок — работал диспетчером автоколонны. Мы с ним и знакомы не были, но, когда я после посещения прокурора пришел на автостанцию, диспетчер бесцеремонно меня спросил, почему я такой и какое у меня несчастье?.. Узнав, что у меня есть мать, которая меня ждет, он сурово сказал:

— Никуда не уезжайте! Этот босяк, эпикейрес, галамыжник будет на улице ночевать, если он не пустит еврея к своей родной маме!..

Завтра вы получите эту бумажку, можете мне поверить!

И завтра я получил эту бумажку! И уехал в Княжпогост, и там в самом настоящем районном отделении милиции получил паспорт. Ну, паршивый паспорт, конечно, но все же паспорт. И я уже довольно много знал, чтобы не относиться к нему пренебрежительно. Миллионы людей, даже и вовсе никогда не осужденные, мечтали о таком паспорте, совершенно для них недоступном!.. А с этим паспортом я мог получить отпуск, мог уехать, уехать в Москву, как-никак у меня на руках было удостоверение, что я являюсь сотрудником Усть-вымлага НКВД, сокращенно — "сотрудник НКВД", еще сокращенней и грозней — "сотрудник органов"... Имея такое удостоверение, можно рискнуть поехать в Москву и с подмоченным паспортом!

В октябре 45-го года я приехал в Москву! Я удержусь от соблазна вспомнить и еще раз пережить приезд в Москву, встречу с мамой, братьями, с долговойзой девчонкой, которую я запомнил пухлым годовалым ребенком... С некоторыми друзьями, с прошлым, которое, оказывается, существовало, не исчезло полностью, сохранилось — пусть и в странном, деформированном виде.

Значит, я приехал, жил непрописанный в старом доме моего детства; ел вкусности, изобретаемые для меня мамой; ходил с дочкой в цирк и зоопарк; сидел в незнакомых мне квартирах, куда я приходил передать привет или письмо, и слушал плач матери или жены, которые еще должны были ждать и ждать, чтобы увидеть своего... Вечером пировал с друзьями, которые глядели на меня как на выходца с того света и считали необходимым поить меня всеми забытыми мною напитками...

И вот я сижу — как некогда — в квартире старого дома, в переулке на Петровке, у моего старого друга — Туси, пью жидкий чай и крепкую водку, и мы перебираем всех наших старых друзей — живых и мертвых, — мы вспоминаем их так, как будто и не было этих лет... Кроме того, что Туся была очень верным и надежным другом, она еще была и бесстрашна. Как я понимаю, одним из источников этого бесстрашия и уверенности в возможности невозможного были ее обязательства, к действию которой она привыкла, и нежелание представить себе всю степень трудностей, которые следовало преодолеть. Во всяком случае, она настолько решительно считала, что я должен остаться в Москве и начать работать в редакции литературного журнала (только-то!!!), что почти уверила меня в возможности этого...

Для начала надобно было сделать главное: уволиться из лагеря. И тут-то Туся вспомнила, что в эвакуации она работала в газете большого оборонного комбината, а парторгом ЦК там был один человек, а теперь этот человек работает в ЦК и ведает, кажется, органами и что он иногда даже звонит ей, хотя она не представляет себе, о чем же можно с ним говорить!.. Но тут у нее предмет для разговора сразу нашелся. Она разыскала телефон своего знакомого, тут же позвонила ему, несколько минут своим быстрым воркующим голоском говорила ему какие-то светские, ничего не значащие слова, а потом — как бы между прочим — сказала, что вот есть у нее приятель, которому надо помочь снова начать литературную работу, бросив другую, там, на Севере, где ему и делать-то нечего...

Словом — как в сказке — на следующий день я сидел в ЦК у Тусиного знакомого. Он был — как и положено в этом учреждении — прост, внимателен и спокоен. Он деловито спросил, откуда я хочу уволиться, сколько лет у меня было, какая статья, и, очевидно, остался удовлетворен ответами. Потом — при мне же — он снял трубку вертушки и позвонил "товарищу Тимофееву" — даже генералом его не назвал. И разговаривал с ним спокойно-равнодушно, как Тарасюк с мелким вольняшкой. Сказал, что вот есть-де такой, в прошлом литературный работник, а теперь он собирается вернуться к старой своей работе, а посему пусть товарищ Тимофеев даст указание уволить его с работы... Положив на рычаг трубку, человек из ЦК сказал мне, что товарищ Тимофеев меня просит завтра к нему зайти...

Просит!.. Товарищ Тимофеев меня просит... Ну что же — я могу и зайти, раз меня товарищ Тимофеев просит.... На следующий день мама рыдала, меня провожая, на все мои уговоры отвечала, что она хочет только одного: чтобы я вернулся домой... Ну а я был более уверен, нежели мама. И бодро пришел на Кузнецкий мост, где меня уже ждал пропуск. Сначала меня принял начальник отдела кадров — долговязый полковник, который смотрел на меня как-то странно и даже с сожалением. Я заполнил какую-то анкету, затем написал заявление с просьбой об увольнении из Устьвымлага НКВД. Затем полковник меня повел наверх, пошел к генералу, а я остался в роскошной приемной, отделанной панелями из дорогих сортов дерева, — это был вкус самого Сталина. Так отделявали свои деловые апартаменты все начальники.

Вскоре плотно обитая дерматином дверь открылась, и полковник жестом пригласил меня войти. Я прошел крошечный тамбур, открыл вторую обитую дверь и вошел в огромный кабинет. Генерал-майор Тимофеев сидел напротив двери, далеко, в самом конце широкой красной дорожки. Первый раз я видел вблизи, почти вблизи, живого генерала. В настоящей генеральской форме: тугой воротник, золото широких погон, цветные ряды орденских ленточек. Лицо у Тимофеева было совершенно привычно генеральским, ожившей иллюстрацией Кузьмина к Лескову или Салтыкову-Щедрину...

Несмотря на все волнение, мне было трудно подавить улыбку от дикого, почти неправдоподобного соответствия действительности книжным, классическим представлениям о том, как должен выглядеть генерал. Но я сдержался и, остановившись на почтительном расстоянии от стола, бодро сказал:

— Здравствуйте, товарищ генерал-майор!

Генерал не ответил. Поджав нижнюю губу, он внимательно рассматривал меня глубоко спрятанными глазами цвета бутылочного стекла. Потом медленно сказал:

— А вы, оказывается, все еще думаете, что вы такой, каким были. По Цека ходите, планы все строите...

— Я не нарушил никакой субординации, товарищ генерал-майор, — ответил я, стараясь сдержать начинающийся тик левой щеки. — Цека директивное, а не административное учреждение, в него может обращаться любой человек...

— Может, может... — примирительно-спокойно ответил Тимофеев. — Вы думаете, что вы нам нужны? Да пусть ОНИ вас назначают

хоть редактором "Правды"! Пожалуйста! Вы нам совершенно не нужны!..

— Конечно, я вам не нужен, — сказал я, осмелев, тик у меня уже прошел. — И я вам не нужен, да и вы мне не нужны...

— Вот, вот. Дайте ваше заявление!

Он взял из моих рук заявление и в углу синим толстым карандашом крупно написал: "Не возражаю. Тимофеев". Потом отдал мне заявление назад и, откинувшись, сказал:

— Идите! Распоряжение будет послано.

"Я вышел шатаюсь..." Буквально. Прежде всего я уехал домой и стал размахивать перед плачущей мамой заявлением с резолюцией, написанной толстым синим карандашом. Потом мы обсуждали, как я буду жить в Москве, работать в журнале и еще что-то — столь же неразумное и детское... Впрочем, точно так же думали и мои друзья, и Туся, которая была счастлива оттого, что, оказывается, можно воздействовать даже и на них...

Это были хорошие дни: перед отъездом в Вожаель, куда я ничего не повез, — я же вернусь скоро! И после приезда в лагерь, когда я поехал в Управление, сдал в отдел кадров драгоценный документ с синей резолюцией; и когда, приехав на лагпункт, начал собирать вещи и записывать адреса множества зеков московского происхождения, к родным которых должен был зайти...

И уже началась зима, а меня все не вызывали для расчета и не вызывали... Я звонил в отдел кадров, и мне холодно отвечали: еще нет указания... И меня перестали вызывать в Управление на совещания, и Епаничников меня предупредил, что если я уезжаю на воскресенье, то в понедельник в девять утра должен быть на работе — об этом ему звонили из Управления, и есть люди здесь, которые за этим следят... Я написал заявление начальнику лагеря Выползову с просьбой о приеме. Только через полтора месяца я получил разрешение на приезд в Вожаель.

Выползов был как ощерившийся волк. Он выслушал меня и холодно сказал:

— Да, правильно, генерал Тимофеев не возражает против вашего увольнения. Я возражаю. Я не могу вас отпустить, пока не будет у меня равноценной замены... Те, кого вы называете, такими не являются. Вы свободны. Поезжайте на лагпункт.

Только через год, когда в лагере была получена инструкция, что бывшие зеки могут уезжать туда, куда им положено "Положением о паспортах", я узнал причину необычно смелого отношения Выползова к генеральской резолюции. Выдавая мне документы, инспектор отдела кадров — крошечного роста молодой коми — сказал мне:

— Я думал, раз образованный — значит умный. А ты, оказывается, совсем, совсем глупый... Ты чего совалялся со своей резолюцией? Год назад сразу прибыли две бумаги на тебя: одна от отдела кадров ГУЛПа — по всей форме — дескать, отпустить такого-то, уволить... А с ней простая такая бумажка, и на ней самым генералом, его собственной рукой написано: не увольнять, держать в тайге, подальше... Понял миндал! И если бы твой Епаничников не был таким настырным, то быть бы тебе нормировщиком на девятом, на штрафняке!

Черта лысого бы ты оттуда сюда к своей бабе пробирался бы!.. То-то, умники! Начальство, оно сильнее всех умников!..

Вторая моя встреча с генералом Тимофеевым произошла лет через семь. Я был в Усть-Сурмогском отделении Усолялага, когда летом 1952 года стало известно, что в Соликамск прибыл со всей свитой сам генерал Тимофеев. И было очевидно, что он приедет на Сурмог, потому что это было большое отделение и всего сорок километров от города. Лагпункт нервно готовился к встрече высокого гостя. Начальство больше всего уповало на впечатление, которое произведет на генерала внешний вид зоны. Дело в том, что местный главврач — старый, еще земский доктор — был большим любителем цветов. Сидеть ему еще предстояло долго, и он разбил вокруг стационара и конторы огромный потрясающе красивый цветник. Возможности у него для этого были: за цветниками ухаживали два опытных садовника, которых он держал в слабокманде. А семенами его снабжал я. Цветы я любил со всей силой нормального человека, по моей просьбе мама высылала мне целые посылки с семенами цветов.

На клумбах, тщательно окаймленных острыми уголками кирпичика, цвели турецкая гвоздика и настурция, примулы и бегонии, пышные георгины и кудрявые астры... И очень много было пахучих цветов: резеды, табака, маттиолы... Вечером цветы пахли с такой пронзительной силой воспоминаний, что иногда останавливалось дыхание... Этот цветник был гордостью лагпункта, самый последний "шакал" не осмеливался сорвать цветок. Жалко было. Да и с доктором в лагере никто никогда не ссорится.

Тимофеев действительно к нам прибыл. Я всесторонне обдумал, куда мне спрятаться, чтобы он меня не увидел. Вдруг увидит, узнает, ну зачем я ему буду доставлять удовольствие? Его у него и так хватает. Забравшись в чулан КВЧ, куда сваливали старые лозунги, призывающие "честным трудом растопить свой срок", я в маленькое незастекленное окошко смотрел, как с вахты выплыла колонна начальства. Впереди величественно и не спеша переступал короткими ногами Тимофеев. Солнце ликовало и переливалась на его широченных золотых погонах. За ним — строго по званиям, по должностям — шли полковники и подполковники, майоры и капитаны, старшие лейтенанты, и просто лейтенанты, и даже младшие лейтенанты... И все — госбезопасности! Генерал-майор госбезопасности, и капитан госбезопасности, и даже заключающий шествие старший надзиратель Еремчук — и тот был сержантом госбезопасности. Сколько же генералов, офицеров, рядовых и штатских стараются о безопасности нашего государства?!..

Я видел, как наше начальство первым делом повело генерала к стационару, к цветнику... И тут произошло что-то совершенно дикое, непонятное, как во сне... Все от меня происходило так далеко, что я ничего не слышал, я мог только видеть — как в немом кинематографе, когда на экране происходит нечто непонятное, еще не объясненное титром. Тимофеев остановился у самой большой и красивой клумбы, простер руку и поманил пальцем. К нему подскочил начальник нашего лагпункта. И, выслушав, сейчас же подозвал к себе Ерем-

чука. Еремчук кинулся в сторону. Тимофеев и сопровождающие его лица двинулись дальше, к конторе. А старший надзиратель через несколько минут прибежал назад в сопровождении десятка людей — дневальных, конторских, еще каких-то "придурков". Все они были с лопатами, и все они немедленно начали уничтожать цветник. Они вырубали огромные купы георгинов, с корнем выбрасывали примулы и резеду, растапывали маттиолу, раскидывали по мерзкой, оскверненной земле тщательно отобранные и уложенные уголки кирпича...

Я ничего не понимал. Смотреть на эту разрушительную, бессмысленную работу было страшно. Через десять-пятнадцать минут на месте цветника был обезображенный, грязный пустырь. Еремчук, который сам работал с зеками, разогнулся, вытер пот со лба и удовлетворенно осматрел свое дело. Потом он отпустил свою сборную команду, еще раз пихнул ногой сломанный, но еще сидящий в земле георгин и побежал. Докладывать.

Тимофеев к цветнику не вернулся. Он знал, что его приказы выполняются. И больше я его не увидел. Генерал со своей свитой, не заходя в бараки и другие помещения, вышел из зоны, и кортеж двинулся на катище. Начальство любит бывать на катищах. Аккуратно укатанные по сортиментам, с побеленными торцами, высятся огромные этажи штабелей круглого леса. Ни в чем, как в этих красавцах-штабелях, так не сказывается мысль Маркса об обезличенности окончательного продукта труда. Вот лежит этот лес, и ничто в нем не только не кричит — не говорит, не шепчет о том, как были сюда доставлены люди, которые этот лес пилили, как ходили они в заснеженную тайгу, как ворочали дрынами хлысты, когда кряжевали их на сортименты, как грузили, разгружали, укатывали... И если начальство и нуждается в каком-то чувстве оправдания (что маловероятно), то им способны давать это чувство бесконечные насыпи железных дорог, зеленющие откосы каналов, многоэтажные Ангарска, Воркуты и Норильска, громадина Московского университета — да мало ли есть прекрасного, что раньше именовалось "объектами", "подразделениями", "хозяйствами", "почтовыми ящиками"...

А слова, которые генерал Тимофеев сказал у лагерного цветника, были всего-навсего раскавыченной цитатой. Он повторил слова Сталина о том, что "тюрьма не должна напоминать санаторий"... Кстати, совершенно правильные слова, против которых невозможно что-либо возразить. Тимофеев вовремя напомнил о них нашим маленьким начальникам. На другой день надзиратели ходили по баракам и обрывали у любителей домашнего уюта бумажные кружева на нарах, выкидывали цветы, сорванные в лесу и доцветающие в жестяной банке, срывали с подушек, набитых стружками, домашние наволочки с вышитыми цветочками.

А я, когда мне передали слова Тимофеева, испытал какое-то странное чувство. Как и все, я знал, что мы живем под Сталиным и если наши жизни имели видимый конец, то жизнь Сталина была бесконечна, она — почти как вселенная — не имела ни начала, ни конца. Но вот так — как это сделал генерал Тимофеев: вещественно, непосредственно — Сталин редко напоминал о себе. А сейчас он снова прилез мне в голову. С внезапно обрушившейся на меня тоской я думал, что фора в возрасте мало что значит, что Сталин переживет меня, а

значит, все они — от генерала Тимофеева до сержанта Еремчука — все они меня переживут. Я не знал, что буду испытывать всего лишь через каких-нибудь восемь месяцев...

О, этот март пятьдесят третьего! За это время нас из старой зоны перевели в новую, которая строилась почти два года. Лагпункт был перспективный, и новая зона строилась на много тысяч зеков, на многие годы. Забор зоны делали из крупномерной деловой сосны, из тысяч бревен, вкопанных глубоко в землю, тесно прижатых друг к другу. Через четыре месяца мы этот забор растаскивали трелевочными тракторами и жгли на огромных кострах: лагерь спешно переоборудовался в поселок для вольнонаемных лесорубов...

Но тогда мы этого не знали, и тоскливо было жить в новой просторной зоне, в новых сырых, необжитых бараках. В кабинке нашей жил счетовод продстола Костя Шульга — человек необыкновенной биографии и неограниченных возможностей. Радиотрансляционную линию в новую зону еще не провели, и я лишился своего удовольствия: сидеть ночью в пустой конторе и обрабатывать рабочие наряды под бормотанье и музыкальное журчание самодельного репродуктора. Но Костя меня очень почитал, а связисты получали сухой паек, который Костя выписывал, и свиную тушенку любили больше склизкой и тухлой трески. Поэтому первого марта они протянули отдельную линию и протянули провода в контору, в кабинку, где мы жили, и в санчасть — ведь связисты были заключенными и отлично знали, кого надо кнацать...

Слушайте! Помните ли вы эту паузу в радиопередачах третьего марта?! Эту невероятно, невероятно затянувшуюся паузу, после которой не было еще сказано ни одного слова — только музыка... Только эта чудесная, эта изумительная, эта необыкновенная музыка!!! Без единого слова, сменяя друг друга, Бах и Чайковский, Моцарт и Бетховен изливали на нас всю похоронную грусть, на какую только были способны. Для меня эта траурная музыка звучала как ода "К радости!". Один из них! Кто? Неужели? Господи, неужели он?!!!

И чем длиннее была эта невероятная музыкальная пауза, эта длинная увертюра к неизвестному, тем больше я укреплялся в уверенности: Он! Наверняка Он! И наконец-то знакомый, скорбный и торжественный (наконец-то есть возможность пустить в ход этот знаменитый тембр, этот низкий, бархатный тон!) голос Левитана: "Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза..." Передавалось первое правительственное сообщение, первый бюллетень...

Я уж не помню, после этого ли бюллетеня или после второго, в общем, после того, в котором было сказано "Чейн-Стоксовское дыхание", — мы кинулись в санчасть. Мы — это Костя Шульга, нормировщик Потапов, еще два человека конторских — потребовали от нашего главного врача Бориса Петровича, чтобы он собрал консилиум и — на основании переданных в бюллетене сведений — сообщил нам, на что мы можем надеяться...

В консилиуме, кроме главврача, принимали участие второй врач — бывший военный хирург Павловский и фельдшер Ворожбин. Они совещались в кабинете главврача нестерпимо долго — минут сорок. Мы сидели в коридоре больнички и молчали. Меня била дрожь, и я не мог унять этот идиотский, не зависящий от меня стук зубов. Потом дверь, с которой мы не сводили глаз, раскрылась, оттуда вышел Борис Петрович. Он весь сиял, и нам стало все понятно еще до того, как он сказал: "Ребята! Никакой надежды!!"

И на шею мне бросился Потапов — сдержанный и молчаливый Потапов, кадровый офицер, разведчик, бывший капитан, еще не забывший свои многочисленные ордена...

И весь последующий день (или дни — не помню...) мы сидели у репродукторов и слушали музыку — чудную, божественную музыку, самую лучшую музыку на свете. А пятого вечером солдат из охраны за десять банок тушенки и еще сотню рублей принес Косте Шульге бутылку водки. Мы зашли с Костей за недостроенную баню, разлили по приготовленным банкам водку, и я сказал:

— Пей, Костя! Это и есть наша свобода!

...Я освободился лишь через два с лишним года. Костя и того дольше. Но все равно — и эти два года я жил с наступившим чувством свободы. Сталин — кончился. И генерал-майор государственной безопасности Тимофеев — тоже. Не имело значения, жив ли физически этот малорослый генерал из кузьминских иллюстраций. Этот генерал кончился, а время других еще тогда не настало...

Два начальника

Большинство воспоминаний начинаются с лживоскромного обещания "ограничиться"... Или с нескромного, но столь же неверного обещания "рассказать все"... Я, кажется, впадаю в оба греха. Вместо того чтобы ограничиться рассказом о начальниках, больше говорю о себе. И, обещав "рассказать о своих начальниках", очень быстро пришел к заключению, что это не только невозможно, но и не нужно. В самом деле: интересно ли возможному читателю этих воспоминаний исчерпывающее описание всех тюремщиков, которых я на своем веку встретил?

...Конечно, интересно вспомнить такую красочную фигуру, как подполковник Лапоть. Фамилия у него была другая. Но заключенные и в глаза так его называли. Он не обижался, а вздыхал и говорил, что они бы не позволили себе это раньше, когда он был не подполковником в лагере, а полковником в армии и командовал артиллерийской бригадой. Его понизили в звании и выгнали из армии в конце войны за художества, заслуживающие отдельного рассказа...

...Или лейтенанта Кныша — отчаянного пропойцу, встречавшего у вахты бесконвойных одним и тем же вопросом: "Горилка е?" Он забавлялся тем, что из множества украинцев, приходивших этапами, подобрал себе в помощники двух головорезов с фамилиями, гармонизировавшими с его собственной: Махно и Петлюру... Три носителя знаменитых фамилий на какое-то время превратили наш тихий, вымирающий лагпункт в подобие Гуляй-поля времен махновщины. Для заключенных это было прекрасное время. Была очень суровая зима, и батька Кныш, наплевав на истерические звонки из Управления, не выводил никого на работу. Он достал откуда-то большую бочку браги; спойл конвой и надзирателей, и, когда начальник производственного отдела Управления звонил и кричал, что надо выводить людей в лес, потому что температура сейчас только 50 градусов, Кныш ему спокойно отвечал: "У тебя, наверное, градусник на ... висит..." А у меня на градуснике за полсотню, и я в лес никого не пушу..."

...Хорошо бы вспомнить и того начальника, который приехал из России в звании капитана госбезопасности и стал образцовейшим начальником лагпункта. Особенно строго он следил за тем, чтобы не нарушалось правило лагерного режима, категорически запрещавшее сожительство заключенных. Пользуясь белыми ночами, начальник самолично дежурил на вышке, и, когда он видел, что кто-нибудь из мужчин шастает в женский барак или женщина в мужской, он бил в железную рельсу, подымал тревогу и бросался с надзирателями

туда, где происходило безнравственное, запрещенное государством прелюбодейство. Во всем остальном он был совершенно нормальный человек, и мы все были удивлены, когда после трех месяцев его хозяйничания за ним приехала целая бригада в санитарной карете. Он, оказывается, сбежал из сумасшедшего дома, и его разыскивали по всем лагерям, так как всю свою жизнь он был лагерным начальником и из больницы сбежал только в этот, единственно ему знакомый и близкий мир...

...А как обойти лейтенанта Белоуса?! Это был невероятный хапуга, веселый наглец, беззастенчивый враль. Он брал взятки у всех бригадиров; за сто рублей выпускал на ночь – в женскую бесконвойную командировку – навечно законвоированных двадцатипятилетников... Заключенные его очень любили. И за дело. Герцен, как известно, говорил, что, если бы в России строго выполнялись все законы и никто не брал взятку, жизнь в ней была бы совершенно невозможна! Царствование Белоуса подтверждало, что наблюдения Герцена не стали достоянием истории. С Белоусом было легко и просто жить. За две бутылки водки, за несколько сот рублей он давал свидания приехавшим родственникам, не требуя разрешения Управления лагеря; отобрав у заключенного водку, не устраивал из этого художественный театр, не сажал его в кондей, а просто выпивал эту водку, популярно объясняя потерпевшему, что водку положено пить ему, лейтенанту, а не арестанту. Впрочем, из-за своей нелюбви к правилам он иногда бывал непоследовательным и отечески наливал неудачливому зеку стакан его же водки. План сенозаготовок у Белоуса выполнялся просто и интересно: специально подобранная бригада бесконвойных головорезов крапа заскирдованное колхозное сено и привозила его на лодках в лагерь. Когда колхозные председатели приезжали в лагерь и подымали крик, Белоус сочувственно цокал языком и возмущался: "Та шо вы от них хотите? Та це ж преступники!" – и утверждал, что преступники загнали сено другому колхозу. Кстати, бывало и такое: крали, загоняли, а деньги делили с Белоусом...

Слабостью Белоуса была любовь к длинным речам на разводе. Все они носили дидактический характер и сводились к тому, что у него – Белоуса – каждый преступник может стать человеком, полезным нашему обществу, если он будет слушаться начальника лагпункта и выполнять его справедливые и мудрые указания – ибо они и есть указания нашего родного и великого государства. "Шо я думаю, то Советская власть каже" – такой любимой фразой заканчивал Белоус свои выступления.

Ну, черт с ними, со всеми этими начальниками – анекдотически или страшными, каких было полным-полно за мои полтора десятка лет! Но были и такие начальники, о которых я обязан вспомнить! Если Маяковский считал себя в долгу перед бродвейской лампой, то в еще большей степени я должен считать себя в долгу перед многими начальниками – доброжелательными и хорошими людьми. Я уже упоминал о Епаничникове, о начальнике Георгиевской пересылки, я могу назвать еще несколько начальников, носивших форму госбезопасности, но остававшихся – в пределах своих возможностей – добрыми людьми. Мое восхищение ими умеряется только созданием одного: если бы эти добрые люди получили приказ жечь нас

живьем, то — конечно, страдая при этом, — они бы нас жгли. И заключали между собою договоры на социалистическое соревнование: кто скорее сожжет...

Но была и еще одна категория начальников, очень важная и интересная: бывшие заключенные. Многие из них были арестованы еще в начале 30-х годов, отбухали свои срока и — навсегда! — остались на работе в лагере. Среди них я знал прекрасных, душевных людей, спасших многих заключенных, облегчивших им физические и нравственные страдания, и я должен рассказать об Иване Константиновиче Янове и о нашем милом и добром друге — Александре Петровиче Хасиеве...

Так или иначе, но в число начальников, а следовательно, и тюремщиков, входили те из нас, кто отбыл свой срок и вынужден был оставаться работать в лагере: плановиками, нормировщиками, начфинами, главбухами, прорабами, старшими десятниками... Я сам принадлежал к этой категории. Что бы там ни было, но мы тоже были служащими тюремного ведомства!.. И среди нас находились люди, очень быстро делавшиеся тюремщиками, да не обычными тюремщиками, а подлыми тюремщиками: "ссучившимися", "скурвившимися" — в самом полном и точном смысле этих ясных категорий...

Все это так. Но все же стоит ли заполнять страницы воспоминаний тюремщиками? Правильно ли, чтобы воспоминания о необыкновенном и страшном времени сводились к рассказам о тюремщиках? Вероятно, наибольший наш долг состоит в том, чтобы вспомнить людей, которые были такими же, как мы, заключенными. И не дождался времени, когда наше прошлое можно будет превратить в изложенные на бумаге воспоминания. После них ничего не осталось. Кроме тускнеющей, затухающей памяти родственников — если они у них были. Невозможно вспомнить всех. Но наиболее запомнившихся, наиболее близких!.. Как ни характерны для описываемого времени тюремщики, но более значительными для характеристики эпохи были — арестанты.

Но я должен закончить этот очерк. Я уже говорил, что значение тюремщиков определялось степенью их влияния на наши судьбы. Никогда это так сильно не сказывалось на мне, как осенью 1950 года, когда я был в Ставрополе арестован и осужден "по новой" на десять лет лагерей. Вот тогда-то мне пришлось столкнуться с двумя начальниками тюрем, имевшими для меня и моей жизни почти решающее значение. Один из них был начальником внутренней тюрьмы Ставропольского УМГБ, другой — начальником Ставропольской городской тюрьмы. Мое общение с ними было непродолжительным, я не запомнил их фамилий, с трудом вспоминаю приметы их внешнего облика. Но именно рассказом о них я и собираюсь закончить свой очерк о тюремщиках.

Я хочу предупредить моих читателей, что в этом рассказе больше всего будет говориться обо мне, о моем последнем "деле". При всей его незначительности и банальности, это "дело" — осколок времени. Этим я оправдываюсь за растянутость рассказа.

Лето 50-го года началось для меня стремительно. Все стало на свои места. Жена живет в Сибири в маленьком районном селе, кило-

метрах в ста с лишним от Ачинска. И в конце концов, не так это страшно — пожизненная ссылка! Можно поехать к ней. Можно похлопотать о том, чтобы ее перевели в какой-нибудь небольшой сибирский городок, где есть газета, а мне туда же переехать. Я найду себе там работу, и мы будем жить-поживать, ожидая чего-то лучшего... Опытный читатель без труда поймет, что мой взрыв оптимизма был вызван не столько трезвой оценкой обстановки, сколько чисто литературными реминисценциями. Так некогда и происходило, в восьмидесятые годы прошлого столетия. Уезжали к ссыльным, обосновывались, жили счастливо...

О происхождении моего оптимизма я догадался значительно позже. А летом 50-го года мне все казалось трезво-реальным и вполне возможным. Надобно было первым делом поехать в Сибирь, повидаться с женой и совместно обсудить наше будущее, теперь уже без всякого сомнения — совместное...

Был я человеком свободным. От работы, семьи, собственности, денег... Я уехал из Ставрополя в Москву и там стал готовиться к поездке в Сибирь. Вернее, меня стали готовить. Друзья дали деньги на дорогу. Брат, только что приехавший из Вены, где служил в войсках, одел меня в роскошный венский костюм, снабдил элегантным летним пальто, причудливо выгнутой шляпой... Скромно-изысканный галстук, современная форма швейцарских часов — никогда еще в жизни я не был таким франтом, никогда не выглядел таким уверенным "хозяйном жизни". Молодые и довольно беспутные соседи по купе, ехавшие куда-то по очередной вербовке, до самого Ярославля стеснялись своего нездешне-элегантного спутника. Ну а дальше все пошло вполне нормально, и в Ачинск я приехал хотя и несколько поизмятый, но довольный собой и своими навсегда исчезнувшими товарищами. А дальше была дорога в Бирилюсы на попутных машинах, с остановками на "стайках"; редкие сибирские деревни с шлагбаумом — "поскотницей" — у въезда и выезда...

...Как быстро пролетели эти полтора месяца счастливой сибирской жизни! Рика работала машинисткой в райпотребсоюзе. Жила она в крошечной комнатке за огромной русской печью в большой, нелепой по нашему среднерусскому представлению избе. Пока жена была на работе, я счастливо томился от безделья и ожидания и мысленно разрабатывал во всех прекрасных деталях план нашей дальнейшей жизни. Есть какая-то зацепка в политотделе Наркомвода... Значит, надо мне ехать в Енисейск и там устраиваться в местной газете речников. А затем возбуждать ходатайство о переводе жены. Ходатайство, безусловно, удовлетворят, потому что Енисейск — ссыльный город, там полно ихнего брата. А в Енисейске мы снимем настоящую квартиру, да и город самый настоящий! Где и жить, наверное, не хуже, чем в твоей и напряженной Москве.

Вечером жена жарила жирных ельчиков и вносила практические, но не менее радужные поправки в мои планы. Часто мы ходили в гости к приятельнице Рики — зубному врачу Анне Степановне. Анна Степановна, как и Рика, была "повторницей", отбыла свое в лагере и теперь должна была доживать свои дни в сибирской ссылке. Милый и добрый человек, намного старше нас, она жила в ссылке так же уютно и весело, как во всей своей жизни, как живет и сейчас — очень старая

и больная — в маленьком подмосковном городке... Мы ели вкусно, гуляли по берегу Чулыма, собирали около маленького неухоженного кладбища неведомые нам прежде, запахнувшие сибирские цветы.

Москва, Ставрополь, весь мир — они были далеки! Конечно, на какое-то время к ним надо будет вернуться, но это когда-нибудь, поздней осенью, когда придется делать в празднике перерыв для хлопот о новом — на этот раз почти окончательном! — устройстве...

”Во многом знании — много печали...” Знаменитые слова Екклесиаста требуют реалистических поправок. Нет, не только печаль дает знания! Я иногда с ужасом вспоминаю свое первое сидение, трагическую растерянность перед следователем, перед надзирателем, конвоєм. Как трудно, невозможно привыкнуть к тому, что сидящий напротив тебя человек — такой же, как ты, твой товарищ по партии, по вере, по идеалам — осыпает тебя мерзкой руганью, глумится над тобой, твоими близкими, избивает тебя, беззащитного, бесправного... И эти люди в военной форме, которую ты так любил, которой так восхищался, — они с тобой обращаются как с последней фариной на земле...

Но в первые же недели жизни в Бутырской тюрьме я встретился с людьми, у которых отсутствовал испуг непривычности, они не носили на лице ту печать трагического недоумения, которая самых разных людей делала похожими друг на друга. Это были иностранные коммунисты, работники Коминтерна. Большинство из них подолгу сидели в тюрьмах, и опыт тюремной жизни сказывался в их быте, повадках, спокойствии. Даже когда они приходили с допроса избитыми до полусмерти, не было в их глазах страдальческого недоумения, невероятной, убивающей обиды...

Совершенно не помню того австрийского коммуниста — ни лица его, ни фамилии, — с которым я разговорился однажды ночью, когда я не спал, а он пришел с допроса в меру избитый. Я помогал ему, когда он обмывал свое разбитое лицо, а потом почти до утра мы сидели на корточках возле двери — так нас не видно было в глазок — и шепотом разговаривали.

— Невозможно на вас смотреть без жалости, — сказал он, как только сделал первые несколько затяжек папиросой, — вы вызываете у нас — профессионалов-революционеров — и жалость, и злость, и бесплодное желание чем-нибудь помочь. Вероятно, вам предстоит многие годы тюрьмы. Ну, опыт к вам придет сам собой — это дело наживное и не самое главное. Самое же для вас главное — если вы хотите себя избавить от нравственных мук — это перестать смотреть на них как на своих товарищей... Ошибающихся, трагически заблуждающихся, но товарищей... Если вы будете с этим жить, вы будете обречены на непосильно страшную жизнь. И нелегкую смерть. А вы попробуйте посмотреть на все по-другому. Вы — коммунист. И находитесь в фашистском застенке. Вы в плену у врага. У вас перед ним нет никаких обязательств. Вы всегда старайтесь, чтобы было хорошо вам, а не вашему палачу и тюремщику, относитесь к ним ко всем — как к врагам! И вам сразу же станет намного легче!

Конечно, я воспроизвожу этот монолог австрийского комму-

ниста по памяти. Но именно таков был смысл его слов. Он был прав, когда говорил о трудности, даже невозможности внушить нам такую точку зрения. Должны были пройти многие годы тюремного и лагерного опыта, обдумывания происходящего, осмысления его, пока мы могли усвоить какую-либо часть этой философии. А тогда, в тюрьме, в этапе, мы с некоторой завистью следили, как свободно, с достоинством держали себя иностранные коммунисты, как в этапе они отказывались тащить вещи, требовали отдельной посуды... Конечно, на большую часть их требований тюремщики плевать хотели, да дело не в результате требований, а в манере поведения, в системе отношения к действительности...

В 50-м году я думал и вел себя почти по этому рецепту, который давал мне австрийский товарищ летом 1938 года. И во многом такая позиция облегчила мне самое трудное. Во всяком случае, эта позиция помогала в главном: сохранении человеческого облика, своего достоинства, единственного, что они не могут у нас отнять. А опыт помогал принимать решения, исходя из того, что удобно тебе, а не твоим преследователям. В таких случаях решение приходило почти мгновенно — как будто современная электронно-счетная машина за какие-то считанные секунды пересчитала все возможные варианты и выбрала оптимальный...

...Все планы, все надежды, все, все отлетело в эту черную мину-ту, когда я увидел, как задолго до конца рабочего дня почти бегом идет к дому Рика вместе с Анной Степановной. Почти все, что может нас ждать и ждет, было написано на ее посеревшем и сразу же осунувшемся лице. Она прстянула мне телеграмму из Москвы. В ней говорилось, что меня разыскивают в Москве, у родных. Приходили...

Остальное заняло минуты. Мы так хорошо знали уже дальнейшее, что нам не надобно было ни спорить, ни выбирать. Раз меня разыскивают в Москве — значит, на мой арест выписан ордер, больше того: ордер на розыск. Не надо обладать шерлок-холмсовскими данными, чтобы догадаться: если я не в Москве, то наверняка в Бирилюсах. Следовательно, меня могут арестовать сегодня же, через час, через полчаса. Скорее всего ночью. Они любят это делать — без всякой, собственно, надобности — ночью. Все же ночной арест придает их работе некий романтизм, зрелищность, в которой никогда себе не отказывали даже самые вульгарные отсекатели голов в феодальном Китае.

И ясно, что последует дальше. Поскольку ордер выписан ставропольскими эмгэбэшниками, то меня этапируют в Ставрополь. Отсюда в Ачинск, затем в Красноярск, потом "советским" вагоном через все пересылки. Многомесячный летний этап самый тяжкий и опасный. Нет, надобно драпать немедленно, лучше самому, за свои деньги доехать до проклятого дома на улице Дзержинского в Ставрополе, нежели за их счет быть привезенным полуживым... Расторопная Анна Степановна уже остановила какой-то бензовоз, ехавший в Ачинск. Прощание было коротким — как в лагере перед этапом. Условились: где бы я ни был, каждую пятницу я посылаю телеграмму. Если в какую-нибудь из пятниц телеграммы не будет — я уже у них в руках...

Какой-то сумасшедшей была дорога назад. Билеты на проходящие поезда в Ачинске не продавали. Я просидел ночь около заплыван-

ной, непереносимо грязной станции. Утром меня увидела женщина, с которой я познакомился полтора месяца назад, когда эlegantный, веселый и счастливый слез с поезда. Эта женщина заведовала на вокзале комнатой матери и ребенка и сразу догадалась, что я еду "на свиданку". Наверное, она имела какое-то отношение к нам, потому что, ничего меня не спрашивая, помогла найти машину, шедшую в сторону Бирилюс. И теперь она меня — помятого, грязного, небритого — тоже ни о чем не спрашивала. Она мне достала безместный билет на первый же проходящий поезд. Я втиснулся на забитую людьми площадку вагона и задремал, благо в этой тесноте упасть было невозможно.

Проснулся я от чьего-то прикосновения. Передо мной стоял человек, в чьем существе я ошибиться не мог. Это был капитан государственной безопасности... Но уже через несколько секунд я понял, что это не то... Не тот... Капитан был в расстегнутом кителе, без фуражки и тяжело, многодневно пьян.

— Парень, ты случаем не москвич?

— Москвич.

— Чего стоишь тут?

— Мест нет.

— Пошли в ресторан.

— Денег нет.

— Подумаешь, дерьма такого! У меня их до черта! Пошли!..

— Пойдем.

Через час блаженного ресторанного уюта мы уже были не только знакомыми, но и почти друзьями. Он — не то из хозяйственного, не то из административного управления наркомата, возвращается из отпуска, который проводил у родных в Спасске. Город ужасный, культурных людей нет, пить не с кем, да кроме водки и пить нечего, а водка — отвратительная, неочищенная. А он привык коньяк пить, портвейн, и не какой-нибудь, а винд-апорто... В поезде тоже одни какие-то работяги, вместо того чтобы сидеть на месте и упираться рогами, ездят, ездят все время со своими бабами да сосунками, мешают только порядочным... Зачем только дают им паспорта. Отобрать бы и пусть сидят на месте и втыкают!.. А как увидел он меня, сразу же понял: свой из Москвы, как и он — интеллигентный... Я отвечал капитану такой же откровенной взаимностью. Яков Захарович Пинский — журналист, специальный корреспондент "Сельскохозяйственной газеты". Вот уже больше месяца мотаюсь по сибирским совхозам, одичал, оголодал, пропился, соскучился по интеллигентному лицу. Такое счастье, черт возьми! — встретить в этом гнусном поезде — своего!..

Я не испытывал никаких угрызений совести! У меня нет места, нет денег, я должен пробираться куда-то, где они меня ждут, чтобы схватить... Пусть этот госбезопасный капитан меня кормит и поит! И он кормил меня и поил. И устроил у себя в купе, когда через сутки там кто-то слез. Когда мы подъезжали к Москве, он уже совершенно распылся в любви ко мне. Мы с ним уже почти договорились обо всем: я пойду к ним работать. Это только из оперативных отделов повыгнали таких, ну, космополитов... А в Хозяйственном управлении их держат, там нужны люди с шариками в башке, он скажет словечко, меня мгновенно... Тем более спец по сельскому хозяйству, парень

грамотный, журналист, докладную напишет так, что всегда будет по-рядочек...

— Ты, Яша, не сомневайся! Монеты будут, житуха будет!..

На Ярославском вокзале я незаметно ускользнул от своего друга-капитана. О своем приезде я, естественно, никого не предупреждал. Пошел в парикмахерскую, побрился, почистился, навел на себя какой-то лоск. Я в чужом, враждебном мне городе, где меня ищут... Я должен выглядеть привычным москвичом, а не приезжим растерянным пентюхом. Была пятница. И с вокзала я послал телеграмму в Бирилюсы. Потом начал из разных автоматов звонить близким и друзьям.

Почти сразу же уехал из Москвы за Волоколамск, где далеко от железной дороги, в карьере у своей тетки, жила летом моя дочь. Неделю прожил там. Потом распрощался с ней — надолго — и уехал в Москву.

Я преувеличил свои возможности, когда после недели ресторанно-разгульной жизни за счет капитана госбезопасности решил, что могу сколько угодно жить нелегально в Москве или другом месте. Знал людей, которые годами жили нелегально, покупали себе "чистый" паспорт, словом, жили, не имея никаких обязательств перед своими преследователями. Но для этого надобно иметь генетически заложенный характер. И деньги. У меня не было ни того ни другого.

Прошел месяц или больше московской жизни. Я много читал о том, как себя чувствовали нелегалы до революции или разведчики и партизаны в оккупированном городе. Читал и примерялся к этому. Но действительность была отвратительнее. Почти каждую ночь я ночевал у разных людей. Я ел и пил на чужие деньги у разных людей, не всегда мне хорошо знакомых. В Москве шла тяжелая, тревожная и напряженная жизнь. Это было лето 1950 года: невеселое лето разгромов, арестов, доносов, отречений, самопокаяний... Я в этой жизни был чужой — только сочувствователь. Я ничего не делал, нигде не работал. Целыми днями я слонялся по улицам, сидел на бульварах, читая газеты. Город был набит топтунами, стукачами, оперативниками — черт их знает, как они называются! Иногда я откладывал газету и наблюдал за их нехитрой работой. Филеров узнать очень легко. У них все чрезмерно. Чрезмерно небрежна или чрезмерно строга одежда. Чрезмерно рассеянное, якобы ни на что не обращающее внимания, не реагирующее на окружающих лицо. Чрезмерно подчеркнутое невнимание к тем, кого они высматривают. По городу они ходят тройкой: два филера в штатском и один в милицмейской форме. Что они работают втроем, можно быстро догадаться по подчеркнутому незнакомству друг с другом. Те — в штатском — высматривают людей, кажущихся им подозрительными. А подозрительны им люди, у которых нет старомосковского вида. Они ищут приезжих, у которых в паспорте 38-я или 39-я статья "положения о паспортах". Или же в паспорте значится одна из тех фамилий, которая фигурирует в имеющемся у них списке разыскиваемых. В этом списке есть и моя фамилия...

Техника у них несложная. Прохиндей в штатском делает расте-

рянное лицо, подходит к проверяемому и спрашивает, как пройти... Обычно называется какая-нибудь малоизвестная московская улица: Домниковка, Матросская Тишина, Большая Оленья... Когда вопрошаемый недоуменно разводит руками, перед ним извиняются и отходят. Потом филер проходит мимо мильтона и делает условный знак. Милиционер козыряет и спрашивает паспорт... Если они работали на сдельщине, то план свой они почти всегда выполняли и перевыполняли. Во всяком случае, при мне множество раз попадались какие-то бедолаги тридцатидевятники, которых немедленно уводили навстречу неизвестной, наверняка мало сладкой судьбе.

Несмотря на то что у меня был вполне московский вид, ко мне тоже подходили спрашивать, как пройти или проехать к Орликову переулку, к Солянскому тупику... Ну, со мной такие номера не проходили. Я хорошо знал Москву, знал намного лучше, нежели топтуны, меня спрашивавшие... Но торжества я не испытывал. С каждым днем я чувствовал себя все хуже и хуже. С мамой я встречался на дальней аллее в Сокольниках, и не было в этих встречах ничего радостного. И когда я вечером шел по "Военно-Грузинской дороге" — по Арбату, где в каждой подворотне, в каждом подъезде стояли топтуны, я иногда начинал идиотски тосковать по безлюдной мертвой тайге, где нет ни птиц, ни милых зверюшек, но зато нет и этих морд, этих внимательно высматривающих глаз...

От такой нелегальной жизни очень быстро начинаешь уставать. А вместе с усталостью приходит и утрата чувства опасности, настоящего страха перед опасностью. Ну что хорошего в этой жизни, кроме того, что я каждую пятницу посылаю телеграмму в Бирилюсы?! И сколько я могу ее вести? И наступит зима — что я буду делать, где слоняться? И все чаще я стал думать о Ставрополе, который представлялся мне милым домашним городом. Я там прописан, я там не должен бояться милиционера, а самое главное — там я могу зарабатывать деньги, быть независимым, содержать себя и Рику... Почему это я вообразил, что на меня выписан ордер? Меня в Москве разыскивали один раз! Может, это соседка в маминой квартире на Ордынке стукнула, что бывает здесь бывший лагерник, не имеющий правожительства, вот за мной и приходили. Было уже так однажды! Скорее всего именно так и происходило, а я и мои близкие вообразили Бог знает что!..

В Ставрополе у меня были друзья. Единственные, которыми обзавелись в этом городе. Глеб Иванович Игнациус и его жена Вера Романовна были легкими и гостеприимными людьми. Игнациус был директором Ставропольского парка культуры и отдыха, человеком отзывчивым, откровенным и панибратским. Мы быстро и близко сошлись. Когда арестовали Рику, их маленький дом в парке был для меня единственным местом, где немного оттаивала моя сжавшаяся душа. Там меня кормили, помогали делать Рике передачи, это были люди, по-настоящему ставшие для меня близкими. Глеб и Вера были СВОИ. Люди, с которыми я мог разговаривать откровенно. И они были со мной предельно откровенны. Глеб не стеснялся самого опасного в то время — выражать свое презрение и ненависть к Сталину...

И чем хуже мне становилось в Москве, тем отраднее мне начал казаться мой угол с собственной кроватью у нашей старой квар-

тирной хозяйки Жени; тем больше меня манил уютный дом Игнациусов. Ставрополь — место, где я имею законную прописку, где я — легален, легален, черт возьми! Я написал письмо в Ставрополь, Игнациусы мгновенно мне ответили: в Ставрополе все тихо и хорошо, у Жени никто обо мне не справлялся, единственное лицо, интересующееся мною и жаждущее моего скорого приезда; — мой работодатель из крайкома. Ну и они уже соскучились, хотели бы видеть меня, узнать все подробности о Рике...

Словом, я уехал. Поехал в Сокольники и там попрощался с мамой — навсегда. Никем не провожаемый — конспирации ради — сел в поезд и двинулся навстречу неизвестному будущему. Первый мой ставропольский день был прекрасен! Стояла золотая кавказская осень. Меня приветливо и радостно встретила хозяйка квартиры. Я побрился, приоделся, приобрел франтовато-московский вид, побежал на почту и послал телеграмму в Бирилюсы — была пятница. Еще целую неделю Рике предстояло жить в уверенности, что я на воле и все со мной хорошо... Потом была радостная встреча с Игнациусами, меня встретили дружескими объятиями и поцелуями, у меня было чувство, что я наконец-то вернулся домой.

Арестовали меня поздно ночью, когда я возвращался из парка. Арестовали подло — на улице. Из всех видов ареста этот наиболее подлый. Берут человека таким, какой он есть: без тех мелочей, которыми человек привык пользоваться в обычном мире: мыла, зубной щетки, домашних туфель... Без одежды, белья... В Бутырках со мной сидел младший брат наркомздрава Каминского — щеголеватый молодой человек, работник Наркомвнешторга. В раскаленный июльский день ему позвонили с Лубянки и попросили зайти по делу — так было уже не раз. Он ушел в плавках, кремовых фланелевых брюках, тенниске и замшевых сандалетах. Я его встретил через год — в остатках этой совершенно истлевшей одежды. Кое-как сокамерники его одели к предстоящему этапу.

Да. Так они меня арестовали темной южной ночью на улице, неподалеку от моего дома. Их было три человека плюс оперативная машина. Они разыграли весь этот высокохудожественный спектакль по всем правилам своей романтической и опасной работы. Я не буду рассказывать о деталях того, что они называют операцией. Каждый это много раз видел на экране кинематографа или телевизора.

Единственно, что не сходилось с банальным сценарием, — это охватившее меня ледяное спокойствие. Это состояние началось у меня, когда ко мне в темноте подошли двое каких-то людей и один из них притворно веселым и дружеским голосом вопросительно сказал:

— Лева, здравствуй!

Я помолчал и ответил:

— Зажгите фонарь и осветите свое удостоверение!..

Они в растерянности замолчали, а потом фонарем осветили удостоверение какого-то капитана госбезопасности. На этот раз — это был тот капитан. Несмотря на позднее время, в доме на улице Дзержинского меня встретили множество людей в форме и без нее. Они резвились вокруг меня с такой радостью и удивлением, что я попался, что этому почти можно было поверить. Но я-то знал, что этот спектакль должен дать мне понять, что я обвиняюсь в страшнейшем преступле-

нии, что меня разыскивали по всей необъятной нашей стране и вот я наконец у них в руках и все у меня кончено!..

Но я не принимал участия в этом представлении. Был спокоен, демонстративно-скупающе зевал и лениво отвечал на обязательные вопросы знакомой мне анкеты "Прием арестованного". Дискуссия у нас возникла при заполнении графы "профессия". Я ответил: нормировщик. Я-то уже знал, что из этой анкеты ответ перейдет в мой формуляр, будет за мной ходить годами и много будет значить в моем будущем. Капитаны и майоры возмутились и сказали, что я никакой не нормировщик, а литературный работник. Я им ответил, что анкета заполняется со слов арестованного и подписывается им. Они обязаны записать так, как я им говорю... Я очень устал, мне хотелось скорее отдохнуть от этих морд, скорее в камеру... Единственный раз я пошел на компромисс, и в анкете у меня появилась самая странная профессия, какая может быть, — литературный работник-нормировщик. Таким кентавром я и странствовал по лагерям, где значение имела, конечно, только вторая часть моей необычной профессии.

Ну, пройдя всю обычную и тоскливо-унизительную процедуру обыска, отрезания металлических частей с одежды, вытаскивания шнурков и резинок, я почти в четыре часа утра наконец очутился в камере. Устраивался я на койке так привычно и спокойно, что проснувшийся сокамерник шепотом спросил: "Из какой камеры?" И, узнав, что не из камеры, а с воли, не поверил мне...

Больше десяти дней меня не беспокоили, не вызывали, и я знал, что это тоже входит в сценарий "работы с арестованным". Не могу сказать, чтобы понимание полностью исключало тот эффект, которого они добивались: недоумения, постоянного напряжения, обессиливающей тревоги... Все это у меня было. Хорошо еще, что меня очень занимал мой сокамерник. Он служил при немцах начальником Зеленинской районной полиции. Это была преинтересная личность. Полуинтеллигент. В прошлом — следователь уголовного розыска, учитель, затем руководящий профсоюзный работник, дошел до председателя краевого комитета профсоюза работников просвещения. К началу войны был директором детского дома в Верхнем Архызе. Как мне кажется, и на следствии, и в разговорах со мной — предельно откровенен. И был превосходный рассказчик с отличным и самобытным языком. История его жизни, предательства, второй жизни (его арестовали только в 1950 году) заслуживает отдельного рассказа. В надежде, что мне это удастся сделать, я здесь не буду больше о нем говорить.

Через десять дней меня перевели в другую камеру. Одиночку. И я понял, что начинается "работа с арестованным". Так и случилось.

...Я сижу на прикованной к полу табуретке, на расстоянии достаточно далеко от письменного стола следователя, чтобы тот, в случае нападения, мог взять пистолет, лежащий у него под рукой. Впрочем, и пистолет этот и толстые папки на столе, повернутые ко мне так, чтобы я мог прочесть на обложке свою фамилию, входят в бутафорию спектакля. Они полные идиоты! — думаю я, пока мой

следователь внимательно листает эти папки. Он же должен знать мою биографию, он не может не понимать, что я все это уже видел, сотни раз об этом слышал... Содержимое этих толстых папок не имеет ко мне никакого отношения, это, наверное, напечатанные на ротаторе тезисы к политбеседам, их подшивают в папку и выводят на обложках фамилию подследственного для того, чтобы дать ему понять, что следствие располагает огромным количеством материала... Все это — собачий бред! Асы мне говорил, что "они знают только то, что мы сами им говорим"... Конечно, и этого иногда бывает достаточно.

Со следователем я хорошо знаком заочно. Майор Гадай был следователем у Рики. И я уже знаю, что он перемежает грубость с добродушием; любит вести отвлеченные разговоры, не имеющие к допросу никакого отношения. Впрочем, такая манера нам всем известна. Для учета следователю надобно, чтобы в протоколе само время допроса указывало, что следователь не зря хлеб ест, что у него уходит бездна времени, сил и нервов на то, чтобы "расколоть" опытного, упирающегося преступника. А поскольку в таких делах, как у Рики, да и у множества других, "колоть" не приходится, то следователь заполняет время разговорами о чем угодно: знакомых, театрах, книгах... Наиболее откровенные не делают никакого вида и спокойно читают газеты или же новейший роман какого-нибудь Бабаевского. А когда приходит время, вызывают конвой, чтобы отвести подследственного в камеру...

Конечно, я нервничаю, и Гадай это понимает. Сегодня двенадцатый день после моего ареста, и по закону ("закон есть закон") мне должно быть предъявлено обвинение. Сейчас я узнаю, в чем же меня обвиняют, а следовательно — сколько я получу...

Наконец, поигравшись с папками, напустив на себя угрожающе-сосредоточенное выражение, Гадай начинает. Сначала идет длинная тяготина, хорошо мне известная, следовательно, и совершенно зазрашная:

- Расскажите все о вашей антисоветской деятельности.
- Я не занимался никакой антисоветской деятельностью.
- Следствие располагает исчерпывающими материалами о продолжительной и активной антисоветской деятельности, которой вы занимались...

— Следствие не располагает и не может располагать никакими сведениями о моей антисоветской деятельности, поскольку я таковой не занимался.

И т. д. и т. п. Эта "сказка про белого бычка" тянется с полчаса или час. Она — несмотря на напряженность обстановки — начинает своим занудством вызывать у меня что-то вроде сонливости. И тогда следователь, с видом покериста, молча выкидывающего на стол "флеш-рояль", протягивает мне так, чтобы я мог прочесть, листок бумаги.

Это заявление, написанное в Управление МГБ Глебом Ивановичем Игнациусом. Он пишет, что считает своим партийным и гражданским долгом сообщить органам безопасности о том, что я на протяжении всего своего пребывания в Ставрополе вел активную антисоветскую агитацию среди своих знакомых. Главным объектом моей агитации была его семья. Особенно эта антисоветская деятельность усили-

лась после ареста моей жены. Дальше приводятся факты, подтверждающие мою подрывную деятельность. Почти все правда!.. Рассказывал о том, что четырнадцатилетних детей за уход с военных предприятий посылали на семь лет в общие лагеря... Рассказывал! Говорил, что лагеря были набиты людьми, которым давали по пятнадцать лет за украденную жменю подсолнухов... Говорил! Игнациус ничего не прибавлял, только все, что я рассказывал, было пересыпано гарниром слов: "возводя клевету на советскую действительность", "в своей вражеской клевете доходя до утверждения...", "в целях оклеветать партию и правительство..." и т. д. Я посмотрел на дату заявления: написано через две недели после моего отъезда из Ставрополя в Москву... Интересно, а Вера про это знала?

Как бы отвечая на этот незаданный вопрос, Гадай мне протянул протокол допроса Веры Игнациус. Свидетельница полностью подтверждала все факты моей антисоветской деятельности, сообщала, что я, вероятно, уехал к своей ссыльной жене, и давала обещание немедленно сообщить о моем приезде органам МГБ... (Значит, после того, как они меня обнимали и целовали, Вера помчалась к Гадаю!.. Это почти напротив...)

Не верьте моей теперешней интонации! Это сейчас, когда прошло двадцать два года, я вспоминаю об этом почти спокойно. Только что "почти"... Предательство не имеет срока давности! И даже сейчас, когда это вспоминаю, я начинаю немного задыхаться. Ну а тогда, несмотря на всю мою готовность ко всему и самоконтроль, вероятно, про меня нельзя было сказать, что "на челе его высоком не отразилось ничего". Отразилось. Очевидно, хорошо отразилось. Потому что Гадай остался вполне удовлетворенным.

Он снял трубку, набрал чей-то телефон и почтительно сообщил:

— Да, здесь у меня, товарищ подполковник. Слушаю, сейчас приведу.

И, выйдя из-за стола, подошел ко мне, пронзительно посмотрел мне в глаза (их, наверное, обучают этим актерским штукам) и доверительно тихо сказал:

— Вас вызывает к себе сам начальник следственного отдела...

Начальник следственного отдела, будь он немного постарше, удивительно напоминал бы покойного Спенсера Треси. Как и тот, он был естественным, мудро-спокойным, доброжелательным, без всякой тени назойливости. Он принял меня как человека, пришедшего к нему по своей воле для того, чтобы тот ему помог... Он усадил меня не на пресловутую прикованную табуретку, а в мягкое кресло у стола; предложил мне папиросу (я от нее отказался) и с волнением зашагал по комнате. Он говорил тихо, как будто не ко мне обращался, а размышлял сам с собой:

— Вы знаете, в нашей профессии часто приходится встречаться с низостью, с предательством, с грязью... Но редко кто вызывал у меня такое отвращение, как этот ваш друг, Игнациус... Уверю вас, никто из нас не делал ни малейшей попытки уговорить его написать этот документ, который вызвал у нас не только удивление.... Не скрою от вас, что мне были понятны мотивы этого поступка. Ведь сам Игнациус — отъявленный антисоветчик! Негодяй! Поверьте, я не

могу полностью оправдать вашу невыдержанность, но я так хорошо понимаю ее источник! Пройти через такие испытания, отказаться от литературной карьеры, доживать свой век в маленьком городке. А тут еще арест любимого человека... Господи, как тут не вспомнить Спинозу: понять значит простить! А он? Чтобы как-то прикрыть свое подлое антисоветское нутро, выдает своего друга, выдает несчастливому, доверившегося ему человека!..

(Так... Сейчас он начнет уговаривать меня дать показания на Игнациуса...)

— ...Вот на что был направлен его подлый, предательский маневр! Испугаться своей откровенности перед вами — он же всех судит по своей мерке! — и поспешить написать этот донос, в котором, наверное, меньше половины правды... Донос, который подорвет, в случае чего, попытку открыть его настоящее лицо ренегата!.. Но он горько ошибается! И мы умеем отличить настоящих врагов от тех, кого на необдуманные слова толкнуло отчаяние и горе... Послушайте: зачем вы будете щадить этого доносчика, эту жалкую мразь?! Вы его знаете, как никто другой! Раскройте его настоящее лицо! Игнациус — вот настоящий враг, и наша цель он, а не вы, которому мы постараемся помочь!..

(Даже слеза дрожит в голосе!.. Переигрывает... Ну, конечно, так он мне может дать только десятку по 58-10. А надеется, что я со злости тяпну ему про эту сволочь... Тогда уж он мне приплюсует 58-11 — группу — и даст не десятку, а все пятнадцать или двадцать пять... Неужто он думает, что я это не знаю и не понимаю?..)

— Гражданин начальник! Я никогда, слышите — НИКОГДА! — не слышал от Игнациуса ни одного антисоветского слова, выражения, фразы, анекдота... В своих высказываниях по вопросам политики он всегда, абсолютно всегда придерживался содержания последнего номера газеты "Правда". Я не располагаю никакими материалами, которые подтверждали бы ваше заключение о том, что Игнациус — антисоветчик...

Спенсер Треси остановил свой взволнованный бег по кабинету, наклонил голову и внимательно на меня посмотрел. Впрочем, от благородного американского актера в нем оставалось все меньше и меньше...

— Ишь, грамотный!.. Ученый... вашу мать!

— А как же, гражданин начальник! Ученый. Вами же и выучен...

— Так что, не сойдемся? — деловито спросил меня бывший Треси.

— Нет, не сойдемся.

— Заберите его! — сказал с отвращением благородный подполковник.

Рассвирепевший Гадай отвел меня к себе и с превеликой жалостью предьявил мне обвинение по статье 58-10, часть 1-я Уголовного кодекса РСФСР. И теперь мне стало совершенно ясно, что я получу десять лет лагерей плюс пять лет поражения в избирательных правах после отбытия наказания. Это максимум того, что мне могут всунуть. Меньше не дадут, но и не больше... И "многие знания" определили мое дальнейшее поведение, мои отношения со следователем майором Гадаем.

Отношения эти были довольно любопытны. Поскольку я был грамотный и еще до начала следствия знал свой приговор, Гадаю со мной было непривычно трудно. Он привык видеть подследственных на коленях. А я себе обещал, что на этот раз они меня на коленях никогда не увидят.

Начать с того, что я категорически отказывался признать себя виновным и никаких показаний не подписывал. Сколько бы Гадай ни исписывал бланков допроса с хитроумнейшими заавыками и сложнейшими периодами, на меня это не действовало. Когда он строил что-то очень хитроумное, я остужал его вдохновение замечанием, что его работа — напрасный труд и что лучше бы ему газету читать.

После этого следовали залпы отработанных приемов. Крыл меня всеми словами, приказывал стоять, замахивался на меня кулаком или рукояткой пистолета... Все это были пустые номера. Когда меня вели на допрос, я слышал из следственных кабинетов крики избиваемых арестантов. Но я уже усвоил одну поправку, внесенную временем. Это в 37 — 38-м годах следователь не был стеснен никакими правилами. Он мог бить арестанта независимо от того, в чем тот обвинялся, любыми подручными средствами, и мера пыток определялась только его сноровкой, физической силой и служебным рвением. После того как Ежова сменил Берия, пытки были регламентированы, самодеятельность следователей введена в рамки (хотел прибавить "законности", да боюсь быть обвиненным в чрезмерной ироничности). Для особых арестантов была устроена тюрьма в Суханове, где были пыточные камеры, оборудованные современной техникой. Ну а простым следователям разрешалось бить не всех арестантов, а только обвиняемых по определенным параграфам закона.

Из рассказов моего недолгого сокамерника и собственных наблюдений я уже догадался, что обвиняемых по статье 58-10 — считающейся самой безобидной — бить не полагается... Поэтому я отказывался стоять навтыжку и продолжал сидеть на своей табуретке, не моргал и не отшатывался, когда к моему лицу подносился кулак, и т. д. Дальше отношения наши с Гадаем вступили в новую фазу.

Когда мне до смерти надоели уныло-бездарные ругательства Гадаю и когда он обругал мою жену нецензурными словами, я сделал ему следующее заявление:

— Ввиду того что вы, гражданин следователь, нарушаете советский уголовно-процессуальный кодекс и непристойно ругаете не только меня, но и моих близких, я в дальнейшем буду отвечать на вопросы следствия только в присутствии прокурора. И наедине с вами больше не раскрою рта.

Через тридцать минут беснования Гадай понял, что я не шучу и действительно он со мною ничего не сделает. Тогда он сел в свое кресло и примирительно сказал:

— Ну чего ты лезешь в бутылку? Добиваешься, чтобы следователя сменили? Ничего у тебя не получится! Подумаешь, я его матом обложил! Подумаешь, я ему "ты" говорю! Да так заведено у нас, у русских... Должен привыкнуть к этому, раз в России живешь! А я вотнисколько не обижаюсь, можешь мне говорить "ты", можешь меня матом крыть — да ради бога!

— Я согласен.

Для начала я обдал Гадаю такой руганью, что у него глаза на лоб полезли. Этот дилетант и не подозревал о тех фольклорных богатствах, которых я набрался в лагере. Трудно вообразить весь невыносимо мерзкий язык блатной лагерной ругани! Даже привычная ко всему скотина, как Гадай, и тот, вероятно, почувствовал себя так, как будто на него вылили ведро нечистот.... Во всяком случае, он меня больше почти никогда матом не ругал, и у нас установились отличные, искренние отношения, совершенно не требовавшие вмешательства прокурора.

Впрочем, не надо думать, что Гадай боялся вмешательства этого стража закона и порядка. Страж – помощник прокурора по спецделам со смешной фамилией Пелепивкин – раз в две недели приходил на допрос, чтобы подписать очередную пролонгацию следствия и воззвать к моей гражданской совести:

– Разоружитесь перед Советской властью! Раскройте нам полностью свои преступления... Закон учитывает чистосердечное раскаяние... И т. д. и т. п.

Однажды в присутствии этого тупого кретина с университетским образованием я сказал Гадаю, что в камере меня заели клопы... Прокурор страшно обрадовался вырвавшимся у меня злокозненным словам:

– Ага, проговорились! Вот здесь, в моем присутствии, вы возводите клевету на советские тюрьмы, заявляя, будто бы в них клопы едят заключенных... Вот от этого показания вы уже не сможете отказаться!

– И не буду. Пожалуйста.

– Значит, это ваше признание в клевете на советскую тюрьму мы сейчас занесем в протокол допроса.

– Заносите. Вот это я подпишу.

Но прокурор не успел воспользоваться своей победой над допрашиваемым арестантом. Гадай выбежал из-за стола, схватил блюстителя закона за грудки и, бешено толкая к двери, закричал:

– Иди, болван, отсюда к такой-то матер! Пошел вон!

– Да я... да что ты!.. Что я такого сказал?..

– Пошел, чтобы я тебя не видел!..

Отдышавшись, экспансивный следователь укоризненно мне сказал:

– И ты с этим дураком больше не играйся! Забаву себе нашел. Тут следствие идет, а не цирк какой!..

Суть той работы, которой занимался Гадай и которая была "не цирком каким", я понял после первых же допросов. Был 50-й год, и ставропольским эмгэбэшникам надобно было иметь нескольких "представителей ДЖОЙНТА" по Ставропольскому краю. Им показалось, что я гожусь для этой красивой роли. Но из множества людей, которых они вызывали для допросов, им удалось выжать очень мало. В протоколы допросов свидетелей, естественно, попадало только то, что Гадай считал криминальным, могущим подтвердить мои преступные замыслы. Когда я подписывал двести шестую об окончании следствия, меня немало развеселил допрос одного свидетеля, моего хорошего знакомого, певца и художника:

– Свидетель! Что вам известно об антисоветской деятельности арестованного?

— Об антисоветской деятельности арестованного мне известно, что однажды, в разговоре со мной, он хвалил музыку композитора Рубинштейна...

Но — при всех стараниях Спенсера Треси и аггелов его — материала для изготовления представителя ДЖОЙНТА оказалось недостаточно. Да и я сам их разочаровал: был чрезмерно грамотным и недостаточно пластичным. Поэтому им пришлось перейти к тривиальной "агитации". А большие и светлые замыслы следователя отразились только в наших долгих и откровенных разговорах с Гадаем.

Да. Они были предельно откровенны. Следователь совершенно резонно считал, что сидящий напротив него человек уже на воле не будет, с ним можно говорить совершенно откровенно! А этот — сидящий на прикованной табуретке — полностью был согласен со следователем и полагал, что терять ему совершенно нечего... Разговор протекал, например, так:

Г а д а й. У вас, жидов, время кончилось! Амбец вам! Мы вам всем нашьем вашу собачью звезду на спину и отправим в тайгу да тундру! Оттуда не сунетесь!..

Я. Ох, г... же ты! Ведь учили тебя чему-то! А все равно — своих слов найти не можешь, пользуешься словами Геббельса!

Г а д а й. Уж, жидовская морда! Все еще трепыхаешься!... А ведь конец уже! Твоя жена навечно в ссылке дойдет, а ты, ты в лагере сгниешь!

Я. Не пугай девку... Кого ты берешь на понт? Ведь больше десяти лет ты мне не дашь, хоть бы на голову стал! Мне сейчас сорок два года, когда выйду на волю — мне будет пятьдесят два. Я еще поживу! Да и в лагере я буду жить! Да, да! Будь уверен! Буду книги читать, водку пить, спать с вольнонаемными медсестрами да врачами — женами начальников! А ты при мне уже одно легкое выхаркал в бутылочку... Через полгода ты сдохнешь, через год про тебя все забудут! А я — через десять, через пятнадцать лет буду за бутылкой коньяка рассказывать, какой мешок с г... сидел напротив меня в этом воющем кабинете!..

(Гадай действительно все время аккуратненько плевал в коричневую бутылочку с завинчивающейся пробкой. Впрочем, "зло не гибнет"! Когда я в 56-м году приехал в Ставрополь в командировку и зашел в крайком партии полюбопытствовать о судьбе Гада, я узнал, что он не только жив, но и вполне процветает: стал уже полковником и начальником следственного отдела КГБ!)

Впрочем, не всегда наши разговоры достигали такого накала. Гадай, исчерпав все возможности воспитания подследственного (одиночка, карцер, лишение передач, книг, прогулок), часто переходил на нейтральные темы, главным образом гастрономического характера, или же просто в моем присутствии готовился к занятиям в кружке партпросвещения. Они зачем-то изучали основы диамата, несчастный Гадай совершенно не мог понять, что Маркс нашел в этом паршивом фрице — Гегеле?! Однажды он меня спросил о том, что же такое "гегелевская триада"? Проверив на занятиях, что я ему не подсунул что-либо контрреволюционное, он меня теперь частенько рас-

спрашивал о премудростях марксистской философии, и на этот раз наши отношения внешне походили на нормальные взаимоотношения арестанта и следователя: я ему говорил, а он тщательно записывал...

Прошли все законные сроки следствия, я прошел через "милые" минуты очных ставок с Игнациусом, с двумя еще моими хорошими знакомыми. Следствие закончили. Я подписал двести шестую и спокойненько сидел в своей одиночке, ожидая, когда мне вручат обвинительное заключение и вызовут на суд.

У меня нет оснований не верить моим великим предшественникам. Но несколько месяцев сидения в одиночке сильно поколебали мое книжное представление о тяжести одиночного заключения. Очевидно, здесь все дело в длительности — я сидел в одиночке около трех месяцев. В самой строгой тюрьме можно установить такие точные приметы времени, которые вполне заменяют привычный круглый предмет на левой руке. Ну а я сидел в тюрьме, находящейся в центре города, и город врвался в камеру своим точным шумом: в восемь часов утра гудок маслозавода возвещает начало рабочего дня, потом он будет гудеть в двенадцать дня, в шесть часов вечера; в семь часов вечера радист парка включает свою шарманку, и до половины двенадцатого я могу догадываться о мелодиях всех наимоднейших танго... Кроме того, существуют еще и внутритюремные приметы: подъем, оправка, завтрак, обед, поверки, начало вызовов на допросы, обходы и многое другое.

Мой тюремный день был распisan почти по минутам. Я одновременно сочинял несколько книг: в разное время дня — разные книги... Я их придумывал по страницам, главам, частям. Иногда — как будто я сидел за столом, за бумагой, — я подолгу задумывался над какой-нибудь фразой, словом... Одной из этих "книг" были мои воспоминания о годах детства. Она была так тщательно "написана" в голове, что в лагере, во время моей ночной работы нормировщиком, я ее очень быстро, без всяких помарок, перенес в толстую общую тетрадь, присланную мне из Москвы. Потом я ее переслал дочери, чтобы она — когда вырастет — знала все про своих родных и про своего отца. Дочь выросла и незамедлительно тетрадь с моими воспоминаниями потеряла.

Другая сочиненная в голове книга называлась "Легенда о Сталине". Надо сказать, что прелюбопытная получилась книженция! У меня были довольно солидные источники информации, побольше, чем у многих его биографов. Кроме того, я не обязан был соблюдать в отношении моего героя видимость научной объективности. Боюсь, что на характер и стиль моей ненаписанной книги повлияли исторические работы Маркса: это был период, когда мне еще давали книги и я, поразив тюремщиков, брал чистенькие, никем не тронутые книги "основоположников"... Я почти закончил эту книгу. Но на бумаге не восстановил, и она ушла в небытие.

Потом у меня был "музыкальный час" — когда я вспоминал музыку. И много времени у меня отведено предстоящему судебному процессу. Я не сомневался ни в характере суда, ни в его решении. Но именно поэтому и решил постараться — насколько это возможно —

испортить им всю музыку. И я во всех подробностях обдумывал подковырки, которыми я буду портить настроение "Спенсеру Треси", Гадаю и их жалким исполнителям — так называемому "суду"... В программу моих ежедневных заданий входила еще шестикиллометровая прогулка. Камера имела пять шагов в длину, три в ширину. По диагонали — семь шагов. И я гулял. Проходя мимо стола, я каждый раз перекладывал спичку и таким образом считал шаги. Очень быстро я научился делать это совершенно автоматически. По тому, сколько раз спички перешли с одного места на другое (что я тоже отмечал), я узнавал пройденное мною расстояние. Само собою, что большинство моих сочинительств и других умственных игр происходило во время прогулки.

Плохо становилось вечером. Я устал от мышинной беготни, от лихорадочной работы ума, от длительного и очень заполненного дня. За решеткой окна темная южная ночь, радист парка крутит один и тот же полюбившийся ему мотив:

...Будет ночь, и будет полная луна,
Нас будет ждать она...

Если вслушаться, то можно различить в потоке приглушенных городских звуков шарканье ног гуляющих, непонятные обрывки разговоров... И хочется скорее, как можно скорее уйти от этого, спрятаться, отдохнуть, заснуть... Но до отбоя — до десяти часов вечера — еще неизвестно долго. Я сначала точно ориентировался по одной яркой звезде. Она переползала из одного квадрата решетки в другой, и, когда она приближалась к концу четвертого квадрата, раздавался, наконец, гудок маслозавода. Но через некоторое время мои звездные часы испортились. Я догадался, что имею дело с планетой, поскольку она движется, а эти чертовы светлячки восходят и заходят по-разному, а я — не Кеплер, чтобы это понять и сделать соответствующие поправки...

И вот он — ГУДОК! Еще несколько минут, приподымается кормушка, и шепот надзирателя: "Отбой ко сну". И можно быстро опустить железную койку, раздеться, лечь и начинать усилия уснуть... Если по старой науке просто считать, это очень долго. Я придумал другое: я представляю себе толстый перекидной календарь и начинаю не торопясь перекидывать листки с цифрами: один, два, три, десять, семнадцать, пятьдесят два, триста восемьдесят четыре... Иногда я засыпал, дойдя до пятисот, бывали несчастливые ночи, когда этот счет переваливал за три тысячи...

И вот он — суд! Накануне в моей камере появляется человек, которого я несколько раз видел, но не обращал на него внимания. Он сыграл в моей жизни столь значительную роль, что из-за него я начал писать этот очерк. Это начальник внутренней тюрьмы. Довольно обычный мужлан с резкими некрасивыми чертами лица. К арестантам относится, как санитар тифозного барака ко вшам: привычно, но с отвращением и желанием как можно скорее и любым путем избавиться. Он вручает мне обвинительное заключение и скептически оглядывает мой костюм. Поскольку меня арестовали летом, а теперь поздняя осень, отправлять меня в суд в таком виде было бы рискованно для моего драгоценного здоровья. Начальник тюрьмы мне пред-

ложил арестантскую телогрейку третьего срока. Я без всякого смущения принял его любезное предложение и стал готовиться к следующему дню. Ночью мне пришлось пересчитать почти десять тысяч календарных листков, чтобы заснуть...

Утром — как это и положено — меня побрили машинкой для стрижки овец, торжественно передали конвою, посадили в воронок, проехали метров триста и высадили у хорошо мне знакомого здания краевого суда на проспекте Ворошилова. Меня провели в какую-то каморку и заперли. Минут через двадцать конвой привел тщедушного субъекта, которого оставили наедине со мной. Это был адвокат, назначенный судом. Дела моего он не читал, прочитал лишь две странички обвинительного заключения, был огорчен тем, что я не повинился, и стал меня уныло уговаривать, что заpiresательство — не лучший способ защиты... Я его обрадовал, сказав, что отказываюсь от защиты, и попросил дать мне некоторые объяснения юридического характера. Субъект был счастлив, что от меня избавился, и охотно объяснил мне, что на правах собственного защитника могу принимать участие в допросе свидетелей, могу заявлять ходатайства суду, требовать записи в протокол моих заявлений, а также имею право при написании кассационного заявления пользоваться материалами как предварительного следствия, так и судебного заседания. Больше мне и не надо было для задуманной мною юридической игры.

Я сижу в маленьком зале, рассчитанном человек на пять — десять зрителей. Суд закрытый, поэтому зал пустой. Только неподалеку от меня развалился какой-то эмгэбэшный капитан. Его роль состоит в том, чтобы быть наблюдателем и докладывать начальству о том, как все прошло. Входит суд. Председательствует сам председатель здешней спецколлегии. Один заседатель — незнакомый мне мужчина, зато заседательницу я знаю хорошо: она завхоз краевого музея, секретарь парторганизации и, когда я работал в методическом кабинете культпросветработы, частенько обращалась ко мне за советами, как налаживать партпросвещение во вверенном ей заповеднике. Теперь она сидит прямо, не моргая, и изо всех сил старается не смотреть на меня. Я деликатен и не пытаюсь ее смущать.

Сначала суд катится по обычной дорожке: чтение обвинительного заключения, допрос обвиняемого. Кроме председателя суда, меня еще допрашивает представитель обвинения — помощник прокурора по спецделам. Это тот самый жрец законности, которого Гадай матом и кулаками выгнал из своего кабинета. Сейчас его никто уже выгнать не может, и прокурор величествен в той самой мере, какая ему указана его высоким местом в судебном процессе.

А вот дальше начинается то, что Гадай называл цирком... Одним из главных пунктов обвинения было то, что в обвинительном заключении формулировалось как "...возвел клеветническое обвинение по адресу одного из руководителей партии и правительства...". Кстати, обвиняя хулителей Сталина, — что, судя по количеству дел, стало просто одной из самых массовых профессий, — обвинительные заклю-

чения и приговоры никогда не называли фамилии вождя. Он скромно именовался "одним из руководителей"...

Суть моего преступления была такова: методкабинет культпросветработы, где я служил, напечатал в местной типографии выставку "Сталинский план преобразования природы". Каюсь, выставку слепил я, и "учение Мичурина – Лысенко" нашло в ней полное и блестящее утверждение. За что Бог меня и наказал, очевидно. Так вот, все репродукции были отпечатаны прилично, кроме – как на грех – самой главной: портрета. Его. Самого. Будучи третьим калачом, я предложил начальству портрета не принимать, а требовать, чтобы типография напечатала новый. Пришел к нам директор типографии, и мы оживленно обсуждали причины типографского брака. Не помню деталей нашего спора, но, как это показали свидетели на следствии и суде, я сказал, что "такая петрушка получилась потому, что клише слишком подпилили перед печатью, из-за этого тени размазались и получился брак"... Стало быть, моя вина заключалась в том, что я назвал "одного из руководителей" Петрушкой, чем и "возвел клеветническое обвинение" на этого, на "одного".

Не надо улыбаться, мой будущий воображаемый читатель! За это давали десять лет заключения. В чем я и не замедлил убедиться.

Главными свидетелями обвинения по этому центральному пункту были два хороших парня: один – работавший методистом вместе со мной в кабинете, другой – художник, делавший рисунки для выставки. Тут-то выяснилась вся разница между предварительным следствием и допросом на суде. Особливо если этот допрос ведет такой опытный и заинтересованный адвокат, каким был я... Отвечая на мои вопросы, оба свидетеля заявили, что они никогда не слышали от меня ни одного антисоветского слова, напротив, полагали, что я – несмотря на свое прошлое – являюсь образцом высокоидейного советского человека. Они-де слышали мои слова о "петрушке", но не придали этому никакого значения, они знали мою привычку употреблять это странное и, как выяснилось, нехорошее название растения. На мой вопрос, почему же они на предварительном следствии подписали протокол, начинавшийся словами: "Мне известно об антисоветских действиях арестованного то, что однажды..." – дальше описывался этот самый спор с директором типографии, они наивно отвечали, что так их заставил подписать Гадай. Художник к этому еще прибавил, что Гадай воздействовал на него тем, что он член партии и поэтому обязан подписать так, как в протоколе записано...

На суде я себя вел, как Плевако, как Карабчевский, черт возьми! Задав свидетелю вопрос и выслушав его ответ, я величественно поворачивался к секретарю суда и властно говорил: "Запишите точно вопрос и точно ответ свидетеля!"

Но суть задуманного мною "цирка" была в другом. Во время моих шестикилометровых прогулок по тюремной одиночке я задумал разоблачить на суде "стукача" – штатного осведомителя. Ведь это одно из самых больших удовольствий – сделать явным то, что они считают самым тайным. И это оказалось весьма несложным делом.

Если верить материалам следствия, в споре с директором типо-

графии участвовали пять человек: зав. методкабинетом, директор типографии, два человека, выступившие на суде свидетелями, и я. Подписывая двести шестую, я прочитал показания зав. методкабинетом и директора типографии. Они не помнили, чтобы я во время этого разговора употребил слово "петрушка". И поэтому из дальнейшего следствия и суда выпали. Сам я — могу поклясться! — не сообщал в МГБ о своих преступных действиях. Обоим свидетелям я задал вопрос: сами ли они вспомнили на следствии о "петрушке"? Оба свидетеля ответили, что они не помнили об этом и в мыслях не держали и что об этом сказанном мною слове им напомнил Гадай...

Все остальное не представляло труда, и в своей защитительной речи я поигрался досыта. Из вопросов свидетелям ясно, что ни один из пяти человек, проходивших по следствию, — ни один из них не заявлял в органы безопасности о разговоре в нашей конторе. Поелику чудес нет, а в то время жалкое провинциальное гзб не располагало подслушивающими устройствами, следовал лишь один вывод: кроме пяти человек был еще и шестой. Он нигде в следствии не упоминается, нигде не фигурирует, но только он — единственный! — и мог доложить эмгэбэшникам о состоявшемся криминале. На мой вопрос оба свидетеля немедленно назвали этого шестого спутника — машинистку методкабинета Филиппову...

Стукачка эта была созданием, внушавшим мне одновременно и жалость и отвращение. Что она стукачка, мне было ясно с первых же дней моей работы в кабинете. Она всегда именно меня просила растолковать ей политические события; она живо интересовалась тем, что я думаю относительно борьбы с космополитизмом и прочих актуальных мероприятий... Надо ли говорить, что мои ответы и по духу и по словам полностью совпадали с тем, что писалось во всех "Правдах" — включая "Ставропольскую". Я знал, что во время нескольких месяцев немецкой оккупации Ставрополя Филиппова работала у немцев в какой-то хозяйственной службе. Когда Ставрополь освободили, ее, конечно, посадили. Но через полгода выпустили "без последствий". Муж ее, офицер, погиб на фронте, у нее было двое детей, и сейчас, вспоминая эту историю, я не могу топтать ее за то, что ради свободы и детей она завербовалась и стала стукачкой... Но тогда, на суде, я высказал свое отношение к нравственным качествам человека, на чьих неопубликованных доносах строилось главное обвинение.

Весь этот художественный театр я припас к защитительной речи. Уже во время моих вопросов свидетелям председатель суда что-то беспомощно вякал и пытался меня унять... Но прервать защитительную речь ему не приходило в голову — закрытое заседание! — и я в трехчасовой речи отвел свою наболевшую душеньку. Изредка я прерывался, чтобы оглянуться назад. Там, кроме штатного капитана, были еще и другие личности в штатском... Это было на второй день процесса. Что само по себе носило сенсационный характер. Такие дела, как мое, занимали всегда два-три часа. Я растянул это удовольствие на два дня!

Когда я кончил свою превосходную — ей-богу! — речь, суд с видимым облегчением удалился заседать. Не успел я выдохнуть свою торжествующую усталость, как суд вернулся (прошло минут десять — пятнадцать, не больше!) и председатель прочитал уже напечатанный на

машинке приговор: десять лет лагерей и пять лет последующих поражений в правах...

Как это положено по закону, председатель спросил меня: есть ли заявления суду? Я спросил: имею ли я право, будучи своим собственным защитником, пользоваться при составлении кассационной жалобы всеми материалами предварительного следствия и судебного заседания? Председатель ответил: безусловно, все эти материалы мне будут даны вместе с копией приговора...

Воронка почему-то долго не было, старший милиционер, запинаясь, спросил меня – не соглашусь ли я пойти в тюрьму пешком, хотя он понимает, что мне это, вероятно, неудобно... Я быстро согласился и между двумя милиционерами неторопливо зашагал по мостовой, разглядывая знакомые дома, даже видя издали каких-то смутно знакомых людей...

Никакие способы не могли мне помочь заснуть в эту ночь. Как будто бы я чувствовал, что еще не все кончено, что мне предстоят новые ощущения и что они не будут носить такой красивый характер, как "цирк", устроенный мною на суде...

И вот теперь-то мне предстоит рассказать о тех двух начальниках, ради которых я начал этот рассказ и успел написать столь обширную экспозицию...

На другой день в сопровождении надзирателя вошел начальник тюрьмы. Он дал мне два листка папиросной бумаги, на которых была отпечатана копия моего приговора, и, положив предо мной бланк "Акт вручения приговора", сказал:

– Распишитесь в получении приговора. Начиная с этого времени вам дано семьдесят два часа для его обжалования.

– Гражданин начальник тюрьмы! Председатель суда мне заявил, что, поскольку я являюсь своим собственным защитником, мне – одновременно с приговором – будут даны материалы следствия и суда для написания кассации...

– Никаких материалов суда нет и не будет! Подписывайтесь!

– Я не подпишусь и требую материалы суда!

– Требовать вы можете у своей жены! Нам ваша подпись и не обязательна. Сейчас мы составим с надзирателем акт о том, что приговор объявлен, от подписи осужденный отказался. Достаточно. Через семьдесят два часа приговор войдет в законную силу.

– Я прошу дать мне бумагу и возможность обратиться с заявлением в суд и прокуратуру...

– Во внутренней тюрьме бумагу для заявлений дают один раз в месяц. Ее давали пять дней назад, в следующий раз вы ее можете получить через двадцать пять дней...

– Если вы не дадите мне возможность написать заявление в суд и прокуратуру – я объявляю голодовку...

...Сам не понимаю – как вырвалось это неожиданное для меня самого заявление?..

Начальник даже расплылся от удовольствия:

– Ну и дохни себе на здоровье! Ничего, попросишь жрать!

И расхохотался от собственного остроумия. И ушел.

У меня горели уши от негодования, стыда... Все эти месяцы я жил с торжествующим сознанием, что они со мной могут сделать все, кроме одного: поставить на колени, заставить просить пощады... Дернул же меня черт сказать про голодовку, когда я вовсе и не собирался таким путем с ними бороться... Но отступить я уже не мог! Иначе рухнет вся система моей теперешней жизни, все, на чем покоится та сила, которая меня в тридцать восьмом пленяла в сокамерниках-коминтерновцах...

А сколько я могу голодать? В лагере я научился не бояться голода. По обильной прочитанной мною литературе о тюрьмах я знал, что чувство голода притупляется через три-четыре дня. Некоторые арестанты держали голодовку по двадцать — тридцать дней. И ничего... Но они уже тогда зашевелиятся! И эта прокурорская гнида придет! Ничего! Поголодаем!

На следующее утро, когда мне принесли завтрак, я его не принял и торжественно заявил надзирателю, что я объявил голодовку. Через час явился начальник тюрьмы.

— Значит, объявляете голодовку?

— Да. Я буду голодать, пока не получу возможность написать заявление суду и прокурору.

— Ну, голодайте. Подохнуть не дадим. Когда надо будет — накормим силой.

Дальше пошло непонятное. Не изложенное ни в одной книге, описывающей голодовки в кошмарные времена царизма. Начальник тюрьмы приказал надзирателю забрать у меня из тумбочки остатки еды и взять с собой чайник с водой... Тюремщики удалились, оставив меня в некоторой растерянности. Мне никогда не могло прийти в голову, что голодать здесь надобно без воды... И стало мне страшновато.

Конечно, я не только потом, не только сейчас осознал всю глупую ненужность моего поступка. И тогда, сразу же после ухода начальника, я понял, что мне предстоят невероятные муки, которые мне ничего не дадут, а им доставят только удовольствие. Но я уже не мог идти обратно! Я не мог заставить себя попросить у них есть и пить! Тут действовал не разум, даже не чувство, а дикое, отчаянное упрямство, сосредоточившееся в одном: НЕ СДАМСЯ! Ни о чем не думал, ни о жене, ни о маме, ни о дочери, ни о себе, ни о чем... Только об одном: Я ИМ ЖИВЫМ НЕ СДАМСЯ!

Где-то я читал, что при голодовке без воды смерть наступает на седьмой или восьмой день. Я помню, что считал дни, это было единственный раз в моей жизни, когда я понял смысл слов "смерть-избавительница"... Самые большие мучения наступили через три-четыре дня. Чувство голода я и не испытал. Все было заглушено сначала жаждой, потом муками от сухости, шершавости рта, носа, глотки, пищевода, всех внутренностей, всех слизистых... А потом во рту, в носу, везде — стала выступать кровь. Мне казалось, что я весь исхожу кровью. Вместо слюны — шматки крови, вместо мочи — капли крови, и когда у меня выступали капли слез, то мне казалось, что я плачу кровью.

И — что было самым отвратительным — кровь разлагалась и пахла. Нет, воняла, она омерзительно воняла, как может вонять разлагающаяся кровь, и я жил в этой вони, дышал ею, задыхался от нее. Пожалуй, из всех моих мук эта мне запомнилась больше всего.

Ко мне никто не приходил. Раз в сутки, утром, открывалась кормушка и надзиратель спрашивал: "Пищу принимаете?" И все. На третьи сутки явился начальник тюрьмы. Он с удовлетворением посмотрел на меня и торжественно произнес:

— Объявляю вам, что приговор по вашему делу вступил в законную силу.

После чего удалился, не задав мне ни одного вопроса и не дождавшись их от меня. Мне было не до него. Да и вообще ни до кого. Даже самого себя. К этому времени я как-то покончил со всеми своими земными обязательствами, кроме одного: НЕ СДАТЬСЯ! Через три дня я с удивлением спросил себя: зачем я выполняю все эти тюремные правила: поднимаю и опускаю койку, подметаю камеру, еще что-то... Зачем? Что они со мной могут еще сделать?

Утром я не встал. Я лежал и не поднялся, когда в камеру вошли двое надзирателей. Они мне приказали сейчас же встать и выполнять все правила тюремного режима. Я им изо всех сил сказал, что они могут уходить... И дал очень точный адрес. Но это тогда мне казалось, что я им кричал. Сейчас я понимаю, что мой голос, возможно, и не был слышен, и адрес — такой хороший! — так и остался им неизвестен. И они поняли, что теперь с меня взятки гладки...

И оставили меня в покое. Не водили на opravку, на прогулку, не приходили ко мне ни прокурор, ни лепила, ни даже сам начальник тюрьмы. Открывали дверь только для проверки. Я лежал, не поднимаясь, изредка открывая глаза и удивляясь тому, что веки меня слушаются. Потом я, очевидно, по временам начал терять сознание. Из-за этого я не помню, когда начальник внутренней решил прекратить этот — не первый, конечно, в его тюремной практике — эпизод.

Было уже довольно поздно, кажется, прошла проверка, когда ко мне в камеру вошли несколько надзирателей. Они меня сняли с койки и, даже не одев, взяли под руки и поволокли. Волокли по коридорам, переходам. По холодному дождю я понял, что уже во дворе. Меня втиснули в воронок и повезли. Через какое-то время машина остановилась, меня вытащили и опустили на мокрый асфальт. Как бы издалека я слушал ожесточенный спор вокруг моей личности. Как я понял, городская тюрьма отказывалась меня принимать, так как не было акта о том, что я голодаю, и привезли меня не в тюремную больницу, а "на общих основаниях" — как заключенного, у которого приговор вступил в силу.

Кажется, тюремщики из МВД одержали победу над тюремщиками из МГБ, потому что последние, матеря меня изо всех сил, подняли и стали снова запихивать в машину. И в это время что-то изменилось. Появился еще какой-то новый начальник. Ему докладывали:

— Привезли какого-то полудохлого заключенного, в препроводилке сказано, что направляется для дальнейшего этапирования по месту заключения. А спрашиваем: почему такой неживой? Он, оказы-

вается, голодает. А акта о голодовке нет! Пусть забирают свое добро назад! А то любят они на чужом предмете в рай въезжать!..

И чей-то начальственный, но совершенно похожий на человеческий голос ответил:

— О чем вы спорите? Куда его можно везти? Он же умирает! Ну, составят акт, снова его привезут. А он за это время умрет. Это же человек, черт возьми, а не кабан, которого на бойню отправляют! Вызовите санитаров с носилками и возьмите в больницу. Оформлять будем потом!

В тюремной больнице я испытал, что такое "искусственное кормление". Мне быстро связали руки — как будто у меня были силы сопротивляться?! — и стали проталкивать зонд через нос в пищевод. Не скажу, чтобы эта процедура была деликатной и приятной. Мне казалось, что меня надевают, как кусок шашлыка на шампур. Я был залит остатками своей крови, которая вливалась в меня обратно, вместе с питательной жидкостью. Потом люди в белых халатах приходили через каждые два часа, снова вставляли зонд... Руки мне больше не связывали.

Затем наступил день, и после очередного кормления я уснул. Не знаю, сколько спал, может быть, и проснулся оттого, что почувствовал около себя чужого. На стуле у моей кровати сидел какой-то тюремный начальник в чине майора. Наверное, за эту ночь у меня прибавилось сил: веки поднимались свободно, исчезла убивающая сухость и шершавость, соображал я вполне здраво и свободно. Новый тюремщик наклонился ко мне и сказал:

— Я начальник Ставропольской городской тюрьмы. Почему вы держите голодовку? О каком вашем требовании идет речь?

— Я просил бумагу для того, чтобы написать заявление, — прошептал я...

Начальник, очевидно, ничего не понял... Он наклонился ко мне, чтобы услышать мой шепот, и я ему медленно, запинаясь, постарался объяснить, ради чего я все это устроил... Он помолчал, а потом сказал:

— Если вы объявили голодовку только для того, чтобы вам дали бумагу написать заявление, то можете считать, что это требование выполнено и, следовательно, нет никаких оснований голодовку продолжать. Я распоряжусь, чтобы вам немедленно дали письменные принадлежности. Вы можете написать сколько угодно заявлений, я сам прослежу, чтобы они незамедлительно были отправлены. Послушайте меня внимательно: я познакомился в вашем формуляре и знаю, что говорю с человеком не только образованным, но и имеющим немалый жизненный и довольно тяжелый опыт. Зачем вы голодаете? Добиться вы ничего не добьетесь, кроме того, что уничтожите единственный ваш шанс: выжить. Только будучи живым и здоровым, вы можете надеяться на то, что ваши заявления возымеют свое действие. Я не могу вам ничего обещать, кроме одного: я добьюсь, что вам восстановят кассационный срок и дадут возможность написать кассацию, пользуясь материалами следствия и суда. Вот это я вам обещаю твердо! И если вы разумный человек, немедленно прекратите голо-

довку и постарайтесь возможно скорее восстановить свои силы. Согласны?

Ей-богу, я не верил, что этот майор может всего этого добиться. Но я — вдруг — понял, как прав этот человек! И меня — после всего пережитого — почти потряс этот простой, тихий и человеческий голос, эта интонация участия... Не могу и скрыть, что очень мне захотелось жить... Очень!

В тюремной больнице я пробыл дня два или три. Камера, где я лежал, была малопривлекательной. Правда, кровати были с пружинной сеткой и застланы они были настоящими белыми простынями. Коек в камере было четыре. На одной лежал парализованный человек, от которого исходило злобное. Две другие занимали почти не умеющие говорить по-русски два человека какой-то кавказской национальности. Оба они были, очевидно, в последнем градусе чахотки. Лихорадочно сверкая горячечными глазами, они непрерывно разговаривали друг с другом, не обращая на меня никакого внимания. Силы ко мне быстро возвращались, я стал тяготиться этой больничной камерой.

...Попроситься у начальника отсюда? — подумал я... Начальник тюрьмы как будто догадался о моем желании. Во время очередного врачебного обхода он вошел в камеру, подошел ко мне и спросил:

— Ну, как вы себя чувствуете? Если вы согласны, я переведу вас в общую камеру. Там вы себя будете чувствовать значительно лучше. Здесь вы как в одиночке, а одиночка вам, наверное, порядком надоела. Хорошо?

Первый и последний раз меня спрашивали о согласии перейти из одной тюремной камеры в другую... Но начальник был прав!

После одиночки, после тюремной больницы я сначала растерялся в шуме большой перенаселенной камеры, где находилось несколько десятков человек. Но с первых же минут ко мне вернулось то чувство тюремного братства, которое я испытал впервые в Бутырках. Не знаю, кто сказал сокамерникам, что я из больницы, что я голодал? Но мне помогли дойти до нар, освободили хорошее нижнее место, ко мне мои новые товарищи отнеслись с такими деликатностью и добротой, какие нечасто можно встретить и по эту и по ту сторону тюремного забора.

В камере сидела только пятьдесят восьмая статья. Были эти арестанты совсем разные: старый машинист, в пивной обматеривший Сталина и почему-то получивший не стандартную "агитаторскую" десятку, а двадцать пять по 58-8 — как террорист... Был, впрочем, один настоящий террорист, убивший представителя власти...

Это был милый, очень добрый и скромный человек лет сорока. Коммунист, он пришел с фронта с полной грудью орденов, включая все три ордена Славы. Стал председателем колхоза и, очевидно, был хорошим и заботливым председателем. Но работать в те времена можно было, только постоянно и систематически нарушая сотни всяких постановлений, которые сыпались на колхозные головы в огромном изобилии. Но все их нарушали, жили и работали. Так бы делали и мой террорист, и его сосед — тоже председатель колхоза, — если бы

им не попался очень усердный стукач. Стукач работал в колхозе сторожем, но сторожил он по преимуществу только действия председателей двух колхозов. Председатели помучились с годок, встретились и решили, что не будет никакой жизни ни им, ни колхозникам, если они не уберут назойливого, неподкупного стукача.

Оба председателя были фронтовиками, мой сокамерник всю войну провел в разведке, и убрать стукача для них не составляло труда. Пистолет кто-то из них сохранил. Ночью они подстерegli бдительного сторожа, подстрелили его, пистолет бросили в реку — никаких следов после себя они не оставили. Но власти не сомневались, кто убил их верного слугу. И арестовали двух председателей. Не знаю, что бы получилось у следователей: председатели были ребята битые, верные, улик никаких не было... Но какой-то дотошный следователь поймал их на старой легенде...

— Фиг бы они добились чего!.. Но понимаешь, было еще светло, когда я к нему подошел, он обернулся, посмотрел на меня, тут я и стрелил. Я у него в глазах и отпечатался...

— Как это отпечатался? Так не бывает!

— Да как это не бывает? Ты разве не знаешь, что если человека убить, то у него в глазах так и отпечатывается лицо, что перед ним... Следователь мне кидает на стол снимок его головы — большой такой снимок, с половину этого стола, и кричит мне — смотри ему в глаза! Гляжу: а там — я... Мое лицо... Ну, тут уж деваться некуда, пришлось рассказать, за что я его хлопнул...

Убийство стукача было, естественно, расценено как террор против представителя власти. Второму председателю — как соучастнику — дали двадцать пять, а убийце — расстрел. Но колхозники посылали специальную делегацию в Москву просить за своего председателя. И, просидев три месяца в смертной камере, он дождался замены расстрела двадцатью пятью годами.

Я объяснил ему, что вся эта история с глазом, где запечатлевается убийца, — байка и что следователь его поймал на самом примитивном трюке, которым балуются начинающие фотолюбители... Жалею, что сделал это. Председатель впал в отчаяние, он не мог себе простить, что дал возможность щенку-следователю, пороку никогда не нюхавшему, обвести вокруг пальца такого опытного разведчика, как он!.. Все два месяца, до отправки в этап, он был совершенно неутешен!..

Было еще в камере несколько сектантов: не то евангелистов, не то адвентистов, не то иеговистов... Это было время, когда, укрепляя монополию православной церкви, ереси и сектантство искореняли более усердно, нежели при Победоносцеве. Сектанты были тихими людьми, веру свою наследовали от родителей и дедов, они не проявляли никакого желанья вербовать других в свои секты и в тюрьме сидели терпеливо, молча, с убеждением, что страдают они за веру и это им, безусловно, зачтется на том свете.

Но подавляющее большинство в камере составляли военнопленные. Я впервые столкнулся с этой категорией заключенных в самом конце войны, еще в Устьвымлаге. История их была грустная и отвратительная — даже по тем временам. На Первый лагпункт прибы-

вали люди, находившиеся в лагерях, расположенных на западе Германии. Освободили их американцы. Они их подкормили, одели и затем передали нашим. Это был прекрасный и трогательный спектакль. Встреча со своими, неудержимые слезы радости оттого, что дождалась победы, встретились с товарищами, едут домой... Митинги, объятия... Их сажают в теплушки, украшенные цветами, лозунгами.... На станциях — митинги, обильные подарки. Так было, пока не въехали в глубь нашей территории. Тогда теплушки запломбировали, появился конвой, и бывших пленных прямым ходом привезли в лагерь. Пока без обвинений, без всяких сроков... Видел я в лагере растерянных новичков: молдаван, поляков, литовцев, но таких растерянных, как наши военнопленные, я еще не встречал. Они совершенно не понимали, что с ними происходит. И утешали себя тем, что это "проверочный лагерь", что скоро приедет начальство, разберется и их выпустят.

Действительно, месяца через два-три приехало начальство: какая-то выездная тройка. Каждого военнопленного вызывали на эту тройку, задавали ему два-три вопроса и тут же объявляли срок: обычно семь лет. Реже — пять. Мне тогда казалось, что то, что с ними проделывали, — предел несправедливости. Но, как выяснилось, до предела было еще далеко. Участь пленных в Устьвымлаге была намного лучше, нежели тех, с кем я познакомился и подружился в Ставропольской городской тюрьме.

Это были здоровые, работающие и честные люди. Многие из них попали в плен ранеными, большинство же потому, что кончились патроны, куда-то подевалось начальство, а немец навалился на них немислимой силой, окружил, загнал в овраги, в открытое поле... Не стану передавать их рассказы о том, как жили они в немецком плену: об этом немало написано и опубликовано. Кроме одного: что все невероятные муки, испытанные ими, были вызваны тем, что наше правительство официально отказалось признать красноармейцев, попавших в плен, военнопленными, отказалось вносить за них деньги в Международный Красный Крест... Этим самым наши пленные были поставлены вне закона, вне Женевской конвенции. Немцы могли с ними делать что угодно. Они это и делали.

Мои сокамерники, как и сотни тысяч их товарищей, прошли через все ужасы бесправия, голода, истязаний. Большая их часть погибла от холода и голода, от пуль охраны. По баракам ходили предатели и вербовали пленных во власовскую армию. Находились такие, что, не выдержав непосильной жизни, шли на предательство, считая, что "там будет видно"... Но подавляющее большинство сохранили совесть, они не поддались ни на какие соблазны и дожили до дня освобождения. Около года они находились в "проверочных лагерях", где работники СМЕРША выясняли, не скомпрометировали ли они себя чем-нибудь в плену. После того как было установлено, что они ни в чем не виноваты, их отпустили домой.

И — как писалось некогда в кинематографических титрах — "прошли годы"... Бывшие пленные стали забывать ужасы своей недавней жизни. Они женились, обзавелись детьми, построили себе дома... Они стали трактористами, комбайнерами, чабанами, строителями... Они были стахановцами или ударниками, красовались на досках почета, участвовали в каких-то слетах, конференциях и еще

где-либо из разряда почестей. А в 1949 году их стали арестовывать и судить. Как следствие, так и суд были предельно короткими. Чего нельзя сказать о сроках. Приговоры у них у всех были совершенно одинаковыми: "Имея на руках личное оружие, сдался в плен и этим изменил Родине, то есть совершил преступление, предусмотренное ст. 58-1". И заключительная часть приговоров была совершенно одинакова: двадцать пять, пять по рогам и пять по зубам... То есть: 25 лет заключения в лагере с последующей, после отбытия срока, высылкой в отдаленные места на пять лет и затем — после отбытия срока лагеря и ссылки — лишение избирательных и других прав на пять лет...

Как мне рассказывали эти люди, единственное существенное обвинение, которое им предъявляли не видевшие войны следователи и прокуроры, заключалось в одном: почему не застрелились? В закон ввели дикарское, самурайское правило: убить себя, живым не попасть в плен... Но это противостоит самой человеческой природе и неприемлемо для здоровых, нормальных людей. И теперь, лишённые всего на свете, осужденные до конца жизни быть рабочим скотом в лагерях, эти ставропольские колхозники продолжали оставаться честными и работающими людьми, такими, что составляют цвет нации...

Они были веселые, сильные, ничего не боящиеся. Да и чего им было бояться после всего перенесенного, после этого приговора? Тюремная администрация относилась к ним осторожно, с каким-то страхом, с предупредительностью, что ли... Камера была сытая, наполненная в изобилии самыми разнообразными продуктами. Передачи были частыми. Родные привозили из станиц горы мяса, яиц, масла, каймака, домашнего сыра, сметаны, пухлого серого пшеничного хлеба... Меня товарищи по камере кормили осторожно и бережно, они знали, как надо есть после длительного голода, они обо мне заботились с естественной неназойливой добротой — я их никогда не забуду...

Я упомянул, что все мои сокамерники из пленных были двадцатипятилетниками, но был среди них составлявший исключение — он имел пятнадцать. К нему суд применил какую-то юридическую заковыку, дающую скидку со срока по заслуживающим внимания обстоятельствам. С Анатолием Понятовским я близко сошелся в камере, был с ним в одном лагере, встречался и после того, как нас освободили. Инженер-пишевик из Ставрополя, он был лейтенантом и в плену оказался, когда их часть попала в окружение, а сам он был ранен. Пленных немцы держали не очень строго, это было на нашей территории недалеко от Ростова, и Анатолий бежал. Бежал, пробрался в Таганрог, жил там — как и многие другие — нелегально, подрабатывая на бахчах, собирая урожай. Так дождался прихода наших, пришел в военную комендатуру, прошел проверку и пошел дальше служить. Был несколько раз ранен, получил до черта орденов, войну закончил майором, начальником штаба полка. И еще год после конца войны служил в наших оккупационных войсках.

Вернувшись в Ставрополь, Понятовский был назначен чуть ли не главным инженером Управления пищевой промышленности. Женился и процветал до этого самого, до 49-го года. Военная колле-

гия все же приняла во внимание ранение и ордена и дала ему по ст. 58-1 только пятнадцать лет. Понятовский является хранителем одной из самых занятых бумаг, которые я только видел, — а я их повидал!!! Осенью 1955 года, когда приехал в Москву Аденуэр, был опубликован указ, который назывался "Об амнистии бывших осужденных военнопленных". Я уже был на воле, когда этот указ появился, и возрадовался за своих товарищей. Но радость была преждевременной... Понятовский — как и другие — был убежден, что по этому указу он должен быть освобожден. Не получив свободы, он написал заявление в Прокуратуру СССР. И получил ответ.

На официальном бланке, за соответствующими подписями и печатями, Понятовского извещали, что "так как Вы не служили в немецкой армии, не состояли в немецких карательных частях, не работали полицаем — на Вас УКАЗ от сентября 1953 года — НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ". Понятовского, как и всех остальных бывших пленников, освободили из заключения только в 1956 году, после двадцатого съезда партии.

В преимуществе предателей перед честными людьми моим товарищам приходилось убеждаться и в лагере. Я сам был свидетелем подлинно драматической встречи, возможной только там, где законы регулируются чем угодно, кроме справедливости...

Я уже рассказывал, что в немецком плену одни подыхали с голodu, но не поддавались ни на какие сделки с совестью, а другие не выдерживали испытаний и становились предателями: сначала надзирателями, а потом солдатами власовской армии. Власовцы в конце войны откатывались на запад, чтобы сдать американцам или англичанам: они знали, что их соотечественники не имеют оснований относиться к ним ласково... Наши союзники выдали бывших власовцев, обусловив нашим обещанием, что к этим пленным отнесутся гуманно. Действительно, им дали довольно сносные сроки: пять или семь лет. После отбытия срока им не разрешали уезжать в те места, откуда они были родом. Бывшие власовцы осели на Севере, многие из них нанялись надзирателями в многочисленные лагеря. Их охотно брали: они имели опыт и хорошо работали.

И вот человека, ставшего "изменником родины" с двадцатипятилетним сроком, пригоняют в лагерь, и у вахты он видит — в энкавдэвской форме! — того, кто лежал с ним рядом на нарах, а потом изменил, завербовался во власовцы... Я был свидетелем шока, испытанного человеком, уже пережившим многое. Он бросился на изменника, считая, что разоблачил гада. Впрочем, недоразумение быстро выяснилось...

Я быстро поправился в городской тюрьме. И не только физически. В этой шумной камере, полной людьми, где я был единственным "малосрочником" — с десятью годами, почему-то не было уныния, подавленности, угрюмой сосредоточенности, свойственной людям, которым уже не на что надеяться. В нашей камере разговаривали не шепотом, а в полный голос, шумно спорили и много пели. Это было совсем для меня удивительно! Особенно красиво пели кубанские казаки. Они становились в кружок, клали руки друг другу на плечи

и пели свои песни. Вообще, я там наслушался много прелестных народных песен. А сектанты пели свои псалмы. Некоторые из них были очень музыкальными и трогательными. А многие положены на мотивы популярных советских песен. Иногда невозможно было удержаться от смеха, когда страдания Христа описывались на мотив "Синенький скромный платочек"... Я старался подавить свою смешливость, чтобы эти хорошие и добрые люди не обижались на меня.

Но однажды мягкий и деликатный евангелист Петр Селиверстович с грустью мне сказал:

— Вижу, Мануилыч, не нравятся тебе наши псалмы... Конечно, они, может, и корявые... Ведь про божественное сочиняли только простые люди, малоученые, ни стихи, ни музыку складывать не умеем. А только скажи: неужто образованные никогда к божественному не обращались? И про Христа не писали?

Я — как мог — рассказал своему собеседнику о том, сколько великих художников, поэтов, писателей, музыкантов обращались к евангельским сюжетам...

— Ну, спой тогда что-нибудь божественное...

Я не мог вспомнить ничего такого, что могло подтвердить мои слова. И вдруг я вспомнил песню, которую в детстве пел в школьном хоре и очень любил... Я негромко запел:

Был у Христа-младенца сад.
И много роз взрастил он в нем.
Он трижды в день их поливал,
Чтоб сплесть венок себе потом...

...Селиверстыч замер, схватившись руками за голову. Не сводя с меня глаз, налитых слезами, он слушал дальнейшее развитие этой трогательной истории. Когда дивные розы достигли своей полной красоты, будущий Спаситель позвал в гости еврейских детей. Нахальные посетители сорвали по цветку, и от пышного сада ничего не осталось.

Как ты сплетишь себе венок?
В твоём саду нет больше роз! —

спросили наиболее совестливые гости...

Вы позабыли, что шипы
Остались мне, — сказал Христос...

Вокруг меня, кроме Селиверстыча, стояли и другие сокамерники. Не стыдясь, они плакали, слушая окончание жалостливой песни:

И из шипов они сплели
Венок колючий для него.
И капли крови вместо роз
Чело украсили его...

— Какой псалом, Мануилыч! Какой великий божественный псалом! — сказал Селиверстыч, поднимая свое залитое слезами лицо. — Запиши нам его, помоги нам его выучить, и Бог тебя никогда не оставит!..

И они выучили его, и Бог меня, действительно, с тех пор не оставляет... И я в этом начал убеждаться почти немедленно.

— Без вещей. В контору! — объявил мне надзиратель. Начальника тюрьмы я не видел почти две недели, и, как мне показалось, он с трудом меня узнал. Очевидна была разница между полутрупом в тюремной больнице и почти цветущим арестантом. Но он был со мною — как и положено тюремному начальнику — официален и многогоречив.

— Распишитесь здесь, — сказал он мне, — что вам объявлено о восстановлении кассационного срока начиная с этого часа. Вас отвезут в краевой суд, где дадут ваше следственно-судебное дело, а также письменные принадлежности, чтобы вы могли сделать все выписки для кассационной жалобы.

...Здорово! Я, признаться, уже почти и забыл про это обещание начальника тюрьмы, я считал, что он меня просто всеми средствами уговаривал снять голодовку, и был ему благодарен за это. Но чтобы добиться!!! И как он это сделал?

Но начальник тюрьмы, очевидно, не намеревался бросаться мне на шею и рассказывать о своей борьбе за правосудие...

— У меня нет сейчас закрытой машины для перевозки заключенных. Вы согласитесь поехать в суд в кузове открытого грузовика?

...О Господи! Он еще об этом спрашивает!!!

Этот сырой день позднего сентября показался мне таким ясным, теплым, приятным! Привалившись к передней стенке кузова рядом с конвоиром, я жадно разглядывал знакомые улицы и дома. Мы проехали мимо дома, где я жил. Женины мальчишки — Витя и Толя — играли на тротуаре. Они посмотрели вслед промчавшемуся грузовику, и я им помахал рукой... (Через два дня меня вдруг вызвали "на свиданку", и через решетку я целых пятнадцать минут разговаривал со своей квартирной хозяйкой Женей, узнавшей от своих мальчишек, что "дядю Леву везли из тюрьмы"...)

В краевом суде меня отвели в какую-то пустующую канцелярию. Через некоторое время туда пришли два служителя. Я не без интереса взял в руки довольно толстый том. Он был приготовлен для сдачи в архив, в нем были: мое следственное дело, которое я уже читал по окончании следствия, и протоколы судебного заседания. Я начал с того, что снова стал перечитывать донос Игнациуса, показания его и достойной его супруги, показания свидетелей, свои собственные показания, протоколы очных ставок... В какой малой степени они отражали действительность! Из них исчезло все: накал спора, драматизм встречи "глаз в глаз" с бывшими друзьями, исчезло все пережитое, перемученное, перестраданное... И я невольно подумал, как ничтожно мало узнает будущий историк о том, что происходило в этих следовательских кабинетах!

Вдруг на границе между следственным делом и судебным я увидел документ, которого не было, когда я подписывал двести шестую. Это был конверт, на котором хорошо мне знакомым почерком было написано: "Совершенно секретно. Только для председателя суда. Памятная записка". Мои юридические знания были глубокими и об-

ширными, но я еще никогда не слышал, чтобы следователь в письменной форме давал указания суду! Да еще чтобы это сохранялось в материалах, теоретически доступных для других!.. Впрочем, насчет доступности я несколько ошибся. После прочтения содержимого конверт с "памятной запиской" был подшит вскрытой стороной. Теперь конверт был снова запечатан, и, чтобы ознакомиться с содержанием, его надобно было разорвать.

Я это и решил сделать, но понимавшие свое дело канцеляристы схватили меня за руку... Так я и не узнал, какие указания давал "независимому" суду майор Гадай... Впрочем, не так уже и трудно об этом догадаться, вспомнив, что приговор по моему делу был составлен и даже переписан на машинке еще до начала судебного заседания. Ладно, черт с ним, с Гадаем! А вот протоколы судебного заседания!!! Все мои старания, все мои попытки переплюнуть Плевако не стоили, оказывается, ни гроша! В протоколах судебного заседания не было ни одного моего вопроса свидетелям, ни одного их ответа на мои вопросы... Моя блестящая защитительная речь свелась к лаконичной записи: "Виновным себя не признает, считает, что он должен быть оправдан". Как пишут в рецензиях на книги: "Имеются отдельные недостатки, но суть проблемы передана правильно, лаконично и емко..."

Я исписал множество бумаги выписками из дела. На другой день меня вызвали в тюремную контору, и целый день, сидя в какой-то пустующей одиночке, я писал огромную жалобу, обвиняя суд в фальсификации протокола, в подделке документов и пр. и пр. Кассационная жалоба получилась красивой, но огромной. Передав ее в тюремную канцелярию для отправки, я подумал, что все же краткость — мать таланта и моя кассация на осуждение меня лагерным судом в 1943 году была написана с большим блеском. И что прохиндей из Верховного суда ее, наверное, и не прочтет... Так оно и получилось.

Кассационная инстанция на этот раз откликнулась невероятно быстро. Меньше чем через месяц меня вызвали в тюремную канцелярию и дали мне прочесть ответ из Москвы на кассационную жалобу. Как я и предполагал, высокая инстанция, рассмотрев мою жалобу, не нашла оснований для пересмотра дела и приговор по моему делу оставила в силе. Я подписался, что прочитал ответ Верховного суда и что мне известно, что приговор вступил в законную силу...

Что еще? — подумал я... Еще — меня повели в коридор, а оттуда — в кабинет начальника тюрьмы. Начальник на меня внимательно посмотрел:

— Вы прочитали ответ на ваше заявление?

— Да.

— У вас есть еще какие-нибудь жалобы, заявления? Может быть, вы хотите еще куда-нибудь обратиться?

— Нет. Никуда не хочу обращаться. И благодарю вас за внимание ко мне, за науку...

— Конечно. Учиться никогда не поздно. Даже человеку очень ученому. Вашу камеру скоро отправят в этап. В вашем формуляре указано, что вы — нормировщик. Очень правильно! Старайтесь жить и быть здоровым! Надеюсь вас больше здесь не встретить.

— Спасибо. И всего вам хорошего.

В апреле тридцать восьмого года меня из "собачника" внутренней тюрьмы на Лубянке привезли в Бутырки. После обычных процедур приемки арестованного и обыска меня повели по тюремным проспектам, улицам и переулкам, остановились перед камерой с номером "29" и открыли дверь. После светлого коридора ничего не было видно в сумраке открывшейся двери. Меня слегка толкнули в спину, и я очутился в большой камере, наполненной обросшими, странно одетыми людьми. Из них выделился высоченный человек с бритой головой, одетый в сносившиеся галифе и выгоревшую гимнастерку. Он взял меня за руку, отвел в глубину камеры и посадил на край нар.

— Я — староста камеры, комдив Онуфриев, — сказал он. — Вы с воли или из другой камеры?

— С воли.

— Ну, посидите несколько минут молча, придите в себя. Теперь уже все позади, вам почти ничего больше не угрожает. Главное — теперь вы можете больше не бояться, что вас арестуют...

Онуфриев был мужественным и добрым человеком, полным достоинства. Он много сделал, чтобы жители нашей камеры не оказались растерянными перед неведомым и наверняка страшным будущим. Он прямо из нашей камеры ушел на Военную коллегия и расстрел таким же бодрым и уверенным, каким встретил меня.

Но в главном он ошибся. Когда тебя увозят от своих близких, из твоего дома, туда — в тюрьму, то, действительно, кажется, что второй раз тебя арестовать не могут, как не могут второй раз убить... Но в декабре 38-го, когда меня с головного лагпункта отправляли на 3-ю командировку и мы с Асы плакали, расставаясь друг с другом, он мне сказал:

— Вот и еще раз они нас арестовали... И если мы хотим жить и дальше, то должны быть готовыми к тому, что нас еще много раз будут арестовывать...

Конечно, Асы это знал. Каждый этап, по существу, и означает новый арест. Рвутся установленные связи дружбы, взаимная помощь. Тебя уводят в неизвестность, к неизвестным... Я уже в своей жизни испытал множество арестов. И понимал, что сейчас будет еще один.

Нашу камеру расформировали и направили в этап в течение одного дня. С утра начались вызовы. По одному, по два-три... Помогаем поднести сидоры к двери, быстро обнимаемся и прощаемся уже навсегда... Сколько бы ни было в жизни таких арестов, они не дают иммунитета. И каждый раз отваливается немалый кусок души.

"Старайтесь жить и быть здоровым", — сказал мне почему-то добрый начальник этой тюрьмы. Я уходил в этап, еще раз узнав, что те, кто делают тюремщиков, сталкиваются с одной существенной для них трудностью: тюремщиков приходится делать из людей...

Ноябрьские дни 1977 года. Институт кардиологии в Петроверигском переулке. Из блока интенсивной терапии ночью (понадобилось место в блоке) меня перевозят в палату напротив. Сна уже нет. Я с нетерпением жду, когда за дверь в коридоре начнется шарканье ног нянечек, быстрый топоток сестер, скрип открываемых и закрываемых дверей. В звуках этих, в моем нетерпеливом ожидании, в интересе к тому, что я увижу, когда начнется день и осмотрюсь кругом, — во всем этом столько мне знакомого, уже не однажды пережитого. Так было и в прошлом, 1976 году в Боткинской больнице, так было и много раньше — во внутренней на Лубянке, в Бутырках, в Ставропольской тюрьме, в Георгиевской пересылке, во множестве пересылок Устьвымлага и Усолялага. Сходство тюрьмы и больницы отнюдь не внешнее (хотя они внешне в чем-то похожи), а в другом: в постоянном ожидании нового и чего-то для тебя решающего; в новых и чужих людях, с которыми тебя связывает общность судьбы; в палатных разговорах, столь схожих с разговорами в камерах: об одном в общем-то идет речь — что с нами происходит и что нас ждет?

Так проходит первое время, когда тебе важны и интересны все дневные события: приход нянюшек с едой, появление сестер и лаборанток со шприцами и колбочками, ежедневный обход врача — молодой и красивой грузинки, старающейся от своей молодости и получебного положения ординатора быть строгой, терпеливой и многозначительной. Потом это все становится обычным и внимание переключается на соседей.

В нашей 114-й палате четыре человека. Громоздкий, надутый нездоровой полнотой какой-то номенклатурщик из Министерства энергетики. Он всем недоволен, как в старом и скучном анекдоте, он постоянно, днем, вечером, а иногда даже ночью, жует обильно приносимую ему номенклатурную пищу: икру, цыплят, сыр — ну просто как у Галича (“а там икра, а там вино, и сыр, и печки-лавочки...”). Напротив меня — профессор-геолог. Он молодежав, ироничен, интеллигентен и мужествен. У нас троих банальные инфаркты, а у него что-то сложное, непонятное даже докам из кардиологии. Кардиоконтролер непрерывно показывает его кардиограмму, пульс, ритм и прочие проявления работы этой маленькой, но столь необходимой штуки внутри нас.

Третий в палате — Ниязов. Он татарин. Не крымский, не казанский, а сибирский — из Омска. Первый раз вижу сибирского татарина. Внешне он не отличается от классического образа — татарина из горьковского “На дне” во МХАТе. И сидит так же, поджавши ноги на по-

стели, и говорит странно — не то что с акцентом, а неразборчиво, не по-русски, не всегда даже его можно понять. Он подвижен, активен, общителен, глаза у него сразу видят все, а слух такой, что в слитном коридорном гуле он слышит содержание разговоров.

Ниязов мне приятен. Социально он ниже своих соседей, но его это совершенно не смущает, и никакого комплекса неполноценности в нем не чувствуется. Он — единственный ходячий и поэтому — просто и естественно — всех обслуживает: подает еду, следит за тем, проглочены ли всеми таблетки, оставленные сестрами. Ниязов не любит номенклатурщика и любовно относится к профессору. Ему почему-то очень импонирует, что кардиоконтролер, к которому профессор припаян, стоит 60 тысяч долларов и так здорово устроен. Он отлично разбирается во всех сложных миганиях огоньков в аппарате, в кардиограмме, бегущей по экрану осциллографа, все время всматривается в показания приборов и озабоченно говорит: "Володя, у тебя опять пошли плохие зубчики..." Ниязов всем говорит "ты", профессора он зовет по имени — Володя. А то и — Володечка. Ко мне он тоже питает почтение, ему нравится, что я писатель и дарю врачам книги, на обложке которых крупными буквами значится моя фамилия. Меня он зовет по имени-отчеству. Отчество мое ему выговорить трудно, и поэтому я для него — Лев Наумович. Я его тоже называю по имени-отчеству — Григорий Иванович. Вот такое совершенно русское имя и отчество у этого совершенно нерусского человека.

С ним мне интересно. И противный номенклатурщик, и симпатичный профессор в общем-то мне знакомы. А этот нов. И вовсе не ординарен. Как он без всякого смущения сказал — книги читать не любит и за 62 года своей жизни не прочитал ни одной. Но он умен, быстро все схватывает, великолепно играет в шахматы и вполне мог получить мастера, а то и больше. О себе и своей жизни говорит с откровенностью иногда трогательной, а иногда неприятной. Трогательен его рассказ о том, как он женился. Возвращался с фронта домой в Сибирь, через Москву, уже билет был в кармане. И зашел в деревяшку у вокзала выпить стакан водки. Буфетчица как-то странно и ласково смотрела на него, давая ему к водке помятый бутерброд, а потом сказала:

— Вы не уходите совсем. Еще зайдите.

— А почему?

— На мужа моего похожи, — тихо ответила буфетчица. — Убили его еще летом сорок первого...

Григорий Иванович вышел из забегаловки, походил час, другой по улице, выбросил билет до Омска и вернулся к буфетчице. Так он стал москвичом, и буфетчица народила ему трех дочерей, от которых ему не было никакого счастья. Он об этом размышлял часто вслух, сердясь на судьбу и человеческую неблагодарность. Старшую выучил на инженера, она удачно вышла замуж, он купил ей двухкомнатную квартиру, обставил венгерским гарнитуром, а сейчас, когда стал пенсионером и больным, она на него плевать хотела и ни разу в больнице не навестила. А младшая, 18-летняя, уже несколько лет назад сбилась с пути, пьет, курит, шляется со всякой шпаной и говорит ему с ненавистью и надеждой: "Скорей бы ты сдох, ох, скорей бы ты сдох, проклятый!"

Только средней дочкой доволен. Она кончила институт, работает экономистом и часто приходила к отцу в больницу со множеством жирной и обильной еды. Приходила и бывшая буфетчица — толстая, расплывшаяся, до сих пор заметно, что любит она этого татарина, оказавшегося столь странно схожим с ее первой, очевидно, настоящей и большой любовью.

Было в нем что-то темное, смутное, вызывающее раздражение. Прежде всего — его невероятная любовь к себе, своему телу, своему здоровью. Он постоянно вслушивался в то, что происходит внутри, в его органах, которые он раньше никак не ощущал, а теперь стал так от них зависеть. Он изводил врачей, требуя от них, чтобы они его вылечили "насовсем", постоянно подозревал их в том, что с ним что-то не сделали, что-то ему недодали. Институт набит сложными и непонятными приборами. Григорий Иванович страстно выспрашивал в коридоре, кого и куда и на что водили, и добивался, чтобы и его повели на эхолокацию, рентгенографию, на все эти хитрые, а главное, дорогостоящие приборы. Последнему обстоятельству — цене — он придавал особое и чуть ли не главнейшее значение.

Очевидно, до своей болезни он был очень здоровым человеком: свободно один переносил пианино, крестился двухпудовиком. И никак не мог примириться с тем, что вдруг утратил уверенность в силе своего тела. Он много и жадно ел мясо, которое ему приносили, и был почти уверен, что это вернет ему прежнюю силу.

Почему я так много рассказываю об этом чужом и случайном человеке, с которым меня свела больница? Мы пробыли вместе недолго, разошлись в разные концы огромного города и, очевидно, никогда больше не увидим друг друга. Но уже никогда не исчезнет из моей памяти это круглое скуластое лицо с маленькими внимательными глазами. Никогда мне раньше не могло прийти в голову, что в 114-й палате кардиологического института я встречу с человеком, которого я десятки лет хотел встретить. Встретить и узнать от него то, что для меня оставалось неизвестным.

И не только для меня. Я встречал десятки и сотни людей, прошедших через тюрьмы и лагеря. Я прочитал десятки книг: воспоминаний, исследований. Ни от кого из людей и ни из одной книги я не узнал: как убивали?

В самом деле, как? Как убивали немецкие фашисты, известно во всех, самых мельчайших подробностях. Как забирали, вели, копали могилы, убивали газом, пулей, как уничтожали трупы — все известно.

А вот как убивали наши? Как расстреливали людей в 37-м, 38-м и дальше? Ведь старая классическая картина: гараж; мотор, заведенный, чтобы заглушить выстрелы; пуля в затылок; грузовик с несколькими трупами, вывезенными куда-то за город, — все это кустарщина, существовавшая только до 37-го года. А дальше дело шло об убийствах тысяч людей, десятков тысяч. Количество осужденных на "десять лет отдаленных лагерей без права переписки" исчислялось цифрой со многими нулями. Ну, где-то можно было пускать в ход такие экзотические средства массовых убийств, как потопление

барж с осужденными. Но не везли же людей из Тамбовщины во Владивосток для того, чтобы их убить? Очевидно, все было проще?

И об этом я думал постоянно, думал годами. И чем дальше уходило от меня проклятое время, тем меньше оставалось надежды раскрыть эту тайну. Что для этого требуется? Встретиться хоть с одним палачом. Ну, расстрельщиком, исполнителем — я не знаю, как они — убивающие — официально назывались. И не просто встретиться, а узнать от него, как это все происходило.

Ниязов и оказался тем, кого я все годы искал, с кем хотел встретиться.

Вот и встретился. Я не могу объяснить, чем было вызвано такое раскрытие его передо мною. С другими в больнице он никогда об этом не говорил и вообще сказал мне, что я — первый, кому он все это рассказывает. Вот я оказался симпатичным этому больному палачу. Он ко мне совершенно искренне привязался и, кажется, был огорчен, что, уходя из больницы, я не оставил ему свой телефон, не записал его адрес...

Мне и ему разрешили гулять почти одновременно. И я обрадовался этому, я хотел этого, потому что была в нем какая-то загадка, томившая меня с тех пор, как он, уличив нашу докторшу в том, что ему недодали какое-то обследование, гордо сказал:

— От меня не спрячется! У меня глаз — чекистский!

Прогулочный двор в Институте кардиологии похож на тюремный. Он окружен высокими домами, высокой стеной, из него нет никакого выхода на улицу, во внешний мир. Собственно, это два соединенных двора, и в часы прогулок по ним движутся обычным тюремным кругом пары и одиночки выведенных на прогулку.

В первый же раз, когда мы вышли во двор и двинулись по кругу, я спросил у него:

— Ты, значит, Григорий Иванович, был чекистом? Где?

— Да, чекистом был! В Омске.

— Тюремным надзирателем?

— Да, в Омской тюрьме. Сначала в такой, обыкновенной, а потом во внутренней.

— А как ты туда попал?

И я выслушал историю, как стал чекистом омский татарин Ниязов. Семья его жила непроходимо бедной жизнью — одиннадцать детей было у его матери-прачки. Отец был на традиционной для татар работе — дворник, но больших прибылей ему это не приносило. Мой больничный товарищ рос сильным и озлобленным мальчишкой. Учиться он не хотел, мать с трудом сумела довести его до седьмого класса. И помогли в этом не столько слезы матери и колотушки отца, сколько страх учителей перед этим диким зверенышем. Он мог ночью напасть, ударить, разбить окно, может быть, зарезать! Он все мог! В поле своей ватной куртки этот мальчик носил стальной шомпол и пускал его в ход против тех, кого ненавидел. А ненавидел он всех успевающих, любимчиков учителей, всех богатых, хорошо одетых. Бил он не только тех, кого лично ненавидел, но и любого, если ему за это платили. Так и рассказывал:

— Дадут мне большой пирог с мясом или двадцать копеек и скажут: вздуй его. Ну, я подхожу к нему после уроков, выну шомпол и как врежу...

После семи классов он "ушел в беспризорные — надо было помогать...". Стать "беспризорным" значило у него стать вором. Он и стал вором. Мелким вором, промышляющим на базарах, в магазинах. В профессиональные воровские шайки не входил — берегся. Предпочитал быть одиночкой. Спокойней, безопасней. Даже законники его боялись — сильного, отчаянного и расчетливого.

А Ниязов был расчетлив и знал, что воровской промысел надо кончать, как только он перестанет числиться подростком, как только начнет им заниматься не детская комната при милиции, а учреждение более опасное. И в свое время, когда его начала милиция трудоустанавливать, пошел на фабрику. Стоять у станка ему было скучно. Сначала таскал тяжелое, потом стал вахтером, заслужил доверие коменданта и дождался своего часа — в 35-м году чьи-то зоркие глаза его заметили и отобрали. И стал он младшим надзирателем в Омской городской тюрьме. Очевидно, было в нем что-то внушающее начальству доверие, потому что через полгода ему предложили вступить в партию и стал он старшим надзирателем. А потом — особое доверие: перевели из городской во внутреннюю. И так было до 1937 года. Когда его — даже не спрашивая — перевели в спецобъект. Спецобъект находился в пятнадцати километрах от станции Бикин на железной дороге между Хабаровском и Владивостоком. Это было место, куда привозили для расстрелов осужденных из Ворошиловска, Хабаровска, Владивостока, из больших городов, из районных центров, отовсюду, откуда их — как пылесос пыль — вытягивали на смерть те, которые и официально именовались карательными органами.

Я не знаю, как лучше — в смысле точности — передать все рассказанное мне Ниязовым. Наверное, лучше всего не пересказывать, а изложить стенографически точно мои вопросы и его ответы. Я говорю "стенографически", и это вовсе не художественный образ. Я запомнил и никогда больше не забуду каждое слово в его ответах на мои вопросы. Лучше пусть и идет эта стенографическая запись, за точность которой я готов держать ответ перед всеми людьми и собственной совестью.

— Что такое Бикин? Где это?

— А это такая станция. Не маленькая, нет, большая станция.

— А лагерь где был?

— Километров пятнадцать от станции. Там когда-то была воинская часть, и остались казармы и другие постройки. Ну, оцепили все проволокой, вышки поставили, на дороге — она-то одна — поставили шлагбаум и пост. Никто туда не подъедет и не подойдет.

— На много народа был рассчитан лагерь?

— Нет, лагерь был не очень большой — человек так на 200 — 250. Но иногда привозили сразу много, так и до 300 доходило. Даже бывшую столовую и ту превратили в барак, нары построили. Но тесноты особой-то не было, туда же привозили только на два-три дня. И потом — Бикин был не один такой спецобъект. Такой же был в

Розенгартовке, километров 60 от нас в сторону Хабаровска, да в других местах были такие объекты.

Слово "объекты" он выговаривал твердо и с достоинством, в этом слове для него содержалось нечто значительное.

— Ты был надзирателем?

— Ну да.

— Какая была твоя работа?

— Обыкновенная. Дежуришь сутки, через день. Днем едешь с машиной на станцию к поезду. Заберешь зеков, привезешь их, потом по камерам разведешь, сопровождаешь обслугу, когда она котел с баландой таскает, стоишь у кормушки, пока раздадут пищу, — обыкновенная работа.

— А кто же их расстреливал? Это были специальные люди, они жили при лагере?

— Да не было никаких специальных людей. Мы же и расстреливали.

— А как?

— Да вот так. Утром сдаем дежурство новой смене, заходим в караулку, берем оружие, нам тут по стакану водки дают, потом берем списки и со старшим идем по камерам, выводим и в машины.

— Какие машины?

— Они крытые. В каждой машине их по шесть человек и четыре наших.

— И сколько же машин выезжало?

— Три-четыре машины.

— А они знали, куда их везут? Им что, сначала приговоры объявляли или что?

— Нет, никаких приговоров не объявляли, ничего не говорили, только: "Выходи, прямо вперед, давай в машину!"

— Они были в наручниках?

— Нет, у нас их и не было.

— А в машине как они себя вели?

— Мужчины, те молчали. А вот женщины начинали плакать, говорить: "Ой, да что вы делаете, мы же ни в чем не виноваты, товарищи, что вы делаете" и прочее такое...

— А женщин и мужчин возили вместе?

— Нет, всегда отдельно.

— А женщины были молодыми? Много их было?

— Не так чтобы много, но были, машины две в неделю бывало. А очень молодых не было, ну бывали лет так на 25 — 30. А больше среднего возраста, а то и пожилые.

— Далеко вы их возили?

— Километров за 12 к сопке — Глухая сопка называлась. Ну там сопки вокруг, а посредине мы их сгружали.

— Так что — вы их выгружали и объявляли им?

— А чего объявлять? Мы кричим — выходи! становись! — они вылезают, а перед ними уже яма выкопанная. Они вылезут, жмутся, а мы сразу по ним...

— Молчали?

— Кто молчит, а кто начинает кричать, вот мы-де коммунисты, погибаем безвинно и прочее такое. А женщины только плачут и

жмутся друг к дружке. Так ведь мы их сразу же...

— А врач с вами был?

— Ну а зачем он? Постреляем, кто шевелится — добьем и в машины. А в сторонке уже ждет дальлаговская бригада.

— Что это за бригада?

— А у нас в особой зоне жила бригада уркаганов из Дальлага. Они обслугой были, и потом их дело было ямы рыть и закапывать. Вот мы уедем, а они пошвыряют в ямы, закопают, выкопают яму на завтрашний день. Урок у них кончен — в зону. Им зачеты шли, и кормили их хорошо, да и работа не пыльная — не лес валить.

— А вы?

— А мы приедем в лагерь, сдаем в караулке оружие, выпиваем, значит, бесплатно, сколько хотим. Другие помногу — тянуло на даровое, а я всегда один стакан выпью, схожу в столовую, поем горячего и в казарму спать.

— А хорошо спал? Ну не страшно тебе было?

— Чего страшно-то?

— Ну, что убил только что людей. Не жалко их было?

— Нет, не жалко. Не думал об этом. Спал хорошо, днем погуляешь, места там красивые есть. Скучновато, конечно, баб нет.

— А женаты среди вас были?

— Нет, с женами не брали. Конечно, начальники-то обходились. В дальлаговской бригаде были такие бабенки — закачаешься! Ну, там — повара, посуду мыть, полы — вот они все начальникам доставались. А нашему брату — шиш! И подумать нельзя было хватануть какую...

— Григорий Иванович, а ты знал, что люди, которых вы расстреливали, — неповинные, ни в чем не виноватые?

— Ну, тогда об этом не думали. А потом — да. Нас вызывали к прокурорам, расспрашивали, объясняли, что они были невиноватые, ошибки тут были и эти — перегибы. Но нам сказали, что мы тут ни при чем, мы ни в чем не виноватые.

— Ну, хорошо, вам приказывали — вы и стреляли. Но вот ты узнал, что убивал мужчин, женщин, ни в чем не виновных, тебя после этого совесть не мучила?

— Совесть? Нет, Наумыч, не мучила. Никогда про это не вспоминаю и не думаю, а когда и вспомню — нет, совсем, совсем ничего — как и не было. Я, знаешь, сейчас стал такой жалостливый, вот смотрю, мучается старичок какой — так мне его жалко станет, иногда заплакать могу. А тех — нет, не жалко. Совсем не жалко, как и не было их..

Конечно, откровенность Григория Ивановича передо мной не ограничивалась только теми годами его жизни, когда он был палачом. Он мне рассказывал и о дальнейшем, и я слушал, слушал внимательно, мне так хотелось удостовериться, что он не такой, как я, как все люди.

Но он был такой же, в общем такой же. Если не считать того, что он не уговаривал себя в существовании границы между дозволенным и недозволенным.

В конце 39-го "объект" в Бикине стал работать вполсилы, а в 40-м году его закрыли. Закрыли, а Ниязова снова перевели в Омск на старое место — надзирателем.

— Ну, там, Лев Наумыч, мне служить надоело. Старых никого не было, надзиратели все молодые и на меня все шипят — невинных, мол, расстреливал, наживался... Ну, завидовали, конечно, в Бикине, конечно, зарплата другая. До того разозлился я, что ушел с работы.

— Куда?

— А так, решил отдохнуть. Ну, не удалось — война.

Да, он воевал. И, очевидно, хорошо воевал. Солдатом на Ленинградском фронте. Был ранен, получил два ордена Красной Звезды, много медалей. И выжил, потопал по побежденной Германии, вернулся назад здоровым и богатым.

— Я, Наумыч, знаешь какой богатый был после войны? У!

— А богатство-то откуда?

— А еще в начале войны, когда отступали, прошли мы через один наш городок. Идем втроем — старшина и нас двое, солдат. Город пустой, все раскрыто, смотрим, вывеска: "Банк". Заходим, а там лежат большие брезентовые мешки с деньгами. Ну, мы три мешка взяли и решили запрятать до конца войны. И так, понимаешь, запрятали, что война кончилась, я в этот город приехал и захоронка цела — лежат все три мешка. Я свой мешок взял — и дальше.

— А почему только один?

— Ну что я, дурной? Меня одного из первых демобилизовали. А вдруг старшина да тот солдат живы остались? Они же мою фамилию знают и откуда я. Нет, я на чужое не кидаюсь. А что мое, то мое. Я ведь умный, Наумыч. Другие из Германии волокут тряпки, тарелки — набьют сидора, не утащишь. А я с собой только мотоцикл да три литра камешков.

— Каких?

— А для зажигалок. В России у спекулянтов камешек — 25 рублей. А я их сразу же отдал по 10 рублей камешек. А знаешь, сколько их в трех литрах? Миллион! Денег у меня было — закачайся!

И дальше жизнь Григория Ивановича шла хорошо. Хотели его запихать куда-то, но пошел к начальству, сказал, что вот чекиста хотят забрать хребет ломать, его сразу же на охрану правительственной связи. А потом, когда вчистую демобилизовали, устроился на самую золотую работу — комендантом центральной промбазы Военторга войск ПВО. И работал там десятки лет.

Он долго, захлебываясь словами, рассказывал мне, как интересно и выгодно было работать на этой базе. Конечно, самые сливки доставались не ему.

— Нам знаешь сколько золота давали! И серебра! Кольца там, браслетки, подстаканники и прочее такое. Но это к нам и не приходило на базу. Придут только накладная да счет — уплачено уже начальниками и забрано ими.

А меха привозили — такие, знаешь, меха! Ну, тут наезжают большие начальники — сам Батицкий приезжал, отберут себе что получше — и отрезки импортные и другое, а потом мы уже пускаем в операцию.

— Какую?

— В каждом деле, Наумыч, своя хитрость есть. У нас уже уговор был с некоторыми точками. Вот отправляем контейнер с самыми

дорогими вещами в какой-нибудь гарнизон ПВО черт-те где — у самой границы. Там этот контейнер полежит сколько нужно по закону и назад к нам — отсылаем потому, что не раскуплено. А мы — по закону — сразу же комиссию и переоценку, как не имеющие спроса и утратившие товарную ценность. И разбираем! Видишь на мне, Наумыч, пальто. Драп-то пощупай! Вечный драп, самой чистой и дорогой шерсти — двадцать восемь рублей! Рубашки были по три рубля — самые лучшие. Шапка ондатровая или пыжик — восемь рублей... Конечно, сначала берут начальник базы, офицеры из управления. Но и я не жучка был — комендант, у меня в подчинении сорок семь человек было...

И этой работы несправедливо, подло лишил его новый начальник базы. Пришел, привел всех своих, старых и заслуженных стал прогонять. Дождался, когда Григорию Ивановичу стукнуло шестьдесят, устроил, сволочь, ему торжественные проводы на заслуженный отдых. А от этого торжества Ниязова хватил первый инфаркт, а второй, с каким попал сейчас в больницу, получил из-за этой шляхи — младшей своей дочери. Бил ее так, что думал — не отойдет. Она-то отошла, а у него новый инфаркт...

Ну почему я это все рассказываю? И почему мне должны быть важны жизнь этого человека, его характер, нравственные воззрения, зачем мне все это?

"Спецобъект" Бикин существовал почти три года. Ну, скажем, не три, а два с половиной. И работал он с выходными: может быть, по воскресеньям, Первого мая, в день Октябрьской революции и Конституции не расстреливали. Все равно — выходит, что 770 дней "объект" работал. И каждое утро каждого из 770 дней четыре машины выезжали из зоны Бикина в сторону Глухой сопки. Четыре машины по шесть человек в каждой — 24 человека? За 25 — 30 минут людей привозили к ожидающей их яме. "Объект" уничтожил за время своего существования 15 — 18 тысяч человек. А ведь "объект" Бикин был типовым — таким же, как и любая пересылка. И этот налаженный, отработанный аппарат работал без сбоев, точно и регулярно, заполняя трупами приготовленные ямы между сопками Дальнего Востока, в сибирской тайге, на полянах среди лесов Тамбовщины или Мещеры. Они везде были, эти "объекты", и не осталось от них ничего: ни страшных музеев — как в Освенциме или Маутхаузене, ни траурно-торжественных мемориалов — как в Хатыни, Саласпилсе, Лидице. Осели, заросли мелкоколесьем, кустами и густой травой тысячи и тысячи безымянных могил, в которых спутанно переплелись кости сотен тысяч людей. Правда, не так, как у немцев — все вместе. У нас мужчины отдельно и женщины отдельно. Распущенности и в этом деле у нас не допускалось.

А убийцы? Убийцы еще доживают. Не всем так не повезло. Да и то сказать — ну, расстрельщиков было много. Но еще больше было тех, кто к Глухой сопке и к другим местам убийств никогда не выезжал. Это только по помещичье-буржуазным законам прокурор и другие обязаны были присутствовать при казни. У нас, слава богу, этого нет. А еще больше, чем расстрельщиков, было других палачей: не с семилетним образованием, а с высшим — "гуманитарным". Это те, кто писали бумаги, подписывались под словами: "полагал бы",

”согласовано”, ”утверждаю”, ”приговорить”... Они все на пенсии, большей частью на персональной; они сидят на скверах, любуясь играющими детьми; ходят в концерты и растроганно слушают музыку; мы встречаемся с ними на собраниях, в гостях, за праздничными столами у общих знакомых. Они живы, их много. Они ведь моего возраста и еще моложе. У меня уже прошел шок, который я испытал в больнице после рассказов старого палача. И с ужасом я думаю, ”что не испытываю к нему никакой ненависти. Он ничем не лучше, не хуже других. Мы живем среди убийц. И ничего с этим не можем поделать. Я живу среди них, и я могу лишь бессильно вспоминать строчки стихов Домбровского:

А мне ни мертвых не вернуть назад
И ни живого вычеркнуть из списка.

В Георгиевскую пересыльную тюрьму прибыл судья. Слово "прибыл" не совсем точно в данном случае. Судья не собирался выполнять в этой огромной пересылке свои прямые судебские обязанности. И в тюрьму он не прибыл, а его привезли — этапировали. И был он уже не судьей, а нормальным заключенным, которого из пересылки отправят отбывать десятилетний срок, данный ему другим его коллегой.

Георгиевская пересылка — типовая. Она рассчитана на 25 тысяч заключенных и должна обслуживать весь большой Ставропольский край. И хотя она была либеральнее многих других однотипных учреждений, но правила в ней соблюдались строго и никаких сношений между камерами не допускалось. Тем не менее любое событие в любой камере немедленно делалось достоянием всей тюрьмы. Поэтому весть о том, что среди зеков появился живой судья, мгновенно облетела все камеры. В первой же камере, куда посадили бывшего судью, его, натурально, стали бить. Будь администрация поумнее, оставили бы его: побили, побили, да и попривыкли... Но, откликаясь на судебские вопли, арестанта переводили в другую камеру, где его, конечно, немедленно начинали лупить. И так бедного судью таскали из камеры в камеру и в каждой ему доставалось, ибо кто же из арестантов удержится от соблазна врезать не кому-нибудь из своих, а судье — пусть и бывшему!..

И так было до самого этапа. Главтюремщики, решающие все тюремные вопросы в своих московских кабинетах, решили, что в этапном эшелоне зеков надобно делить по срокам. Я был "малосрочник" — у меня было только десять лет. И поэтому меня сунули в вагон малосрочников, где находились осужденные на 10 и 15 лет.

Прошли первые часы предварительного сидения на коленях перед вагонами, переключка, усаживание в вагоны, запираение и пломбирование теплушки, устройство и обживание нашего нового "дома", где нам суждено прожить не менее месяца, а то и более... Теплушка обыкновенная: по обеим сторонам нары — на 20 человек каждые, посередине в полу дырка, окованная жестью, — вместо параша. Маленькая железная печурка. Каждый день во время переключки распломбировываются и открываются двери, и 40 арестантов начинают перегонять из одного конца вагона в другой, почему-то сопровождая каждого переходящего арестанта ударом деревянного молотка. Молоток — оперативный. Им простукивают дно и стены вагона в поисках трещин, пустот и других примет возможного побега. После проверки наличия приносят ведро воды и "сухой паек" на сутки: каждо-

му по шестисотграммовой пайке хлеба, несколько селедок и крошечному куску сахара. Затем тюремный вагон запирают, и он на сутки становится совершенно самостоятельной организацией со своими обычаями, иерархией и нравами. И с первых же километров длинного пути мы начинаем осматриваться и узнавать, кто есть кто.

И в нашем вагоне оказывается судья! Тот самый. Ведь он тоже малосрочник — ему дали всего десять лет. Обнаружение судьи вызывает в вагоне невероятное оживление, всеобщий интерес и надежду на то, что всем предстоит развлечение. Из 40 зеков, находящихся в вагоне, 38 уголовников. Есть среди них и осужденные за хищения, но большинство — настоящие воры, насильники, грабители, не однажды уже побывавшие в лагерях и воспринимающие будущее вовсе не трагически. 58-я статья представлена в вагоне только мною и совсем молодым солдатиком, только что демобилизованным из армии. Парень год назад получил письмо из родного колхоза, в котором просто-напросто описывались все реалии колхозного строя. Солдатик не только вздыхал, но и наивно читал это письмо некоторым товарищам по взводу. Чтобы не портить статистику (в армии не должно быть антисоветчиков!), парня не трогали целый год. Благополучно демобилизовали, выпустили за ограду части и тут же арестовали. Теперь он был штатский, к армии касательства не имел и никак не мог испортить статистику.

Наше с солдатиком положение в вагоне было особое. К солдатика относились насмешливо и даже с сочувствием. Что же касается меня, то я был "пахан". Человек, обладающий наибольшим тюремным стажем. Уголовников все же несколько потрясло то, что, когда они были еще совершенными пацанами, я уже сидел в тюрьме. Да еще какой — в Бутырках! И о лагерях знал больше, чем кто бы то ни было. Поэтому ко мне они относились с надлежащим почтением, я занимал законное лучшее место на нарах под окошком и даже выступал третьей стороной в спорах, естественно возникавших между людьми не самых высоких нравственных принципов, запертыми в тесном вагоне.

И вот — среди нас судья! Уже паровоз отстукал первую сотню километров, прошла проверка, наступила ночь, и в вагоне, освещенном лампой "летучая мышь", начинается всех взбудораживающее судилище. Что делать с судьей? Наиболее авторитетные, пребывающие в законе воры не колеблясь говорят — давить! Никого убийство в этапе не удивляет: сводятся счеты, и, вероятно, это входит в законный процент этапной "утруски". Судилище происходит по всем отработанным правилам. Каждый может сказать свое мнение. Оно почти всеобщее: "Нам, гад, срока дрюкал, а сам в лапу брал, освобождал тех, у кого бобики были, кто ему на лапу давал! Задавить гада!"

Судья стоял на коленях, плакал и убеждал, что он в лапу не брал, что у него на руках есть приговор. Он вытаскивал его и совал своим судьям. Читайте! Действительно, из приговора было видно, что судья взятки не брал. Просто он вместе с судебным исполнителем присваивал себе все деньги, приходящие по исполнительным листам за алименты и прочее. Но и это обстоятельство, которое бывший судья считал смягчающим, не облегчало его участи. Все же этот суд, вынесение приговора, приведение его в исполнение было для жителей

вагона большим культурным развлечением, от которого они отказаться не могли.

— А, гад! Нам срока ни за что, а сам последнее отымал у детшек! Задавить его, сволоту, да и все! Конвою скажем, что сам задохся...

Я хорошо знал этих людей, знал, как легко они возбуждаются и как способны они к самым непредсказуемым действиям. Я покривил бы душой, сказав, что мне было жалко этого субъекта, внушавшего мне отвращение. Но не мог же я присутствовать при убийстве! Убийстве беззащитного человека толпой, где каждый — палач.

Я наклонился к рыдающему, стоящему на коленях человеку:

— Вы книги читали когда-нибудь?

— Да, да! У меня была большая библиотека, я много, много читал. — Судья захлебывался от страха, от слез, от веры в возможное чудо.

— Ребята! — В вагоне все затихли и повернулись в мою сторону. — Судья умеет романы толкать! Нас, говорят, везут на Урал. Ехать нам месяц, а то и побольше. Задавить судью можно всегда, а пусть он нам пока романы толкает. И два раза в день. Один раз утром, а второй после поверки.

“Толкать романы” — значит пересказывать когда-то прочитанное. В тюрьме и лагере такое умение ценится необыкновенно высоко и служит доказательством, что даже самые отчаянные уголовники — люди...

Настроение в вагоне сразу же переменилось. В конце концов судилище и убийство займет не так много времени, а тут два “романа” в день — это, пожалуй, выгоднее. Так началось это своеобразное повторение знаменитой истории с Шахерезадой, рассказанной в “Тысяче и одной ночи”. Судья оказался не только прохвостом, но и способным человеком. Литературно способным. Начал он с “Острова доктора Моро”, а дальше перешел ко всем романам Уэллса, Жюль Верна, Дюма, Конан Дойля. Приговоренный к смерти тюремный аналог сказочной принцессы не только обладал прекрасной памятью, но и несомненным литературным даром. Он рассказывал эмоционально, динамично, выделяя наиболее выигранные эпизоды. Мало того — так как я сам довольно хорошо знал пересказанные книги, то с удивлением убедился, что судья сам придумывает новые захватывающие эпизоды и весьма искусно монтирует их с содержанием книги.

Через неделю-две “толкание романов” превратилось в излюбленное для всего населения вагона занятие. Вечером зеки нетерпеливо ждали поверки, чтобы посадить в центре нар тюремную Шахерезаду и начать слушать продолжение захватывающего романа. Ибо, по примеру Шахерезады, наш рассказчик прерывал свой рассказ на самом захватывающе-интригующем месте. Конечно, за это время сердца зеков смягчились, никто уже не напоминал о постановлении толковища “задавить гада”, напротив, к нему стали относиться бережнее и даже премировать куском чего-нибудь съестного за наиболее удачный рассказ. И судья утратил свой страх, он не только приободрился, но и начал понимать свою общественную ценность, требовать местечка получше, дабы не простудиться и не попасть, следовательно, в “простой”.

Однажды я его спросил:

— А вам не бывает стыдно?

— За что?

— За то, что отнимали у детей и стариков деньги на жизнь?

— Все так делали, все друг у друга отнимали, почему же только мне должно быть стыдно?

— А срока людям вы давали всегда справедливо?

— Я же работал судьей, при чем же тут справедливость? Давал срока, как сказано в законе, по инструкции, по указанию начальства, по поведению. Смотрю, тихий, в глаза мне засматривает — дам поменьше. А если нахал — то и на всю катушку...

— А вы никогда не думали, что можете очутиться на их месте, в тюрьме, среди тех, кого судили? Вас же хотели убить. И убили бы.

— Спасибо вам. Век не забуду. Если еще придется работать судьей да попадете ко мне — отплачу добром.

— А вы еще думаете быть судьей?

— А чего же! С такими, конечно, как я, и бывают неприятности. Но наверху нас никогда не забывают. Вот этап уж почитай пережил, а в лагере к законникам да шобле не попаду — там знают, кого и куда направлять.

И точно! Когда наш эшелон втянулся на запасные пути станции Соликамск и нас начали выводить из вагонов, судью после первой же переклички как будто смыло из общего этапа. Он куда-то исчез. И опытные лагерники мне объяснили, что "они, суки, своим пропадать не дают. Либо дневальным в "хитрый домик" устроят, либо куда. В лес не погонят, там же ему не повезет так, как у нас в вагоне, — пустят на него дерево — и с концами!.."

Это было осенью 1951 года. А намного раньше, в сороковом году, на Первый лагпункт Устьвымлага прибыл новый этап, и, когда заключенных рассортировали, Степа Горшков показал мне на высокого, еще не старого мужчину в галифе и выцветшей гимнастерке: Степан Горшков при всем том, что был заключенным, занимал на лагпункте самый высокий пост, до которого может дойти зек: незадолго до этого уволился начальник работ, и, пока не прислали нового, обязанности начальника работ исполнял заключенный Степан Горшков.

— Вот что значит у нас никого почти москвичей не осталось — никто его не вспомнит, — сказал Степан.

— А кто он такой? Я москвич, а не знаю, кто такой.

— Ты проходил по центру, а поэтому не имел с ним дела. Его фамилия Купчинский. Он не пешка, нет — заместитель начальника Управления НКВД по Москве и Московской области. Кровавая собака! Я о нем наслышался. Смотри, дьявол, — сколько их постреляли, а он живой — в лагерь попал. Да еще жив останется из-за таких хлюпиков, как ты да я.

— А что же нам надо делать?

— Слушай, в последней твоей посылке была кременчугская махорка. Дай мне две пачки. Я их дам одному хитровану, но опытнейшему лесорубу. На втором выходе в лес он на него пустит дерево. И пустит точно — он на это большой мастер.

Было это не в пятьдесят первом, а в сороковом. И тогда никакой жалости у меня к таким не было. Сам никогда никого в жизни не убивал, но тогда был уверен, что смог бы... Но вот так, попасть сразу же под дерево и умереть, не узнав, что такое подъем в шесть утра, развод на морозе при пронизывающем ветре, долгая мучительная дорога до лесосеки, эта страшная работа по пояс в снегу — пилить нагнувшись да ручной пилой дерево, надрываться, вытаскивая баланы из снега, мокрым и замученным брести в зону и там, похлебав не утоляющей голод баланды, залечь на жесткие нары в ожидании нового подъема... Как же это несправедливо!

— Степа, давай сделаем иначе. Их сейчас поведут на комиссовку, я поговорю с Македоньчем, устроим ему "тяжелый труд". Пусть он всего, сволочь, понюхает, прежде чем сдохнет!

— Да не сдыхают такие!.. Ну ладно, действуи.

План был несложный. К этому времени уже стал намечаться дефицит в рабочей силе. Не просто в арестантах, а таких, которые могли бы пилить лес и выполнять главный закон страны — план. Поэтому было строжайше запрещено зеков с категорией "тяжелый труд" использовать на любой не лесоповальной работе, если только он не был совершенно необходимым специалистом. За всякого зека с "тяжелой" категорией, обнаруженного не на лесоповале, у начальника лагпункта вычитали штраф из зарплаты — мера очень чувствительная. У Купчинского был весьма истощенный вид, и на "тяжелый труд" он явно не тянул.

Но! Но я объяснил нашему милому врачу мой жестокий план, и его сердце не дрогнуло. Да и с чего ему было дрожать? Его самого, его жену и двух сыновей взяли сразу, в одну ночь... Да и медицинскую этику ему не надо было нарушать: никто от него не требовал, чтобы он злодейски умертвил злодея. Напротив. Купчинский как ослабевший был немедля положен в стационар. Через месяц бывший заместитель начальника УНКВД был вполне годный для нашего плана: толстенный, розовенький и абсолютно здоровый. Каждый при выходе из стационара проходит комиссовку и получает новую категорию труда. Нисколько не покрывив душой, медицинская комиссия определила Купчинскому "тяжелый труд", закрыв ему этим дорогу к любой "придурочной" работе. Ибо никакой профессии у этого паляча не было, кроме умения выбивать нужные показания у врагов народа.

Через какое-то время начальника работ вызвали в "хитрый домик". Около оперуполномоченного Чугунова стоял заключенный Купчинский. Стоял почтительно, давая понять, что он здесь не совсем чужой.

— Горшков! Вот этого заключенного назначишь бригадиром.

— Нет, гражданин старший лейтенант, не назначу. Это ваш человек, а не мой. Мне нужны бригадиры, которые будут пользоваться авторитетом в бригаде и вместе с ней давать план. А этого заключенного в бригаде не слушаться будут, а бить. Каждый ведь помнит, как Купчинский бил таких, как они. Нет, Купчинский будет работягой. Как все.

— Слушай, Горшков! Если ты этого зека будешь доводить, ты мне ответишь как человек, обкрадывающий заключенных. Я не по-

смотрю на то, что ты начальник работ, и заведу на тебя дело. Попробуй только обсчитать его!

Горшков позвал дневального "хитрого домика" и приказал ему вызвать бригадира бригады, работающей на раскорчевке трассы. Тот востропанный прибежал. Не повышая голоса, начальник работ ему сказал:

— Вот этого заключенного возьмешь в свою бригаду. Выделишь ему отдельный участок и работу будешь принимать сам. Я pošлю контрольного десятника проверять приемку. Если ты его обсчитаешь на полпроцента, я сниму тебя с работы и ты пойдешь пилить лес. А если ты ему прибавишь полпроцента, то, пока я на лагпункте, ты будешь упираться рогами в самой последней бригаде на самой доходной работе. Понял меня?

— Понял, товарищ начальник.

И пошел Купчинский корчевать сосновые пни. Получая за свою работу штрафную пайку. Ибо без обычной туфты даже такой здоровый жлоб, как бывший заместитель начальника УНКВД, выполнить нормы не мог. И я имел удовольствие видеть, как в колонне арестантов возвращается с работы Купчинский и становится в очередь за пайкой и получает, в отличие от других, крошечный, в двести граммов, кусок хлеба. Впрочем, я скоро заметил, что время от времени дневальный "хитрого домика" сует ему здоровенный кус хлеба да еще чего-то. А вечерами, после отбоя, штрафной арестант тихонько выходил из барака и направлялся в "хитрый домик", где его несомненно подкармливали. И, наверное, не только за прошлые заслуги.

Недолго мне пришлось мстительно наслаждаться, видя Купчинского на разводе. Меньше чем через месяц вдруг его взяли на этап. На "спецэтап", по наряду. А еще через какое-то время приехавший из Вожаеля, где он был на совещании, Степан Горшков мне сказал:

— Видел Купчинского на Комендантском. В белом халате. Спрашиваю: кто такой? Говорят, новый лепила. Назначен фельдшером. Ну, теперь он свой срок будет отбывать как барин. И сыт, и пьян, и нос в табаке, и в лапу будет брать за освобождение. Эх, зря ты тогда пожалел две пачки кременчугской махорки!..

* * *

Да не жалел я махорки! Да и ничего бы не пожалел, чтобы хоть чем-нибудь, пусть таким низменным, мстительным образом, успокоить огонь ненависти, отвращения и стыда, грызущего душу. Ну, ненависти — понятно. К ней было более чем нужно оснований. Отвращения — также можно объяснить. Отвращения ко всему этому порядку жизни, ко всем этим правилам, собственно говоря принципиально одинаковым что на воле, что здесь. А стыда? Стыда за страх, который тогда, на воле, калечил меня, превращал из человека в "тварь дрожащую", как говорил герой романа Достоевского. А ведь как старался я этот страх унять, преодолеть иронией, смехом над анекдотами, водкой, наслаждением от наблюдения за тем, как растет мой ребенок, как превращается этот комочек плоти в осмысленного маленького человечка. И иногда удавалось. На время.

Лето 1937 года. Прошла опустошающая волна урагана. Аресто-

ваны родители моей жены, мой родной брат, мои двоюродные братья, мои многочисленные друзья, уже меня выселили из элитного дома в огромную коммунальную квартиру, и уже я — без работы. Пришел в Детгиз и по взглядам окружающих — жалостливым, стыдливым, сочувствующим — понял, что уволен. Подошел к доске приказов и прочитал об увольнении (даже не помню сейчас, с какой формулировкой) директора издательства Цыпина, зав. дошкольной редакцией Екатерины Михайловны Оболенской и меня.

И стал я безработный. Сначала ходил по разным издательствам — искал работы. Некоторые директора издательств меня знали, хорошо относились. И откровенно говорили:

— Сам понимаешь, как я к тебе отношусь и как ты был бы мне нужен. Но тебя арестовать могут?

— Могут.

— Так что же со мной тогда сделают!

— Но ведь и тебя могут! И тогда, когда я у тебя работать не буду.

— Могут. Но тогда мне уже будет все равно. А тебя я возьму и буду дрожать от страха. Ну что это за жизнь у меня будет?

Что мы только не делали, чтобы избавиться от этого всеобщего, давящего страха! Иногда Цыпину и мне это на время удавалось.

Григорий Евгеньевич Цыпин был любопытнейшим и приятным человеком. Великолепным организатором, таким, каким был, наверное, Сытин в свое время. Собственно, он и превратил Детгиз из карликового лоскутного издательства в огромное издательство, широко и щедро начавшее выпускать классику и старые любимые детские книги. С иллюстрациями лучших мастеров, в великолепных переплетах, щедро украшенных золотом. В них не было, может, большого вкуса, но было все, что обожают дети. "Цыпинское золото", — иронически говорили любители изысканных книг. Но старомодные вкусы Цыпина вполне соответствовали той жажде красивой толстой книги, которая возникла у читателей после чухлых брошюр и тоненьких книг о великих стройках пятилетки. И вот сейчас Цыпин — безработный. Как и я.

Стояло жаркое, безоблачное, с синим небом, лето 1937 года. У нас с Цыпиным было почти всегда одинаковое расписание. Мы встречались у Пречистенских ворот. Цыпин с корзинкой, я с бидоном. Сначала мы шли на Пречистенку, в Музей новой западной живописи. Оставляли в гардеробе свои пожитки, а потом шли в музей. Почти всегда в одни и те же залы, к одним и тем же любимым картинам. Сидели на банкетках против Ренуара или Гогена и молча наслаждались. Потом уходили из музея, шли в магазин на углу Пречистенки и бульвара, покупали пива и раков и шли домой к Цыпину. Григорий Евгеньевич жил рядом, на Сивцевом Вражке, в новом большом доме, построенном для старых большевиков, но уже наполовину пустом, а наполовину заселенном "руководящими".

У Цыпина была потрясающая библиотека. Когда-то он был директором издательства "Советский писатель", которому принадлежали крупнейшие букинистические магазины. А толк в книгах Григорий Евгеньевич понимал. И у него были собрания сочинений из великокняжеских библиотек, редчайшие книги, когда-то собранные

московскими книжниками. Помню полное собрание сочинений Достоевского в уникальной работы переплетах. И на титуле каждого тома надпись через всю страницу: "Из книг Федора Шалапина". И размашистая подпись великого артиста.

Пока хозяин варил раков по какому-то изысканному рецепту — с травами, в пиве, я рассматривал книги, какое-то мирное, спокойное чувство находило на меня и напрочь забывалось, откуда я пришел, куда я уйду и что наступит ночь с ее неотступными тревогами. Потом приходил Григорий Евгеньевич, мы начинали вкусную трапезу. Он мне рассказывал историю многих книг, сложные пути, которыми он их доставал, мы вспоминали библиотеки Демьяна Бедного и других замечательных книжных собирателей, и в этой беседе забывалось время, исчезал страх за будущий день, за будущий час... И вдруг эту такую мирную докатастрофическую беседу прерывал ужаснейший крик: не человеческий, не звериный — какого-то неведомого существа. Это кричал на балконе в квартире на верхнем этаже попугай. Квартира принадлежала Бетте Глан — организатору и директору московского парка имени Горького. Арестовали хозяйку, запечатали квартиру и забыли, что на балконе сидит в клетке большой попугай. И сейчас он умирает от голода и кричал страшным голосом, каким, вероятно, должны кричать великие грешники на Страшном суде. И весь дом, вернее, все те, кто еще в этом доме оставались, замирали от жалости, ужаса и страха. И никто, никто не решался позвонить "туда" и сказать о страшной участи бывлой красивой и веселой птицы. Никто не решался напомнить о себе...

И этот крик сразу же ломал нашу беседу, она мгновенно теряла свой мирный и отвлекающий от настоящего характер, она снова возвращалась к тому, о чем мы думали постоянно, почти в течение всех суток. И Цыпин начинал:

— Лева! Вот подумайте: нас было одиннадцать человек на курсе в Институте красной профессуры — девять взяли, а меня не тронули. Нас было шесть помощников у Кагановича — пять взяли, а меня даже не вызывали. Нас было пять заместителей у редактора "Известий" Бухарина — вместе с Бухариным взяли четырех, меня не тронули. Значит, не всех же берут! Значит, есть же какие-то причины, по которым одних берут, а других не трогают. И раз меня раньше не взяли, чего же им сейчас меня трогать — после работы в Детгизе. Мне уже обещают какую-то издательскую работу. Конечно, поменьше, да кто об этом думает! Но ведь не трогают! А значит, могут и не тронуть! А? Как вы думаете?

И я, думающий все о том же, все о том же, жестоко вдруг проговаривался:

— Книг жалко. Они же их не возвращают. И девают неизвестно куда.

К концу года нас все же "трудоустроили". Цыпин начал работать средним клерком в каком-то ведомственном издательстве, а я стал секретарем Московского общества друзей зеленых насаждений. Когда я туда пришел, мне показалось, что я попал в рай, ничего общего не имеющий с действительностью. Учреждение, где есть "Секция роз", "Секция хризантем", "Отдел комнатных растений"... Вот где можно отдохнуть душой, забыть и забыться. Но очень скоро вы-

яснилось, что "всюду страсти роковые и от судеб спасения нет"... Я получил должность секретаря, потому что моего предшественника посадили; незадолго до моего прихода посадили председателя "Секции роз"; на председателя "Секции цитрусовых" поступил компрометирующий материал, и он ходил по комнатам белый от страха, и все старались на него не смотреть...

Почти каждый вечер мы перезванивались с Цыпиным. Не то что у нас были какие-то дела, а так — для проверки... Утром 1 января 1938 года я позвонил ему, чтобы поздравить с Новым годом. И впервые телефон не ответил. И я сразу понял: дошло до него. Цыпина арестовали в самую новогоднюю ночь 31 декабря. Вернее, уже в новом году. Когда вернулся каким-то чудом выживший после десяти лет бывший директор ленинградского отделения Детгиза Лебедев, он рассказал, что обвинялся в том, что состоял в контрреволюционной вредительской организации в детской литературе, руководимой Самуилом Яковлевичем Маршаком. И среди членов этой организации был и Григорий Евгеньевич Цыпин. При моих частых встречах с Самуилом Яковлевичем я никогда ему об этом не рассказывал. Зачем старику напоминать о страхе, постыдном и жалком страхе, в котором он, как и все прочие, жил? А Григорий Евгеньевич пропал. Кажется, его не расстреляли. Значит, погиб в этапе или же дошел в каком-нибудь лагере.

Да, конечно, мы прибегали ко всем способам, маскирующим страх, загоняли его внутрь. Мы шутили над ним, рассказывали анекдоты, в наших откровенных домашних разговорах "они" представлялись не только жестокими, но и глупыми, лишенными признаков, отличающих наш вид как "человека разумного". Но все равно этот страх сидел в нас глубоко внутри, и даже если удавалось преодолеть страх за себя, то совершенно неодолимым был страх за близких. И никакие личные качества не давали нам необходимого иммунитета против этого страха.

1948 год был наиболее благополучным в моей тюремно-лагерной биографии. Этот год я прожил на воле. По-настоящему. Жил с женой в южном и красивом Ставрополе. Жил совершенно легально, имел прописку, снимал комнату и даже состоял на государственной (правда, других и не было!) службе. Я был методистом в методическом кабинете краевого отдела культпросветработы. Задачей этого странного учреждения было "изучать и обобщать" опыт работы сельских культпросветучреждений. Для этого я довольно часто ездил по районам большого края. Ездил с удовольствием. После многих лет жизни в местах, где только лес, лес, лес, мне нравились большие степные просторы без единого деревца, нравились огромные поля, большие станицы, где жили приветливые, не замордованные, как в городе, голодом, интересные мне и симпатичные люди.

В конце августа 1948 года я странствовал по Благодатненскому району. Старая казачья станица, превращенная в районный центр. Старые каменные дома богатых купцов и скотоводов заняты множеством учреждений, чьи названия начинаются со слова "рай". В просторной бывшей церкви Дом культуры. Словом, все как у всех. Очень мне понравился человек, чей опыт я должен был изучать и обобщать, — заведующий районным отделом культпросветработы. Это был

совсем молоденький солдат, начавший воевать в 17 лет и только два года назад демобилизовавшийся. Он прибыл в свою станицу не только живой и здоровый, но и увешанный множеством орденов, среди которых был самый-самый главный — звезда Героя Советского Союза. Солдат был разведчиком. Если на войне разведчику везет, то у него есть шансы не только остаться целым и невредимым, но и нахватать орденов полную колодку. Это мне потом объяснял со своим обычным смешком Эммануил Казакевич, который имел этот опыт. Благодатненский заведующий сельской культурой был очень здоровым и очень бесстрашным. Угощая меня дома обедом, он рассказывал о том, как он таскал языков, с простодушием, без всякой рисовки, и я ему верил, когда он, отвечая на мой вопрос, говорил, что нет — страха не испытывал. "Если идешь на поиск со страхом — лучше не ходить: провалишься. Я немца не боялся, нет!.."

И вот такого героя надо было устраивать на работу, соответствующую его высокому и редкому званию. Образования у него было не больше семи классов, но не это было препятствием к тому, чтобы плотно сесть в районную номенклатуру. Очевидно было, что нет у него необходимых данных, и поэтому назначили его на самую незавидную в этой номенклатуре должность — руководить культурой. Действительно, работа была не пыльной... В селах маленькие библиотеки: два-три десятка брошюр и предмет ставропольской гордости — роман Бабаевского "Кавалер Золотой Звезды". Да еще бывшая церковь в станице, где проводились раз в год смотры самодеятельности и всякие официальные мероприятия районного масштаба.

Первого или второго сентября я из села приехал в Благодатненское и застал в райцентре траурное оживление. Страна лишилась Андрея Александровича Жданова. На домах висели траурные флаги, в Доме культуры шла внеочередная уборка и подновление лозунгов — вечером в нем должно было состояться траурное заседание всех вышестоящих и нижестоящих организаций. Мой герой вместе с директором Дома культуры бегал, устраивал, прибывал, красил — я его увидел только вечером на торжественном траурном мероприятии. Все было "как в лучших домах"... На сцене стоял оббитый траурными лентами, среди цветов, портрет покойного вождя. За длинным столом сидело все районное начальство — от секретаря райкома до начальника райотдела МГБ. Начальник культуры в эту обойму не входил, и за стол президиума его не посадили. Он сидел рядом со мной во втором ряду и внимательно и серьезно, как всегда в своей немудрящей работе, слушал оратора. Стоя за фанерной трибуной, оратор — заведующий отделом народного образования, — иногда запинаясь (очевидно, не им было написано), но со слезой в голосе читал о том, каким великим гуманистом и просветителем был покойный, как он сгорел на работе в своих трудных заботах о развитии родной культуры, литературы, искусства... Слушать это мне было интересно, я даже чувствовал какое-то радостное шекотание от мысли, что этот толстый хам оказался бессильным против смерти. В этом было что-то обнадеживающее...

Но, взглядевшись в траурный президиум, я почувствовал, что сейчас могу неприлично хихикнуть. На сцене в траурном обрамлении был портрет не Жданова, а Шверника... Как это произошло — черт его

знает! У всех у них похожие лица и усы одинаковые. Я дернул за рукав своего соседа.

— Ты посмотри, посмотри, чей это портрет!

— То есть как чей?

— Да это же портрет не Жданова, а Шверника!

Никогда я не встречал такой реакции. Завкультпросветотделом стал бледен, как его парадная рубашка, с лица полились потоки пота. Он, задыхаясь, начал подниматься со скамейки.

— Куда ты?

— Надо же пойти, надо...

Он не знал, что надо делать, он умирал от страха, этот герой, этот разведчик, таскавший немцев, как сосиски.... Я с силой усадил его на место.

— Сиди! Тебя-то просто выгонят, а ведь директору Дома культуры не меньше десяти лет обломится!

— Так что же делать?!

— Сиди спокойно. А когда кончится заседание, пойдешь на сцену, заберешь портрет и спрячешь. А главное — не сказать об этом ни слова никому! Ни директору, ни своей жене, никому на свете!

Народ весело расходился с траурного заседания, я стоял и ждал своего героя. Уже потушили огни, закрыли церковные двери, когда из-за старой церкви показался бывший разведчик. Теперь он был относительно спокойный, только тяжелое и прерывистое дыхание говорило о перенесенном.

— Ну, что сделал с портретом?

— Рамку сломал и выбросил, портрет изорвал в клочки и разбросал по разным местам.

— Никому ничего?

— Да что вы! Но неужели кроме вас никто не заметил?

— Ну значит, никто. А то бы уж крика было навалом...

— Это-то да. А вдруг? А вдруг после вашего отъезда меня вызовут? Кто-нибудь скажет...

— Да никто не будет говорить. Меня ведь не боишься, не думаешь, что я тебя заложу.

— Так то вы...

Заведующий районным отделом ничего не знал о моей предчиновной биографии. Но вот как-то верил мне — чужому для него, малознакомому человеку. А своим одностаничникам, с кем играл мальчишкой, с кем работал теперь, — им не верил и испытывал невероятный страх при мысли, что его "вызовут"...

Хотел я его расспросить: неужели страх быть "вызванным" сильнее чувства, с которым он без документов, без погон уходил ночью за линию фронта в поисках языка? Но не решился. Пожалел его. Мог бы этот храбрый, хороший парень объяснить мне то, что я и сам не очень отчетливо понимал: природу этого страшного, давящего страха, в котором мы все жили? Мы все жили в зыбком мире, в утлой лодчонке, раскачиваемой страхом. Я — понятно. Но этот Герой Советского Союза, защищенный вроде славой и мелкой должностью, на которую никто не зарился, — почему от так боялся? А что же испытывают другие, более крупные? Не всем так не повезло, как погоревшему судье и недобитому палачу.

Ну хорошо. Уцелел судья, уцелел (наверняка потом стал пенсионером) Купчинский, уцелели и до сих пор еще живут, притворяясь людьми, убийцы самых разных рангов и специальностей. Но те, самые-самые главные, — неужто они верили, что навсегда останутся, что могут жить без этого страха?

Наш московский этап сгрузили у Центральной Котласской пере-сылки Ухтпечлага в сентябре 1938 года. Пока мы сидели на корточках около вагонов, дожидаясь команды встать и построиться, мы разглядывали парадные ворота этой огромной, знакомой миллионам людей пересылки. Эти ворота напоминали почти триумфальную арку, поперек нее висел огромный плакат, на котором вместо ироничного "Добро пожаловать!" было начертано яснее и проще: "Смерть врагам народа!" И над аркой висел огромный поясной портрет Генерального комиссара государственной безопасности Николая Ивановича Ежова. В портрете были тщательно выписаны красочные детали мундира: ремни, выпушки, знаки высокого чина, ордена. Скрестивши руки, страшный карлик смотрел на вводимых в ворота пересылки людей и ничем не напоминал того тихонького человека в сатиновой косоворотке, с которым я несколько лет назад пил водку...

Но — удивительное дело! — он нам уже никакого страха не внушал. От страха мы избавлялись, собственно, в тот самый миг, когда раздавался звонок в ночи и тебе совали под нос бумажку, на которой глаза сразу же выделяли главное слово — "и ареста"... Здесь, в Котла-се, мы распрощались со всеми видами страха. Нас больше не арестуют, не будут допрашивать, у всех у нас есть уже сроки — с нами все ясно. Зато нас необыкновенно интересовала судьба "их". И в первую голову судьба этого человека с портрета.

Ежов тогда был в зените своей кровавой карьеры — всесильный и могучий. Но в той небольшой, но тесной компании, которая сразу же сложилась в нашем этапе, почти никто не сомневался в том, что ждет Ежова. Он уже свое дело сделал, и тот, кто его породил, так же спокойно, как он всегда делал, уберет его туда, куда убирал всех. Не помню, кто из нас читал наизусть поэму о Цезаре Борджиа. "Цезаре был великий государь, такого мы не видели и встарь". И вскоре ему понадобилось то, что необходимо всем тиранам. "Лишь слабый ищет помощи закона. А он призвал Витторе де Колонна". И дальше рассказывалось, что этот Витторе "верил только в длинный нож, он презирал закон и уважал грабеж... он создал столько страшных дел, что не хватало рек для утопления тел". А дальше, когда Витторе сделал свое дело, Цезаре его арестовал, объявив, что он по заданию иностранных злодеев убивал невинных людей, за что понесет достойную кару. Каковую и получил по всем средневековым нормам.

Все мы видели в этой поэтической истории изложение прошлого и будущего Генерального комиссара государственной безопасности. И даже спорили, через какое время это случится. Те, которые заключали пари, что через полтора-два, — проиграли. Ежову остался лишь один год. Некоторые, прошедшие через страшную "Сухановку", рассказывали, что именно там сидел Ежов. Его, в грязной, пропотевшей гимнастерке, приводили на очную ставку с каким-нибудь очень несчастливым арестантом, и Ежов, как Вий, указывал на него своим железным перстом (уже без "ежовых рукавиц") и говорил: "Да,

я его завербовал”. Конечно, он-то знал все им же установленные правила игры и действовал по ним. Но знал ли он неизбежность своего конца? Ну да оставим это для беллетристов...

Летом 1953 года на новой командировке Кушмангорта не было уже такой избранной компании людей, изощренных в истории и даже знающих наизусть поэму Макиавелли. Но было несколько человек, с которыми можно было откровенно разговаривать, и я их убеждал, что Берия ждет участь Ежова. Мне не очень верили, но слушали с надеждой. А я был уверен, что Берия, представляющий смертельную опасность для всей пришедшей к власти компании ”тонкошеих вождей”, будет убран. Туда же... И даже азартно приглашал заключать пари, что это случится через год. Хорошо, что со мной никто не решился поспорить. Я же проиграл!

Командировка наша была новая. Радио постоянно работало только за зоной, в казарме. И единственная телефонная линия, соединяющая командировку с головным лагпунктом, имела два спаренных аппарата — в ВОХРе и на вахте. Каждое утро после развода я шел на вахту, вызывал плановую часть и передавал сводки о выполнении норм за вчерашний день. Эта идиотская отчетность почему-то требовалась именно утром — очевидно, чтобы к середине дня доложить генералу Тимофееву на Кузнецком мосту, как прошел производственный день на бесчисленных подведомственных ему лесных лагерях. Вертухай в вахте давал мне трубку, и если я слышал разговор между головным и ВОХРом, то клад трубку и ждал окончания разговора.

На этот раз я услышал (я уже хорошо знал их голоса), что разговаривают начальник отделения и командир нашей охраны. Но разговор был такой, что я не положил трубку, а какое-то мгновение продолжал держать ее у уха. Начальник отделения говорил:

— Радио утром слышал?

— Слышал..

— Значит, так: немедленно снять все портреты в штабе и казарме, изъять все книги и брошюры в красном уголке казармы и в КВЧ в зоне...

Я больше не мог слушать этот необыкновенный разговор: дежурный подозрительно смотрел на меня и тянулся за трубкой. Я медленно положил телефонную трубку и вышел с вахты. В голове у меня все кружилось, но мысли были совершенно отчетливые. Раз портреты и книги — значит, член Политбюро. Какие портреты членов Политбюро могут быть в штабе и казарме? У меня не было сомнений, что я проиграл и на полгода раньше, чем я думал, Берия пошел вслед за Ежовым.

Знакомо ли вам ощущение того, когда узнаешь что-то необыкновенное, такое, что невозможно держать про себя?

Уже собрали и увели с ”доводом” отказчиков и просто мелкую шоблу, прятавшуюся от развода. Посредине зоны на бревне сидел вспотевший от усердия младший лейтенант, начальник КВЧ. Он тяжело вздыхал, бедняга, — наверное, вытаскивал из-под нар спрятавшихся лодырей, не желающих ”жарким трудом растапливать свой срок”. Я присел рядом с ним. Лейтенант, в поисках сочувствия, сказал мне:

— Ох, Разгон! Ну и сукины же сыны, просто негодяи есть среди вашего брата зека!

— Конечно, есть, гражданин начальник. Так ведь и среди вольных какие негодяи встречаются!

— Это кто же? — с подозрением посмотрел на меня младший лейтенант.

— А вот Берия, например...

Реакция начальника КВЧ была очень странной. Он вскочил, посмотрел на меня помутневшими глазами, взвизгнул и побежал на вахту... Через полчаса он, как теленок, ходил за мной по зоне и ныл:

— Разгон, ну скажи — ты знал, да? Ты знал, а?

Конечно, вся эта история слегка напоминала знаменитую "русскую рулетку", когда в револьвере оставляют один патрон, вертят наугад барабан и стреляют себе в висок... А вдруг это был не Берия, а Маленков, Молотов, Булганин — да мало ли их было, кого Берия сцапал бы первым, устроив свой переворот. Но сейчас, когда я читаю воспоминания Хрущева и другие многочисленные воспоминания, я понимаю, что был прав во всех своих предположениях. И не от большого ума, а от опыта и понимания нехитрой в общем-то механики массового террора. Господи! Да я же про это читал у Тэна, Мишле, Жореса. Уже так было полтора века назад в одной из самых цивилизованных стран мира.

Ну а дальше? С Ежовым и Берией все было ясно. А что же будет дальше? С Главным?

С Главным дело обстояло несколько хуже. Как заканчивал Наум Коржавин одно из своих стихотворений, где героем был Сталин, "к стыду народа своего, он умер собственной смертью". Конечно, можно удовлетвориться и его посмертной судьбой: всеобщим поношением, презрением, ненавистью, тем, что он стал предметом заработка у мелких журналистов и ничтожных писателей, выворачивающих наизнанку всю его личную жизнь, все его грязные привычки, поливающих его помоями на каждом углу. Все так. Но "умер он собственной смертью", убив, замучив миллионы людей — взрослых, стариков, женщин, детей. И мне это до сих пор кажется дикой несправедливостью. Не хочу ни судить, ни убивать таких, как Купчинский, и палачей с более счастливой судьбой, спокойно доживающих свой век и даже приглашаемых на собрания "Мемориала" в качестве пострадавших. Черт с ними, дьявол их возьми! Не хочу, чтобы мной владела унижающая нас мстительность. Но Сталин! Ах, Сталин! С ним ни мне, ни кому другому не повезло. Уж тут я бы не пожалел кремленчугской махорки!

Кузнецкий мост, 24

Стрела крана резко поворачивается, и тяжелый чугунный шар ударяется о стену дома. С грохотом рушатся оконные переплеты, в зияющие проемы видны внутренние стены комнат со следами портретов на выцветших обоях. Очень обычное для Москвы зрелище.

Я стою на противоположной стороне улицы, смотрю, и внутри меня что-то рушится, рушится с треском и отчаянием, как стены этого дома. И мне кажется, что это не пыль закрывает разрушаемый дом, а слезы застыт мне глаза. Наверное, я испытывал бы нечто подобное, видя, как вот такая машина уничтожает мое родовое гнездо на Ордынке, дом, с которым были связаны все радости и горести моего отрочества, моей юности, почти всей жизни моей. Но ведь не этот родной дом рушат! Разрушают проклятый, ненавистный и страшный дом, где если и веселились, то только в незапамятные времена, когда его хозяином был князь Голицын или когда жили в нем художники и скульпторы и Пушкин ходил в гости к Карлу Брюллову, вернувшемуся из Италии. Так когда это было, да и кто об этом думает!

Многие десятилетия в этом доме только плакали. Здесь было пролито столько слез, что если бы они все сохранялись, потоками сбегая вниз к Неглинке, то дом этот стоял бы на берегу соленого озера. Да, конечно, в округе были дома и пострашнее. На моей памяти это учреждение — обычно про него говорили "это" или "оно" — разрасталось, пуская свои метастазы по соседним улицам и переулкам. Оно захватило всю Большую Лубянку, от площади до Сретенских ворот, и Лубянку Малую, оно поглотило многоэтажный универмаг и девятиэтажный жилой дом; и постепенно на всех окнах домов этого района появились одинаковые шелковые занавески, и подолгу вечерами эти окна светились уютным адским светом. Были среди этих домов такие, мимо которых и ходить-то было страшно. В этих домах пытали и убивали. Но там не было слез. Там могли кричать и кричали от боли, от ужаса, от страха...

Но там не плакали. Во всяком случае, я не помню, и мне об этом не рассказывали. Болевая точка этой гигантской раковой опухоли была тут. Плакали здесь, в этом доме. На Кузнецком мосту, 24. Здесь помещалась приемная. Приемная ОГПУ, НКВД, НКГБ, КГБ... Названия менялись, существо оставалось прежним. И до самого последнего дня, перед тем как ударить по дому чугунной бабой, висели на нем вывеска "Приемная КГБ" и аккуратное, золотом по черному, на десятилетия, на века сделанное объявление: "Прием граждан круглосуточно"...

А ведь было время, когда я ходил в этот дом, совершенно не задумываясь о том, каким он ко мне обернется. Это было, вероятно, году в 25-м. На Кузнецком, 24 помещались курсы Берлица. Это были курсы, где по какой-то системе, придуманной неизвестным нам, еще довоенным Берлицем, быстро научали иностранным языкам.

Меня понесло на эти курсы потому, что мой двоюродный брат в это время был в Китае начальником Политуправления у Чан Кайши. Меня с безумной силой тянуло делать революцию в Китае, кузен мой обещал меня забрать с этой целью к себе, при условии, если я выучу французский язык. Почему французский, бог знает! Конечно, я ему поверил и устремился сюда, на Кузнецкий мост, 24.

Старый трехэтажный дом. Приемной на первом этаже еще нет. Она появится после, вероятно году в 35-м или 36-м.

Я быстро взбежал по лестнице на третий этаж. Лестница никогда не бывала пустой. Потом уже, много-много лет спустя, я вспоминал, что кроме меня и мне подобных — веселых, беспечных, часто эlegantных, почти всегда молодых — по этой лестнице подымались и другие люди: пожилые или молодые, одетые хорошо или плохо, но все с печатью горя на лице, все — неулыбающиеся, озабоченные.

Мы вместе входили или взбегали по лестнице и расходились: одни направо — на курсы Берлица, другие — налево. Дверь налево почти всегда была открыта, поэтому я не сразу заметил маленькую вывеску на ней: "Политический Красный Крест". В открытую дверь был виден длинный коридор, всегда набитый людьми. Как страшно! — ни разу тогда не задумывался ни об этой странной вывеске, ни об этих людях. Я бежал на свои идиотские курсы, где красивая молодая женщина с указкой в руках показывала нам на развешанные по стенам красивые рисунки и по-французски объясняла: это красивый деревенский дом; эта девочка играет в волан. И еще подобную чепуху. На курсах запрещалось употреблять какие бы то ни было русские слова. Несколько месяцев я учился узнавать, как по-французски называются разные мне ненужные предметы, и однажды на концерте в Колонном зале услышал в ложе разговор двух дам. Они говорили по-французски, и я вдруг потрясенно осознал, что понимаю, о чем они говорят! Это было невероятное ощущение! Впрочем, оно меня не подвигнуло на то, чтобы продолжать изучать французский язык после того, как мой кузен вместе с другими советскими советниками бежал из Китая после переворота, устроенного Чан Кайши. Я утратил всякий интерес к курсам Берлица, и перестал ходить на Кузнецкий, 24, и быстро забыл о двери налево, напротив курсов.

Я узнал об этом помещении и людях в нем много позже, из рассказов Рики. Вот она уж там побывала! Много-много лет она ходила в это странное, ни на что не похожее, ни в каких справочниках не упоминаемое учреждение. Странное и чужеродное всей нашей системе до такой степени, что после войны в Ставрополе, в Сибири, да и в самой Москве почтенные майоры и подполковники отказывались верить рассказам Рики о том, что совершенно легально почти два десятка лет существовал этот странный, кажущийся нам теперь совершенно немыслимым, Политический Красный Крест.

Не только я, но и эти профессиональные охранители ничего про него не знали. И для них это было нечто нереальное, мифическое!

Для них, но не для Рики, не для многих сотен людей, подобных ей. Она приходила сюда два десятилетия: девочкой, девушкой, молодой женщиной. Приходила каждый раз, чтобы узнать, из какой тюрьмы в какую перевели ее отца; сколько ему в очередной раз дали, и что: тюрьму или ссылку, и куда; когда бывают свиданья, передачи; она получала здесь продукты для передачи и деньги для того, чтобы поехать на свидание в Суздаль или другой тюремный город, повезти туда передачу...

Когда-нибудь историки обязательно займутся изучением этого удивительного учреждения, как и личностью удивительного человека, его создавшего и отдававшего ему все свои немалые силы и немалые, неизвестно откуда взявшиеся, возможности. Одним именем Горького нельзя объяснить, каким образом Екатерине Павловне Пешковой удалось получить необыкновенное право легально помогать политическим заключенным и их родственникам, право узнавать, кто где находится, к кому куда этапировали... Все то, что позже составляло глубокую государственную тайну, тогда запросто можно было узнать в странном учреждении напротив курсов Берлица.

Коридор в нем разделял четыре небольшие комнаты. В самой маленькой из них — два стола. За одним — Екатерина Павловна Пешкова, за другим ее бессменный помощник — Винавер. В другой комнате что-то вроде бухгалтерии. Самая большая комната почти всегда забита людьми — ожидающими! И еще одна большая комната, заставленная ящиками с продуктами, бельем, одеждой. И совершенно непонятно: кто были эти люди, которые сидели за столами в этих комнатах, погруженные целыми днями в чужие беды? А может быть, и в свои?

Сюда обращались родственники эсеров, меньшевиков, анархистов, родственники людей из "партий", "союзов" и "групп", созданных, придуманных в доме неподалеку, за углом направо. Здесь выслушивали женщин, стариков и детей, здесь их утешали, успокаивали, записывали адреса, чтобы невероятно скоро сообщить, где находится их отец, муж, жена, мать, сын, брат. Когда можно получить свидание, когда принимают передачи, когда — если нет для этого средств — можно прийти на Кузнецкий, 24 и получить продукты, белье, одежду для этапа на Север или необозримый Восток.

Откуда брались эти продукты, эта одежда, эти, совсем немалые, деньги? Они приходили главным образом из-за границы. От АРА — американской администрации помощи, от социал-демократических партий и учреждений, от разных благотворительных обществ, от богатых людей. А может, и совсем не богатых, может, и от почти бедных. Кто знает, как собирались эти деньги и как они шли сюда? Знала об этом, вероятно, только сама Екатерина Павловна. Каждый день, отсидев часы приема на Кузнецком, она садилась в мотоциклет с коляской и отправлялась в тюрьмы, на таможду, на склады. А еще чаще шла пешком — тут же совсем близко, совсем рядом — и договаривалась с людьми из этого дома о переводе такого-то в тюремную больницу, о том, чтобы такого-то заключенного перевести в тюрьму, более близкую к Москве, — у него мать старуха, и ей трудно ездить на свидание на Север, на Урал. Она договаривалась о пополнении тюремных библиотек, устройстве для арестантов концертов, праздничных вечеров...

Как сказки, как невероятные волшебные сказки я слушал рассказы Рики о том, что, когда тяжело заболела ее мать, по просьбе Екатерины Павловны ее отца выпустили из Бутырок на свободу "под честное слово" и он находился на воле до выздоровления своей жены... Я слушал о новогоднем вечере, устроенном в Бутырках для политических заключенных, о концерте в Бутырках, на котором пел Шалапин перед своим отъездом за границу.

И так длилось до самого 37-го года, до того дня, когда Екатерина Павловна бессильно сказала Рике: "Все. Больше ничего не могу. Теперь остается только низ, только первый этаж". Но для Рики и ей подобных и низ не остался. И она, и почти все такие, как она, ушли в те тюрьмы, куда они ходили на свидания. Политический Красный Крест и все проблемы, которыми он занимался, были ликвидированы по старому, верному, испытанному способу. По которому Энвер-паша разрешал "армянскую проблему", а Гитлер "еврейскую проблему". Во всех ссылках были арестованы все те, которых опекала Екатерина Павловна Пешкова, собраны в тюрьмы, а затем расстреляны. И были арестованы и, очевидно, расстреляны и Винавер, и те безвестные мужчины и женщины, которые работали в Политическом Красном Кресте. И оставили на воле жить, мучиться и умирать только Екатерину Павловну. Она унесла с собой в могилу разгадку тайны, кто, когда, каким образом и почему разрешил ей легально поддерживать тот статус "политического заключенного", само понятие которого потом стало чем-то противозаконным, отрицаемым, почти преступным.

И вот пришли годы, когда то, что Екатерина Павловна называла "низом", стало расти вверх. "Низ" проглотил курсы Берлица, и Политический Красный Крест, и соседние небольшие дома, в которых ютились какие-то никому не ведомые конторы. И адрес "Кузнецкий мост, 24" стал столь же известен, как и "улица Дзержинского, 2".

Когда ночью уводили, то оставляли только единственные координаты: Кузнецкий мост, 24. И если исчезал человек среди бела дня или темной ночью и обезумевшие родственники звонили по всем страшным телефонам, то самая последняя инстанция – дежурный по городу спрашивал: "В милиции были?", "В "Скорую" обращались!" – и, выслушав утвердительные ответы, удовлетворенно говорил: "Тогда обращайтесь на Кузнецкий мост, 24". И этот ответ был самым страшным, самым безысходным. Возвращались из больниц, могли возвратиться даже из милиции. Оттуда, куда посылал дежурный по городу, никто еще не возвращался. Большинство и не вернулось.

Вот тогда мне и было сполна заплачено за отсутствие интереса к помещению напротив курсов Берлица.

За кремовые занавески самой приемной мне тогда ни разу не пришлось попасть. Туда пускали не всех. Только вызываемых, только с какими-то особыми заявлениями, ну и, конечно, тех, для которых приемная была открыта круглосуточно. А я ходил во двор, за железные ворота. Сколько же раз я туда ходил! Один ходил, и с мамой, и с Оксаной.

"На миру и смерть красна". Конечно, есть в этом какая-то доля правды. Но не думаю, чтобы тем, кого гнали в Бабий Яр, было легче

оттого, что их тысячи... Двор на Кузнецком был всегда, с самого утра, полон людьми. Мужчины, женщины, дети. Больше всего женщин. Совсем старых и совсем молодых. И все молчат. Или разговаривают почему-то шепотом. Хотя единственный вертухай стоит только у калитки и с наслаждением начальственной суровости смотрит на тех, кто еще позавчера, вчера принадлежали к касте "начальников". Теперь они другие, ах, какие же они другие!

Очередь вьется по двору, огибает какое-то строение, снова вытягивается и выходит к финишной прямой — к одному-единственному окошку в стене. Там, в этом окошке, дают справки. Справки эти необыкновенно кратки. В ответ на заикающийся, заплаканный голос: "Вот у меня сегодня ночью почему-то пришли и арестовали..." (это новички, значит...) — следует окрик: "Фамилия, имя, отчество". Потом окошко захлопывается и через минуту-две снова открывается. Ответов было всего четыре: "Арестован, под следствием"; "Следствие продолжается"; "Следствие закончено, ждите сообщения"; "Обращайтесь в справочную Военной коллегии".

Никаких других ответов не было. Однажды впереди меня стояла женщина, на вопрос из окошка ответившая: "Ясенский Бруно Яковлевич". Она пыталась спросить еще что-то, но ей крикнули: "Узнаете, все узнаете потом!" И действительно, это было так. Мы все узнавали. Только когда и как? Эта женщина, как и я, как и множество других на этом дворе, потом попадали в другие здания этого проклятого квартала и могли узнать о судьбе своих близких более приближенно к реальности. Очередь на Кузнецком была лишь началом хождения по другим дворам, к другим окошкам. Здесь никогда не сообщали, где, в какой тюрьме сидит арестованный. Чтобы узнать это, надо было ездить по тюрьмам: в Бутырки, Таганку, Лефортово, Матросскую Тишину, на Новинский бульвар... И там стоять в длинных очередях, чтобы передать десять рублей — единственно разрешенная форма передачи. Десять рублей, которые обезличенно, без сообщения, от кого, зачислялись на "текущий счет" арестованного. В этих окошках, куда надо было подавать заполненный бланк и деньги, или брали — и это означало, что он здесь, — или же отвечали: "У нас нету!" И тогда надо было ехать на другой конец города, в следующую тюрьму, и там пробовать передать деньги. И как счастливы бывали те, у кого эти деньги брали! Значит, он тут, вот совсем недалеко, за этими стенами...

Нет, передачи — даже такие, десятирублевые — это огромно! Я это понимаю, я насобачился на передачах в тюрьмах Москвы, Ставрополя, Георгиевска. Передача протягивает какую-то нить к пропавшему родному человеку, она означает, что он жив, что есть надежда его увидеть. И как бывает страшно, когда тебе возвращают бланк и десятку и говорят: "Выбыл". Все. Куда, когда, на сколько? Они тебе это не скажут. И на Кузнецком, 24 нет уже Екатерины Павловны, которая все узнает, все расскажет, поможет... Теперь надо ждать. Ходить в прокуратуру и там ждать или же сидеть дома и ждать месяцами, а то и годами, когда вдруг придет к тебе письмо с обратным адресом: "Почтовый ящик №...". А еще чаще ждать, ждать и не дожидаться. Никому не сообщали о судьбе тех, кто умер от пыток в следственном кабинете, в тюремной камере или тюремной больнице, в теплушке или на пересылках длинного и страшного этапа. Они все канули в не-

известность, чтобы через двадцать лет эта неизвестность обернулась лживой бумажкой, где все — и дата, и причина — все было лживо. Кроме одного: умер.

Но какие же мы тогда все были неграмотные, как легко нас было обмануть, как легко мы поддавались на эту ложь! Из всех ответов, получаемых в окошке во дворе дома на Кузнецком мосту, самым страшным был, конечно, ответ: "Справочная Военной коллегии". Эта справочная была совсем неподалеку. Пройти Лубянскую площадь — и сразу в начале Никольской небольшой кирпичный дом Военной коллегии Верховного суда. Кажется, это учреждение и сейчас там. Вот там, в окошке справочной, давали ясный, прямой и всегда одинаковый ответ: "Десять лет отдаленных лагерей без права переписки". Других мер наказания этот суд не знал. Такой ответ мы получали, справляясь и о Глебе Ивановиче и об Иване Михайловиче; такие точные ответы получали в этом кирпичном доме множество наших знакомых и друзей. И — удивительно! — мы радовались этому! Ну, хорошо, десять лет — много, конечно, но это же все условно, сколько будет перемен, все еще может обойтись, во всем еще разберутся... А что без права переписки — ну, это понятно: собрали в одном месте всех старых большевиков, всех бывших наркомов, чекистов — пока, до поры до времени, им не разрешают писать. Потом разрешат! И в длинные вечера в нашем последнем доме в Гранатном переулке мы бесконечно обсуждали, где могут находиться эти лагеря, какие там условия жизни — черт знает, что мы только не говорили! И успокаивали себя этими предположениями, и даже занимались старым интеллигентским гаданием: наугад раскрывали том Блока и загадывали порядок строки; в этой строке давалось темное толкование нашим надеждам. И только раз вздрогнули от холода, когда Оксана раскрыла Блока и на многожды открываемом месте прочитала: "И только высоко, у Царских Врат, причастный Тайнам, — плакал ребенок о том, что никто не придет назад".

Только много лет спустя я понял, что Оксана была убеждена в этом: никто не придет назад. Как не пришла она сама.

А ведь о том, что случилось, о том, что не придут они назад, можно было догадаться и по разным другим приметам, признакам. В какой-то своей очередной речуге о врагах народа Сталин требовал ужесточить расправу над ними и выразил недоумение, почему не применяется такая мера, как конфискация. Вышинский все сделал. Все приговоры о расстреле дополнялись строчкой: "...с конфискацией всего имущества". Тогда, осенью и зимой 37-го года, по всей Москве открылось множество странных магазинов. Странных потому, что даже вывески на них: "Распродажа случайных вещей" — были написаны на полотне, наспех. Эти магазины появлялись на местах книжных, канцелярских, промтоварных магазинов. Они были заполнены старой мебелью, потертыми коврами, подержанной или даже новой одеждой, разрозненными сервизами, предметами антиквариата, картинами...

Это были остатки того, что было забрано, просто награблено энквэдэшниками. Некоторые из них получали готовые квартиры, со всем, что в них было: мебелью, книгами, бельем, одеждой, всем, включая зубные щетки и засохшие куски мыла в умывальнике. А другие на каких-то базах, куда свозили все это добро, выбирали себе

по вкусу. И, конечно, по ценам. Некоторые повыше, снимали сливки — картины, дорогие ковры, антиквариат, книги в красивых переплетах. Которые чином поменьше, удовлетворялись не баккара, а простым хрусталем; не саксонским фарфором, а морозовским; они больше напирали на отрезы, на богатые шубы... А уж то, что никто не хотел себе забирать, свозилось в эти магазины "распродажи случайных вещей".

Осенью 37-го года я проходил по Сретенке мимо одного такого магазина, и что-то меня толкнуло зайти туда. И, войдя, сразу же в глубине магазина увидел наш диван... Длинный неуклюжий кожаный диван, обитый потертой тисненой кожей, со львами, вырезанными из черного дерева, по краям... Он стоял в столовой, множество раз я спал на нем, когда еще был на Спиридоновке гостем и оставался ночевать после долгого застолья, долгого ночного разговора... А рядом с диваном в магазине стояла мебель из кабинета Ивана Михайловича: огромный письменный стол, высокие неудобные стулья, мастодонтовские кресла... Остатки какой-то крупночиновой петербургской квартиры, доставшейся секретарю Севзапбюро ЦК РКП(б) Москвину и затем Софьей Александровной перевезенной в Москву. Теперь эта обстановка завершила свой закономерный круг во временном магазине награбленных вещей на узкой московской улице.

И хотя я тогда еще ничего не знал, но понял — это и есть конец. В бумажках о смерти и о реабилитации Ивана Михайловича указываются разные и все лживые даты его смерти, но теперь-то я знаю, что в этих магазинах продавали вещи уже убитых. Их убивали в тот же самый день или даже час, когда им прочитывали: "...с конфискацией всего имущества". И после этого начиналась дележка этого имущества. Они ведь были не только убийцами, но и мародерами. И — как всякие убийцы, грабители и мародеры — они все свои дела обделывали в глубокой тайне, скрывая убийство за "без права переписки", грабеж за "распродажей случайных вещей". Прошло почти полвека, но наследники грабителей, а может, и еще сами грабители и убийцы живут среди награбленных картин и ковров, едят с награбленной посуды... Ну, фиг с ними! Надо же расплачиваться за весь этот долгий путь познания, начавшийся со двора дома 24 по Кузнецкому мосту...

А я побывал еще раз в этом доме, и не во дворе, а там, внутри, за кремовыми занавесками...

Это было ровно через двадцать лет, летом 57-го года. В кабинете Дома детской книги, где я работал, зазвонил телефон, и очень ласковый и интеллигентный голос представился: старший следователь Комитета государственной безопасности майор такой-то... И — "Не могли бы вы, Лев Эммануилович, в ближайшее время выбрать часик, чтобы зайти к нам?..".

Я предпочел не откладывать подобное свидание и через два часа входил в приемную. Она была тиха, спокойна, даже чем-то уютна. Несколько человек ожидали кого-то, сидя на удобных мягких стульях. Ожидать мне долго не пришлось. Из каких-то внутренних дверей вышел в приемную молодой еще и очень интеллигентного вида

человек в форме майора, подошел ко мне, представился и сказал, что мой пропуск у него и мы можем идти.

И мы пошли. Туда. В тот самый дом: Майор сам предъявил мой пропуск часовому, провел меня в лифт, поднял на какой-то этаж, открыл ключом свой кабинет, пропустил меня вперед и усадил в мягкое кресло у самого письменного стола. Я оглянулся: да, табуретка была. Прикованная около двери к полу, свежешелюкрашенная и вполне готовая для арестантских задов. Но я теперь, или пока, сижу не на ней, сижу в креслах.

Майор тут же начал разговор:

— Хочу сразу сказать, почему мы просили вас приехать. Я оформляю дело по реабилитации товарища Селянина. Он был арестован и погиб в лагере, будучи совершенно ни в чем не виновным, только потому, что был незаконно арестован и расстрелян его отец — старый большевик.

...Игорь Селянин. Мой старый товарищ по работе в Центральном бюро юных пионеров. Высокий, некрасивый и обаятельный в своей некрасивости парень. Веселый выдумщик, верный товарищ...

— И хотя мне незачем изучать его дело, которого и не было, но формально для реабилитации требуются показания двух коммунистов, которые его знали. У меня тут была по этому вопросу Анна Андреевна Северьянова, и она мне назвала вас как знавшего товарища Селянина...

Значит, Нюра Северьянова вспомнила меня. А кто ей сказал, что я вернулся? Я Нюру не видел с тех самых времен...

А интересно сидеть вот так, в этом кабинете! Я встал и подошел к окну. Окно выходило во двор, и там я увидел знакомое пятиэтажное здание с зарешеченными окнами, с намордниками... "Внутрянка".

— Что это вы осматриваете, Лев Эммануилович?

— Очень мне знакомый дом.

— Почему знакомый?

— Я в нем сидел.

— Как, и вы? Боже, какой ужас! Что вам только не пришлось пережить!

И полилась его длинная взволнованная речь. Да, он наслышан о всех ужасах и беззакониях, которые тут творились в те страшные годы. Из старых сотрудников тут никого не осталось, ни одного человека, но он и его товарищи наслышались об этих страшных фактах навсегда исчезнувшего беззакония.

Я стоял у окна и, глядя на "внутрянку", рассказывал о том, каким хорошим, идейным, идеологически выдержанным, морально устойчивым и беззаветно преданным был Игорь Селянин. Майор быстро (неужели уже насобачился?) исписывал листы допроса. Потом сказал:

— Ну вот и все. Пожалуйста, подпишите.

И тут я глупо спросил:

— Где подписывать?

Майор посмотрел на меня и вдруг начал хохотать. Он хохотал совершенно искренне, он сразу утратил свой деловой вид и приобрел черты человечности...

— Почему вы смеетесь?

— Боже мой, боже мой, как устроен человек, как быстро он, оказывается, способен забыть! Вы столько раз подписывали показания и уже забыли, что их надо подписывать в конце каждого листа...

Ох, дьявол! Как же я мог такое забыть! Мне стало стыдно, и этот стыд не проходил, пока майор подписывал мне пропуск, любезно попрощался со мной, провожал меня до лифта.

Стыд терзает меня и сейчас каждый раз, когда я вспоминаю хохот этого майора. Неужели он так и остался в уверенности, что все проходит, все забывается? Как говорится в поговорке: "Тело заплывчиво, память забывчива". И я помог ему увериться в этой неправде!

Забывает только тот, кто хочет забыть. Я ничего не забыл. И не хочу забывать. И поэтому, наверно, испытал какое-то отчаянье, когда видел, как рушат этот дом, вместивший столько горя, столько слез. Я не хочу, чтобы он исчезал. В нем наши жизни, наша память.

Снесут его и построят на его месте какое-нибудь современное административное здание. Или же разобьют сквер, и дети будут бегать по усыпанному песком дорожкам, проложенным на том дворе, где мы стояли в жаркие дни лета, непогоду осени, холод зимы...

Но все равно. Кузнецкий мост, 24 останется жить. В нашей памяти, памяти наших детей и детей их детей. И память эту нельзя разрушить никакой чугунной бабой. Она останется!

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Д. Данин. Пережитое и понятое</i>	3
--	---

НЕПРИДУМАННОЕ

Иван Михайлович Москвин	9
Военные	32
Жена президента	51
Спектакль со счастливым концом	58
Рощаковский	63
Борис и Глеб	92
Принц	105
Чужие	109
Бунт на борту	127
Костя Шульга	141
Тюремщики	168
Два начальника	218
Ниязов	253
Страх	263
Кузнецкий мост, 24	277

Разгон Л.Э.
P17 **Непридуманное: Повесть в рассказах.** Издание допол-
ненное. – М.: СП "Слово", 1990. – 286 с.

ISBN 5–7555–0251–X

Лев Разгон, один из старейшин нашего писательского цеха, известен как автор книг для детей и юношества, популяризатор науки.

"Непридуманное" – книга совсем иного рода. В ней автор рассказывает о годах лагерей и ссылки, где после ареста в 1938 году он провел 17 лет. Самые разные люди – известные всей стране и рядовые ее граждане – стали героями этой повести в рассказах. Повести строго документальной, трагической и одновременно очень светлой.

Р $\frac{4702010201-04}{M 128 (03)-90}$ – Без объявл.

ББК 84P7

ЛЕВ ЭММАНУИЛОВИЧ
РАЗГОН

Непридуманное

Редактор *Д.В. Тевекелян*

Художественный редактор *В.В. Медведев*

Технический редактор *Л.И. Витушкина*

Корректор *Т.И. Томашевская*

Сдано в набор 16.03.90. Подписано в печать 03.05.90. Формат 60 × 90/16. Бумага офсетная. Гарнитура "Пресс-Роман". Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,0. Усл. кр.-отт. 18,0. Уч.-изд. л. 25,0.

Тираж 50 000 экз. Цена 6 р.Зак. 814.

121433, СП "Слово"

Москва, Б. Филевская ул., д. 37, к. 1.

Отпечатано с готовых диапозитивов на Можайском полиграфкомбинате В/О „Совэкспорткнига“ Госуд. комитета СССР по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

6 руб.

ex libris